



Владимир Дрозд



РИТМЫ ЖИЗНИ

РОМАН-БИОГРАФИЯ

Авторизованный перевод с украинского

Москва
Советский писатель
1980

С(Укр)2
Д 75

Роман-биография «Ритмы жизни» посвящен жизни и деятельности выдающегося ученого-патофизиолога, президента Академии наук УССР академика А. А. Богомольца и его матери — пламенной революционерки Софьи Богомолец.

Каждый эпизод произведения подтверждается документальными материалами, включенными в роман. «Ритмы жизни» — первая художественная биография крупнейшего деятеля советской медицинской науки, человека, гражданина, патриота своей Родины.

ХУДОЖНИК Б. Н. ЧУПРЫГИН

70303—272
Д ——————260—80. 4702590200
083(02)—80

© *Перевод на русский язык. Издательство «Советский писатель», 1980 г.*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ

Александр Александрович Богомолец умер на 65-м году жизни, 19 июля 1946 года, отдав науке около пятидесяти лет, но все его годы, как и короткая, отданная в жертву революции, жизнь его матери, принадлежат людям и волнуют сегодня нас и будут волновать всегда тех, кто вчитается в летопись их жизни и деяний.

...Гроб академика А. А. Богомольца был установлен на орудийном лафете. Хоронили человека далеко не военного, но его заслуги в годы войны были равны величайшему ратному подвигу, поэтому высшая воинская почесть являлась достойным ознаменованием памяти великого человека. Он был одним из маршалов советской науки. В январе 1942 года на сессии АН УССР академик В. А. Комаров сказал: «Украинские ученые во главе со своим президентом принимают участие в обороне страны наравне с бойцами Красной Армии». Хоронила его вся страна. В Киев со всех концов земного шара летели телеграммы-соболезнования, ехали делегации ученых, общественные деятели... Прах ученого, согласно его завещанию, был захоронен в земле Киева, в саду, под грушей — любимым местом его отдыха, на территории Института физиологии АН УССР, который он основал и который по праву носит его имя. Он любил науку, как невесту, и это чистое пламя любви берег всю жизнь; он любил осень, любил блуждать по шелестящим листьями тропинкам, дышать лесной прохладой; он любил осень человеческой жизни, мечтая наполнить ее «нормальным долголетием», высоким нравственным и духовным содержанием. Для этого он жил, и сегодня еще трудно всесторонне оценить, как далеко вперед и смело смотрел этот великий ученый, мыслитель и гуманист.

На Украине академика А. А. Богомольца очень любили. Его узнавали на улице. С ним дружили многие известные и неизвестные люди, и ту встречу в лесу, которая описана на последних страницах романа, и тот разговор, который состоялся между старым грибником и старым академиком, нельзя было просто придумать. Встретились два человека. Оба уже «не на ярмарку, а с ярмарки», оба на склоне лет посадили сад. У каждого свой сад... Благодаря инициативе и усилиям ученого днепровские склоны у знаменитого Выдубецкого монастыря каждую весну зацветают сиренью — он заложил Ботанический сад АН УССР. Старый грибник узнал в охотнике своего депутата и тепло поблагодарил его за то, что он к простому человеку «всегда душой», что он «в каждом человека видит»... За два дня до смерти больной Александр Александрович продиктовал список срочных дел по Акаде-

мии наук. Среди советов и указаний относительно строительства циклофазотрона, обсерватории, сельскохозяйственного городка, оборудования для технических институтов было напоминание президента о необходимости выделения квартиры семье погибшего на фронте ученого, просьба похлопотать о пенсии больной лаборантке.

И это тоже было заботой о том, чтобы человек не старел преждевременно. Это была реализация науки человеколюбия. Деятельность Богомольца-ученого и его школы по праву считают своеобразной, с поразительно перспективной протяженностью во времени, эпохой развития отечественной медико-биологической науки. Его открытия, идеи, теории, концепции по своему значению революционны. Как и его жизнь.

Известный украинский писатель Владимир Дрозд своим романом «Ритмы жизни» талантливо продолжил жизнь великого ученого углублением в истоки его нравственного выбора. Казалось бы, любая страница его научной деятельности, оживи она под пером, может послужить примером страстной одержимости гуманистической идеей служения человеку, таит в себе большие возможности для художественного расширения границ индивидуальной человеческой жизни. Владимир Дрозд увидел в биографии А. А. Богомольца одно из значительных звеньев бесконечной цепи, соединяющей прошлые и грядущие поколения. В романе сознательно стираются главные биографические ориентиры жизни ученого — рождение и смерть; писатель «переносит» время его нравственного рождения далеко назад, «объясняя» жизнью его матери нравственные основы жизни будущего академика. Президент одной из самых больших в Европе академий наук на протяжении шестнадцати лет, академик, удостоенный самых высоких правительственных наград и звания Героя Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР, директор двух научно-исследовательских институтов, редактор научного журнала, а главное — всемирно известный ученый, основатель советской школы патофизиологов — и родился в Лукьяновской тюрьме! Трех недель от роду будущего академика отняли от матери, которую этапом погнали на каторгу, где она и умерла. Сын вместе с отцом совершил памятное путешествие к матери, они поехали прощаться после десяти лет разлуки. Царские сатрапы не позволили даже перевезти на Украину и захоронить тело «неистовой Софьи» в родной земле. Умирая, мать подарила сыну дешевенькое издание шевченковского «Кобзаря», с которым он не разлучался всю жизнь.

Писатель не выдумывал героев, не домысливал эпизодов, наоборот, нередко его творческое воображение с восхищением и растерянностью смирялось перед поразительной силой высокой духовности и мужественной нравственности этих людей. Он провел большую архивно-исследовательскую работу, изучил родословную семьи, проникся атмосферой предреволюционной России и первых десятилетий Советской России, встречался с учениками академика, собрал воспоминания о Богомольце известных русских и украинских советских ученых, историков, сотрудников и помощников ученого по научной и общест-

венной работе, писателей, художников, артистов, с которыми дружил его герой. А. А. Богомолец любил музыку, живопись, прекрасно знал украинскую, русскую и западноевропейскую литературу. В статьях, научных трудах насчитывают более трехсот цитат из греческой мифологии, Гёте, Гейне, Байрона, Шиллера. Знаменитый окулист академик В. П. Филатов написал сонет, посвященный духовной атмосфере, царившей в то время в институте, который сегодня носит имя А. А. Богомольца:

Скажите мне, в какой Вы части света
Найти могли б ученый институт,
Где днем чтут Дарвина, а вечером для Вас
Пленительно журчат источники искусства
И сердцу говорят Шопен, Чайковский, Байрон...[1]

С большим уважением, научной строгостью и ответственностью отнесся писатель к художественному исследованию жизни и деятельности ученого, но это произведение все-таки не просто биографический роман, цель которого воссоздать, открыть неизвестные страницы, дополнить наши представления и т. п., как мы традиционно пишем о подобного жанра произведениях.

Легендарная жизнь Софьи Богомолец и ее сына давно уже принадлежит истории и углубляется в историю, превращаясь в легенду, которую порой нелегко врастить в реальность нашей современности. Владимир Дрозд как бы старается себя, художника-исследователя, отстранить от развития событий в романе. Это, конечно, расширяет пространство для восприятия жизни и деятельности его героев в абсолютно достоверном пересказе, дополненном талантливым воссозданием их психологических состояний, внутренних переживаний. Но эти моменты «дотворчества», эмоциональные сопереживания «охлаждаются» и как бы закаляются отрывками из писем, воспоминаний, документов, возвращая тем самым читателя в русло достоверности описываемого. Как психологически четко вводит нас автор в духовную и моральную атмосферу семьи Софьи Богомолец (Присецких), с какой глубиной, эмоциональной взволнованностью и направленностью описывается внутреннее состояние Софьи в киевской тюрьме и на каторге, как воссоздана сложность борьбы народников в годы реакции...

Владимир Дрозд не впервые обращается к историко-революционной тематике. Всесоюзный читатель смог познакомиться с его романом «Добрая весть» (серия «Пламенные революционеры»), посвященным революционной деятельности первого основателя марксистского рабочего кружка в Киеве Ювеналия Мельникова. Короткая жизнь Ю. Мельникова, как и Софьи Богомолец, поражает своей бескорыстностью, мужественностью и рыцарским служением идее. Так что у писателя был и опыт, и талант — вспомним большой читательский интерес к книгам повестей и рассказов «Маслины», «Белый конь Шеп-

[1] Цит. по кн.: Н. О. Піцик. Олександр Олександрович Богомолець. «Наукова думка», К., 1974, с. 143.

тало», к оригинальным фантастически-химерическим повестям «Ирий» и «Замглай», к роману «Земля под копытами»... А теперь и биографический роман в двух книгах «Ритмы жизни», в котором изображены исторические личности через призму восприятия молодого писателя, нашего современника, которого волнуют сегодняшние нравственные проблемы, и он, как писатель, своим долгом считает осмыслить диалектическую связь духовных и моральных проблем сегодняшнего дня с нравственными традициями предшествующих поколений, открыть духовные ценности, рожденные в делах и судьбах революционеров. Среди этих Рыцарей Человечности — всемирно известный ученый Александр Богомолец, жизнь которого, по словам Павла Тычины, будучи мыслями о бессмертии означенной, «сама уже стала частицей бессмертия».

В 1981 году ученому исполнилось бы сто лет. И хотя он прожил не так уж много, он сделал все, что в человеческих силах, для продления жизни людей. Идеи Богомольца живы, их развивают, обогащают, подтверждают. Свидетельство этому — Институт геронтологии и экспериментальной патологии, Институт проблем онкологии АН УССР, Научно-исследовательский институт эндокринологии и обмена веществ... За именем академика Богомольца — институты, лаборатории, кафедры, ученики... Среди продолжателей его дела, его идей и сын ученого — член-корреспондент АН УССР О. А. Богомолец. Какая сложная и прекрасная эволюция жизни, наполненной драматическими коллизиями, влюбленностью до самозабвения в науку, в человека, ради счастья которого умерла на каторге его мать — политкаторжанка и ради здоровья которого он жил и трудился.

А. А. Богомолец написал книгу, которая называлась «Продление жизни». Это глубокое и страстное размышление о продлении жизни людей, мудрое завещание своему сыну, будущим детям своим, грядущим поколениям, о счастье и здоровье которых он думал всегда, продолжая себя в трудах, достойных человечества...

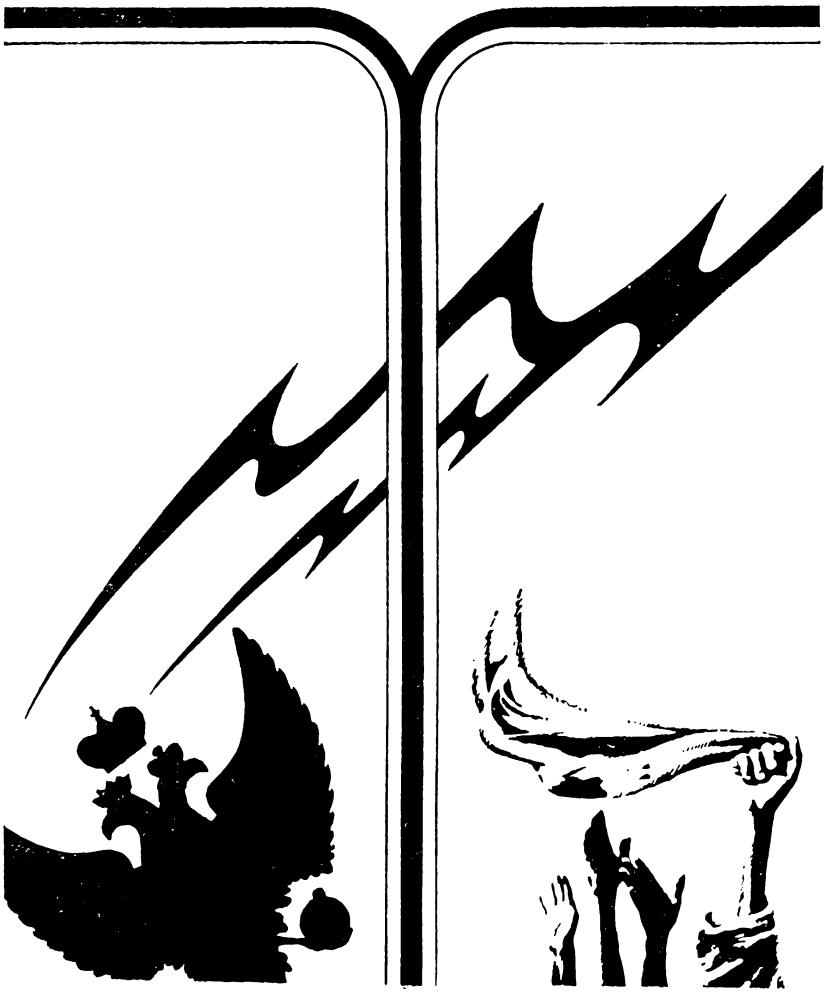
Столетний юбилей выдающегося ученого и гуманиста будет отмечать весь мир. И достойной его памяти, его великой жизни является также эта книга.

Кандидат филологических наук

Н. Г. Жулинский

РИТМЫ ЖИЗНИ

книга первая





1880.
ТАБЕЛЬНЫЕ ДНИ

Был табельный день, и отставной подпоручик Николай Максимович Присецкий приказал вывесить флаг.

Пока извозчик, взобравшись на лестницу, прилаживал к поднавесу дубовый шест с лоскутом сине-бело-красного клейменного орлом шелка, по-военному вытянувшийся, молодцеватый при своих уже немалых годах (хотя голова и пышные усы, которые, обрамляя подбородок, ниспадали на воротник белой праздничной рубашки, уже были начисто седые), Николай Максимович неподвижно стоял у крыльца, демонстрируя свою благонамеренность. Еще несколько лет назад подпоручику, в свое время разжалованному в рядовые за дуэль с чванливым столичным фертом и снова удостоенному офицерских эполет в боях на Кавказе, этот театр верноподданничества, это лицедейство показались бы смешными. Сегодня же в его душе, наряду со всеми иными ощущениями, теплился огонек искреннего сентиментального патриотизма. Чем глубже и безнадежнее дети его утопали в крамоле, тем чаще старый Присецкий мысленно возвращался в свою кадетскую юность, когда во снах и грезах бог являлся впечатлительному подростку в образе Николая Павловича, одетого в мундир гвардейского полковника. В такие минуты середина его жизни, те разболтанные, умопомрачительные шестидесятые годы,— перемены в форме, когда, кажется, во всей России не было двух офицеров, одинаково одетых (фуражки вместо шишаков [1], галуны, где надлежало быть шитью, откидные рукава на мундирах), мода на бороды и усы после принципиально голощекой николаевской эпохи, волосы до плеч и синие очки нигилистов [2], короткие причес-

---

[1] Ш и ш а к — старинный головной убор в виде высокого, суживающегося кверху шлема с шишкой наверху.

[2] Н и г и л и з м (от лат. nihil) — отрицание установленных общественных норм, принципов, законов. Широкому распространению слова «нигилист» способствовал роман И. Тургенева «Отцы и дети» (1862).

ки эмансипированных курсисток, мода на либеральные разговоры о крестьянской реформе, о реализме и классицизме, образовании и равенстве для женщин,— представлялись теперь сплошным бредом, навеянным обществу черными, адскими силами, и подсознательно Присецкий лишь их обвинял в своем нынешнем разладе с детьми.

Потому-то так импонировал ему капитан, который принял Николая Максимовича в киевском губернском жандармском управлении. Подпоручик Присецкий по старой армейской традиции глубоко презирал «синешинельников» — в жандармский корпус прорывались преимущественно бездарные училищные холуи, потому что там было легче дослужиться до чинов; но ореол таинственности и всесилия, окутывавший охранников престола, в последнее тревожное десятилетие понемногу разъел и его подпиравшееся только предубежденностью бывшего лихого офицера недоверие. И когда отцовская недоля подвела Николая Максимовича к меже, за которой для всех его надежд и чаяний чернела черная пропасть, он прибегнул не к губернским чинам, даже не к генерал-губернатору Черткову, а именно к жандармам, втайне надеясь дождаться от них дива, словно в раннем детстве от иконы своего заступника и защитника святого Николая, который сурово посматривал из-за лампадки.

Присецкий был уверен, что его, рекомендованного влиятельными родственниками жены, примет сам полковник Новицкий, начальник киевской жандармерии, и, когда увидел франтоватого молодого человека с погонами капитана, тень разочарования легла на все еще горделивое, хотя и приглушенное несчастьем лицо Николая Максимовича. Но капитан уже спешил от стола навстречу Присецкому мягко и почтительно:

— Помощник начальника губернского жандармского управления, капитан Судейкин. Признаюсь, давно мечтал познакомиться с отцом таких чудесных детей...

Ошеломленный Присецкий тяжело вздохнул:

— В наши времена иметь взрослых детей не радость, а горе, господин капитан. Если уж дети уверены, что они умнее родителей...

— Не говорите, не говорите так, Николай Максимович, я лично убежден, что между поколениями вашим и ваших детей больше общности, чем различия. Недавно я имел аудиенцию у графа Лорис-Меликова, и Михаил Тариелевич со мной согласился. Вы в молодости были самыми настоящими идеалистами — вы обожали покойного Николая Пав-

---

Позднее слово «нигилист» было подхвачено русскими реакционными публицистами 60-х — конца 70-х годов и использовалось для клеветы на революционеров-демократов.

ловича. Величественная фигура Николая Павловича и ваш светлый патриотический идеализм еще долго будут согревать наши души и служить примером подлинной преданности самодержавной идее. А когда царя и бога заменили скальпель, ножницы, расчлененная лягушка, реторта и синие очки, не стало истины, не стало идеала, один лишь, извините, смердючий материализм с его животными инстинктами. Новая же молодежь, ваши дети,— это возрождение идеализма, Николай Максимович. Они снова зажгли огонь вашей мечты вопреки общественной вульгарности. К сожалению, между идеалами вашего поколения и их есть существенное, я бы сказал, трагическое различие. Вашим идеалом была Россия. Ваши же дети ослеплены идеей, принесенной из чужих краев, от исконных врагов России, их идея — это плод верхоглядства западных и наших недоучек. И это в то время, когда на сто тысяч населения в России лишь шестнадцать врачей, а по всяким там Швейцариям — семьдесят, по Америкам — по полторы сотни. Наша молодежь отвернулась от реальной жизни и заблудилась в абстрактной идее социализма. Вот драма нашего времени, драма ваших детей, и не кому-нибудь, а нам с вами нужно думать и думать, как спасти молодое поколение...

— Иванушке нашему не повезло, что он вышел из военно-инженерного училища по состоянию здоровья гражданским чином. Был бы он офицером, а не попал в университет,— ничего такого не случилось бы, я уверен...

Но капитан снова не дал Присецкому завершить свою мысль — его худощавое, сухое лицо остывало, цепкие глаза остановились на Николае Максимовиче и словно бы колдовали над ним, а в доброжелательном голосе зазвучали ледяные нотки:

— Если бы в шестидесятых годах ваша дражайшая супруга Софья Семеновна не собирала у себя многословных гадячских либералов да не вольнодумствовала в присутствии детей, если бы она же в семидесятых годах, будучи уже тяжелобольной, не проклинала царский род и наш строй, если бы вы не спешили забивать головы дочерей науками, а готовили их к нормальной человеческой жизни, если бы Иван Присецкий в военной гимназии не распространял запрещенные стихи и революционные прокламации, если бы не покидал воинской службы из-за своих надуманных принципов, если бы не познакомился в Киеве с государственными преступниками, которые либо умерли на виселицах, либо подыхают на каторгах, если бы не служил связным между петербургскими и киевскими преступными организациями — видите, сколько «если бы»,— ему не пришлось бы прошлой зимой убегать от властей, словно разбойнику, через окно и не пришлось бы сейчас прятаться в мансарде отцовского

дома в ожидании, пока на шею набросят петлю или пока отец вымолит ему снисхождение начальства.

— Он даже не догадывается, что я в Киеве! — воскликнул глубоко пораженный осведомленностью капитана Николай Максимович.

— Зато мы все и обо всех знаем, как видите,— торжествующе улыбнулся Судейкин.— И должен откровенно сказать, что у него теперь единственное спасение от виселицы — покорно и чистосердечно во всем признаться. И тогда я, капитан Судейкин, от имени Михаила Тариелевича обещаю ему полное прощение. Как видите, власть милостива к тем, кто к ней тянется. Вот об этом, господин Присецкий, я и хотел с вами сегодня поговорить...

Николай Максимович покорно склонил седую голову.

Он неторопливо обогнул дом, мимо амбара вышел на хозяйственный двор. В ригах стучали цепами молотильщики, пьянящий дух плыл от повети, где климовские бабы складывали в папуши табак, парубки выкатывали из сарая для телег ширококрылые мажи, готовились ехать за картофелем; в загородке жевали жвачку волы — экономия, словно гигантский паровик, дышала, жила и без надзора машиниста-хозяина. Но от зоркого глаза Николая Максимовича не укрылись и неповоротливость парубков возле сарая, пока они не заметили барина, и пучки сена на дорожке от стогов к конюшне, и перекошенная набок, будто начатая, скирдочка сторновки возле риги,— а его, Присецкого, не было всего лишь неделю! Хозяйство нуждалось не в наемных хозяевах-экономах, оно просило волевой руки хозяина, подтверждая тайные надежды Николая Максимовича на сына.

Лет десять назад, когда Иван приезжал на каникулы в блестящем, с погонами, мундирчике военной гимназии, будущее сына рисовалось Присецкому повторением его собственной жизни, правда, с некоторыми различиями в начале военной карьеры. Человек трезвый и реалистичный, Николай Максимович не строил воздушных замков, не ждал, что Иван вдруг добьется слишком высоких чинов, если, конечно, не случится на войне счастливая возможность показать себя. Но турецкая кампания обещала быть раньше, чем Иван получит офицерский чин, а протолкаться в мирное время сквозь толпу титулованных болванов Ивану не светило, тем более что он не обладал необходимым для этого покладистым, предупредительно-коварным и льстивым характером. По его тогдашним рассчетам, Иван должен был выйти из армии в чине полковника, жениться на местной барышне с приличным приданым и, присоединив богатства жены к отцовской экономии, жить мудрой и размеренной жизнью ува-

жаемого в губернии помещика, готовя прочный материальный фундамент для следующего поколения Присецких...

Жизнь рассудила иначе.

Теперь, после серьезных конфликтов с властью, Ивану по служебной лестнице не подняться. И если уж ему назначено судьбой влачить весь век жалкое существование писаря, младшего помощника делопроизводителя в какой-нибудь никчемной киевской, полтавской или гадячской канцелярии в ожидании мизерной пенсии, то куда умнее смолоду обосноваться в провинции среди мужиков, подальше от начальнических глаз и ушей, и тихо выращивать пшеницу, коноплю и детей, как это и сделал в свое время он, отставной подпоручик Присецкий.

После обнадеживающего разговора в жандармском управлении, которого он добивался тайком и от жены, и от детей (для них он якобы выезжал из Климова в Полтаву по хозяйственным делам), Николай Максимович только так и представлял будущее сына. Потому-то сейчас, обходя экономию, мысленно вписывал в нее Ивана и уже ощущал облегчение оттого, что значительную часть хлопот по хозяйству сын переложит с утомленных отцовских плеч на собственные, молодые и сильные. Считая себя нынче для сына ангелом-добровестником, творцом его новой жизни, спасителем, Николай Максимович, не задерживаясь в экономии, а сделав круг, свернул к дому и черным ходом, с задворок, поднялся на мансарду. Впервые за последнее время душа Присецкого была переполнена радостью и надеждой, и это отражалось на его походке, неожиданно упругой и энергичной.

Иван с книгой в откинутой набок руке лежал на диванчике. Просеянное сквозь тюль на окне бледное, осеннее солнце мягко высвечивало его лицо с высоким челом. Какой-то миг Николай Максимович любовался сыном; теплая волна отцовской растроганности охватила его. Но Иван уже увидел на пороге отца, вскочил с диванчика, одернул пиджак.

— Здравствуйте, папа. Как вам ездилось?

В привычных житейских буднях, пока речь не шла о чуме, напасти, болезни века — политике, дети были и с матерью, и с ним, отцом, трогательно-ласковыми и приветливыми. Утешая в гнетущие минуты отчаяния, это одновременно подтверждало глубокое убеждение Николая Максимовича, что и его дети — как дети, не хуже, чем у людей, а может, и лучше, они просто больны, и эта болезнь — скоропреходящая, наносная, а не врожденная, следовательно, излечимая, и его родительский долг любой ценой спасать детей. Присецкий сел возле столика, заваленного книгами и рукописями, неторопливо раскурил сигару, предчувствуя благодарную радость сына за его известие и заранее утешая этой

радостью свою утомленную, изболевшуюся душу, и только чуточку погодя тихо и проникновенно заговорил:

— Я привез тебе, сынок, радостную весть. В Полтаве я не сумел устроить свои земельные дела, пришлось ехать в Киев и там, благодаря счастливому случаю, я повстречался с одним из высоких и влиятельных людей. Ты прощен, сынок, и возблагодарим господа бога, что все так хорошо закончилось. Ты милостиво прощен властью, остались лишь одни формальности...

Он скорее почувствовал, чем увидел, как угольки Ивановых зрачков загорелись, вспыхнули пламенем, еще больше оттеняя бледное, чуткое лицо, которое совершенно очевидно становилось все холоднее и холоднее.

— Неужели же вы, папа, ездили просить за меня?!

— Да, ездил и просил,— с глубокой верой в свою правоту ответил Николай Максимович.— Ездил и просил. Ибо разве душа моя не болит, что м о й,— Присецкий сделал ударение на этом слове,— сын с чужим паспортом, словно бродяга и душегуб, прячется от людских глаз по чердакам!

— Папа, папа...— простонал Иван, опускаясь снова на диванчик и закрывая лицо ладонями. Острые плечи его под льняной сорочкой нервно дрожали.— Я не хочу никакой милости...

Впервые за весь сегодняшний день тревожная неуверенность закралась в душу старого Присецкого, и, подавляя ее, он жестко улыбнулся.

— Так, может, сынок, ты хочешь на виселицу?

— Да, да, лучше виселица, чем такое прощение! — горячо воскликнул Иван, вскакивая с диванчика.— Вы ведь офицер, папа. Неужели вы забыли, как называется солдат, выпрашивающий милость у врага?!

— Я воевал с врагами России, которые зарились на ее целостность. А ты воюешь с Россией!

— Извините, папа, но ведь я и мои единомышленники воюем не с Россией, а с кучкой кровопийц во главе с царем, за будущую социалистическую Россию! И помилования я не жду! Да как вы могли, папа...

Это было то, чего никак не мог понять Николай Максимович, привыкший считать счастьем, божьим благословением то, что он родился не где-то там среди легкомысленных французов с их кровавыми революциями, а в наипреславнейшей и наихристианнейшей империи, осиянной наиправедливейшими и могущественнейшими монархами. Конечно, в империи не все ладится, случается, что ошибаются даже цари, ведь цари тоже земные люди, хотя их власть и от бога. Это ведь верно, что в свое время он, Присецкий, следом за либералами, которых тогда было слишком уж много, косо посматривал и на крепостное право (дескать, Россия давно

пережила рабство) и внутренне был против обезземеливания крестьян на Полтавщине, когда знакомые гадячские помещики пытались погреть руки на реформе; и вообще, мало в России железных дорог, хлеб залеживается на складах, а Европа тем временем доискивается дешевой американской пшенички; мало дорог, мало врачей, а зато много чиновничьей братии по канцеляриям, которые так и следят за тобой, будто крысы. Но все это — временное, скоропреходящее, у царя не до всего доходят руки, а возле престола трется много честолюбивых людей и карьеристов, жаждущих чинов и орденских лент. В главном же Николай Максимович никогда не сомневался, не разрешил бы себе иметь сомнения, да и не представлял, что у кого-нибудь другого они есть на самом деле, тем более — у его собственного сына, являющегося частичкой его самого, плотью от плоти, что сын не только сомневается, но и убежден в ненужности для народа небом дарованной и освященной веками царской власти. Он почувствовал: еще миг — и сорвется, и покатится под откос своего неудержимого гнева, как это не раз случалось ранее, а уже и без того пропасть между ними, между отцом и сыном, росла на глазах и в ней кипел, подмывая берег, на котором стоял Иван, ненасытный и злой водоворот. Огромным усилием воли Николай Максимович взнуздал себя и рассудительно промолвил:

— Я уже давал клятву не спорить о политике ни с тобой, Иван, ни с твоими сестрами. Оставайся при своем мнении, но примирись с властью. Поживешь возле нас с матерью, а там и учиться разрешат...

— И вы, папа, хотите, чтобы я написал неискреннее покаяние?

— Я хочу, чтобы у меня был сын,— твердо сказал Присецкий.— А грех твой перед богом я возьму на себя.

— А грех перед моей совестью и моими товарищами — кто возьмет этот грех?

— С твоим письмом я поеду хотя бы к самому государю.

— Покамест к капитану Судейкину...

Рука старого Присецкого от неожиданности вздрогнула, пепел сигары упал на пол.

— Откуда ты знаешь про капитана?

— Знакомый почерк, папа,— помрачнел Иван.— Отцов — на детей, детей — на отцов, друзей — на друзей, единомышленников — на единомышленников, в душу каждого вселить подозрение и страх. Они играют на ваших родительских чувствах. Вы, конечно, сказали, что я в Климове?

— Капитан знал об этом и без меня,— упавшим голосом произнес Николай Максимович. Он мучительно пытался взвесить правоту Судейкина и правоту сына.

— Он ничего не знал, я уверен, он мог только догадываться. Теперь они подождут день-другой, может, и в самом деле приползу на коленях, а не приползу — зубы покажут...

— Погибнешь, сынок, ни за что,— вздохнул Присецкий.

Недавнее видение пропасти между ним и детьми становилось все ярче, протянутая рука Николая Максимовича повисла над бездной, никому из них, его детей, не нужная, всеми ими отвергнутая. Финал сегодняшнего разговора предсказывал многое, оба они, и отец, и сын, это чувствовали: одному — молодость в тюрьмах да по ссылкам, другому — одинокую, безрадостную старость. Сын смотрел на отца печальными глазами и тоже молчал, чувствуя, что́ сейчас творится в душе старика, и будучи бессильным чем-нибудь помочь ему, чем-нибудь его успокоить. И обоих это молчание уже начинало угнетать, когда в дверь постучали.

Вошла Софья. Ее лицо, обычно сосредоточенное, замкнутое (с этой внешней скованностью диссонировали лишь губы, полные и чуткие), сейчас, казалось, излучало какую-то радость, адресованную брату. Но, неожиданно встретив в мансарде отца, Софья приугасла и снова спряталась в раковину из темного жесткого репса, который казался еще темнее от света крахмального воротничка и такого же белого шарфика на шее. Не по летам зоркие глаза Николая Максимовича заметили эту перемену в лице Софьи — водоворот на дне пропасти беззвучно подтачивал берега, и земля, еще недавно твердая и надежная, уходила из-под ног старика, оставляя после себя ужасающую пустоту.

— Приехал Александр Михайлович,— будничным и бесцветным голосом сообщила Софья.

Иван вскочил с дивана:

— Сашко! Где он?

— Переоденется с дороги. И придет сюда.

— Ты с ним разговаривала? Что нового т а м?

— Он спрашивал о месте земского врача. Ему обещано...— деловито, открыто остужая Иванов запал, говорила Софья, но по раскрасневшемуся лицу сына, по его нетерпеливому хождению из угла в угол комнаты, по скупой, будто процеженной сквозь полотно, дочериной речи Николай Максимович чувствовал, что не этих осторожных слов ждал Иван и не ради них поднималась в мансарду Софья,— присутствие отца сковывало их. Еще никогда, кажется, не чувствовал он себя таким лишним и чужим возле своих детей, как в эту бесконечно долгую и гнетущую минуту. Присецкий тяжело встал и, шаркая сапогами, вышел из комнаты.

Иван, остановившись посреди мансарды, смотрел вслед отцу и, как только дверь закрылась, тихо вздохнул:

— Жаль старика...

А поскольку Софья не откликалась, он взглянул на сестру и, пораженный, умолк на полуслове: ее широко раскрытые глаза, упорно, плотно стиснутые губы свидетельствовали о внутреннем напряжении. Через минуту линия ее губ скептически надломилась.

— Жалость для революционера — чрезмерная роскошь...

— Соня...

— Даже жалость к отцу. К отцу, который тайком ездит на поклон к жандармам, а потом приказывает вывесить на доме тряпку с орлом, чтобы засвидетельствовать свое верноподданничество. Мать уже заказывает благодарственные молебны и тасует для тебя, Иван, ковалевских барышень, а для сестер уездных чиновничков, чтобы вы поскорее родили табун новых обывателей и на том успокоились...

— Будь снисходительнее, Соня. Отец — словно дитя. Судейкин погладил его по головке, а он уже и растрогался, уже готов и руку целовать.

— Инстинкт раба...

— Инстинкт отца. Когда у тебя будут свои дети...

Бледность, будто густая посеребренная вуаль, опускалась на ее лицо с висков, с высокого выпуклого лба, заливала щеки и подбородок, и теперь полные красные губы сестры, которые вдруг задрожали, показались Ивану кровавой раной. Сестра отвернулась, приникла к окну и так застыла, будто распятая на раме:

— Я не позволю себе... Женщине в жизни нужно выбирать что-нибудь одно: либо ты наседка, либо человек... Кстати, Иван, в Киеве неудача. Судейкину кто-то донес, что готовится побег из тюрьмы. Хлопцев уже вывезли в центральные тюрьмы. Для них это все...

Полчаса назад Николай Максимович поднимался в мансарду, глубоко уверенный, что отныне его детям, по крайней мере сыну, впереди блеснул ясный свет; теперь медленно шел вниз по той же витой лестнице, как в подземелье, где черно, мертво и безнадежно. Уже ступив на половицы сеней, широких и длинных, отделявших покои хозяев от чуланов и комнат для прислуги, он увидел четко вписанный в солнечную раму ведущих в сени дверей силуэт Софьиного мужа; высокий и стройный, с бородкой на худощавом выразительном лице, Александр Богомолец широкими шагами направлялся к лестнице, привычно заложив руки за спину и выставив вперед лобастую, с густой гривой волос голову. Увидев в

нескольких шагах впереди себя Присецкого, он почтительно отступил в сторону и остановился:

— Здравствуйте, папа...

Было время, когда Николай Максимович, несмотря ни на что, даже симпатизировал зятю. Зимой семьдесят шестого года, как гром с ясного неба, упало на их с женой головы письмо дочери: не хочу, мол, увеличивать свой долг перед народом, оставляю седьмой класс гимназии, буду жить собственным трудом, а еще выхожу замуж за молодого врача Александра Богомольца, он очень добрый и очень любит меня...

Николай Максимович быстро собрался и помчался спасать дочь от патлатого киевского «нигилистика» в синих окулярах и с пледом на чахоточных плечах, который вскружил девчушке голову модными идейками. Но в Киеве он встретился не с девчушкой, которая во время каникул в Гадяче распевала с дворовой челядью малороссийские песни, проглатывала книгу за книгой да на лодочке плавала по реке Псел, будто мальчишка сорвиголова, а со взрослым человеком, имевшим свои взгляды на жизнь и осмелившимся отстаивать их даже перед отцом. Во время острых и для обоих — отца и дочери — горьких споров будущий зять оказался удивительно степенным и рассудительным. Он явился одетым аккуратно, даже изысканно: добротно сшитая черная пара, сорочка с крахмальным воротничком, скромных тонов галстук. Задиристая, резкая и упрямая Софья выгодно оттеняла спокойную и даже ласковую вдумчивость и прозорливость Александра, хотя Николая Максимовича не покидало ощущение, что молодой врач разговаривает с ним, как с безнадежно больным.

И отдавал дочь Николай Максимович с легким сердцем и добрыми надеждами: замужество остудит ее горячую голову, жизнь рядом с человеком, благомыслящим и уважаемым в обществе, окажет на девчонку благотворное влияние, а там появятся дети, и ей будет уже не до «народа и революции». А вскоре после венчания старый Присецкий с огромным удивлением узнал, что зять разрешил Софье учиться на женских врачебных курсах в Петербурге. Когда же Александр Михайлович, прервав врачебную практику в Елисаветградском уезде, поехал с женой на Кубань проповедовать социализм, Николай Максимович почувствовал себя окончательно обманутым. Правда, во время недавней беседы в жандармском управлении он попытался было сослаться на рассудительность и серьезность зятя, но любезный капитан сухо улыбнулся: «Ваш зять слишком мудрый и осмотрительный, но мы-то наверняка знаем о его путешествиях через западную границу с революционной литературой, да и не только с литературой...»

Сегодня Александр Михайлович был точно так же изысканно и строго одет, как и во время их первой встречи, будто и не он только что приехал на почтовых. Вежливо поздоровавшись с тестем, он поспешит наверх, в мансарду, где ждут не дождутся его, Присецкого, дети, для них этот человек давно уже стал роднее и ближе, чем собственный отец. Глухая, как осенняя ночь, завистливая ревность поднималась из глубины взбудораженной души Николая Максимовича и, своевольная, уже неуправляемая, затмевала сознание. Теперь он понимал правоту своей жены, Софьи Семеновны, которая во всех несчастьях с их детьми обвиняла зятя и только зятя: Александр свел Софью на скользкую дорожку, Александр познакомил Мизю с тем варнаком Павлом Ивановым, по которому давно уже плачет виселица. Александр подговорил Ивана выйти гражданским чином из военного училища и приглашал его в Киевский университет, Александр пытался погубить и Ольгу, уговаривая их отпустить дочь в Полтаву... За которым же из их детей он приехал сегодня?

— Здравствуйте, Александр Михайлович...— с нарочито холодной вежливостью ответил Николай Максимович на приветствие зятя и, ступая по-военному четко, прошел мимо.

Слегка отодвинув шелковую портьеру на дверях гостиной, он остановился, растроганный. В светлом, наполненном мягким осенним солнцем зале, возле стеклянной двери на террасу полулежала в глубоком кресле Софья Семеновна. Ее белое, изнуренное многолетней болезнью лицо резко контрастировало с привычно темными платьем и кофтой, темным шерстяным пледом и темной спинкой обитого кожей кресла, напоминая яблоко зимних сортов, оставшееся на верхушке безлистной, исхлестанной ветрами яблони. Рядом, на вертящемся стульчике, сидела Мизя, Мизинчик — их младшенькая, и расчесывала матери волосы, все еще удивительно густые и черные, чуть ли не единственное, что свидетельствовало о былой красоте уездной красавицы Софьи Саранчовой, нареченной отставного поручика Присецкого. Впрочем, и сейчас в линиях полупарализованного тела Софьи Семеновны, в контурах и выражении ее продолговатого лица, в непринужденно откинутой на спинку кресла голове было что-то изысканное и значительное. Мизя, с ее юной красотой и грациозностью, даже в движениях не затмевала этого впечатления, наоборот, подчеркивала его: так стройный побег, отпочковавшийся от корня, лишь оттеняет зрелое величие тополя. Солнечные блики, отразившись в высоком зеркале у стены, вышивали бледными узорами темный бу-

фет, золотили поднятую крышку фортепиано и пышными охапками лимонной мяты или лесных ромашек ложились на узорчатую, с кистями скатерку обеденного стола.

Этот живой рисунок, словно скопированный с литографии «Домашней беседы», дышал традиционным, устоявшимся уютом; такой или почти такой представлялась Николаю Максимовичу крутая вершина человеческого существования, его смысл, его высокая цель. Человек рождается, чтобы, в меру своих сил послужив престолу, родить и вырастить себе подобных. Человек приходит в этот мир как в меблированную комнату, и не его забота, как расставлена мебель,— комната эта меблирована задолго до его прихода. В крайнем случае, он может обратиться с просьбой к хозяину дома, и тот милостиво прикажет челяди передвинуть мебель или же поставить новую, более удобную.

В его мечтательных размышлениях эта идиллическая картина жила давно, но только как фрагмент большого полотна; на этом полотне фантазия старого Присецкого дорисовывала сына с благородной красавицей невестой, дочерей с видными зятьями, еще и стайку внуков; они съехались в Климово на рождество, на пасху или на летние каникулы. Выше этой картины его фантазия не простиралась, да и, по его глубокому и искреннему убеждению, не было в мире ничего, что могло бы возвыситься над этим,— после уже оставалось только спокойно, с искренним и чистосердечным ощущением исполненного долга переселиться в мир иной.

Мать и дочь разговаривали приглушенными голосами, почти шепотом, и до Николая Максимовича доносились лишь обрывки фраз:

— ...коллегию Галагана... Университет... За студенческие беспорядки.

— ...из дружков Александра Михайловича...

— Он такой, он такой, маменька, что нет таких больше!..— громко, счастливо засмеялась Мизя, укладывая матери волосы и наклоняясь через спинку кресла к ее лицу.— Он мужественный, он добрый, он... не похож на других! И он меня так любит!

— Дитя мое!..— тяжело вздохнула Софья Семеновна.— Тебя нельзя не любить. Ты у меня будто ангелочек, будто с неба. Но ангелам среди людей бывает очень плохо: люди, Марийка, ой-ой, не ангелы...

Мысль, что он невольно подслушивает, кольнула чувствительного Николая Максимовича; он кашлянул и переступил порог гостиной. Жена повернула голову и посмотрела на Присецкого пристальным, пытливым взглядом; наверное, на лице у мужа не было обнадеживающей радости, потому что в ее глазах, и без того грустных, угасли искры, зажженные наивно-трогательной исповедью дочери. Софья Семенов-

на знала о надеждах, которые он возлагал на беседу с сыном. Присецкий опустился на стул возле буфета.

— Нам с матерью поговорить нужно, Мизя.

Мария быстренько уложила волосы матери и вышла, но не в свою комнату, а в угловую дверь. Ее торопливость, которая в другой раз свидетельствовала бы лишь о покорности дочери, сейчас больно задела мнительного Присецкого. Мизя, даже их маленькая Мизя, рада-радехонька покинуть родителей и как можно скорее помчаться в мансарду: а вдруг Богомолец привез весточку и от ее Павла Иванова, от одного лишь упоминания о котором лицо капитана Судейкина посинело, словно утиное яйцо. Ревнивая обида в душе Николая Максимовича набухала, росла, единственное, что утешало его сейчас: эту обиду есть кому высказать. В его голосе зазвучали горькие нотки:

— Наш сын, Софья Семеновна, слишком верит в правоту своих социалистов, чтобы склонить голову перед людьми, преданными государю. Наш сын, Софья Семеновна, как и наши ученые дочери, глубоко убежден, что только он да горсточка его зеленых единомышленников знают правду, которой до сих пор недоставало миру все века и тысячелетия от сотворения и по сей день.

— У нас — своя правда, у них — своя, Николай Максимович. А своя правда кажется самой правдивой, особенно смолоду.

— Их правда ведет в Сибирь...

— Бог милостив...— с выстраданной, мягкой уверенностью промолвила Софья Семеновна.— Если уж он наказал меня, он не будет наказывать моих детей. Это было бы несправедливо. Я несу их крест.

— Каждый несет свой крест в этом мире,— склонил голову Присецкий.— Над нашими детьми тень виселицы. Иван уже полгода, словно убийца или преступник, живет с чужим паспортом. Софью выслали из Харькова по приказу генерал-губернатора как неблагонадежную, Ольгу московская жандармерия отдала на поруки отцу, и даже наша Мизя...

— Я знаю одно, и бог свидетель: к такому я их не готовила,— нервно прервала речь мужа Софья Семеновна.

— Дети всегда идут немного дальше родителей, как утверждает наша родная доченька Софья... Вот они и пошли,— невесело пошутил Присецкий, все больше распаляясь,— но если ребенок изо дня в день только и слышит от матери о всяких там эмансипациях, эволюциях, революциях, если ребенка учат молиться не богу, а лобастым идолам — Некрасову или Шевченко, если ребенку с малых лет читают разных там Щедриных, если лицо матери озаряется и становится ласковым от упоминания о царененавистниках Чернышевских и Герценах и хмурится при имени государя импера-

тора,— кто вырастет из такого ребенка, скажите мне? Злодей, варнак, разбойник, государственный преступник — вот кто из него вырастет, Софья Семеновна...

Софья Семеновна молчала. В словах мужа, при всей их злой запальчивости, слышалось эхо счастливого сна ее полузабытой молодости, когда по всей империи после тридцатилетней николаевской немоты бурлило словесное половодье, когда люди, вдоволь наговорившись, засыпали с трогательными, наивными надеждами на завтрашний день, когда в душах бродили хмельные весенние соки, делавшие каждого смертного на короткий исторический миг великим и бессмертным. Николай Максимович прав: она угощала этим хмельным питьем и своих детей, дабы не выросли они пустоголовыми, чванливыми куклами, а всегда оставались людьми. Но никогда, действительно никогда, в этом никто ее не обвинит, она не подговаривала своих детей даже приблизиться к черте, отделявшей сферу убеждений от реальной жизни.

Почему именно ее Иван, ее Софья и Ольга, ее Мизинчик должны жертвовать собственным счастьем и даже жизнью, обращая несовершенный, лишенный здравого смысла мир к разуму? Человеческое общество — это гигантский камень, который катится с горы, и каждого, кто пытается остановить его стремительное, безрассудное движение или изменить направление этого движения, камень безжалостно раздавит. От самой мысли об этом сердце Софьи Семеновны стыло, наливаясь глубокой печалью и материнским страхом. В такие минуты увлечения далекой молодости казались еретическими, греховными, и она горячо молилась, вымаливая у бога прощение себе и детям.

Человечество для Марии четко и бескомпромиссно делилось пополам: люди, готовившие революцию или по крайней мере сочувствовавшие ей, и люди, которые против революции боролись или же ненавидели ее. Первые казались девушке удивительно прекрасными, мужественными и добрыми, людьми исключительно положительными; вторая половина человечества олицетворяла всю черноту мира сего. Мать и отец выпадали из этой схемы: Мария, самая младшая в семье, любила их по-детски искренне, ласково, любила, несмотря на их убеждения. И радостная торопливость, с какой она вышла из гостиной, свидетельствовала лишь о том, что девушка в поре любви. Мать уже кое-что знала про Иванова. Мария разрешила матери заглянуть в тревожную девичью радость и сразу же замкнулась, как ей казалось, на

семьдесят семь замков. Не могла же она признаться матери, что ее Павел, ее возлюбленный, должен был быть двадцать вторым на недавнем киевском процессе революционеров, что его уже давно разыскивают жандармы, которые хорошо знают об участии Павла Иванова в студенческих волнениях, и о его «малороссийской пропаганде» в Киевском уезде, где Павел, исключенный из университета, учительствовал, и о его активной деятельности в киевских рабочих кружках, объединенных в «Союз рабочих»; не могла же она рассказывать матери, что Павел, пока полицейские ищейки выслеживают его на киевских улицах, готовит побег из Лукьяновской тюрьмы товарищам, осужденным на пожизненную каторгу, и Александр Михайлович, только что прибывший из Киева, наверняка знает, удался ли этот побег или, может, и ее Павел уже сидит за решетками замка,— она ничего этого не могла сказать матери, тем более отцу. Они, наверное, умерли бы от треволнений за своего Мизинчика, Мизю, Марийку...

Она почти бегом поднялась по крутой лестнице на чердак и резко открыла дверь мансарды. Иван сидел на диване, нервно стиснув ладони коленями и опустив голову. Софья, в черном, печальная и суровая, стояла у окна. Александр Михайлович, с руками за спиной, размеренно ходил по комнате.

— Что с Павлом? — чувствуя беду, тихо спросила Мария и прижалась щекой к дверному косяку.

— С Павлом все в порядке. Его предупредили в последний момент. Иначе он попал бы в лапы жандармов. Кто-то донес Судейкину о подготовленном побеге; кто-то из заключенных, больше некому было. Михаила, Игната, всех хлопцев, которых судили вместе с ними, спешно вывезли из Киева в центральные каторжные тюрьмы...— Александр Богомолец говорил отрывисто и деловито, будто диктовал фельдшеру историю болезни.

Мария закрыла глаза. Ее радость, что Павел счастливо избежал жандармской западни, сейчас была бы очень неуместной, а между тем в душе своевольно прыгали солнечные зайчики: жив и на свободе! Жив и на свободе, а не едет в зарешеченном вагоне навстречу вечной ночи, безнадежности и смерти. В следующий миг гнетущее видение каменного мешка, в котором замурованы тысячи борцов, выплеснулось на эгоистичную Мариину радость, и с острым ощущением неумолимой реальности она едва ли не впервые поняла, что уже никогда ни мрачновато-строгий Михаил Попов, ни ласковый, добрый Игнат Иванов, ни застенчивый Дмитрий Буцинский не повстречаются ей на многолюдных киевских улицах и не придут чаевничать к ним на Кузнечную, в небольшую двухкомнатную квартирку окнами в сад, не будут спорить до хрипоты, не будут обсуждать приглушенными

голосами планы по созданию типографии; их уже нет для живых, хотя они и есть где-то за тюремными стенами, за частоколом штыков; если же кто-нибудь из них и возвратится через десятки лет со своей голгофы, это уже будет другой человек, как будет к тому времени другой и она, Мария. Что-то непонятное, более дикое и ужасное, чем смерть, дохнуло в растревоженную Мариину душу; глаза ее предательски увлажнились, и по щекам потекли слезы. Стыдясь этих недостойных бунтаря слез, она повернулась к двери и так застыла — голос Александра еле пробивался к ней, будто из-за стены.

— Ну, арсенальное начальство среагировало на прокламацию «Союза» — уменьшило рабочий день на два часа, увеличило время на опоздания. Ага, заведующий слесарной мастерской — штабс-капитан Прохоров, обворовывавший рабочих, уже не выдает плату, к кассе приставлен более осторожный штабс-капитан...— В беспристрастном, информационном тоне Богомольца улавливалась снисходительная ирония.— Будем считать, что Лесковы [1] с хлопцами Павла кое-что сделали для наведения порядка в нашей родной империи, и в принципе начальство должно быть ему благодарно...

— Мы только начинаем ступать там, где до нас почти никто не ступал, а насмехаться легко...— защищался Иван.

— Знать собственные деяния, по Канту, является вообще задачей критического мышления, путем самопознания и самосознания...

— Это по Канту. А для бесправных, беззащитных рабочих малейший испуг и отступление начальства — уже победа. Развеять чары власти, кажущейся затравленному человеку всесильной и всевидящей, словно бы даже не от мира сего,— это все-таки немало,— промолвила Софья.

— Извини, Софийка, но между социализмом и угрозами по адресу заведующего мастерскими киевского «Арсенала» мало общего.

— Я не принадлежу к «Союзу», не голосовала за программу Лесковых и не разделяю ее. Но революционеры не вправе заискивать перед пугливым либералом, который охотно митингует в уютных киевских гостиных...

— Софийка, ты категорична. Ты пренебрегаешь протянутой рукой интеллигенции, людей, которые в самом деле способны критически мыслить...

— Если интеллигент в час пробуждения человеческой совести не выбрал, с кем он — с голодным народом или с кучкой околопрестольных деспотов, он не интеллигент, не чело-

---

[1] Под фамилией Лесковых в Киеве вели революционную работу организаторы «Южнорусского рабочего союза» Николай Щедрин и Елизавета Ковальская.

век духа, он — чиновник, хотя и боится признаться в этом даже самому себе. А чиновников я никогда не любила, как, кстати, не любит их и народ.

— Народ...— горько улыбнулся Александр Михайлович.

— Я знаю, что ты сейчас скажешь,— заторопилась Софья.— Но когда я говорю о народе, то не имею в виду бессарабских мясников...

— Я хотел бы, Софийка, сказать лишь то, что народ — это не человеческий муравейник, а пробужденные от летаргического сна личности, как бы мало их ни было. Лавров прав: народный дух в данную эпоху есть дух критически мыслящих личностей этой эпохи. И, пренебрегая союзом с интеллигенцией, пускай даже и рефлексирующей, ты, Софийка, в своей горячности непроизвольно примыкаешь к сонной инертной массе, которую кое-кто из нас предупредительно называет народом...

— Вы, мой уважаемый любитель мудрости, почему-то не цитируете вторую половину этой же лавровской фразы. А Лавров, напоминаю, далее пишет вот что о тех же самых личностях: «...понимающих историю народа и желающих внести в его настоящее возможно более истины и справедливости». Что касается меня, то я бы сформулировала точнее и непримиримее: не «желают внести», а «вносят». Революционеры могут ошибаться, но лучше ошибаясь что-нибудь делать для народа, чем не делать ничего,— голос Софьи зазвенел.— Если десяток рабочих и крестьян из тех сотен, которые впервые услышали из моих уст слово «социализм», запомнят его и научат своих детей понимать его смысл, я буду чувствовать себя счастливой и буду знать, что не зря прожила жизнь, несмотря на все наше весьма слабое, с точки зрения грядущих революционных поколений, теоретизирование...

— Оставим споры, друзья, доспорим, как говорят, в тюрьмах! — горько пошутил Богомолец.— Покамест мы с Иваном имеем от киевских кружков поручение: выехать за границу, связаться с революционной эмиграцией и переговорить относительно объединения революционных групп на Юге России в единую организацию и об издании печатного органа. Многие товарищи в Киеве убеждены, что у нас все готово для объединения, а этого объединения требует жизнь. Я думал день-два передохнуть, но поскольку о пребывании Ивана у родителей в гостях уже знает Судейкин, самое разумное, что мы с Иваном можем сделать,— немедленно, в эту же ночь, исчезнуть в направлении румынской границы. У меня там есть знакомые контрабандисты, которые за пятерку с души переведут нас в спасительную тень от другой венценосной головы...

Мария тихо выскользнула за дверь мансарды: дразнящее фехтование революционеров на рапирах слов тяжко угнетало ее. Каждый, кто причастен к революции, освящен в ее глазах своей высокой миссией, сознательной жертвенностью и благородством целей и не подлежит никакой критике, даже критике своих единоверцев; сияющие шеренги их, мертвых, замученных царизмом, и живых, стояли по обочинам ворот в царство свободы и справедливости, которые вот-вот, в грядущий День Революции, должны отвориться для обездоленного человечества, как в ее детских снах после вечерних сказок о небесном рае кормилицы и няньки, климовской крестьянки, открывалось золотисто-розовое небо...

Мария вышла в сад; сквозь темное переплетение развесистых деревьев и кустов студено синело внизу, под пригорком зеркальце водоема; и тени на блекло-багряном лиственном пледе, и контуры сельских стрех по ту сторону запруды, и даже небо, зеленое с голубым,— все было по-осеннему пронзительно контрастным и резким, без полутонов. Но на опушке, у кустов сирени, солнце еще настойчиво молодилось; тут издавна стояла деревянная, с высокой спинкой скамья, свидетель Мариных, наедине с книгой, юных мечтаний: старшие сестры и брат либо учились, либо заняты были неотложными делами в широких мирах и даже на каникулы, когда Мария радостно выпархивала из стен Лебединской женской прогимназии, редко объявлялись в родительском гнезде. Она опустилась на скамью, устало закрыла глаза; нежные пальцы солнца ласково блуждали по ее лицу от висков до подбородка, пробуждая несмелое воспоминание... Как-то ранней весной, проводив Марию с вечеринки на Подоле, Павел не подал руки, как обычно делал, а словно бы ненароком, невзначай, подчинившись внезапной вспышке чувств, с глубоко сдерживаемой нежностью погладил Мариину щеку, отодвинув непокорную прядь волос, выскользнувшую из-под шляпки. Тогда она вспыхнула румянцем, резко отклонилась и старательно нахмурила брови, подчеркнув таким образом неуместность поступка Павла после вечера жарких революционных речей, после их тихой беседы о только что налаженной Ивановым подпольной типографии «Южнорусского рабочего союза». На самом же деле ей так хотелось взять широкую, пропахшую свинцом и типографской краской ладонь Павла в крошечные, полудетские руки и прижать к своему разгоряченному лицу! Она сама испугалась этого внезапного желания, еще более непозволительного, чем поступок Павла, процокала каблуками по ступенькам крыльца, ухватилась за ручку звонка, будто обессилевший пловец за обломок лодки, а потом несколько дней застенчиво избегала ласкового взгляда Иванова...

Легкий ветерок проносился вверху, над зарослями си-

рени перешептывался с коричневыми кистями необломанного увядшего цвета, срывал с дубов вдоль забора цепкие листья. Лодочки листиков, перепрыгивая через невидимые воздушные потоки, невероятно долго, казалось — вечность, опускались с ветвей на землю, и реальное ощущение времени утрачивалось, человеческая (следовательно, и ее собственная) жизнь представлялась не скоропреходящей, а бесконечно протяженной во временном пространстве, резко-синем, чуточку холодноватом, как небо над головой. Эта жизнь для нее, собственно, еще не начиналась, ее двадцать лет — лишь прелюдия, запев, а настоящая жизнь начнется вместе с Революцией, с зовом революционных горнов — земля оденется в цвет, люди снимут свои маски, которые отчеканили жестокость и эгоизм эгоистической эпохи, и вдруг станут такими, какие они есть на самом деле, без масок: добрыми, умными, чуткими, чуточку похожими на Павла, на Софью, а возможно, и на нее, если она вырастет в настоящую революционерку; и в том грядущем удивительном мире, где все будет не таким, как сейчас, и люди не такими, и земля, и небо, и все-все,— они с Павлом.

Манящие видения этого царства свободы и справедливости, всечеловеческого счастья, озаренные трепетным чувством к Павлу, наплывали, тревожили и были словно в цветном сне: Марии часто снилось, будто она летает, и земля внизу — разноцветно вышитый рушник, развевающийся на ветру.

И когда сквозь это радужное марево пробился шорох листьев, который все приближался, она удивленно раскрыла глаза, будто впервые увидела аллею между головерхими, подбеленными известью яблонями, высокую, стройную, в темном платье и с темной шалью на плечах Ольгу, поднимавшуюся от пруда к дому. В ее руке привычно чернел кожаный саквояжик с аптечкой и медицинскими инструментами. Выпускница женских врачебных курсов, она, будучи высланной полицией из Москвы в Климово на поруки отцу, практиковала в селе и городке. Ее большие серые глаза вобрали в себя сестру, сиреневые кусты вокруг скамьи, белый каменный дом на пригорке, зеркальную гладь пруда; и Мария в спокойном, чистом и по-осеннему грустном плесе сестриных глаз вдруг увидела себя — мечтательную, разнеженную девчонку, клубочек возбужденных нервов, влюбленную барышню, чуткую к собственным радостям и глуховатую к чужому горю: разве не она так зарделась от счастья, узнав, что Павел избежал жандармской западни, хотя Михаил Попов с товарищами потерял последнюю надежду вырваться на волю; а разве не она только что еле удержалась, чтобы не крикнуть навстречу Ольге о полноте своих чувств, об их с Павлом обоюдном счастье, нынешнем и будущем?

Когда Ольга устало опустилась на скамью, Мария прижалась к сестре, заглянула в лицо:

— Хочешь, Ольга, выслушать мою исповедь? Я вот здесь на солнышке сидела и так думала: несправедливый общественный строй вынуждает людей одеваться в самые отвратительные личины — злые, коварные, завистливые, чванливые, бездушные... И лишь горстка людей борется за правду, без масок. Потому-то нас, бунтарей, и травят, и преследуют; это словно бы на бале-маскараде, где каждый кого-то изображает и лишь несколько чудаков пришли со своими собственными живыми лицами. Но как только настанет революция, люди моментально снимут навязанные им маски и будут такими, какими они являются на самом деле под этими личинами: добрыми, великодушными, мужественными, умными... Бал-маскарад закончен, кошмарные гости-привидения разлетелись. Так я себе думала, вот здесь сидя. А после этого я встретилась с твоими серьезными, грустными глазами и будто заглянула с их помощью в собственную душу, заглянула и ужаснулась: боже, да я ведь ужасно самовлюбленная эгоистка, я первая буду чувствовать себя в новом мире белой вороной, выродком, потому что вокруг будут жить души чистые, как хрусталинки...

Ольга смотрела на сестру добрыми, чуточку улыбающимися глазами:

— И никакой ты не выродок, Марийка, а живой человек, чуткий и влюбленный. А что касается эгоизма, то все мы чуточку эгоисты. Святых людей нет, я по крайней мере не встречала, да и святость не в том, чтобы быть чистыми, как стекло, а чтобы видеть пустые пепелища в себе и засевать их добрым и честным. Смешная ты — думаешь, проснутся люди на следующий день после Революции и мгновенно станут райскими праведниками. Социализм поставит душевные изъяны вне своих моральных законов; самолюбие, корыстолюбие, чванливость, жестокость и другие подобные им отрицательные качества при справедливом общественном строе окажутся никчемными и смешными, и, наоборот, нравственные достоинства высоко будут цениться обществом. Лишь при таких условиях человек постепенно будет высвобождаться из разного рода наслоений грязи, налипших на него в течение многих веков рабства...

Софья Семеновна распорядилась накрывать обед в светлице. Обычно Присецкие обедали в столовой, но даже с маленькими детьми там было тесновато. Теперь дети выросли, к ним присоединился зять, но не теснота подсказала Присецкой мысль об обеде в зале. Софье Семеновне хотелось праздничности и торжественности: сегодня все ее дети снова

были рядом с ней, в отеческом имении Саранчовых-Присецких, даже не верилось, так редко это случалось в последние годы. Ей хотелось тишины и семейного согласия, не внешней позолоты, а внутренней, пусть даже временной, на этот обеденный час в семейном кругу, отреченности от тех страстей, от тех призраков, которые, будучи насланными злыми духами времени, преследуют их.

Они, ее дети, толковые и горячие, по молодости своей не понимают главного: жизнь — это прежде всего не фанатическая верность убеждениям, не безнадежный поединок с всесильной властью, а здоровье и душевное согласие. Больные не нужны ни деспотам, ни революционерам. Кто-кто, а она, которая вот уже пятнадцать лет страдает тяжким недугом, это знает. Когда в душе неотступное терзание, когда в душе нет спасительного равновесия, то и революция тут ничем помочь не сможет. Не идея, не внешняя мировая кутерьма, а только стены родного гнезда, только успокоительное дыхание семьи, только свое отражение в детях — твой день вчерашний, сегодняшний и завтрашний, твоя подпочва в этом призрачном и неустойчивом земном бытии. Она давно уже испытывала боль от того, что дети, по крайней мере Софья, четвертый год, замужняя, этого не понимают, не ощущают...

Потому-то и хотелось Софье Семеновне, чтобы хотя бы на короткий миг ее дети ощутили семейное тепло, семейные радости, увидели себя вместе, в родном кругу,— а вдруг в глубинах их душ что-то заветное пробудится и прорастет...

Они собрались в светлице, ее дети, ее поросль, все, что она обрела в этом мире. Даже Иван спустился вниз, хотя до сих пор обед ему носили в мансарду. Впрочем, может, это и к лучшему, шила в мешке не утаишь, все равно челядь знает, что молодой барин дома. Может, отцовские увещевания все-таки протрезвили его горячую голову, и сын помирится с властями. Все закончится хорошо, бог его не обойдет... Софье Семеновне так хотелось верить в чудо!

Иван поставил стул возле кресла матери и уже не отходил от нее, легко и весело рассказывая историйки из своей казарменной (в Николаевском военно-инженерном училище) жизни. Зараженный патриотическими идеями славянского освобождения из турецкого рабства, он ревностно собирал в училище пожертвования в пользу восставших герцеговинцев до тех пор, пока начальство не цыкнуло на него: патриотизм тоже разрешается выражать со строго регламентированной страстью, а энтузиазм, избыток патриотизма казался подозрительным, крамольным. Софье Семеновне от этих рассказов не становилось веселее: правительство собственноручно рубило сук под собой; и только высокоче-

лое лицо сына с нервным блеском быстрых проницательных глаз приглушало ее тревогу.

Зять, как всегда, по-докторски внимательный, расспрашивал Софью Семеновну о состоянии ее здоровья. Ольга села за рояль и, аккомпанируя себе, потихоньку напевала грустноватый романс. Голос ее, глубокий, душевный, гармонировал с печально-пронзительным, клонившимся к вечеру, осенним днем под окнами светлицы. Соня ходила по зале. Скрытая внутренняя тревога отразилась на ее побледневшем лице, кто-кто, а мать умеет читать все на лицах своих детей. Мария присела у окна с книгой — девушка должна была вскоре сдавать экзамен на звание фельдшерицы при Киевском врачебном отделении; уголки ее глаз были красными: много читала или плакала? Наверное, плакала.

Николай Максимович, по-военному точный, вошел с последним ударом часов на мраморном столике. Он был празднично одет, как и надлежало отставному офицеру в табельный день; по темному сукну длиннополого сюртука сверкала, обтекая блестку боевого ордена, золотая цепочка часов. Утренней воинственности, казалось, уже не осталось в нем; Николай Максимович был солидно-строгим, но мирно настроенным; тщательно расчесанные серебряные пучки усов придавали его лицу мягкое спокойствие, лишь в глубине узких прищуренных глаз Софья Семеновна прозорливо заметила грусть и настороженность.

За обеденным столом дети вежливо молчали, ожидая отцовского или материнского слова. Тишина была несколько напряженной. Наконец Николай Максимович, коснувшись салфеткой губ, поднял доброжелательные глаза на зятя:

— Что слышно на белом свете, Александр Михайлович?

Ему было чуточку неловко за недавнюю демонстрацию в коридоре.

— То, что пишут в газетах, Николай Максимович: Бисмарк, князь Александр, планы англичан в Азии, ужасающие цены на хлеб, голод, голод, голод. А один панок, ехавший со мной в поезде, от Киева до Ромен, утверждал, что железные дороги выдумали немцы, чтобы истощить Россию, свезти всех в города, а города взорвать динамитными снарядами...

— Немцы не немцы, а железные дороги пока еще мало послужили нам на пользу, это правда. По железным дорогам люд в города стекается, в скопище жмется. А в толпе человек становится меньше, злее, потому на свете и бедлам такой,— покачал головой Присецкий.— И чем только эти современные вавилоны так приманивают людей? Шум, гам, толчея, чужие мысли, в оторопевшую душу засевается много, а прорастает мало, постепенно глохнешь и душой и телом,

впечатление стремительного течения жизни, а на самом деле — гнилая заводь...

— Оно, возможно, и так, если смотреть глазами стороннего человека, не городского. И все же, Николай Максимович, разрешите с вами не согласиться,— осторожно, подбирая слова, повел корабль беседы Александр Михайлович.— Газовые фонари, широкие мощеные улицы, красивые витрины магазинов, конечно, не свидетельствуют о духовном обогащении современного человека, но не свидетельствуют они и об обратном процессе — обеднении. Как бы там ни было, город оказывает на человека огромное влияние — жизненные проблемы обостряются в городах, нищета трудовых масс и роскошество аристократии поражают своей контрастностью более чуткие сердца, подталкивают лучших критически мыслить. Я уже не говорю о библиотеках, театрах, музеях, о возможности вращаться в среде образованного, интеллигентного гражданства. Именно потому города становятся колыбелью прогресса: большие общественные движения нашего столетия зародились именно в городах...

Тем временем подали второе: ароматные, золотисто-медовые карпы, утром выловленные из пруда,— Софье Семеновне хотелось угостить детей чем-то вкусненьким; она проследила, чтобы кухонная челядь не пережарила их, теперь ждала благодарных восторгов. Но даже молодые ели вяло, а Николай Максимович и вовсе лишь делал вид, что занят рыбой; Софья Семеновна почувствовала: последние слова зятя задели мужа за живое. И, боясь, что условную плотину вдруг прорвет, она схватилась было за первую попавшуюся новость, которую принесли утром газеты, но все известия, от быстро растущих цен на хлеб до стопятидесятимиллионного железнодорожного займа, оказались при ближайшем рассмотрении легко воспламеняющимися, способными вызвать резкие словопрения среди присутствующих, а возможно, и непримиримейшую распрю.

— Это как понимать прогресс, Александр Михайлович,— опередил ее муж.— Не всякие перемены, не всякое движение вперед является прогрессом, и наоборот, не всякий так называемый прогресс является залогом продвижения вперед ко всеобщему благу. Разве история не знала эпох, когда не движение, а остановка, именуемая консерватизмом, который обвинен либеральщиной во всех смертных грехах, была дальновиднее, истиннее, чем бездумная погоня за чем-то неуловимым?

— Если движение обещает воплощение в общественных формах истины и справедливости, оно и является прогрессом,— сказала Софья, и Софья Семеновна тотчас же подняла на дочь полные немой мольбы глаза.

Спрятав подбородок в белые от напряжения, крепко со-

мкнутые кисти рук, дочь широко раскрытыми глазами смотрела на отца. Однако Николай Максимович сделал вид, что не принял во внимание слов дочери; видимо, почувствовав, что из-за одного его неосторожного слова может вспыхнуть за столом уже хорошо знакомый в семье спор, он сделал над собой усилие и примирительно промолвил:

— Конечно, я врожденный селянин, и городской муравейник: мне не по вкусу. Но согласитесь, Александр Михайлович: обезлюдение села и болезненный рост городов — явления обоюдно грустные. Так, чего доброго, мы тоже следом за Европой докатимся до органической болезни крупных промышленных центров — пролетариата и прочего...

Софья Семеновна видела, как при последних словах отца исказилось лицо дочери, и Софья Семеновна торопливо заговорила о первом, что пришло ей в голову:

— В самом ли деле, Александр Михайлович, хлеб растет в цене, или это просто газеты запугивают?

— Как ни странно, но на этот раз газеты пишут правду. Цены на хлеб все растут. Во многих губерниях России уже теперь, с осени, голод.

— Я убежден, Александр Михайлович, что в этой газетной шумихе больше паники,— снова заговорил Присецкий.— Россия, благодарение богу, не Индия, где на глазах либеральных англичан с голоду умирают миллионы. Наш государь не допустит такого. Местных неурожаев, конечно, отрицать не приходится, но даже в отношении Саратовской губернии сенатор Шамшин свидетельствует, что наряду с действительно голодными селами одного уезда всегда можно встретить село со значительным запасом старого хлеба. Другое дело, что наши ленивые мужички вместо того, чтобы наняться на работу, спешат отнести в корчму и казенный заем, выданный из милости нашим великодушным государем...

— Как это для нас типично, эта официальная сладкая фальшь — обезземелить, ограбить народ, вывезти хлеб за границу, польстившись на европейское золото, и притом упрекать народ мизерной милостыней! — Голос Софьи зазвенел.

Николай Максимович откинулся на спинку стула. Его полное, обрамленное усами лицо заметно багровело. Через миг, овладев собой, он тихо, но с особым ударением вылущивая слова, сказал:

— Я не формально, а истинно верноподданный своего государя. За высокую честь называться русским гражданином я проливал кровь в военных кампаниях, и я не позволю политическим шарлатанам, если это даже моя родная дочь, тенденциозно говорить о государе и о положении в стране!

— Высокую честь называться русским гражданином да-

ровали и даруют, папа, не военные кампании, а свинцовые рудники Сибири и тюремные централы!

— Не знаю, дочка, как это называется по-чужеземному — ваши нигилизмы, политические интриги, революционные пропаганды, ваши гнилые немецкие социализмы, вам это лучше знать, а по-нашему это называется прямо, без обиняков: государственная измена! — с последним словом Присецкий ударил ладонью по столу: зазвенели графины с домашними вишневками, терновками, зубровками, покачнулась высокая фарфоровая соусница.

— Конечно, отец, когда среди ста миллионов слепых рабов появляется группка зрячих людей, способных на самостоятельный критический взгляд, способных пожертвовать жизнью, чтобы отстоять право народа на физическое и нравственное развитие в стране, где критика давно умолкла, наука похоронена, а философия пошла в содержанки, их способность нормально видеть обывателю всегда кажется преступной и греховной, во имя собственного спокойствия обыватель первым взывает к власть имущим: на костер их! — с горечью и прочувствованной болью сказала Софья.

Бросив в тарелку с недоеденным карпом скомканную салфетку, Николай Максимович встал. Его желтые от табака пальцы нервно плясали на краю стола, выпученные из-под выцветших ресниц глаза уставились на дочь:

— В своей дьявольской гордыне вы только себя считаете зрячими, на самом же деле вы — кучка ослепленных недоучек, рабы чужих идей, предатели своего государя, ваш идеал — слепое разрушительство, а потом — хоть трава не расти. Лишу наследства!..

Оттолкнув ногой стул, упавший на пол, Николай Максимович широким шагом, на глазах ссутулившийся и постаревший, ушел в кабинет.

— Я, папа, не нуждаюсь в наследстве, добытом ценой народных страданий! — громко, но внешне спокойно и просто, без малейшего движения, рассчитанного на эффект, сказала Софья вслед отцу и тоже встала из-за стола.

Софья Семеновна беспомощно плакала, упав на ручку кресла.

Он сидел в одиночестве над прудом, в садовой беседке, обвитой паутиной уже безлистного дикого винограда, и задумчиво наблюдал, как красноватая рыбина предзакатного солнца неторопливо заплывает в лозняковую заводь противоположного берега. Предвечерье было мягким, влажным, горизонт над селом — подернут серой пеленой, обещающей дожди. Заканчивался последний день золотой осени, и было

что-то грустновато-щемящее в этом бесповоротном движении времени; Александра Михайловича вдруг кольнула мысль, что, возможно, он в последний раз в Климове, эта мысль разворошила и потянула за собой клубок гнетущих предчувствий, но в следующую минуту он опомнился и заставил себя трезво, деловито размышлять о том, когда им с Иваном лучше отправляться в дорогу, с вечера или под утро, чтобы дожди не размыли проселок и дали возможность успеть на кременчугский поезд: впечатлительный и чуткий, Богомолец умел властно взнуздывать свои эмоции, прятать их в глубины сознания, в рамках внешней суховатой сдержанности.

Эта черта его характера не слишком высоко ценилась в среде горячей киевской молодежи, где превыше всего ставились страсть и бунтарская безоглядность. Зато когда речь шла о конспирации, о серьезных заданиях революционной партии, уравновешенность «доктора Александра» служила движению лучше, чем эмоциональная расхристанность некоторых бунтарей. И когда очередной столб огня и едкого динамитного дыма поднимался на дорогах Александра II, Богомолец наверняка знал: частица того, что так громко, на весь цивилизованный мир взорвалось, прошла и через его руки, недаром же они с Яном (австрийским подданным Самуилом Майером) так хорошо знали тайные тропинки через западную границу империи. Разумеется, теперь, после недавнего провала на румынской границе Ярослава Пиотровского — Пана — с типографией, безопаснее было бы махнуть в сторону Австрии или Германии, но тогда не миновать Киева, который все еще на военном положении, а для Ивана это опаснее, чем кишиневский контрабандист, который ради рубля обведет вокруг пальца самого хитрого и подозрительного жандарма. Они двинут на юг, двинут еще вечером, чтобы ранним утром добраться до железной дороги, а там через Днепр — и напрямик. Каждая минута здесь, в Климове, может стать для Ивана, да и для него последней минутой на свободе.

Шорох листьев в аллее вспугнул его мысли, Александр оглянулся и увидел Софью, которую ожидал. Ее бледное, чуточку поднятое вверх лицо с живыми глазами, казалось, торопливо летело впереди высокой фигуры в репсовой юбке и сером летнем пальто. Она напоминала сейчас Александру парусник, гонимый по темным водам Днепра внезапным ураганом. Парусник, скрытый от глаз пенистыми волнами, казался утлым, слабым, почти бестелесным, и только ветрило, подобно белой птице, вольно и восторженно парило над взбудораженной рекой. Такой одержимой, одухотворенной его Софийка была всегда: и на тайной студенческой вечеринке, на которую были приглашены сознательные гимназистки

из кружка женской гимназии (здесь он впервые увидел ее), и в кубанских селах, где они пропагандировали идеи социализма, и даже на фотопортрете, присланном из Петербурга в Елисаветградский уезд, где он тогда имел врачебную практику, с решительной, страстной надписью, будто в России не существовало ни перлюстрации писем, ни жандармского корпуса: «Почитателю «мудрости» Sofia. Надо учиться, надо учиться!! Света, Света!.. Свободы, Свободы!» Такой он ее любил, любил всегда, с первой их встречи, но сегодня в этой золотисто-темной аллее будто увидел впервые новыми, свежими от предчувствия скорой разлуки глазами, и до боли острое чувство пронзило Александра. Это не была только влюбленность, а крепкий, смешанный напиток из любви, уважения и тихой, возможно, в какой-то степени профессиональной жалости к этой худенькой, сильной духом и слабой телом, к тому же еще и беременной (об этом знали покамест лишь они двое) женщине. Счастливые полнотой чувства слезы выступили у Александра на глазах, он торопливо встал, пошел навстречу жене и, подчиняясь внезапному движению растроганной души, взял в свои руки ее трепетные, будто голубиные крылья, ладони и нежно поцеловал их. Это был миг, известный в каждой семье, которая под золой супружеской жизни бережет живой огонь чувства, которое внезапно, нежданно пробуждается и согревает души. Лицо Софьи озарилось благодарной улыбкой и тут же, после еле заметной минуты колебания, оно заметно охладело, замкнулось. Мягко, но решительно, с глубокой уверенностью во власти над своими эмоциями она высвободила свои руки и осуждающе взглянула на мужа:

— Ты ведь знаешь, Саша, мы не можем разрешить себе быть сентиментальными. Это разнеживает...

— Ты была так красива здесь, в аллее...

— Красива...— скептически вытянула губы Софья.— Красив цветок, красиво платье, красив попугай или щегол в клетке, красив пейзаж,— меня уже с давних пор не интересует, красива я или некрасива: я не цветок и не картина в золоченой раме, я — человек. Ненавижу, когда меня считают игрушкой, приятной для глаз... Извини, Александр...

— Вечером мы с Иваном уезжаем. Я даже не знаю, когда вернусь.

Они молча спустились по аллее к пруду и пошли вдоль травянистого берега к плотине; солнце забилось в лозняк и погасло, влажный туман плыл по склонам поросших лесом холмов и будто нехотя клубился над седой водной гладью; косматые вербы на плотине еще видели отблески солнца по ту сторону холмистого берега, и их обнаженные ветви в венчиках уцелевших светло-желтых листьев золотисто восковели над окутываемой сумерками долиной.

— Извини, Александр...— тихо повторила Софья.— Но в последнее время у меня такое ощущение, будто с меня вдруг сошла кожа и я прикасаюсь к миру обнаженными узелками нервов. Ощущение не из приятных, но, наверное, только таким человек и имеет право на существование. То, мимо чего я раньше проплывала, закованная в чешую эгоизма, сейчас ранит до крови... Я стала раздражительной и нетерпимой, знаю, но это оттого, что другие люди одеты, а я — голая...

— И все же с отцом ты зря обошлась так резко,— осторожно, чтобы его слова не походили на поучение, промолвил Богомолец.— Нужно было пожалеть старика. Его уже ничем не переубедишь. Редко кто признает, что прожил жизнь не так. Да и нам нервы еще пригодятся. И нашему ребенку...

Они шли, взявшись за руки, и Александр почувствовал, как на последних его словах рука жены нервно вздрогнула; он пожалел о сказанном, но было уже поздно.

— Видишь, у тебя вырвалось, и ты уже сожалеешь,— без прежнего запала, с горечью и болью в голосе промолвила Софья.— Разве не так? Но ты сказал то, о чем думаешь и что угнетает тебя. Мы были друзьями, единомышленниками, мы боролись плечом к плечу с ненавистным деспотизмом, пока не шла речь о ребенке. А теперь, конечно, я только плодоносящее тело, которое призвано природой беречь и выращивать завязь...

— Зачем так, Софийка! Мы оба хотели ребенка.

— Мы оба хотели его и хотим, но ты сегодня поедешь вершить серьезные революционные дела, объединять, организовывать, переправлять через границу литературу, а я останусь есть творог, яблоки, отварное мясо, чтобы не раскормить ребенка, много ходить — и главное — забыть обо всем, чем жила до сих пор, ибо ничто так не вредит будущему ребенку, как нервное возбуждение беременной матери... Разве это справедливо? Разве мы так представляли нашу совместную жизнь четыре года назад, когда много говорили о женской эмансипации, о равенстве в семье, о раскрепощении женщины? А помнишь, как мы возвращались с лекции о взглядах социалистов на положение женщин и что ты мне сказал в тот вечер, помнишь?

— Но это же естественно, Софийка, и материнская любовь...

— Я не могу разрешить себе этой любви, как ты не понимаешь! Я рожу ребенка, это мой долг и перед тобой и перед природой, но слепой любви, которую называют материнской, которая превыше всего,— нет, нет! Я не могу себе разрешить любить, ибо любовь для революционера — чрезмерная роскошь, в минуту, когда нужно будет сделать решающий шаг, она вцепится в тебя, опутает тебя, она сильная и жадная, я

боюсь. Я не могу себе позволить смолчать перед отцом, ибо кто смолчал один раз, промолчит и во второй, и в третий, а передо мной все время маячит пропасть семейной идиллии. Я не могу разрешить себе быть терпимой с инакомыслящими, ибо терпимость для революционера опасна — это первый шаг к примирению с неправдой, к компромиссу. Я должна, понимаешь, должна отказаться от всего, чем соблазняет меня жизнь, я должна быть свободной!

— И даже от меня — свободной?! — уже не скрывал иронии, печально улыбался Александр Михайлович.

— И даже от тебя, если этого потребует революционное дело! — торжественно и строго произнесла Софья, глядя на темную мерцающую воду пруда, и вдруг резко повернулась, приникла к груди мужа: — Но ты знай всегда: я люблю тебя и буду любить...

Прислонившись лицом к стеклу, Иван жадно всматривался в окутываемый туманом сад; черные заросли кустов внизу на глазах разрастались, распрямлялись, хмуро пенились, заполняя полыньи опушек и русла аллей, где прошли едва ли не самые лучшие минуты его юности, когда он вырвался из стен военной гимназии, а потом — военного училища, чтобы зажить человеческой, не втиснутой в шоры уставов жизнью; в этой черноте постепенно утопали скамейки, беседка над прудом, взгорье с силуэтами климовских избушек, утопали для Ивана надолго, а возможно, и навсегда, потому что неизвестно было, вернется ли он еще когда-нибудь в родные края, переступит ли порог родительского дома; вскоре лишь верхушки тополей в конце сада широкозубым гребешком выделялись на фоне космато-сизого неба.

Ивану захотелось какой-то час, оставшийся до предвыездной суеты, побыть возле матери и отца. Это не было обычное воспоминание о сыновнем долге; желание родилось где-то глубже той щемящей грусти, которая прокрадывалась сквозь радостное предчувствие новой жизни. Легко и счастливо, совсем как в детстве, он быстро спустился по крутым ступенькам мансарды и заглянул в гостиную — там не было света, сквозь густые сумерки в сером околооконном оазисе сиротливо проступало материно кресло с крыльями рук на подлокотниках; ее лицо было повернуто вполоборота к окну и, выбеленное отблесками неба, иконно и строго светилось в комнатной тишине. Иван хотел уже прикрыть дверь, думая, что мать спит, но она сказала тихо и ласково:

— Войди, Иван.

— Почему вы в темноте, мама?

— Думала о вас, о себе.

— А где отец?

— В кабинете. Не выходит.

— Мне очень горько, что за обедом...

— Так бог судил,— печально промолвила Софья Семеновна.— Господь знает, как, и что, и зачем.

Она позвонила — внесли светильник с белыми, казавшимися даже прозрачными, стеариновыми огоньками. Иван увидел в этом мерцающем свете большие грустные глаза матери и, когда прислуга вышла, встал возле кресла на колени, прижался щекой к холодной материнской ладони:

— Я уезжаю, мама. С Александром. Так нужно.

— Может, и нужно, вы теперь лучше родителей все знаете. Нам бы с Николаем Максимовичем быть уверенными, что вы не больны, не бедствуете и одеты. Мы понимаем, что при несчастных обстоятельствах, которые сложились, жить с детьми не нужно. Сами того не желая, мы обижаем друг друга и потом страдаем. Лучше жить отдельно, но в мире и согласии, сынок... Николай Максимович! — сказала она попрежнему негромко, но дверь кабинета сразу же открылась.— Наш Иванко сегодня уезжает, он пришел побыть с нами.

Несколько долгих минут в кабинете было тихо, потом Николай Максимович переступил порог и, дохнув в зал крепким сигарным духом, подошел к сыну. Его лицо было сизовато-тусклым, губы под прядями пышных усов дрожали. Не поднимая на сына глаз, он широким размашистым движением правой руки перекрестил его; только после этого Иван увидел под густой сединой бровей глаза отца — непримиримо обиженные и печальные. В следующий миг старый Присецкий тяжело повернулся и, шаркая комнатными туфлями, ушел в кабинет. Глаза Ивана помимо его воли увлажнились, и он отступил к стене в тень.

Александр с Иваном выбрались в дорогу уже в глухую полночь; Софья попрощалась с мужем на плотине — сдержанно и буднично, но после этого так и не смогла уснуть и до утра просидела на диванчике в мансарде, упрекая себя в собственном слабодушии.

В идеале она представляла себя невозмутимой, напрочь лишенной семейных склонностей, чуждой земным радостям и печалям; а все эти чувства — лишние шоры, липкая паутина, топкое болото, коварно засасывающее революционера, который должен всегда чувствовать себя свободным, как ветер, диким степным конем, что никогда не знал пут, не знал конюшен и не мечтает об уютном стойле в морозную вьюгу, когда леденеют и небо, и земля под копытами; конечно, материнство — это счастье, и она никогда, никогда от него

не отказывалась бы, но еще трагичнее — ждать пробуждения новой жизни в своем теле, непередаваемо радоваться ему и одновременно вскидываться, как необъезженный скакун от прикосновения вожжей, которые властно натягивает крошечный деспот, поселившийся в тебе, твой будущий плод, твоя радость, твоя надежда...

Материнство — это счастье, но Софья не представляла счастья без внутренней духовной свободы. Женщина же, носящая ребенка, уже не принадлежит себе. Плод является отрицанием цветка, писал Гегель. Александр это понимает по-своему, по-мужски, но не решается сказать, она чувствует его молчаливый приговор и бунтует, но это бунт на коленях, бунт жертвенный, иначе она не таилась бы от мужа со своим твердым решением ехать в Киев, где сейчас, после летних процессов над революционерами, так нужны люди, в ту красную метель, на поле боя, где горстка отважнейших людей самоотрешенно истекает кровью...

И вдруг в глубинах тела Софьи, которое, казалось, не имело сейчас четких реальных пределов, а было огромным, как планета, где-то под сердцем родилось несмелое, мягкое щекочущее движение. Вдребезги разбивая логичные конструкции мыслей, невыразимо нежная волна радости и растроганности и нового, неведомого дотоле чувства наплывало на женщину, мягко окутывало ее душу, опьяняло ее сладостным напитком, усыпляло, убаюкивало, а сердце словно бы оборвалось и растаяло в зове жизни, которая зародилась в ней. Какое-то мгновение Софья счастливо прислушивалась к себе, затем приказала себе встать и одеться, как она обычно одевалась в дальний путь. Осторожно ступая, чтобы не разбудить спозаранок родителей, спустилась вниз, прошла через залу. Сквозь окна цедился влажный осенний рассвет. Открыла дверь комнаты, где спала Мария. Сестра подняла голову.

— Я еду с тобой, Марийка, в Киев,— голосом суховатым и строгим, не допускающим возражений, сказала Софья.— Пора укладываться. Нам нужно успеть на поезд...

Мария ехала сдавать экзамен при врачебном отделении Киевской городской управы на звание фельдшера.

Благословив в дорогу Марию, Николай Максимович на рассвете велел кучеру запрягать в бричку старого видавшего виды мерина и поехал в поля. Давно уже нужно было окинуть хозяйским глазом клин под озимыми, коноплю на лугах, вспаханную толоку, но за метаниями по Киеву ему некогда было это сделать. Да и любил он эти неторопливые путешествия по осенним, подернутым туманами нивам, где в эту пору и мужичка не встретишь, и только темно-красная дикая груша с капельками росы на поредевших листьях стоит на меже, да молодой заяц, вспугнув коня, шмыгнет через

полевую дорогу. Такие поездки успокаивали и примиряли с богом, с людьми, с самим собой. Клубок, камнем запекшийся в груди, подпирал сердце, постепенно рассасывался, падал под ноги мерину мелкой изморосью, и уже то тут, то там, сквозь тяжелую пелену тумана вдали просвечивали сизоватые полосы небес, обещая хорошую погоду. Но вскоре горизонт снова хмурился, становился все ближе и ближе, небо супилось и клонилось к земле, обволакивая ее мягкой влажностью, орошая мелким дождиком. Просветы в тучах появлялись все реже, вместо них мгла над полями становилась все гуще и темнее, обещая затяжные осенние дожди, меланхолические, ровные, которые заморосят не сегодня-завтра и будут идти уже до самых холодов; осень становилась все глубже, как глубже становится река или пруд, ненасытно впитывая влагу небес, становилось все темнее, все печальнее; и это гнетущее, но примирительно спокойное настроение, этот дух вынужденного равновесия и отрешенности импонировали сегодня душевному настрою Николая Максимовича.

Проведя после стычки с Софьей бессонную ночь, он под утро пришел к мысли: самое лучшее, что он может сейчас сделать для своих детей,— это предоставить их самим себе и на волю божью; любые его метания до сих пор лишь удваивали глубину их падения в глазах властей, и, возможно, если бы он не сунулся к сыну с предложением жандармского капитана, Иван не поддался бы на уговоры зятя и не отправился бы в опасные и неблагодарные странствия по чужим землям, и не было бы вчерашнего столкновения с дочерью; а впрочем, что касается воли божьей, то господь, наверное, не имеет времени присматриваться к их земному мельтешению; и самое мудрое ныне — вот так, сложив руки на коленях, катить по сонному осеннему полю и смотреть на согнутую спину кучера, окутываемую прядью мокрого тумана. Им овладела апатия, не к жизни — жить Николай Максимович любил, любил вкусно поесть, как следует выпить, вдохнуть коренной запах земли, ущипнуть дородную служанку в сумерках сеней,— но апатия к действию, к поединку с судьбой; он решил: пусть будет так, как суждено быть; и еще подумал: это — старость.

И когда ближе к полудню, возвращаясь в имение со стороны Ковалевки, он увидел Ольгу, шедшую из городка, эта встреча не обернулась для него радостью, хотя старшую дочь, исключая сына, он любил едва ли не сильнее всех. Он заранее знал, как Ольга взглянет на него и что скажет: вот уже второй год, с тех пор, как полиция препроводила ее под отцовскую опеку, она просится хотя бы в Полтаву работать фельдшером, а что эта ее работа закончится Сибирью, пускай болит сердце у отца, они все будто овечки, спешащие на бой-

ню, они все — не в своем уме, а он не хочет, нет, не хочет стоять на пути отары, которая обтекает его, будто вода, и торопится навстречу своей гибели,— он устал. А может, и в самом деле они в чем-то правы, иначе откуда же эта неудержимая энергия движения?

Была одна минута в его беседе с жандармским офицером, которую Николай Максимович старался не вспоминать: воспоминание это вызывало боль в сердце. Судейкин, который знал, казалось, про всех все, услужливо поведал про оказию, которая чуть было не случилась в имении Присецкого,— только решительные действия жандармов помешали ей. Прошлой зимой, по рассказам верных людей, его родной сын Иван Присецкий подговаривал Михаила Попова, осужденного недавно на двадцатилетнюю каторгу, выкрасть сестру Ольгу, которой не терпелось положить и свою жизнь на алтарь революции. Молодые люди обо всем уже договорились: Попов под личиной мельника поселится в мельнице имения Присецких, познакомится с Ольгой, выкрадет полонянку, обвенчается и предоставит ей свободу. Иван, который, несмотря на все уговоры отца, никогда и пальцем не пошевелил ради хозяйства и слушать не хотел о том, чтобы взять часть забот по экономии на себя, в самом деле в конце зимы писал о старательном молодом мельнике, которого он встретил в Киеве и которого вот-вот привезет в Климово. Но так и не привез — оказывается, этот молодой человек вскоре уже исправно «молол» в камере Лукьяновского замка... И это собственные дети считают его злым цербером и, чтобы обмануть родного отца, плетут паутину заговора. А вдруг они в чем-то в самом деле п р а в ы?

Главное — не боль, не обида, они проходят; главное — отсутствие прежней уверенности, что ты и только ты мыслишь, чувствуешь, понимаешь единственно правильно, главное — тот червячок сомнения, который точит душу. И когда Николай Максимович поравнялся с дочерью и Ольга села рядом в бричку и подняла на отца глаза с давнишней упрямой мольбой, он неожиданно для нее и даже для себя произнес низким, усталым голосом:

— Поезжай, поезжай, Ольга, в свою Полтаву или куда ты там рвешься... Я не буду тебя задерживать.

Ольга, все еще не веря, удивленно смотрела на отца, а потом из глаз ее выплеснулась благодарная радость, и она приникла губами к шершавой руке Николая Максимовича. Они умолкли, и это молчание снова отчуждало их.

— Я, папа, вернусь на станцию, расспрошу о лошадях на завтра,— спохватилась Ольга, соскальзывая с брички и отступая на травянистую обочину дороги.

Ее высокая, стройная фигура в длинном, с пелеринкой пальто падала в туман, в объятия измороси, которая се-

ялась все сильнее и сильнее. Возле ворот экономии Присецкий скомандовал кучеру развернуться, тяжело сполз с брички:

— Догонишь барышню, отвезешь на станцию.

— Слушаюсь, барин.

Он пересек палисадник, освещенный свечами бархатцев, бодрившихся под изморосью, устланный пожелтевшими кустами отцветших цветов и подзелененный молодыми елями вдоль аллеи, ступил на порог дома и вдруг ужаснулся тишине, которая властно господствовала в доме. Он пошел по комнатам, дергая двери и не закрывая их за собой, пошел, хотя наверняка знал, что в просторном доме нет никого, кроме Софьи Семеновны в постели и одной из прислуг, которая тихо, будто мышь, передвигается из комнаты в комнату с веником и тряпкой в красных набрякших руках. В спальне жены Николай Максимович тяжело присел на край кровати, будто ноги у него подкашивались, и выдохнул в бледное ее лицо как-то по-детски жалобно:

— Вот мы снова одни, Софья...

— Одни, Николай Максимович...

И не было в ее голосе желанного утешения, а была лишь застарелая и оттого долгая, как бы рассудительная боль.

1917.
«СЫН КАТОРЖАНКИ...»

Он заставил себя думать о реке.

Волга зеркально мерцала под разжаренным куполом неба. Тщательно выглаженная водная гладь застыла между неподвижными и миражно далекими берегами. Осколками солнца посверкивали обалдевшие от зноя чайки. Сонно и нереально, будто привидения, плыли навстречу баржи и пароходы с обвисшими флагами на мачтах. Река напоминала Днепр его гимназических и первых студенческих лет, когда он еще не увлекался криминальной психопатологией и Достоевским и мечтал стать адвокатом-криминалистом, Днепр, куда убегал от официальной юриспруденции, которая старалась убедить его, что сила русского общества зиждется на всенародной любви к царю-батюшке и неприкосновенности личной собственности.

Однако Волга была полноводней и жилистей, чем Днепр его юности. Под внешним покоем реки он улавливал глубинную неудержимость, и их дощатая лодка со странно-молодецким названием «ЛОПСУ», лодка, которая на причале имела весьма солидный вид, здесь, на речном плесе, была лишь соломинкой, которую пленила неугомонная водная сила и теперь вот играет ею как хочет.

Но на горизонте уже виднелись обрывистые кручи Пристанного с колокольней и избушкой кабельщика на Кучегурах, зеленел лесистый Васяткин остров, отрезанный от берега тихим проливом, и они свернули к берегу. Лодка медленно, но упрямо и напористо резала упругое тело волжского течения, и Богомолец снова подумал о людях, которые на жизненной быстрине, в волнах человеческих страстей, желаний и мечтаний знают, куда плыть, и имеют силу, чтобы править веслами,— но сразу же приказал себе думать о реке.

Лодка прижалась к песчаной косе, и Александр Александрович быстро, чтобы опередить Татаринова, выпрыгнул на берег и взялся за канат. Тащить лодку волоком против течения было тяжеловато, но он не хотел, чтобы впечатлительный Татаринов подумал, что Богомолец пользуется своими профессорскими правами и лишь управляет, пока его помощник по лаборатории босиком меряет волжский берег: уже не раз, устав от весел, они прибегали к бурлацкому способу передвижения. Несмотря на протесты младшего коллеги, Александр Александрович впрягся в лодку и поволок ее в пролив. Веревка врезалась в плечо, ноги по щиколотки увязали в мокром песке, припекало солнце, но он, полусогнувшись, выбиваясь из сил, сосредоточенно шел по мелководью.

Он удалялся от мертво-смоляного духа расплавленных под летним солнцем асфальтов, от полнолицых мужчин и женщин в белом, которые под томный стон цыганских гитар и цыганских напевов плывут на зеленые пригородные острова, от скороспелых миллионеров-купцов в лакированных сапогах и с золотыми цепочками на перспективно округлых брюшках, от расшитых золотом форменных кителей и фуражек с кокардами, от театрального коктейля из духов, пудры и «голубого» пота... Он уходил от митинговых толп на саратовских улицах; от колонн с транспарантами и знаменами на Соколовой горе, над которыми лес лозунгов,— в этом лесу так легко заблудиться даже профессору университета; от идейной схватки на Крытом рынке, где над людским морем распинаются агитаторы партий, обещающие, если их кандидатов изберут в Учредительное собрание, манну небесную жаждущей и изголодавшейся земле. Он убегал от похожих на потревоженные ульи университетских аудиторий, от тифозных бараков и от зараженных тифом саратовских причалов, где под открытым небом ютится двадцать тысяч беженцев, от серологических анализов для военных госпиталей, от...

Он шел от вопросов, на которые нужно было непременно ответить, если хочешь чувствовать себя человеком, а не соломинкой, безвольно плывущей по течению.

И он снова — в который уж раз! — заставил себя думать о реке.

Название лодки расшифровывалось для просвещенных легко: «ЛОПСУ» — лаборатория общей патологии Саратовского университета. Той самой лаборатории, которая была создана лишь с приходом Богомольца в университет. Знакомя молодого профессора с университетом, ректор В. И. Разумовский завел его в крохотную комнатку, где едва вмещались стол и стул, и успокаивающе промолвил: «Это и есть ваша лаборатория. Все остальное зависит только от вас...» Богомолец сделал все, что от него зависело, а может, и больше: лаборатория общей патологии ныне одна из лучших в Европе. В ней лишь лодки и не хватает,— шутила его молодежь, его надежда; теперь лаборатория имеет и лодку. Возможно, когда-нибудь он расскажет своим ученикам-друзьям, что лаборатория общей патологии еще с 1912 года была известной лично их превосходительству начальнику губернского жандармского управления, хотя жандармы менее всего интересовались наукой. Началось с ареста в Петербурге товарища его детских лет в Нежине Александра Левчановского, у которого нашли адрес профессора Богомольца, а может, началось, когда профессор Богомолец взял под защиту «политически неблагонадежного» студента Федора Данского, когда того намеревались исключить из университета, уже — из третьего университета, ибо впервые Федора Данского исключили с третьего курса медицинского факультета Новороссийского университета в 1907 году якобы за «невнесение платы за обучение». А заплатить за обучение Федор не мог потому, что с июля 1907 года сидел как политический преступник в тюрьме, ожидая суда. Одесский военно-окружной суд осудил революционера на двухлетнее тюремное заключение. Выйдя из тюрьмы, Данский поступил на физико-математический факультет Петербургского университета, но в стране в разгаре был кровавый триумф реакции, и тернистый путь Федора привел его в стены Саратовского университета, где снова подстерегло его недремлющее жандармское око. Благодаря поддержке Богомольца, Федор Данский все-таки закончил университет, некоторое время работал в лаборатории общей патологии, даже жил у Богомольцев, когда Александр Александрович с женой и сыном выехал на юг («Александр Михайлович здоров,— писал тогда Данский из Саратова.— По вечерам — обычное совместное чаевничанье. Вчера и позавчера по его просьбе кое-как играл кое-что из Бетховена...»). Но началась война, и Федора Данского мобилизовали. Опыты пришлось прервать. Он все еще надеялся, что удастся остаться в Саратове, и писал в рапорте военному командованию: «...Проходя университетский курс, я отдавал значительную часть времени работе в лаборатории общей патологии и бак-

териологии и был намечен директором ее профессором А. А. Богомольцем по окончании курса в ассистенты... Кроме ознакомления с научной методикой вообще, я занимаюсь специально вопросом о почечной секреции, о чем свидетельствует, между прочим, моя конкурсная работа, которую совет университета отметил золотой медалью...»

Судьба науки и научных работников менее всего интересовала царскую власть — для нее наука всегда была только декорацией. Он, Богомолец, это давно осознал. Федор Данский с первых дней войны начал свои продолжительные странствия по военным госпиталям, заново после юношеского увлечения революцией овладевая наукой социальной правды и щедро делясь своими чувствами и мыслями со старшим другом профессором Богомольцем в своих страстных письмах на Крапивенскую улицу... Быть может, когда-нибудь он в самом деле расскажет своим ученикам-друзьям о «красной лаборатории», но сейчас, после Февральской революции, этот рассказ звучал бы нескромно, ныне много охотников напоминать о своих заслугах перед народом и прикидываться жертвами романовского режима.

Он уже не заставлял себя думать о реке, а целеустремленно раздумывал о том, что давно хотелось хорошенько обдумать. О случае, который рассказал в последнюю их встречу школьный санитарный врач большевик Сергей Иванович Мицкевич. Они беседовали о саратовском революционере, выступление которого Александр Александрович слышал в пятнадцатом году, большевике Владимире Антонове. Теперь Антонов, вернувшись из ссылки, был членом бюро губернского исполкома. Мицкевич пересказал Александру Александровичу содержание разговора Антонова с меньшевиком Майзелем. Однажды Майзель вошел в крошечный кабинетик Антонова в губернском доме, где располагается исполком, и спросил: «Послушайте, товарищ Антонов, я считаю вас искренним человеком, скажите мне, ради бога, откуда у вас, большевиков, такая фанатическая, я бы сказал, маниакальная уверенность в своей правоте?» — «Не могу вам точно ответить,— промолвил на это Владимир Антонов,— убеждены, да и только. А поскольку убеждены, почему-то не умеем быть неуверенными. Вот и все. Люди пролетарской массы».— «Но я такой же пролетарий умственного труда, как и вы, почему же у меня этого нет?» — «Это ничего не значит. Роль играет социальное воспитание и работа в пролетарской среде. Ленин тоже интеллигент».— «Возможно, возможно...— закивал головой Майзель.— Я что-то перестаю понимать и себя, и других...»

Пристанное, как и сто лет назад, пахло жнивищем, вяленой рыбой, молоком и пылью.

Вода лениво плескалась о днища привязанных рыбацких

лодок. Из хибарки кабельщика на холме выходил дед в списанной всеми ведомствами солдатской гимнастерке, трижды ударял в железный гонг и кричал через Волгу:

— Эй, на плоту, лот поднимай!

И добавлял, если на плоту замешкивались:

— Трам-та-ра-ра-рам!..

Возле Пристанного через реку был переброшен телефонный кабель.

«ЛОПСУ», разгоняя мелкую рыбешку, зашуршал днищем по мелководью и уткнулся носом в песок. Богомолец увидел жену Ольгу с сыном, которые направлялись к причалу по белой, будто вытканной из полотна тропинке, и с радостью подумал, что там, в городе, ему не хватало семьи. Все его тревоги — от одиночества и неуютности в пустой квартире. Только теперь, когда сын, Олег, вырвав из материной ладони руку, побежал по золотистому песку навстречу отцу, мелькая синей матроской, он почувствовал, как истосковался по нему. В такие бурные времена человеку необходимо семейное гнездо. «Я уже мыслю афоризмами»,— подтрунивая над самим собой, улыбнулся он. Будто в аудитории, когда, подытоживая лекцию, пытаешься сформулировать вывод. Профессорские привычки. Профессорские чудачества. Профессорская кафедра. Профессорская дача. Профессорская квартира. Профессорский чин. Профессорские гонорары. Сергей Иванович Спасокукоцкий прошлой осенью устроил традиционную профессорскую вечеринку и, смеясь, сообщил, что больной богатый купец заплатил ему за визит сто рублей и подарил двух огромных осетров. Осетров дружно съели. Крошки с панского стола. Французская кухня, японская кухня, китайская кухня, кухня польская; а не станет купцов — не станет и сторублевок и осетров. Ему недостает добродушного юмора Сергея Ивановича. Спасокукоцкий в Смыслове, крошечном родительском имении. Но Смыслова тоже не станет. То есть Смыслово будет, но там, где ныне стоит удобное профессорское кресло, будут стоять парты, и крестьянские дети следом за учительницей будут выпевать ударные и безударные гласные, звуки слогов. Они с Сергеем Ивановичем уже говорили об этом. «На восьмом съезде хирургов в 1908 году я делал доклад «Заворот кишок как болезнь голодного человека»,— полушутя-полусерьезно промолвил Спасокукоцкий.— Разве это не напоминает политическую программу?»

Но Мицкевич был прав: мы — демократы, мы — за революцию, пока революция не наступит нам на любимую мозоль. Когда у тебя квартира из десяти комнат, рабочий с десятью детьми живет в подвале, под твоей гостиной, где каждый вечер собираются интеллигентные люди за чашкой кофе или за бутылкой шампанского уютно побеседовать о революции и о необходимости социальных нововведений... Отец рас-

сказывал о барышнях-интеллектуалках, которые в восьмидесятых годах прошлого столетия в гостиных вели разговоры о социализме, а на кухне мимоходом отвешивали пощечины горничным: «Я за социализм, но с прислугой...»

Отец — его старший друг, его духовный наставник на протяжении десятилетий. Родные по крови — как это мало для человека его бурной эпохи, эпохи ломки существующих общественных отношений, эпохи революций, когда дети бунтуют против отцов, отцы отчуждаются от детей во имя чего-то большего, чем семейные связи,— во имя убеждений. Они с отцом — родные по духу. Политическим и моральным кодексом был для него отец. Он, профессор Богомолец, утвержденный «по гражданскому ведомству в чине статского советника», не брезговал, если требовали интересы дела, помощью сильных мира сего. В свое время он сумел выбить ассигнования на оборудование своей лаборатории в самом министерстве, в Петербурге. И когда отец на шестьдесят пятом году жизни решил поступить в Московский университет, сын предложил обратиться за помощью к знакомому из Одессы профессору Головину и получил памятный урок от отца. «Никто не должен за меня хлопотать,— писал ему возмущенный Александр Михайлович.— Поступление на историко-филологический факультет старика врача не может не вызвать разговоров. У Головина слишком яркий ярлык правого, и я стал бы в ложное положение, пристегиваясь к этому ярлыку. Ни в коем случае не пиши обо мне Головину...»

Один из Богомольцевых двоюродных, от которого, как признавалась Ольга, ее тошнило, потому что он «носился со своей прокуратурой как дурак с писаной торбой и восторженно рассказывал, что исполняет прокурорские обязанности довольно длительное время», недавно выплескивал перед Александром Александровичем свою взбаламученную душу: «Дед жену мою начисто зачаровал, как зачаровывал когда-то нас этот дорогой старый идеалист, удивительная душа которого на всю жизнь оставила след у тех, кто встречался с ним. Как часто и теперь я вспоминаю наши беседы... Его удивительное понимание людских переживаний, страданий и наши долгие беседы по ночам... С каким удовольствием я и ныне стал бы студентом историко-филологического факультета... Старик ужаснулся бы, поговорив со мной и увидев, как я поглупел и опустился...»

...«Мой отец, мой учитель и лучший друг... был высокообразованный и очень справедливый человек. Всю свою жизнь он оставался верен ее двум основным мотивам — любви к моей матери и отвращению к царскому режиму.

А. А. Богомолец».

Александр Александрович обнял сына, поцеловал Ольгу в загорелую теплую щеку и вздохнул с горьковато-счастливым чувством:

— Возвратился...

По вечерам в пустой саратовской квартире он жадно вчитывался в каракули, выведенные Олежкиной рукой:

Еж под елкой удивлен:
Елка с иглами — и он.
Эфиопы варят суп.
Эскимос зашит в пять шуб.
Юра клеит дирижабль.
Папа, мы приехали в Пристанное...

Ему хотелось верить, что греться на горячем песке, выходить в лодке на окутанную утренними туманами Волгу с удочками, читать в кресле-качалке на террасе или бродить с ружьем по лесистому острову Котлубань — намного лучше, естественнее, чем изнывать в знойном Саратове, раздираемом человеческими страстями. Ольга жадно расспрашивала об университетских новостях, о событиях в городе, он неохотно отвечал, пока и вовсе не взбунтовался:

— Еще будешь спрашивать — выдам замуж за Богомольца...

Так ее пугали, в шутку или всерьез, в семье, где Ольга жила после смерти родителей, в семье, где Александр Александрович появился в ранге солидного ассистента кафедры общей патологии Новороссийского университета. Он никогда не чувствовал себя самоуверенным молодым человеком, привыкшим к победам над женскими сердцами, никогда не был красавцем, согласно общепринятым стандартам — легочная болезнь (память о путешествии на Кару) и многочасовые бдения в лаборатории рано ссутулили его. И когда он полюбил девушку, которая была чуть ли не вдвое моложе его, почти не надеялся на взаимность. Ольга ответила на его любовь горячим и искренним чувством, однако Богомолец долго еще не верил в свое счастье, и Ольга, наверное, имела основания писать ему на пороге их совместной жизни: «...Напрасно ты опять заговорил о ревности, мне от этого и больно, и обидно. Ведь это то бесконечное недоверие, переносить которое подчас так тяжело, ибо до тех пор, пока оно будет, я не смогу никогда почувствовать себя действительно близким и нужным тебе человеком». Он представлял себе семью как союз людей, близких по духу, единомышленников. Ольга же отвечала ему в те годы: «Говоришь, что тебе необходимо, чтобы труд и любознательность стали моей стихией, но разве это возможно? Я все еще кажусь себе маленькой и глупенькой девочкой и такой еще необразованной, что просто стыдно

подчас. Разве дала мне что-нибудь гимназия, кроме потерянных семи лет... Читаю я твоего Тимирязева и испытываю такое ощущение, как бывает после того, как выйдешь из синематографа на улицу и увидишь тех же людей, что и на экране, только в настоящем их виде. Какое-то удивление, смешанное с грустью по потерянным иллюзиям...»

Теперь Ольга Богомолец второй год учится на женских врачебных курсах, открытых не без его стараний при университете.

— Знаешь, Саша, когда ты целуешь меня, кажется, я снова маленькая в большой-большой церкви. Так солнечно делается на душе. Я очень скучала без тебя...

Это был счастливый год для него, когда они поженились. В мае 1909 года он с блеском защитил в Петербургской военно-медицинской академии докторскую диссертацию. «Вы написали хорошую работу!» — поздравил его один из уважаемых оппонентов — И. П. Павлов. А потом молодой доктор почти год ожидал благорасположения попечителя Одесского учебного округа: в канцеляриях тщательно взвешивалось прошлое его родителей (сын политкаторжанки и политически неблагонадежного) и его собственное прошлое (протесты в гимназии, студенческие беспорядки в Киевском университете в 1900 году). История повторилась шестью годами позже, когда совет Саратовского университета избрал профессора Богомольца секретарем факультета, а попечитель отказался утвердить его кандидатуру. «Лицо, к тебе расположенное,— писала профессору Богомольцу мать Федора Данского в двенадцатом году,— передало мне, что сказано ему было на вопрос о тебе: «Да, Богомолец работает, дельный молодой человек, жаль только, что он увлекается «внутренней» политикой и агитировал при выборах профессоров...»

Он никогда не служил чинам — он служил делу, которое любил. Он не революционер, он лишь ученый, но когда пробиваешь тоннель для человечества (а если нет — то зачем тогда наука?) и наталкиваешься на камень, отступать не приходится. Иного пути он не видит для себя и никогда не видел, и от этого никуда не убежишь, даже в Пристанное. Он сказал многое из того, что думал, в своей актовой речи еще в одиннадцатом году. И хотя речь, тему которой тогдашний ректор университета В. И. Разумовский разрешил ему избрать по собственному усмотрению, он назвал «О внутренних причинах смерти», говорилось в ней и о причинах внешних, причинах общественных, социальных.

В самом деле, о н и милостиво разрешили науке вселиться в узенький, зарешеченный со всех сторон коридор и громко называют это ареной для медицины. Но как только меди-

цина переступит межу, отделяющую ее от реальной жизни, уже грохочет в околопрестольных сферах сановный гром и на голову смельчака низвергаются молнии. Однако науку не удержишь в крохотном искусственном загоне, как ни отгораживай его от жизни, ибо еще слишком велик, слишком разителен контраст между аристократической наукой и живой, полной горя и слез действительностью. И он раскрыл свои потаенные мысли: творческая сила научных знаний уничтожит болезнь и продолжит человеческую жизнь до ста пятидесяти — двухсот лет, если...

Если кузнецы Василии Ерофеевы не будут изнурять себя непосильным трудом. Если общество будет способствовать человеческому долголетию. Ведь не случайно средний возраст в России такой же короткий, как во Франции накануне великой революции,— двадцать восемь куцых лет...

Вчера они преследовали его как красного профессора, сегодня они научились произносить слова «революция» и «народ» и хотят убедить всех, что этого достаточно для блага того народа, из которого они на протяжении многих столетий высасывали кровь. В дни борьбы с туберкулезом, называвшиеся в России днями «белой ромашки», они ждали от него растроганных слов и объятий, но он в глаза им снова сказал правду, которая не нравилась, которая колола глаза:

«О туберкулезе и его распространении, о задаче общественной борьбы с ним и говорилось, и писалось так много... И сейчас, в святые дни пробуждения общественной совести, неужели словами станем доказывать, что цепкая болезнь угрожает не только бедности, где так щедра ее жатва смерти? Будем ли снова напоминать, что общественная помощь туберкулезным является не добродетелью, а лишь актом самозащиты от эпидемии, что санаторное лечение туберкулеза — единственный способ не только лечения больного, но и изоляции источника эпидемии?»

Да, нелегкое положение русского профессора бактериологии, когда приходится говорить о борьбе с туберкулезной заразой... У нас в России туберкулез — одна из наиболее распространенных причин смерти... Где корни явления? Их необходимо искать в... условиях культурного и экономического быта... Из года в год во имя научной истины приходится повторять фатальное: «так было, так будет»; похоронным аккордом звучит оно в аудиториях высшей школы, где тысячи молодых людей готовятся служить страждущему человечеству...

Так было... Но сегодня, в день белого цветка, когда освобожденная Россия так напряженно ищет новых, более справедливых форм жизни, останемся ли мы глухими и немыми к стону многих миллионов туберкулезных больных, будем ли мы выжидать, как решит Учредительное собрание и этот

«туберкулезный вопрос» вместе с другими наболевшими вопросами социальной значимости?

Не хотелось бы верить, что «так будет»...

— Что с тобой, Александр?

— Не бойся, Оля, вторично тебя не выдадут замуж за Богомольца,— улыбнулся Александр Александрович и повернулся к Татаринову: — Ну что, будущий профессор, устроим засаду на уток к вечерней заре?

Он вдруг подумал об Андрее Багдасарове.

Об Андрее он впервые услышал от ректора Заболотного прошлой осенью перед первой лекцией на втором курсе. Кадетствующий ректор прикидывался либеральным воплощением порядка и добродетели:

— Я хочу лишь попросить вас, господин Богомолец, как человека определенного направления мыслей, быть осторожным с порохом и без крайней нужды не сеять искр. Согласитесь, ведь мы с вами медики: предупредить болезнь легче, чем потом ее лечить. Эта справедливая аксиома к тому же является и одним из основополагающих ваших тезисов как научного работника. Время военное, профессор, и власти пойдут на все, чтобы пригасить крамолу в стенах университета. Наш второй курс очень, очень несамостоятелен. Один лишь Багдасаров чего стоит: насквозь красный. Патологическая наследственность: вырос в семье революционеров, мать — из политических, в тюрьме умерла, а это не забывается...

Он вдруг спохватился, заметно смутился и добавил уже официальным ректорским тоном:

— Одним словом, Александр Александрович, я обращаю ваше внимание...

Холодные глаза ректора гадючками ползали по спине Богомольца, когда он выходил из кабинета: «Чего мы хотим от студентов, если лекции им читают сыновья политических каторжанок?..»

Похожесть их биографий поразила Александра Александровича, и на лекциях он с любопытством присматривался к Андрею. Он заметил и сознательный интерес студента к материалу, и бурную реакцию на события в широком мире за стенами университета, и энергичный блеск глаз на смуглом, с детства пропитанном южным солнцем лице, и живость движений и речи. Это был отчетливо выраженный церебрально-астенический тип человека, который «учится вечные культурные ценности ценить выше хорошего пищеварения». Богомолец давно уже присматривался к этому типу людей и верил, что в обществе будущего такие характеры будут превалировать. И еще профессор заметил: за весь учебный год Багдасаров не пропустил ни одной его лекции.

Познакомились они незадолго до февральских событий и,

казалось, совершенно случайно. Богомолец проходил мимо аудитории, где разместился эвакуированный из столицы филологический факультет Петербургского университета, когда дверь зала вдруг раскрылась и в коридор высыпала шумная дюжина студентов. В центре ее задиристо пылало лицо Багдасарова. Андрей тоже увидел профессора, одернул студенческую тужурку, вежливо поздоровался и, оставив группу, пошел рядом. Возбужденно жестикулируя, он объяснил с едва заметным южным акцентом:

— Часть студентов нашего курса решила посещать лекции по литературе. Ну, дошло до разговоров со столичными гуманитариями, а вскоре до политических споров. Неожиданно перед сегодняшней лекцией встает один из студентов и говорит профессору: «В зале присутствуют такие большевиствующие персоны, как Багдасаров, и мы, верное государю студенчество, считаем позором, что они среди нас. Мы требуем, чтобы они покинули аудиторию...» Тут вскакивает княжна Макеева и, конечно, поддерживает этого держиморду в студенческом мундире. Профессор не стал «сопротивляться», и мы в знак протеста покинули зал. И это накануне революции! Вы слыхали, что происходит в Петербурге?!

— Чем же вы, собственно, интересуетесь — литературой или революцией? — вопросом на вопрос ответил Богомолец.

— Честно говоря, господин профессор, на данном этапе революцией. Но литературой тоже. Одно другому не мешает.

— Надеюсь, и медициной?

— Особенно на ваших лекциях, Александр Александрович.

— Вот как?

— Вы, Александр Александрович, умеете убедить студентов, что и в медицине необходима революция. В отличие от других профессоров у вас счастливое умение не только дать слушателям определенную сумму фактов и принципов, но и наэлектризовать их мысль для дальнейших поисков. На ваших лекциях убеждаешься, что в науке еще не все решено, а лишь кажется решенным. Я бы сказал, процитировав одного, помимо моей воли знакомого мне жандармского ротмистра, что вы нарушаете покой там, где все кажется традиционно-привычным. Следовательно, Александр Александрович, ваши лекции и революция не столь уж несовместимые вещи, как вам кажется...

Багдасаров говорил взволнованно, искренне, и профессору было удивительно приятно, хотя он и не любил, когда ему льстили в глаза. Он улыбнулся, выслушав горячую речь юноши:

— Не надейтесь, господин Багдасаров, что после вашего

монолога я буду либеральничать, принимая весной от вас экзамен по патологии.

— Я не уверен, что весной мне будет до экзаменов,— серьезно ответил Андрей.

— Разве революции не нужны врачи?

— Революции будут нужны врачи, но прежде всего нужна революция.

Однако февральские события прошумели митингами и манифестами, и все постепенно улеглось. Трехсотлетняя цитадель империи вздрогнула, закачалась, выбросила белый флаг, но не пала. Университетский совет профессоров назначал студентам стипендии имени Николая II, большинство преподавателей принципиально не употребляли слова «революция», а саратовские фабриканты, заводчики и купцы с модными красными ленточками в петлицах маршировали на первомайской демонстрации по Немецкой улице и думали, как покрепче затянуть ремни на костлявых телах рабочих. Багдасаров сдал экзамен на «отлично», поразив Богомольца блестящим аналитическим умом.

— Я бы советовал вам, молодой человек, заняться наукой,— сказал профессор, возвращая матрикул.

— Благодарю, господин профессор, но сейчас некогда.

— Когда же будет время?

— После революции, Александр Александрович.

Богомолец пристально посмотрел на студента:

— Разве революция еще не свершилась?

— Думаю, революция еще впереди.

Александр Александрович промолчал, но с удивлением отметил, что Багдасаров почти повторяет слова его отца, земского врача Александра Михайловича Богомольца.

Река была по-вечернему ласковой и спокойной. Богомолец наклонился через борт лодки и увидел в почти неподвижном водном зеркале свое худощавое, с коротким ежиком волос над челом лицо; волосы его были подернуты белыми облачками ранней седины.

— Пигментофаги серебрят виски,— сказал он и разбил веслом водное зеркало.

— «Наш век — это век наших артерий. Пейте простоквашу»,— ответил бы на это Илья Ильич Мечников.

Богомолец поднял глаза на Евгения Татаринова:

— Я бы сказал иначе: наш век — это век соединительной ткани. И еще бы добавил: не только пейте знаменитую мечниковскую простоквашу, но и работайте мышцами. Это продлит вам жизнь.

— Есть продлевать жизнь! — Татаринов налег на весла, и лодка начала кружить на густо окрашенной золотисто-крас-

ным цветом заката воде. Татаринов сбавил темп и засмеялся: — Существенный афоризм: хочешь плыть вперед — не обгоняй учителя.

— Боюсь, что наука, базируясь на вашем, Евгений Александрович, афоризме, до сих пор не поднялась бы выше каменного топора.— Теперь они гребли в унисон, и лодка, оставляя на воде устойчивый косой след, плыла ровно.— Наука развивается лишь благодаря тому, что ученики идут дальше своих учителей. Я люблю в своих молодых сотрудниках будущее нашей науки, и, возможно, это составляет для меня главный интерес в жизни. Я мечтаю, чтобы мои ученики были способными справедливо и критически рассматривать идеи учителя,— только так создается научное направление, школа. Ведь все новые научные идеи развиваются диалектически. Многие гипотезы при дальнейшем внимательном рассмотрении оказываются недостаточно обоснованными. Идя по этому пути, научная идея, если она в самой основе своей верна и плодотворна, очищается и крепнет. Я ученик друзей и единомышленников Мечникова, стало быть, до некоторой степени могу считаться его последователем. Но я выступал и, возможно, еще буду выступать против некоторых его утверждений. Думаю, что выяснение и устранение неверных положений лишь очистит полезные зерна истины в трудах великого ученого. Так что, Евгений Александрович, гребите в полную силу...

Он тоже налег на весло, состязаясь с учеником, коллегой, товарищем. По крутому склону, отражаясь в Волге, катился розовый диск предзакатного солнца, его хотелось толкнуть и, играя, катить в Саратов... Потом земля проглотила половину раскаленного шара, затем — еще, и осталась на берегу лишь небольшая сизо-черная краюшка, которая быстро таяла. Небо становилось все глубже и глубже, а вода на глазах изменяла свою окраску от ярко-вишневой до синей и светло-серой, и уже не река, а какая-то чудесная радуга окружала землю, и они плыли через эту многоцветную метель, и давно уже не было на душе профессора Богомольца так легко, как в этот вечер на Волге. Природа всегда оживляла его и лечила, пробуждая в душе то глубинное и истинное, которое так часто покрывалось илом будничной суеты. Богомольцу не хотелось сейчас ничего подытоживать — он верил, что проживет долго и много сделает,— лишь сказать молодому коллеге, своему недавнему студенту, дорога которого только начиналась, то самое главное, что питало его самого долгие годы и могло быть полезным его ученикам.

С детства Александру Александровичу полюбился осокорь на краю дедовской усадьбы в Климове. Серебристый великан, он, казалось, разговаривал с небом, и луна летними вечерами отдыхала в его развесистой кроне. А полянка во-

круг осокоря серебрилась от посеянных им молоденьких тонконогих осокорят. Позапрошлым летом проездом из Севастополя Богомолец снова побывал в Климове. Прошло двадцать пять лет — старого осокоря уже не было, не было и полянки — вместо нее шумела молодая рощица и в зелени стройных высоких деревьев деловито хлопотали вокруг гнезд галки. Он всегда мечтал иметь, подобно этому осокорю, вокруг себя научную поросль. Освоить новые пути, выработать новое направление в биологии не под силу одному человеку, каким бы талантом он ни был: нужны сподвижники. Если они проникнутся энтузиазмом своего руководителя, станут его учениками и в течение многих лет поработают над разными аспектами проблемы, выдвинутой руководителем, то в процессе работы, возможно, сформируется единое гармоничное учение, сложится научная школа. Евгений Татаринов — один из самых талантливых его студентов. Учась в университете, он был одновременно правой рукой Богомольца в лаборатории. По окончании учебы военное ведомство послало его в город Петровск, Саратовской губернии, уездным санитарным врачом. Теперь Евгений Александрович возвращался в лабораторию профессора уже на штатную должность. Татаринов давно пытался обратить профессора в свою охотничью веру — он был не только страстным исследователем, но и столь же страстным охотником. Открывался сезон охоты на пернатую дичь, и они решили, воспользовавшись отпуском профессора, побывать вместе в Пристанном. Через два дня Евгению Александровичу уже надлежало приступить к работе в лаборатории, и они, несмотря на усталость, отважились в тот же вечер навестить заволжские луга. Лодка пересекала речку, краски пригасли, отдаляя берега, давно уже пора было притаиться где-нибудь в камышах, нацелив стволы ружей в небо, но они не торопились. Богомольцу было что сказать, а Татаринов умел и хотел слушать учителя.

— Чтобы получить урожай, Евгений Александрович, требуется не только полноценное зерно для посева, но и хорошо подготовленная почва,— размышлял вслух профессор.— Так и для восприятия новых фактов должна существовать подготовленная почва в науке. Открытия и наблюдения, опережающие свою эпоху, часто забываются, и их потом совершают заново другие, более счастливые исследователи. Наша страна все еще является интеллектуальной колонией Европы, и так будет до тех пор, пока русская наука будет влачить жалкое существование на задворках равнодушного общества, пока она будет чувствовать себя нежеланным примаком у государства. И когда передовые силы общества обещают социальный, а следовательно, и культурный прогресс, интеллигенция должна думать, на чьей она стороне: на стороне

весенней воды или на стороне плотины, которая ее сдерживает...

— За время работы в Петровске я приучил себя к мысли, Александр Александрович, что тот, кто не ищет немедленного, зримого результата своей деятельности, а настойчиво добивается улучшения здоровья населения, не огорчаясь тем, что наступает оно постепенно, еле заметно, будет в конечном счете доволен плодами санитарно-профилактической работы.

— Наивно, мой молодой коллега, поверьте своему опытному учителю! Ежегодно десятки тысяч людей гибнут на юге России от инфекционных заболеваний! А уж сколько лет я бьюсь о стену равнодушия и непонимания, борясь за создание в Саратове санитарно-бактериологического института с научным и лечебным отделениями, который бы готовил опытных специалистов-бактериологов. И знаете, что мне в последний раз ответили из министерства? Неудобно, ибо не предусмотрено уставом университета! Слово какое придумали — неудобно. А когда вымирают целые села, уезды,— это, видите ли, удобно!

Он, всегда спокойный и выдержанный, разволновался. И это вместо того, чтобы забыться на лоне природы, отдохнуть.

— По крайней мере половина моей жизни уже прошла, и все, что я успел сделать, я сделал наперекор тем, кому «неудобно» открывать в Саратове санитарно-бактериологический институт.— Богомолец внимательно взглянул на своего ученика.— Вам, Евгений Александрович, еще только двадцать пять, думаю, вам повезет больше...

Небо засевалось звездами; похожие на отблески мачтовых огней, они покачивались на гребнях волн. Там, куда скрылось солнце, горизонт еще еле заметно просвечивался сквозь пепелища туч далекими зарницами, но вскоре и они угасли. А вместо этого на правом гористом берегу Волги появилось красное зарево, разгоравшееся все больше и больше, и издалека, из-за Кучегур, донесся сплошной колокольный звон, чтобы через минуту раствориться в победном гуле людских голосов.

— Помещичье имение громят,— тихо промолвил Татаринов.— Теперь каждую ночь где-нибудь горит.

Богомолец долго смотрел на зарево: он тоже что-то сжигал в себе, и что-то новое произрастало на пепелище.

Когда они возвратились, Олег уже спал; в комнатах, которые Богомольцы снимали на даче врача Романова, Ольги Георгиевны не было. Александр Александрович устроил Татаринова и пошел в домик врача Бруханского. На террасе

Бруханских зеленела большая керосиновая лампа под абажуром, вокруг которой, кроме хозяев, сидели Оля и — неожиданно — профессор Теребинский с женой. Теребинские гостили у присяжного поверенного Никонова, чья дача была поблизости, и, наверное, пришли на огонек.

Профессор Теребинский был убежденным монархистом и не скрывал этого. Правда, его убеждения основывались не столько на политических идеалах, сколько на любви к уюту и благосостоянию, которые обеспечивала ему, дворянину, установившаяся государственность. Впервые Богомолец столкнулся с ним в пятнадцатом году. Мировая научная общественность отмечала семидесятилетие Ильи Ильича Мечникова. Александр Александрович обратился к ученому совету Саратовского университета с предложением избрать великого ученого, гордость России, за его плодотворную работу на пользу человечества в почетные члены. После долгих прений и волнений — как посмотрят на это избрание в официальных кругах? — совет в конце концов большинством голосов принял предложение Богомольца. Профессор Теребинский голосовал против. Более того, после голосования он попросил отметить в протоколе заседания его особое мнение: поскольку Мечников известен своей достойной осуждения обществом деятельностью, он, Теребинский, не считает решение ученого совета правильным. После этого случая Александр Александрович долго избегал встреч с Теребинским, но время и вынужденные встречи на факультете приглушили неприязнь: оба научились делать вид, что ничего не произошло. Владимир Иванович был человеком веселым и остроумным, что высоко ценилось на факультетских вечеринках профессоров. Ученые университета жили в весьма тесном, замкнутом кругу. Даже в военные годы они еженедельно собирались у кого-нибудь из профессоров послушать музыку и поиграть в преферанс, женщины вышивали или изготовляли бумажные ромашки — их потом продавали в пользу туберкулезных больных. На этих вечеринках Теребинский пожинал щедрые плоды своего беспечного красноречия.

Широкая терраса Бруханских выходила в сад. Гости и хозяева пили парное молоко. Вокруг зеленого абажура керосиновой лампы кружились ночные мотыльки. Профессор Теребинский, откинувшись на спинку кресла-качалки и придерживая двумя пальцами на подлокотнике стакан с молоком, пересказывал известную историю с телеграммой.

— Поехала моя любимая женушка за Волгу к родне. Прошла неделя — заскучал я. Даю телеграмму: «Володя заболел». Жду день, второй — нет Марии Федоровны. Червячок обиды начал меня грызть: вот как, думаю себе, спешишь ты к больному мужу. Снова телеграфирую: «Володя при

смерти». Еще день проходит — жены нет. Тут меня и вовсе зло разобрало: значит, и попрощаться не спешит! Самолюбие, знаете. Посылаю третью телеграмму: «Володя умер». Возвратился с телеграфа, выпил для храбрости коньячку, сижу, жду. И вдруг появляется моя любимая жена — выехала она после первой телеграммы, но на поезд не могла попасть, свобода ведь, знаете. Сидим мы, беседуем, я уже о двух последних телеграммах ни слова не говорю, просто на нездоровье жалуюсь. Вдруг звонок в дверь, горничная открывает — женина родня приехала меня хоронить. Ну, тут уж, правду говоря, турецкий кофейник погулял по мне...

Владимир Иванович любил рассказывать истории, в которых он сам был главным героем. Он любовался собою, будто ребенок радужным мыльным пузырем, и хотел, чтобы другие вместе с ним тоже любовались и восторгались. Александр Александрович ступил на террасу, сел возле перил, куда почти не доставал свет лампы.

— Где же утки? — улыбнулась Ольга.

— На Котлубани,— вздохнул Богомолец.

— Вы переплывали Волгу? Вы видели этот ужасный пожар? — Мария Федоровна Теребинская смотрела мимо Богомольца широко раскрытыми перепуганными глазами.— Что будет с нашими детьми?

— Взрыв вандализма. Нашествие гуннов. А впрочем, подобных аналогий в человеческой истории не так уж и много, хотя я никогда не был особенно высокого мнения о людской толчее вокруг земного пирога.— Теребинский допил молоко и продолжал: — Жаль, что никто не записывает рассказов очевидцев этих варфоломеевских ночей. Поучительно для потомков. Немало я подобных рассказов слышал. Выпив для храбрости, крестьяне врываются в помещичью усадьбу и уничтожают все, что попадает под руку. Разбивают вдребезги венецианские зеркала, ломают роскошную мебель в гостиных, рвут в клочья полотна семейных галерей, топчут ногами в постолах французский хрусталь и севрский фарфор. После того, как имение подожжено с четырех углов, эти новоявленные дикари танцуют вокруг костра. А мы говорим — двадцатый век, век науки и прогресса!..

— Позволю себе добавить к вашей блестяще и темпераментно нарисованной картине маленький штришок,— скромно подал голос Александр Александрович.— В Балашовском уезде крестьяне достали из семейной галереи портрет отца помещика, отличавшегося особой жестокостью во время крепостного права, положили портрет на скамью и по очереди секли его, приговаривая: «Ты нас сек при жизни, а мы тебя — после смерти...»

— Что вы хотите этим сказать?

— Лишь одно: гунны в постолах, как вы, Владимир Ива-

нович, изволили выразиться, памятливее, чем этого кое-кому хотелось бы.

— Неужели в среде русской интеллигенции найдутся слепцы, которые, кивая на досадные ошибки прошлого, будут потакать темным инстинктам толпы?

— Кстати, мы знаем интеллигентов, которые до недавних пор подогревали инстинкты других, черносотенных толп.

— Володя никогда не имел ничего общего с «Союзом русского народа»,— торопливо возразила Мария Федоровна.— Он...

— Прости, Мария, но перед людьми, которые бросаются в наше время подобными обвинениями, оправдываться унизительно...— Теребинский встал, поставил стакан на стол, пальцы его рук дрожали.

— Я никого не обвиняю, Владимир Иванович, и тем более не оправдываю пожаров. Я хочу их понять.

— Пока мы будем напрягать ум, чтобы анализировать и синтезировать, они подожгут Россию.

— Что же вы предлагаете?

— Перестать играть в демократию.

— Боюсь, что вы повторяетесь. Господин Керенский вас опередил. Единственный недостаток этой «гениальной» идеи — не хватит казачьих отрядов для всех сел свободной демократической Российской империи...

— Возможно, вы, Александр Александрович, предложите что-нибудь более гениальное?

— Я не политик, Владимир Иванович, но, на мой взгляд, единственное лекарство — отдать землю тем, кому она и должна принадлежать.

— Разрешите напомнить, господин Богомолец, что вы, кажется, тоже дворянин.

— Да, я записан в дворянское сословие.

— Вы имеете землю?

— Нет, земли я не имею.

— Если бы вы имели землю, вы говорили бы иначе!

— Извините, Владимир Иванович. Я не имею земли, поскольку то, что я предлагаю, моя мать сделала еще двадцать пять лет назад, и я ей глубоко благодарен...

Богомолец спустился с террасы в сад: в его душе не было покоя. Сквозь темные верхушки деревьев мигали звезды, в траве монотонно стрекотали цикады. Он вышел на светлеющий белым песком берег Волги. Серединой реки ползли расцвеченные огнями плоты, кабельщик на Кучегурах бил в гонг и по обыкновению громко кричал в ночь:

— Там, на плоту, лот поднимай!

Возле причала на раскаленном за день и еще не остывшем песке темнело множество людских фигур: крестьяне окрестных степных сел ждали «калошу», старый дымный катерок, который тут останавливался. Берег в самом деле походил сверху на страницу гигантской книги, испещренную загадочными иероглифами тел. Кто прочтет ее и кто поймет? Книга монотонно шелестела приглушенными голосами, и Богомолец не без удивления расслышал отзвук знакомых слов: земля, Учредительное собрание, Советы, пожары, казаки, помещики и — большевики, Ленин, революция... В эти дни спорила и думала, думала и спорила вся Россия. Богомольцу вдруг пришло в голову, что их с Теребинским стычка, их горячий разговор на террасе за стаканом парного молока, такой камерный и незначительный по сравнению с разговорами на этом белом, расписанном телами крестьян берегу! И он вовсе не решающий, словесный поединок в креслах-качалках двух профессоров; судьбу страны будет решать бурление этих вот людских масс, называющихся народом. Он вспомнил матросские отряды на улицах Севастополя, где он исследовал позапрошлым летом иммунитет у мидий, вспомнил свое возвращение в Саратов по основательно разрушенной войною Украине. Впечатления раннего детства отразились в памяти ярмарочной пестротой, и оттого глубже и больнее ранила реальность. Обнищавшие, полупустые села, где остались одни лишь дети и женщины, заполоненные голодными беженцами и тифозными ранеными станции, темные лица рабочих в городах, а над всем — тень императорского орла, во имя которого гибнут миллионы. Почти два миллиона убитых, столько же раненых. Еще в начале войны он писал отцу о своем глубоком убеждении, что эта война завершится общеевропейским взрывом. Возможно, он не очень и ошибался.

Он опустился на днище перевернутой лодки и прислушался к голосам.

— Мой братеник пишет с фронта: как принесут вам списки для голосования в Учредительное собрание, голосуйте за большевистскую партию. Они за то, что землю забирать нужно.

— Попробуй забери. Наши хотели только накосить малость на барском лугу, так он из Саратова солдат вызвал, приплыли они на пароходе и по бабам из винтовок пуляли...

— А мы своего помещика прогнали, так он тоже солдат из города вызвал. Да только эти солдаты, узнав, в чем наша «вина», повернули и назад поехали, поняли, стало быть, наше право.

— Теперича, братцы, и солдат не тот.

— А солдат, он кто — рабочий или крестьянин, потому как буржуй в солдаты не торопится.

— Тот или не тот, а командир прикажет — будут стрелять.

— Кто же прикажет — теперича революция.

— Революция, да какая-то она словно бы не наша. Слыхивал я, братцы, что Керенский не хочет мужикам землю помещицкую отдавать, а большевики с Лениным на хвост ему наступают: дескать, землю — крестьянам, а фабрики — рабочим.

— А как же это оно...

Тут голоса приумолкли, через какое-то время зашуршал песок, и к Богомольцу приблизилась неуклюже широкая, в накинутой на плечи шинели фигура:

— Дозвольте обратиться, не угостит ли господин табачком?

Александр Александрович торопливо достал коробку папирос. Солдат постучал пальцем по донышку коробки, вынул папиросу, чиркнул спичкой. По ту сторону зеленовато-желтого огня профессор увидел темные глаза, внимательно смотревшие на него.

— Благодарю, господин.

Снова зашуршал песок, и Богомолец услышал из темноты, в которой растворилась фигура солдата:

— Не из бывших?

— Нет, видать, из ученых этот барин.

— Здесь неподалеку дачи врачей.

— Наверное.

Однако голоса притихли. Александр Александрович встал — ему не доверяли! А почему они должны ему доверять? Чем он отличался от той «чистой публики», для которой каждый, кто не носит пенсне и накрахмаленного воротничка,— чернь? Его убеждения? Но кто знает о его убеждениях, кроме десятка профессоров?

— Что с тобой, Александр? — спросила его Ольга, ждавшая мужа на крыльце дачи врача Романова.

Он засмеялся:

— Думаю...

А на третий день кто-то «взял взаймы» его лодку. Утром, придя с удочками на берег, они увидели там, где стоял «ЛОПСУ», разбитый замок и жестянку из-под краски, которой вычерпывали воду.

— Будем называть в воспоминаниях нашу лодку не «ЛОПСУ», а «Лопну»,— улыбнулся Татаринову Александр Александрович.— Ведь и в самом деле лопнула наша надежда на беззаботные каникулы...

Речь шла, конечно, не о лодке, а о чем-то куда более значительном. Чувствовал это и Александр Александрович, и его ученик. Слишком ответственное время переживал народ, общество, чтобы хоть несколько дней чувствовать себя сво-

бодным от мира, от людей, от самого себя. В тот же день, дождавшись «калоши», Евгений Татаринов уехал в Саратов — ему надлежало приступить к работе в лаборатории. Богомолец прожил в Пристанном с неделю и решительно вознамерился ехать в город, хотя жена и уговаривала его отдохнуть: больные легкие дадут о себе знать зимой. Впрочем, и Ольга с Олегом скоро должны были возвращаться домой — она училась на втором курсе женских врачебных курсов.

Когда профессор покидал село, над противоположным берегом Волги висело горячее облако мглы — поднятый степными ветрами раскаленный солнцем песок. Серые языки пыли нависли над Волгой и уже лизали заросли Васяткина острова. В Пристанном, Курдюме, Чардыме служили молебны и непрестанно, будто при пожаре, били в колокола: песчаная мгла хуже саранчи жгла, уничтожала все живое.

Этот сплошной, тревожный перезвон долго еще сопровождал Богомольца, вонзаясь в мозг острыми колючками. И уже Саратов раскрывался перед ним, как раскрывается человеческая ладонь — с мозолями домов, сложными переплетениями улиц, по которым не осмелится пророчествовать даже самая беспардонная ворожея. Это был город ожиревших купчиков, которые не подадут голодному человеку ни единой копейки, но будут сеять сотенные в хмельном чаду ресторанов, город безвкусных особняков и златоглавых соборов вдоль заасфальтированных, электрифицированных улиц, город пролетарских окраин — Гор, где мониста хижинок нанизывались на кривые, заболоченные, непролазные улочки, город нищих и босяцких дебрей на волжских берегах. Он полюбил этот край, который еще помнил пугачевскую вольницу, хотя и тешил себя надеждой со временем переехать на Украину, ближе к родным местам. Он крепко полюбил этот край, которому отдал столько сил и знаний: два года назад Богомольцу предложили возглавить кафедру в Харькове — он не захотел покидать Саратов.

Александр Александрович не был в городе около двух недель, и все же ему показалось, что город в чем-то изменился. На улицах реже встречались золотые якоря, фуражки с кокардами, офицерские и синие кадетские погоны, шелковые дамские зонтики и взлохмаченные головы семинаристов. Зато куда больше стало рабочих пиджаков, темных рубашек-косовороток, солдатских гимнастерок и шинелей. Ритм уличной жизни заметно ускорился. Ему нравился этот новый, а может, новыми глазами увиденный город, и Богомолец, увидев у себя в передней чемодан отца, решил пойти ему навстречу: Александр Михайлович, наверное, прогуливался. Отец в свои шестьдесят пять лет учился на филологи-

ческом факультете Московского университета, куда поступил еще до войны. В Саратове у него был свой излюбленный маршрут для прогулок: Гоголевский бульвар, Липки, набережная — и он строго придерживался его. Высокий, худощавый, в шляпе с широкими полями, он шел с руками за спиной упруго, с напором, будто все время преодолевал сопротивление ветра, и эта походка как нельзя лучше подчеркивала независимый характер земского врача-бунтаря. Александр Александрович любил своего отца и соскучился по нему за время его отъезда. В водовороте общественных событий ему так не хватало отцовской уверенности и политического оптимизма, который появляется, видимо, после десятилетий активной жизни. И хотя, возвратившись из шестилетней ссылки, Александр Михайлович отошел от революционной деятельности, посвятил себя воспитанию сына и земской медицине, он никогда не переставал интересоваться общественными процессами и темпераментно реагировал на все новое. Три дня он не верил, боялся верить телеграммам из Петрограда, извещавшим о Февральской революции, а когда известия подтвердились, не было, наверное, человека, более счастливого и праздничного, чем он. Александр Михайлович не пропустил ни одного митинга и, молодцевато выпятив грудь, ходил по бульварам с пышным красным бантом на лацкане. Правда, вскоре энтузиазм старого земского врача поостыл, и он все чаще начал говорить, что России нужна не только демократическая, но прежде всего социальная революция.

Отца Александр Александрович увидел на берегу Волги, за складами, где всегда было пустынно, разве лишь дремали над удочками одиночки рыбаки. Он сидел на камне, смотрел на широкий плес реки и потихоньку напевал свою любимую:

Їхав козак за Дунай,
Сказав: «Дівчино, прощай...»

Песня напоминала ему давнее прощание с женой в Климове, когда он и в самом деле ехал за Дунай, заботясь о лучшей народной доле; а может, он думал о втором прощании с Софьей Николаевной, уже в Казани, свидетелем которого была Волга, прощание на десятилетие. Он часами просиживал на этом берегу, перелистывая книгу прошлого, героическую и печальную.

Домой они возвращались вместе, и Александр Михайлович взахлеб рассказывал об увиденном и услышанном в Москве и в дороге. Все складывалось так, как он предполагал: в стране назревало нечто кардинально новое — буржуазия перепугана, лихорадочно ищет спасения, бросившись в

объятья генералов-монархистов, а народ не хочет ждать манны небесной от Учредительного собрания, творит справедливость так, как издавна понимает ее, пролетариат по призыву большевиков вооружается. Александр Александрович рассказал о впечатлениях от Пристанного.

На Немецкой улице их остановила толпа. Вытянув шеи, через головы офицеров и чиновников, молчаливо стоявших на тротуарах, пугливо посматривали на середину улицы барышни. Деревья вдоль улицы были облеплены мальчишками, с балконов особняков, заслоняясь от солнца разноцветными зонтами, глазела вниз саратовская буржуазия. Сквозь глухой гул толпы, превосходя ее звуки четким, отрывистым ритмом, доносилась нарастающая грозная поступь военного отряда.

Богомольцы едва пробрались сквозь толпу и только тогда увидели колонну красногвардейцев, маршировавших по Немецкой, главной в Саратове, улице. Рабочие были в синих блузах и кепках, с винтовками за плечами, и хотя вокруг них не видно было ни унтеров, ни офицеров, шагали слаженно, уверенно и осанисто. Это была новая, рабочая армия, и чувствовалось, сегодняшний марш — лишь пролог к грядущим бурным событиям.

— А я что говорил? Я что говорил? — возбужденно и радостно повторял почти всю дорогу, до Крапивенской улицы, на которой жили Богомольцы, Александр Михайлович.

Александр Александрович и впрямь по-настоящему истосковался по работе. Переступил порог лаборатории с волнующим, радостным ощущением: возвратился домой. Ему были приятны и крепкий, специфический букет препаратных запахов, в котором привычно доминировали йод и формалин, и даже дух подопытных животных — мышей, крыс, морских свинок, котов, собак, которых он взял на свой лабораторный ковчег в эти годы разрухи и голода и которые, чтобы послужить науке, должны, к сожалению, каждый день есть, съедая и значительную часть его, не такого уж и высокого профессорского содержания. Ему был приятен шум центрифуг и вакуумных насосов, и позвякивание пробирок, и молчаливая внутренняя напряженность термостатов. Он особенно любил в эти рабочие часы лица своих студентов и сотрудников над пробирками и препаратами, за операционным столом — озабоченно возбужденные, озаренные нетерпеливой, бунтующей человеческой мыслью, которая настойчиво пытается постичь смысл ритмов природы. Особенно живой природы. Нужно будет обязательно подчеркнуть это во вступительной речи нынешнего года. Значение ритмики в биологии недооценивается. Ритмично осуществляет вселенная свой бег на пути

к бесконечности; законов ритма придерживаются космические процессы. Смерть, разрушив жизнь, торопится создать новые формы. Когда же новые формы творит сама жизнь, это и есть р е в о л ю ц и я. Новые ритмы — это и есть р е в о л ю ц и я. Но жить во время, когда рождаются новые формы, новые ритмы, выпадает далеко не каждому поколению, и он, Богомолец, должен чувствовать себя баловнем судьбы...

— Что ж, Евгений Александрович,— Богомолец повернулся к Татаринову, который, в белоснежном халате, высокий, стройный, с высоким лбом и лучистыми глазами, прекрасно вписывался в торжественную сосредоточенность лаборатории,— несмотря ни на что мы имеем немало оснований чувствовать себя счастливыми. Потому что в бесконечности ритмов природы нашему поколению выпал гребень общественной волны. Но у меня предчувствие — буря обещает быть могучей, и нам на гребне легко не будет.

— Я понимаю.

— Я всегда мечтал иметь общие взгляды с учениками не только по проблемам эндокринологии или иммунитета.

Богомолец вошел в кабинет. На столе его ждали гранки книги. Из типографии прислали первый том научных трудов его кафедры. Он никогда не позировал ни перед другими, ни перед самим собой и сейчас был искренен: радовался этой коллективной книге больше, чем собственной. Он не ставит целью во что бы то ни стало создавать школу Богомольца в патологии. Но у него много идей, он словно хочет разродиться — какое это сладкое чувство: рождение новой жизни! Он любит щедро раздавать идеи, но нужны единомышленники, чтобы из этих семян выросли деревья, которые тоже когда-то дадут плоды. Ритм жизни. Ему повезло, возможно, в единственном: у него есть ученики, достойные уважения.

Александр Александрович остался в лаборатории до позднего вечера — перечитывал труды своих младших коллег. Чувствовал себя счастливым и умиротворенным. В окнах было уже темно, когда в комнату постучали. Порог нерешительно переступил молодой военный в потертой, без погон форме, с шинелью на руке. Что-то знакомое улавливалось в очертаниях скуластого, с острыми, цепкими глазами, лица, но воспоминание было нечетким, неуловимым.

— Извините, Александр Александрович, я зашел на огонек, единственный сейчас в университете. Думал, кто-нибудь из ваших ассистентов засиделся. Добрый вечер. Я студент, Александр Бакулев.

Только теперь профессор узнал Бакулева, любимого ученика хирурга Сергея Ивановича Спасокукоцкого. Кроме студенческих аудиторий, они не раз встречались в клинике Спасокукоцкого и в доме у последнего. Бакулев обещал вырасти

в блестящего хирурга, и Сергей Иванович глубоко переживал, когда того в начале войны взяли в армию.

— Боже мой, Бакулев! — встал Богомолец.— Сергей Иванович будет очень рад. Он должен вот-вот возвратиться из Смыслова. Вы насовсем?

— По крайней мере, надеюсь закончить университет. А насовсем ли...— Бакулев улыбнулся, и в этой улыбке было что-то глубоко свое, затаенное.

— Только что с фронта?

— Почти. Ведь сейчас, чтобы попасть в вагон, нужно отважиться на настоящий бой местного значения. Армия разбегается. Ехал в тамбурах, под лавками, на крышах вагонов. А вообще — из прифронтового госпиталя.

Богомолец закрыл ящики стола, гранки взял с собой — дочитает ночью. Он любил тихие ночные часы работы. Не удержался, похвалился Бакулеву:

— Вот, пожалуйста, первый том нашей кафедры. Читаю — душа поет. Хоть пушки и гремят, но наука все же двигается вперед.

Бакулев взвесил на ладони гранки и поднял на профессора смущенные глаза:

— Я еще не привык, не имел времени привыкнуть — так все это далеко от меня: статьи, публикации, рефераты, научные дискуссии... Три года крови и людских проклятий самому господу богу, а уж о царе и его окружении — вспоминать не приходится...

Они вышли вместе в ночь. Огней, даже на мощеной ладони городского центра, было мало: экономили электроэнергию. Пальцы же рабочих предместий, изрезанные морщинами яров, были вообще темные, освещенные лишь гирляндами крупных августовских звезд. Казалось, что в темноте эти пальцы медленно, но непрестанно сжимаются. На Волге кое-где покачивались мачтовые огни. Отряд казаков, высекая подковами искры, проскакал по мостовой и скрылся за углом.

— Солдаты требуют немедленного мира и все надежды возлагают на будущую революцию,— негромко, грудным голосом рассказывал Бакулев.— Правительство Керенского, эти приспешники власть имущих пытаются укротить войска и бросить их на немецкие пулеметы. Тридцать шестая дивизия Десятой армии расформирована, а шесть тысяч солдат арестовано. Тринадцать тысяч солдат Пятой армии отданы под суд. Вы только подумайте, Александр Александрович,— тринадцать тысяч! Но это все равно что наказать кнутами море. Солдатское же море признает сейчас единственную силу — Ленина и его партию. Большевики обещают мир, землю — крестьянам, фабрики и заводы — рабочим. Солдаты, хотя в большинстве своем и неграмотные, прекрасно понима-

ют, что беднякам эта война не нужна, а нужна она тем, кто на ней обогащается...

— Простите, Александр...

— Иванович.

— ...Александр Иванович, что по этому поводу думаете вы? — Богомолец напряженно ждал ответа.

— Я только капелька в море. Разве это так важно, что думаю я?

— Честно говоря, для меня это представляет определенный интерес.

— Я, Александр Александрович, думаю так, как думает народ, из которого я вышел. Я родился в крестьянской семье. Только учительнице, которая ради меня обивала пороги губернских палат, я обязан поступлением в гимназию. И если народ, еще подчас интуитивно, за социальную революцию, я, вооруженный университетскими знаниями, тем более...

— Где вы остановились?

— Признаться, нигде. Только что с вокзала.

— Поживете у меня, пока устроитесь.

— Неудобно, Александр Александрович.

— Очень, очень удобно. В квартире только мы с отцом. Ольга Георгиевна и сын в Пристанном.

— Благодарю вас.

Втроем — Бакулев и Богомольцы — они проговорили в ту августовскую ночь чуть ли не до утра.

Возвратились Ольга с Олегом, и квартира сразу же стала обжитой и еще более приветливой, словом, такой, каким домашний очаг бывает лишь в дружных семьях. В свободные минуты Александр Александрович играл с сыном — детский смех, тепло детских рук придавали ему сил и бодрости. Под пеной политических страстей струился сильный, упругий поток жизни. Неистребимость этого потока вселяла надежду в завтрашний день. Как и в своих студентах, он любил в детях их будущее. В такие счастливые минуты, освобождаясь от суровой реальности, он счастливо верил в возможность бессмертия, по крайней мере долголетия, которое рано или поздно завоюет человеческий разум. Эту веру питали его сокровенные мысли, из которых уже начинала формироваться смелая научная гипотеза.

С каникул возвращались студентки Высших женских курсов университета. В комнатах снова молодо и с задором зазвучали голоса Ольгиных подруг по курсам Ляли Языковой и Елены Бегильдеевой. Вместе с ними Ольга в прошлые годы устраивала благотворительные спектакли и концерты в пользу курсисток, которые не могли заплатить за обучение в университете, собирала пожертвования для туберкулезников.

Теперь девушки были переполнены впечатлениями от взбудораженной страны и горячо обсуждали программы политических партий. В первые дни занятий был объявлен митинг в большой аудитории университета. Несмотря на свою занятость в лаборатории — ассистентов не хватало, и он сам проводил со студентами практические занятия,— Александр Александрович на митинг пошел. Преподавателей в зале почти не было, лишь студенты да университетские служащие. У него не было намерения проходить вперед, но толпа расступилась перед уважаемым профессором, и Богомолец невольно оказался возле кафедры, служившей трибуной для агитаторов.

Выступал большевик. Спокойно, четкими, содержательными фразами изложил он программу своей партии, сообщил о деталях активнейшей поддержки партии трудящихся массами рабочих, солдат и крестьян и призывал к социалистической революции. Зал разделился. Половина аудитории свистела и топала ногами, другая страстно, до самозабвения аплодировала оратору. Особенно громкие аплодисменты и возгласы «ура» доносились от крайнего окна. Богомолец оглянулся и увидел Ольгу с группой однокурсниц. Для приличия он нахмурил лоб — курсисткам, которым недоставало общей подготовки для овладения специальностью, нужно заниматься наукой, а не бегать на политические митинги. Однако на душе у него потеплело. Добрыми, благодарными глазами посмотрел он на жену, почувствовав в ней единомышленника, товарища, и тоже зааплодировал.

Он аплодировал долго и открыто, заранее зная, что через десяток минут профессора будут злобно шипеть: «Этот Богомолец, этот скороспелый профессор, этот сын каторжника так аплодировал!» Близорукие! Он аплодировал большевикам еще в своей актовой речи; впрочем, они уже тогда поняли его первое профессорское выступление как политический протест против трехсотлетней романовской монархии и навсегда возненавидели Богомольца, этого лукавого бунтаря, этого красного, этого потомка революционеров. А когда студенты университета три дня бастовали, протестуя против ареста и ссылки в Сибирь группы саратовских большевиков, и черносотенцы с профессорскими званиями принципиально просиживали свои часы в пустых аудиториях, профессор Богомолец присоединился к студенческой политической забастовке и не появлялся в эти дни в университете. Следовательно, он поддерживал большевиков не впервые; и пусть они, лояльные по отношению к правительству Керенского, присматриваются, пусть проклинают, пусть зеленеют от ярости. Волна необычайной для него задиристости захлестнула Александра Александровича, омолаживая и наполняя жизненной энергией его возрожденную душу.

...На выборах в Учредительное собрание семья Богомольцев проголосовала за большевиков.

1880.
ЭКЗЕКУЦИОННЫЙ МАРШ

Это была даже не мысль, а глубинное, толком не осознанное прови́дение: она в последний раз — сквозь серую сетку измороси, будто сквозь густую вуаль — смотрит на воскообразное свясло плотины, утыканное почерневшими вербами, и над прудом — на широкую ладонь сада, расписанную аллеями, словно линиями жизни и судьбы; в глубине сада красовался дом, белое, под сверкающе-красной крышей каменное здание с добрыми, уютными в эту непогодь глазами окон; пряди влажного тумана ниспадали с низкого неба на пруд и сад, выползали из-за деревьев на аллеи и опушки с сиротливыми скворешнями беседок, на вербовую дорогу через гать, застилали имение, делая видение менее реальным, зато элегически грустным и трогательным...

На протяжении всех лет, которые еще суждено было Софье прожить на земле, это видение снова и снова будет всплывать на плесе ее памяти, но вуаль между ним и ею, затянутая паутиной времени, будет становиться все плотнее и плотнее, и рисунок будет утрачивать четкость линий, чтобы наконец показаться давним и до щемящей боли прекрасным сном...

Резкий, как посвист кнута, свисток паровоза, погромыхивание железа, глухой стук чемоданов о пол вагона и напуганный вскрик под нервные смешки пассажиров почтового чиновника с орлом на высокой форменной фуражке,— он впервые ехал поездом,— все это существовало где-то вне Софьи, за оболочкой ее сознания, скользя по этой оболочке, как скользят клочья паровозного дыма по стеклу вагонного окна; вагон заполняла приличная, «чи́стая публика», лица — будто телеграфные столбы вдоль железной дороги, серые, невыразительные и без малейшего намека на оригинальность личности. Она не любила этих «чистеньких», для которых комедия «гражданской казни» Чернышевского на Мытной площади — развлекательное зрелище, которые торговались с палачом за куски веревки (веревка с шеи повешенного помогает при картежной игре), которые в Одессе с лорнетами в руках наблюдали за казнью Дмитрия Лизогуба; она их ненавидела, серень́ких, перепуганных и равнодушных. Шелест вагонных разговоров, как шелест вымолоченных колосков:

— вы слыхали, говорят, наследник очень недоволен свадьбой государя...

— в такое время, знаете...

— что время? — нигилисты, кажется, угомонились...

— сами бы не угомонились — переловили их всех до единого...

— говорят, денег у них не хватило на свои фокусы...

— а сто семьдесят тысяч, которые Лизогуб оставил...

— были да сплыли...

— побойся за них: а пятьсот тысяч, которые покойный Некрасов им завещал...

— не верится, чтобы Некрасов нигилистам завещал...

— вышли деньги или не вышли... а когда хоронили летом императрицу, в дома, мимо которых проходила процессия, без пропусков не пускали никого...

— я читал в газете показания Гольденберга...

— кто-то им да платит, не может так быть, чтоб не платил, а они смерти искали...

— польская интрига, я в газете читал...

...А вагонные колеса стучат на стыках, как барабанные палочки, оглушающе, однообразно, бьют марш, марш экзекуции, экзекуционный марш, этот барабанный гром — над просторами империи, тень виселицы, технический прогресс, достижения цивилизации девятнадцатого века, научный прогресс — раскладная виселица, публичные казни в Петербурге, Одессе, Киеве, Николаеве, палачи в традиционных красных сорочках и черных жилетах — нарасхват, генерал-губернаторы ублажают их, уголовных преступников, убийц, душегубов, самых необходимых людей в государстве.

— Соня, Соня!

— Что, Марийка?

— У тебя были такие странные глаза...

— Как — странные?

— Да какие-то такие, что в них даже страшно смотреть...

— Наверное, я злая, Марийка.

— Нет, Соня, ты добрая, но ты умеешь ненавидеть. А я — не умею. Я умею только любить.

— Научишься, Марийка. Это легче, чем тебе кажется...

Итак, сейчас ему надлежало выйти на сцену и сыграть написанную для него капитаном Судейкиным роль; за последние полгода он столько играл, что жизнь уже казалась Пиотровскому бесконечным лицедейством, где каждый кого-то играет, только не себя; вокруг него одни играли роль революционеров, другие — охранников самодержавия, играли до самозабвения, делая вид, что не играют, а живут; только он, Ярослав Пиотровский, не имел своего четко очерченного амплуа, характер его ролей резко менялся в зависимости от

ситуаций, он был гением лицедейства, гением перевоплощения, и единственный актер, который мог бы с ним сравниться,— капитан Судейкин. Но сегодня он переиграет и капитана, непременно переиграет! — и ощущение своей актерской незаурядности, своей сложности, несмотря на все, что происходило с ним, тешило его самолюбие.

«...Леонтович шел под руку с высоким молодым человеком в синих очках и мягкой широкополой шляпе на длинных волосах. Фигура была, совершенно очевидно, не ровенская.

— Киевский студент Пиотровский,— отрекомендовал незнакомца мой товарищ...

Это был первый «агитатор», которого я увидел в своей жизни. Он прожил в городе несколько дней, ходил по вечерам гулять на шоссе, привлекая внимание своим студенческим видом, очками, панамой, длинными волосами и пледом. Я иной раз ходил с ним, ожидая откровений. Но студент молчал или говорил глубокомысленные пустяки...

Мне казалось, что Пиотровский малый пустой и надутый ненужною важностью. Но это таилось в глубине моего сознания и робело пробиться наружу, где все-таки царило наивное благоговение: такой важный, в очках, и с таким опасным поручением...»

(Владимир Короленко. «История моего современника»)

Поезд, погромыхивая и попыхивая паром, уже остановился, с полдюжины пассажиров протолкались к дверям, заслоняя кондуктора, час лицедейства катастрофически приближался. Пиотровский почувствовал, что волнуется, но ведь и великие актеры волнуются перед выходом на сцену. Пиотровский открыл пересохшие губы и произнес первую фразу, придуманную капитаном Судейкиным:

— Господин унтер-офицер, зайти бы в буфет, дорога дальняя.

— Не положено.

— Мне что — я человек государственный, умру с голода — вам отвечать.

К их разговору прислушивались пассажиры с соседних полок, и уже какой-то либерально-жалостливый господин подал голос:

— Имейте же, господин, христианское милосердие, он хотя и вне закона, но человек...

Так и должно было быть — естественно, дело получит огласку, пусть будут свидетели, на крайний случай, впрочем,

он обо всем расскажет товарищам, они вдоволь посмеются над этой небольшой жандармской интермедией.

— Хоменко! — строгим и хмурым голосом зыкнул старший жандарм.

— Слушаюсь!

— Возьми у студента деньги и принеси из буфета закуски!

— Слушаюсь!

Деньги были положены во внутренний карман пиджака еще в тюремной камере, ассигнация, дабы жандарм, разменивая, подольше задержался в пристанционном буфете. Пиотровский едва нащупал ее потными дрожащими пальцами. Но это не страх, не малодушие, он проникается игрой, он слишком серьезно играет, только и всего,— Ярослав блестяще умел лицедействовать, притворяться, выдавать себя не за того, кем он является на самом деле. Дверь вагона открылась во влажный осенний вечер, разбавленный желтоватым помигиванием перронных фонарей; пассажиры вышли, и соскочил с приступки кондуктор, и жандарм, позвякивая ножнами сабли, побежал в сторону похожего на казарму краснокирпичного вокзальчика, и проем дверей заманчиво виднелся в трех шагах от Ярослава Пиотровского, и нужно было д е й с т в о в а т ь. И именно в этот момент отвратительный страх парализовал его мышцы, а мысли, прерывистые, торопливые, затрепетали в его мозгу, будто птицы в клетке: вдруг это западня, вдруг — коварный ход Судейкина, который хочет прибавить к делу нападение на охранника, побег и на веки вечные замуровать в каземате или избавиться от него, вдруг — вокруг станции давно выстроены жандармы и выжидают, чтобы в упор расстрелять его, Ярослава Пиотровского... Смерть в неполные тридцать лет, в расцвете тела и духа — какая бессмыслица. И тогда молоденький офицер, заметивший его колебания, посмотрел на Ярослава глазами капитана Судейкина, холодными и властными, и в них был приказ и угроза, а за его спиной темнела влажная камера централа, где Пиотровскому гнить и гнить; и он покорно, как кукла-марионетка на пружине, подскочил, резко, но не сильно ударил унтер-офицера в пах (это было словно на сцене — унтер покорно, как ему было приказано, переломился надвое и выпустил из рук берданку) и прыгнул в дверной проем, уже на самом деле сбив с ног кондуктора, поднимавшегося в вагон.

Шмыгнув вдоль вагонов, Пиотровский уже был в перелеске, когда со стороны станции прозвучали выстрелы; но винтовка младшего жандарма была заряжена еще в Киеве холостыми, и свиста пуль не было слышно, лишь напуганный машинист зачем-то потянул рычаг свистка, и паровоз тревожно затутукал в ночь.

...Она не любила воспоминаний, меланхолическое копание в прошлом (все равно что перелистывать фотоальбом, сидя на мягком диване, пока за окнами комнаты течет дождь) — это для сентиментальных слезливых барышень, она деятельно, в полную силу жила в дне нынешнем, и в те редкостные минуты, когда хотелось отстраниться от навязчивого и неприятного окружения, вдохнуть свежего воздуха, как сейчас вот в железнодорожном вагоне, Софья думала не о прошлом, а о будущем. Это не были легкомысленные и несбыточные мечтания, которые она знавала за некоторыми из товарищей по борьбе, это не была детская, доверчивая игра щедрой Мариной фантазии,— Софья для этого слишком трезво и реально мыслила. Это была не подкрепленная никакими строительными лесами, но светлая и счастливая радость от осознания того, что рано или поздно, а окружающий мир изменится, станет принципиально иным, более правдивым и умным, главное же — более человечным. Она трезво отдавала себе отчет в том, как еще далеко человеку до ангельской доброты; если уж мыслить библейскими образами, то в человеке достаточно и от ангела, и от черта, недаром же они сами — порождения человеческого воображения. Но ее счастливые видения, ее радости базировались на том убеждении, что при гуманном социальном климате все злое, идущее от черта, постепенно выветрится из человеческой души, а останется — пока свет стоит — лишь то, что от светлокрылого ангела. И она думала о времени, когда люди станут людьми. И с высоты грядущих столетий невидимые для других лучи проникали в ее душу, и согревали ее, и поднимали над повседневностью будней, и придавали сил. Закрыв глаза, она отдыхала душой под этими мягкими животворными лучами, как отдыхают телом под лучами солнца.

Но мир сиюминутный ревниво привлекал ее к себе; вдруг сквозь привычный вагонный гомон (поезд только что отошел от станции, поглотив новых пассажиров) в сознание Софьи проникли обжигающие огоньки слов — и душа ее вспыхнула новой надеждой:

— по-моему, дважды стреляли...

— ей-ей, трижды, один раз выстрелило, а через минуту — бах, бах!

— я, правда, с пролетки и к кассе, а оно как шарахнет, носильщик своими чемоданами бух — и под глухую стену ползком, я, правда, хотя и не ползком, но не отставал от него, у стены и встретились. «Что же ты, говорю, этак с чемоданами-то, может, там китайский фарфор...» А он: «Эх, милостивый государь, фарфор что — он не женат, а в моем гнезде шестеро, и все шестеро есть просят. Паны бьются, а слепые пули — в мужицких чубах застревают. Помните, говорит, ваше вельможество,— это он с перепугу так ко мне обраща-

ется,— барона Гейкинга в Киеве? Не только сам на тот свет ушел, но и безвинную душу с собой забрал, царство ему небесное...»

— а в кого же все-таки стреляли?

— в кого бы там ни было — начальство знает...

— в студента, в студента! Господин жандарм на перроне признался: политический, говорит, из-под стражи бежал; двое его сопровождали, а он одного в буфет за водкой спровадил, а второго трахнул, и только его и видели.

— социалисты не пьют...

— все пьют...

— разве социалисты не люди?

— антихристы они, так тихо, спокойно жилось, а нынче из дому не выйдешь — подстрелят...

— тебя ни одна пуля не возьмет — больно уж жирен...

— господа, за что мы платим железной дороге такие деньги? Еще и оскорбляют! Я вызову кондуктора!

— успокойтесь, господин, скоро Киев, и мы вызовем для вас могильщика...

— нет, господа! Это невозможно! Наши отцы и деды ездили в пять раз медленнее, но были уверены, что в их карету не втешется ни один мужик!

— потому что мало вешаем и с оглядкой на Европу...

— что вешать — лен подорожал, конопли мало сеют; топить нужно — в Днепре или даже в самом Черном море...— добавил из угла вагона все тот же иронически дерзкий голос.— Веревок все меньше, а социалистов — все больше...

Ближе к Киеву в вагоне становилось больше рабочих и студентов.

Софья многозначительно взглянула на Марию — сестра сидела с раскрасневшимся от волнения лицом: бежал кто-то из революционеров! Кто же этот смельчак, вырвавшийся из жандармских лап? В памяти возникали десятки лиц заточенных товарищей, и каждому из них она желала свободы, за каждого из них болело сердце. Сестры ловили каждое слово о беглеце, порой подбрасывали в мешанину голосов какой-нибудь невинный вопрос, шедший к лицу провинциальным наивным барышням: хотелось услышать, каков он из себя, беглец, возможно, внешние приметы укажут на кого-нибудь знакомого, но беглеца собственными глазами никто не видел, все произошло незадолго до прибытия их поезда на станцию, в мутной тьме осеннего вечера.

Пассажиры постепенно успокаивались, свечи, внесенные кондуктором, оплывали и еле-еле мигали в густой вагонной духоте. Мария, прислонившись к сестрину плечу, дремала.

Однообразно, без торопливости выстукивая на стыках, полз сквозь темную ночь поезд, а Софья не спала и думала,

как, в конце концов, странно, даже парадоксально, что она, убежденная народница, чернопередельница, торопится из села в город делать революционное дело. Спешит вопреки собственным взглядам и народническим догмам. И уже почти не осталось в душе спасительной надежды, как это было еще даже прошлой весной, что партия ищет среди городских рабочих лишь отдельных личностей для будущей пропагандистской деятельности в крестьянской гуще. Было что-то более весомое и убедительное, чем их убеждения и программа,— была жизнь.

Легче всего сказать, что правительственные преследования сделали невозможной народническую пропаганду, что социалисту в селе трудно законспирироваться. Но правительственными преследованиями не объяснишь ту пессимистическую безнадежность, которая, подобно эпидемии, поражала лучшие, закаленнейшие силы чернопередельцев и вынуждала их бежать в водоворот городской жизни. Возможно, причиной тому послужило отсутствие свежих сил: героическая деятельность «Народной воли» поражала фантазию и причаровывала молодые души. Она помнит, какое глубокое эмоциональное впечатление произвел даже на нее, Софью, доклад Андрея Желябова, прочитанный им на революционном собрании харьковской молодежи. Возможно, причиной упадка партии послужила утрата уверенности и непонимание насущных задач революции даже столичными чернопередельцами. Свой воз, как в известной басне, чернопередельцы тащили в разные стороны: кто — к сближению с народовольцами, кто — к бывшим народническим позициям «Земли и воли», а кто — и к аграрному и фабричному террору. Она была на том возу, она не умела менять своих убеждений, как меняют одежду, и, наверное, никогда не научится, но душа ее разрывалась, потому что и в Софьиной душе уже не было счастливой ясности.

Последние три года — годы почти безрезультатных порывов. Софья блестяще выдержала переходной экзамен на женских медицинских курсах при Николаевском военном госпитале в Петербурге, но все более преступным казалось ей слушать лекции, мечтать о высшем образовании, пока единомышленники жертвуют жизнью во имя высоких идеалов. Пример Софьи Бардиной, сестер Любатович возбуждал и вдохновлял. «Мы завещаем нашим товарищам по убеждениям идти с прежней энергией и удвоенной бодростью к той святой цели, во имя которой мы подверглись преследованиям и ради которой готовы бороться и страдать до последнего дыхания»,— бередили сердце слова осужденных по «процессу 193-х». Софья оставила курсы, поехала в кубанские села, а вскоре к ней присоединился и Александр. Результаты были ничтожными, но им казалось, что виной тому — неудачно из-

бранное место для пропаганды. Александр и Софья поехали в Одессу, чтобы объединиться с местными социалистами для совместной работы на селе. Однако одесситы все больше увлекались пропагандой в рабочих кружках, тут еще были живы корни организованного Евгением Заславским в семьдесят пятом году «Южнороссийского союза рабочих». Потом был Харьков, Полтава, наконец — Киев. Она не вступила в «Южнорусский рабочий союз», организованный чернопередельцами Николаем Щедриным и Елизаветой Ковальской, фабричный террор был чужд ей, но именно здесь, в Киеве, она впервые в практической работе сблизилась с рабочими кружками. И когда они с Александром читали немецкое издание «Капитала», за ее спиной уже был, пускай и небольшой, опыт пропагандистской работы в среде класса, которому Карл Маркс предрекал великое будущее [1].

И теперь она снова едет в Киев...

Было серое влажное утро, когда под колесами загудел железнодорожный мост, за окнами замелькали стальные переплеты, а вскоре стали видны киевские горы с золотыми куполами соборов. И несмотря на все огорчительное, что было связано в ее сознании с этим городом, несмотря на жандармские когорты, виселицы, тюрьмы, обывательское сонное безмолвие, чем-то трогательным и родным дохнуло в душу Софьи. Киев она любила, любила давно, даже не побывав еще в нем, а лишь наслушавшись материнских рассказов (мать провела пять лет своей юности за чугунными воротами института благородных девиц), а в гимназические годы, проведенные в Киеве, эта любовь расцвела еще больше.

Особенно она любила Киев осенью, когда влажную мостовую устилали оранжево-желтые листья тополей и каштанов, когда из городского сада «Шато де Флер», из сада профессора Меринга на Крещатик выползали клубы туманов, обволакивая синие огни газовых фонарей, когда киевские горы повисали над Почайной, над седым Днепром, как крылья гигантской желто-золотистой иволги, прилетевшей напиться воды из реки...

Софья еще в дороге решила: остановятся они у бывшей подруги по гимназии (звали ее Натали), которая не раз предлагала им с Александром свои услуги. Вести Марию на конспиративные квартиры или к знакомым по революционным кружкам не хотела, Мизя еще совсем ребенок, она бредит революцией, как гимназистка, которая впервые влюбилась,

---

[1] Это издание на немецком языке, с пометками С. Н. Богомолец и А. М. Богомольца, «Капитала» Карла Маркса хранилось в семье Богомольцев и погибло вместе с библиотекой академика А. А. Богомольца в годы войны.

да и ради отца с матерью ее нужно уберечь от жандармских рук. Поселяться в гостинице им было нельзя — жандармы тщательно проверяют приезжих и следят за каждым подозрительным. Снять квартиру — все равно что самим заявить в полицейском участке о своем приезде в Киев: город на военном положении, приезжие обязаны немедленно отмечаться в домовых книгах. За какую-нибудь неделю Мария сдаст экзамены на фельдшерицу и уедет в Воронежскую губернию работать медиком. Тогда уж Софья по-настоящему найдет себе пристанище, возможно, даже возьмет другую фамилию, у Ивана Кашинцева лишний паспорт для нее найдется.

Подруга Софьи жила неподалеку от городского театра на Фундуклеевской, снимала две небольших комнатки в мезонине. Дом был либеральный: хозяйка, вдова директора гимназии, принимала на постой лишь преподавателей, студентов и гимназисток, потому жильцы привыкли к гостям из провинции. Натали, дама третьего гимназического класса, должна была идти на службу, но была еще в домашней одежде. Сквозь неподдельную радость в глазах ее светилась затаенная тревога:

— Вы — прямо с вокзала? На дрожках? За вами никто не следил?

— Мы сошли на Большой Владимирской,— поспешила успокоить подругу Софья.— А чем, Натали, ты напугана?

— Будто не знаешь, что творится в Киеве!

— Который уж месяц сижу безвыездно в селе, слыхом не слыхивала! Неужели что-нибудь страшное?

— У тебя еще хватает сил насмехаться! Вчера средь бела дня снова схватили двух социалистов!

— Кого?

— Откуда мне знать? Вот, в двух шагах от нас, на углу Малой Подвальной и Большой Владимирской. Да я и не интересовалась, зачем это мне, у меня есть моя работа, мои дети...

— Не Павла? — вырвалось у Марии.

— Павла! — иронично хмыкнула Натали.— Ей-богу, этого сумасшедшего Иванова не берут только потому, что он им ни к чему. Да ведь за два километра видно, что он — социалист. Красная косоворотка, патлы — до плеч, борода, а язык — словно ботало, перед первым встречным звонит. А вчера у меня с ним произошла такая глупость, что я до сих пор не приду в себя. Поднимаюсь по Фундуклеевской перед заходом солнца, ну еще светло было, как вдруг навстречу Иванов. Остановил меня, прижал к стене лавчонки и чуть ли не с ножом к горлу: не видела ли, как арестовывали Рудых, да что люди говорят, да...

— Рудых! — прервала ее Софья, бледнея лицом: это была

конспиративная кличка Елизаветы Ковальской и Николая Щедрина, организаторов «Южнорусского рабочего союза». На этот раз жандармы попали в сердце организации. Вот тебе и розовые мечты в поезде... А к кому из киевских товарищей потянулась ниточка от Рудых?!

— Ты их знаешь? — хозяйка квартиры не скрывала своего беспокойства.

— Я знаю только одного рыжего, который пел нам серенады под окнами пансионата госпожи Сирьян...— нашлась Софья и выдавила на лице улыбку. Прислонив к горячим щекам ладони, она сидела в мягком кресле и удивленно следила за подругой, с которой шесть лет назад учили наизусть «Кобзаря» Тараса Шевченко, штудировали Писарева, Дарвина, Бюхнера, Фогта, бегали на тайные студенческие рефераты и на подпольные, за занавешенными окнами, вечера.

— Ну вот, он меня допрашивает, а по улице проходит множество людей, и чуть ли не каждый из них искоса посматривает на лохмы Павла, представляю, сколько среди этих людей было моих знакомых, я уже никого не видела, от страха в глазах у меня, что называется, был белый туман. И вдруг Павел говорит мне: «А знаешь, за мной следит вон тот образина, рассматривающий витрину, с самого утра следом за мной таскается». Я взглянула — боже мой! Унтер в гражданском, морда красная, как косоворотка у Павла, и одутловатая. А я уже добрых полчаса с Ивановым разглагольствую. Что они т а м подумают! Павел же спиной к публике стал и показывает унтеру свой пудовый кулак. И что вы думаете? Унтер тотчас же шмыгнул за угол лавчонки, только мы его и видели. Я тогда говорю Иванову: «Ну что ты себе, Павел, думаешь! Передушат вас, как цыплят, погибнешь. Время какое — за одну прокламацию людей вешают. А от тебя за версту политикой разит». А он зубы скалит — право, не в своем уме. Мне стало чуточку легче, и вижу я, что от Крещатика катит экипаж госпожи Дашкевич, мы с ней познакомились на вечерах у профессора Авенариуса, она — госпожа светская, вхожа к генерал-губернаторше Ольге Ивановне, и обещала получить для меня должность учительницы словесности в здешней женской гимназии. И вот эта госпожа Дашкевич смотрит из экипажа в мою сторону, а у нее глаза, как у совы, вы представляете, что было бы, если бы она увидела меня с Ивановым! Классная дама в закрытом, из чесучи платье, под французским зонтиком — рядом с этим лохматым в красной косоворотке! Ну, я тут забыла все правила этикета, которыми набиваю головы своих гимназисток, да побежала прочь. Остановилась аж возле театра, посмотрела, не идет ли следом этот унтер, и такое меня зло взяло — стреляла бы их, сволочей, с человеком не дадут поговорить, тени

собственной боишься! А до дома дошла, и зло испарилось, только такое отвращение ко всему,— века людского кот наплакал, а нашего, женского, и того меньше, а нам разные революции снятся, ради всяких химер человек готов разорвать на куски другого человека...

В Наталкиной речи было столько импульсивной искренности, что Софья не решилась, как обычно, бросить острое и насмешливое словцо, а лишь задумчиво и печально смотрела на бывшую подругу: «Вот один из типичных феноменов переходной эпохи, человек с четырьмя лицами, глядящими в разные стороны. И где его настоящее лицо, которое из четырех?»

— Ты на меня смотришь так, будто я что-нибудь украла...— вымученно улыбнулась Софье хозяйка, обрывая монолог.

— Пустяки, чисто профессиональное: я ведь врач, хотя и недоученный, поэтому пытаюсь установить диагноз твоей болезни.

— И удается?

— Все симптомы духовного паралича...

— Неужели я столь безнадежно больна? — Натали вложила в свои слова всю иронию, на которую была способна.

— Наоборот, ты безнадежно здорова, но прикидываешься больной, потому что сейчас это выгодно для тебя. Я ведь все знаю, Наташенька. Я знаю даже, под какой доской этой вот комнатушки был склад заграничных изданий и какие прокламации приносил тебе на сохранение Павел Иванов, от которого ты только что так открещивалась, хотя еще и первые петухи не пропели, и какие рефераты читались в этих стенах Подревским, который недавно получил пятнадцать лет каторги...

— Довольно, довольно! Будущую речь прокурора Стрельникова на своем процессе я давно знаю наизусть. Тебе легко говорить, Соня!

— Почему мне легко?

— Потому что ты холодна и остра, как хирургический скальпель. В тебе человеческого уже и грамма не осталось. А я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо, я хочу иметь семью, иметь детей и работу, на которой я буду полезней для общества, чем если бы сгнила где-нибудь на каторге, я хочу...

— Боже мой, да знаю наперед, чего ты хочешь и что будешь иметь! — воскликнула Софья, улыбаясь, как умела только она: целую гамму чувств — сочувствие, легкое презрение, отвращение и грусть — засвидетельствовала эта улыбка.— Ты хочешь давать щедрую милостыню нищим на паперти, где ты в официально определенные часы будешь

молиться о здравии царей и их присных, которые этих нищих плодят. Так и будет, как ты хочешь. Ты хочешь осуждать революционеров в салоне профессора Авенариуса или госпожи Дашкевич и сохранять оппозиционное выражение лица в кругу ближайших друзей...

— Ты несправедлива и безжалостна, Софья!

— Раньше ты тоже так думала,— спокойно возразила Богомолец, поднимаясь со стула.— Но теперь я все больше убеждаюсь, что в наш переходный век, век исковерканных социальным и национальным гнетом людей, нужны шуты, которые говорили бы в лицо людям правду и чувствовали себя органически неспособными на компромисс, как с собственной, так и с чужой совестью. Я — из этих шутов. Если же тебя шокирует такое сравнение, пожалуйста, другое: я — мальчик, бросающий в затянутое ряской гнилое болото камешки в надежде все же услышать всплеск живой воды... Пошли, Марийка!

— Кстати, я вас не гоню. Но считать всех вокруг болотом — это от нелюбви, Соня.

— А может, от чрезмерной любви?..— вырвалось у Софьи с болью, но через миг она будничным голосом добавила: — Мы оставим у тебя чемоданы. В них нет ничего, кроме белья и платьев, и твоей гимназической карьере это отнюдь не повредит...

— Злюка, ведьма! — крикнула им вдогонку в приоткрытую дверь хозяйка.— Но если вы со своими принципами нигде не найдете пристанища, я вас жду!

Сеялась мелкая, как туман, изморось, когда они, голодные и утомленные, снова оказались под открытым небом, на Фундуклеевской улице. От Киева, каким он виделся из Климова, казалось, не осталось ничего. По мостовой время от времени тарахтели дрожки с нахохлившимися, будто мокрые куры, извозчиками и съежившимися под тентами пассажирами; на грязных тротуарах прижимались к глухим заборам, выставляя на обозрение людей свою бедность, старость или искалеченность, нищие; бездомные псы, понурив головы и кося во все стороны голодными затравленными глазищами, пробегали по улице; из-под ворот частных дворов разило свинарниками — чуть ли не в каждом дворе держали свиней; по краям мостовой под зонтиками, в епанчах и плащах шагали, скользя по мокрым камням, прохожие — они неожиданно выныривали из вязкой осенней мглы и точно так же внезапно исчезали в ней, будто проваливались сквозь землю; только мешковатые фигуры городовых невозмутимо маячили на перекрестках, вытягиваясь перпендикулярнее столбов с газовыми фонарями, когда мимо с грохотом проносился закрытый экипаж,— было время, когда гроза полицейских и обывателей полицмейстер Гюббенет отправлялся

на рапорт к начальнику края, а с некоторых пор все киевские администраторы ездили по городу только в каретах и с занавесками на окнах.

— Встретить бы сейчас Павла...— грустно промолвила Мария.

— Пора уже знать, что мы живем в эпоху, когда живые люди встречаются только на похоронах,— сердито, еще не оттаяв после стычки, ответила сестра,— да на конспиративных квартирах. Город словно зачумлен, людей полно, а безлюдье, выть хочется.

— Нужно найти Павла,— настаивала на своем Мария.— Он все устроит.

— Сначала нужно перекусить.— Софья вдруг подумала о нем, сама она привыкла за последние годы жить впроголодь, но он не должен голодать, он должен родиться здоровым и сильным.— Поедим в какой-нибудь кухмистерской на Крещатике, а потом ты пойдешь в читальный зал публичной библиотеки и там меня подождешь.

— А ты?

— А я поищу людей,— неохотно ответила Софья.

— Ага, я знаю, ты пойдешь на конспиративную квартиру и обязательно попадешь в жандармские лапы.

— Почему это я должна обязательно попадать к жандармам?

— Потому что в Киеве — аресты, и ты не знаешь, кого, кроме Рудых, арестовали и на какой из квартир западня.

Сестра была права, Софья уже думала об этом, но другого выхода не было, не возвращаться же им обратно в Климово только потому, что в Киеве — аресты. Впрочем, Мария имеет причину для появления в Киеве — экзамен, и может снять комнату на свое имя, а она, Софья, остановится у нее на два-три дня. Тем временем что-нибудь придумает, встретившись с Павлом или Кашинцевым.

— Итак, мы поедим, а потом лучше ты пойдешь в читальню и будешь ждать меня там,— упрямо стояла на своем Мария.— Я поищу Павла...

— Где же ты будешь его искать? Не у Новицкого ли адрес спросишь? — пошутила Софья.

— По тому адресу, который он мне дал, вот как! — торжествовала Мария.— Впрочем, ты этот адрес тоже знаешь. Он говорил, чтобы по приезде в Киев я обращалась в фотографию Мезера на Крещатике к Ядвиге Поплавской, работающей там по найму. Она всегда будет знать, где Иванов.

«Иванов Павел Иосифов, сын чиновника, 27 лет, окончил курс Коллегии Павла Галагана, был три года на медицин-

ском факультете Киевского университета, но в 1878 году исключен оттуда за студенческие беспорядки, происходившие в марте этого года. После оставления университета, будучи народным учителем в Киевском уезде, распространял среди крестьянских детей преступного содержания книги, но успел вовремя исчезнуть, и потому хотя и был привлечен при Киевском жандармском управлении обвиняемым, но не был арестован до сих пор... Иванов, несомненно, развитый и способный человек, прекрасно владеет пером, но бесспорно также, что он был организатором и главой свободной типографии, один из выдающихся по решительности и присутствию злой воли революционных деятелей».

ЦГИА, ф. 442, оп. 8530, ед. хр. 382.

— А если там вместо Ядвиги жандарм таких, как ты, поджидает?

— Тогда я сделаю вот такое невинное лицо и промолвлю: «Как жаль, что Ядвиги нет, а вы, господин жандарм, случайно не знаете, где теперь мой Павел?»

Мария сделала такое ангельское, детское личико, что Софья даже улыбнулась.

— А господин жандарм и напомнит тебе обыск на вашей с Иваном квартире.

— Я выступала там только как жертва брата-политика. Я была такой наивной, жандармский офицер таким любезным. «Где ваш брат, барышня?» — «Я сама волнуюсь, ушел с вечера и нет, а я даже дороги на вокзал, чтобы выехать к родителям, не помню».— «А не скажет ли госпожа Присецкая, как попали в вашу квартиру прокламации Исполнительного комитета «Народной воли»?» — «Я не читаю газет и в политике не разбираюсь, господин офицер, а что такое прокламация, не бомба ли, о которой нам говорил в гимназии господин директор?» И так далее. После они ушли, но оставили в коридоре двух жандармов ожидать Ивана. Так я их по очереди в булочную гоняла, и старший называл меня только дочерью. Уговорила, не правда ли, уговорила?

— Уговорила,— вздохнула Софья.

Чуть ли не всю ночь Ярослав Пиотровский брел через перелески, придерживаясь железнодорожного полотна, чтобы не заблудиться: под утро постучал в окно одиноко стоящего домика на окраине. Хозяин,— был из сочувствующих, года два назад Ярослав останавливался у него, когда привозил для местного гимназического кружка издания «Земли и воли»,— перепугался, времена были опасные, но все же дать смену одежды согласился. Одеваясь в старенькое пальто с плеча хозяина, в его же сапоги, Ярослав торопливо расска-

зывал о своем отчаянном прыжке с вагона, о выстрелах вслед и о погоне через лес. И этот визит, и переодевание, и торопливый рассказ Пиотровского — все было инсценировано жандармским капитаном Судейкиным в одиночной камере Ярослава, в глухом крыле тюрьмы, куда его перевели в тот же день, когда он шепнул надзирателю для передачи Судейкину, что назавтра готовится побег из тюрьмы Михаила Попова. Это был знак, что он согласен сотрудничать с жандармским управлением... Теперь же, рассказывая о побеге, он так увлекся, что и сам уже, казалось, не замечал, где правда, а где выдумка...

И уже не чужие слова, заученные за столом с винами и ресторанными закусками (его накрывали перед каждым визитом Судейкина в камеру, и каждый раз Георгий Порфирьевич, поднося к губам бокал с вином, набожно, растроганно произносил: «Господи, как коротка человеческая жизнь и как она прекрасна. Ее нужно пить, как это вино!»), а собственные, рожденные в воспаленном мозгу, лились из уст Ярослава. Он сознательно нагромождал одну выдумку на другую. Как жандармы якобы окружали его в лесу, как взбирался он на дерево, с которого и прыгнул на плечи незадачливого унтера, оглушив его и отняв револьвер с полным барабаном, и как отстреливался, пока не скрылся под покровом ночи. Хозяин и не думал скрывать своего испуга: за связь с террористами теперь отправляли на пожизненную каторгу или же на виселицу.

Киевский поезд приходил на рассвете, и Ярослав, довольный собой (рассказ о собственном геройстве приятно пощекотал ему нервы), побрел по сонным улочкам городка. В кармане чужого пальто лежал чужой паспорт, выданный Судейкиным, чтобы Пиотровский благополучно добрался до Киева. Выбравшись из сумятицы киевского вокзала, он обязан был немедленно уничтожить этот паспорт, а вместо него выпросить новый в паспортном столе «Южнорусского рабочего союза».

Ярославу везло: во-первых, он не вызвал подозрения у жандармских тайных агентов, заполонивших железную дорогу (телеграф разнес весть о побеге Пиотровского по всему краю, на случай, если революционеры имеют своих людей в киевских административных кругах), во-вторых, он встретил на Большой Владимирской вскоре после приезда в Киев Марию Присецкую.

Ярослав встретил ее после обеда, когда, выйдя из кухмистерской, наслаждался после стольких казематных дней свободой и сытостью. Он поднялся по Бибиковскому бульвару, пересек пустырь напротив университета и тут увидел Марию: она шла со стороны Фундуклеевской с двумя чемоданами в руках. Рядом с Марией Присецкой непременно по-

явится Павел Иванов, мелькнула мысль, и он поторопился догнать девушку.

— Разрешите ваши чемоданы, уважаемая барышня?

Мария вздрогнула (действительно вздрогнула), а оглянувшись, не скрыла удивления:

— Пиотровский!.. Как вы оказались здесь?..

— Главное, что здесь. А как — особого значения не имеет,— засмеялся Ярослав и взял из рук Марии груз.— Куда барышня направляется?

— Да вот, с чемоданами ношусь. Пока устраивались...— Иванов дал сестрам адрес конспиративной квартиры, но попросил быть очень осторожными, чтобы не привести за собой «хвоста».

— Иванов там, куда вы идете? — Ярослав заглянул в глаза смутившейся девушки.

— Нет, он не там.

— А где же?

Мария молчала.

— Мне немедленно нужен Павел,— твердо и властно произнес Пиотровский.— Неужели вы мне не доверяете? Вы видели меня с Павлом не один раз. Вы же не хотите, чтобы я снова очутился там, где был до сих пор. Прошлой ночью я бежал из-под жандармской стражи, меня ищут. Дорога каждая минута. Либо свобода, либо виселица. Иного выбора для меня не существует, я отстреливался.

От собственных слов его обдало холодом.

— Боже мой, так это вы — бежали?! Почему же вы сразу не сказали? Мы проезжали станцию, где это произошло, и наслушались о вас! Я сейчас проведу вас к Павлу, только чемоданы занесу...

Только здесь, в табачном дыму и порывистом нервном шелесте приглушенных голосов, в калейдоскопическом кружении знакомых лиц Софья наконец обрела то равновесие, которого ей так недоставало в последние недели в сонно-осенней тишине родительского гнезда. Сейчас она чувствовала себя человеком, который после долгих странствий по морю снова обрел берег и увидел вдали родные горы, окутанные синей мглой; до этих гор нужно было еще идти и идти, но это уже была знакомая дорога, надежная и прямая, дорога домой.

Примостившись вблизи открытой форточки (ему нужен был свежий воздух, ему вреден дым — заботливое клохтанье наседки невольно прорывалось помимо ее воли сквозь заграждения напряженного разума), она, не вслушиваясь в рокот голосов — прокламации, шифр, тюрьма, централ, «голубь», «Народная воля», эмиграция,— радовалась живому —

применительно к нынешним злым временам — духу сегодняшнего собрания. Рядом с Софьей сидел насупившийся Павел, даже приезд Софьи не отвлек его от горьких размышлений, вызванных вчерашними арестами; Иван Кашинцев, пользуясь столь непривычными для него свободными минутами, просматривал легальную газету. В противоположном углу довольно просторной комнаты гимназист (в отличие от своего старшего брата-студента) Бычков, статный юноша, который без «нигилистической экипировки», с которой не расставался на улице,— синих очков и широкополой шляпы,— выглядел трогательно юным, читал высоким фальцетом статью о казни в Киеве. Статью Софья знала, однако знакомые слова, нанизанные на тревожный молодой голос, звучали встревоженно и многозначительно.

«...На 14 июля была назначена казнь Иосипа Федорова, Горского и Бельчанского. Рано утром во двор тюремного замка въехала колесница, на которой должны были везти осужденных к месту казни. Никто в тюрьме в эту ночь не спал; из зарешеченных окон выглядывали бледные и печальные лица заключенных; там и сям слышался прерывистый разговор — это заключенные обращались с последним приветом, с последним словом любви к осужденным товарищам. Минута была мрачная и торжественная; сердца тех, кто оставался, сжимались горестной печалью, а осужденные были бодры, почти веселы и пытались успокаивать своих друзей. Но вот послышался стук отпираемых замков; все затихло в немом ожидании. Осужденных вывели во двор и торопливо усадили в колесницу, привязав им на грудь по большой черной доске, на которых белыми буквами было написано: «Государственный преступник». Когда закончилась эта церемония и колесница тронулась к воротам замка, осужденные крикнули товарищам: «Прощайте, друзья, не тужите, пусть наша смерть будет залогом лучшего будущего для вас!» — «Прощайте, прощайте!» — прозвучали в ответ голоса из тюрьмы, среди которых слышались приглушенные рыдания. По дороге от тюрьмы к месту казни Федоров и Бельчанский обратились к собравшимся с речью, в которой объясняли, что казнят их не за преступление, а за то, что они любят народ и боролись за него. Едва прозвучал голос осужденных, как Гюббенет приказал бить в барабаны, а казаки пытались отодвинуть толпу, теснившуюся вокруг колесницы. Однако барабанщику не удалось заглушить громких голосов ораторов; видимо, и у него нелегко было на душе: ударит один раз, другой — и умолкнет, будучи не в силах продолжать. Заметив это, барабанщика заменили трубачом, но и это не помогло. Так, медленно двигаясь, колесница доехала до места казни, где посредине огромной площади, заполненной народом, возвышались три виселицы. Твердым шагом осуж-

денные поднялись по ступенькам эшафота, и когда палач готовился набросить им на головы белые балахоны, Бельчанский, подбросив вверх свою шапку, воскликнул: «Да здравствует революция, да здравствует бедный люд!» — и эхо громко повторило его восклицание во всех концах площади. Крепко обнявшись в последний раз друг с другом, осужденные без сопротивления отдали себя в руки палача... Еще три жизни принесены в жертву деспотизму, обезумевшему от пролитой им крови...»

Федорова — Арона Гобета, который так и не назвал жандармам своей фамилии,— Софья немного знала по Петербургу, о нем рассказывала и сестра Ольга, которая в дни забастовки на Новой бумагопрядильной фабрике была хозяйкой конспиративной квартиры рабочей организации. Тогда виленский сапожник Арон Гобет был душой рабочего кружка. А годом позднее он увлекся подготовкой покушения на Александра II. В Петербурге Софья жила в «коммуне» курсисток, в доме, заселенном студентами, и вокруг кипели бурные революционные страсти. По-разному были настроены молодые люди: одни, только включавшиеся в работу, мечтали о пропаганде социалистических идей в селе, другие, уже столкнувшиеся с трудностями, возвращались из сел, подавленные и разочарованные; были и такие, что агитировали за вооруженную борьбу с правительством. А по вечерам к ним приходил «Жорж» — Георгий Плеханов — и говорил с глубокой верой и большой убежденностью об идейной восприимчивости народа, о том, что перед народом не нужно развивать системы Лапласа, как это делают лавристы, а вести агитацию на почве правительственных притеснений.

И снова мысли, не дававшие Софье прошлой ночью задремать в поезде, забурлили в ее мозгу. В коридоре трижды звякнул звонок, что свидетельствовало о приходе своих людей, и комната приумолкла — ждали Исаака Левинского: на конспиративной квартире, нанятой Ионой Кирилловым, благодаря его старательности и легальному, вне подозрений, положению, собирались для дискуссий революционеры разных направлений.

Он по-настоящему волновался, будто зеленый гимназистик перед первым свиданием; приближалась минута, ради которой, собственно, он и начинал эту опасную и изнурительную игру; еще в камере кишиневской тюрьмы он множество раз представлял себе его, этот миг триумфа,— возвращение в тесный круг боевых побратимов,— и когда писал длиннющие покаянные прошения графу Лорис-Меликову, в которых

было все, кроме искренности, и когда окончательно соглашался, уже в Лукьяновском замке, на сотрудничество с жандармским управлением, всегда перед его внутренним взором была эта картина: собрание социалистов, он входит, и десятки восторженных лиц, и десятки восторженных вздохов — наконец Ярослав с нами! А когда пройдет пьянящий миг встречи, он попросит нескольких самых авторитетных из них выслушать его и искренне, будто на исповеди, расскажет, какими извилистыми тропинками пришлось ему брести, чтобы снова встать в ряды борцов с деспотизмом, в ряды, которые так поредели после недавних процессов. Разумеется, он расскажет не все, он только намекнет, что пришлось писать известной лисе Лорис-Меликову и как пришлось разглагольствовать с Судейкиным, прикидываясь невинной, перепуганной овцой (тут он скажет, что хочет отомстить Судейкину за тюремные притеснения, пускай только организация поручит ему свершить справедливый суд над зарвавшимся капитаном). И в самом деле, не мешало бы как можно скорее сплавить Судейкина на тот свет, ибо это единственный свидетель его, Ярослава, падения, но, конечно, не своими руками, он, Пиотровский, еще пригодится для более значительных дел, а нужно подговорить кого-нибудь из рядовых членов народовольческого кружка. Но чего ему бояться, ну, хотел вырваться из каземата, решил бороться, а не гнить, а как вырвался, как сумел выбраться на свободу,— это уже его личное дело, цель оправдывает средства, любит повторять Владимир Бычков, главное — он еще много сделает для революции, и в этом Судейкин был прав. Там, в кишиневской тюрьме, куда капитан приехал, как только Пиотровский был арестован, он с этого и начал беседу, войдя к Ярославу в камеру: «Вы, Ярослав, будете удивлены, но я тоже считаю себя социалистом — я убежден, что в нашем государстве не все в порядке, мы катимся к катастрофе, необходимы перемены, много перемен, хотя я категорически против тех средств, к которым прибегают ваши товарищи. Они не спасут Россию, наоборот, приблизят катастрофу. Я пришел сказать вам, что вы, Ярослав Пиотровский, значительная революционная сила, вы еще столько бы сделали, и мне очень жаль, что вы можете растратить свою жизнь в тюрьмах и в ссылке, если еще не попадете на виселицу, времена нынче сами знаете какие...»

И уже в коридорчике конспиративной квартиры Ярослав решил не исповедоваться перед товарищами — бежал, да и только, пожалуйста, проверяйте, если не верите, но с каких это пор тут не доверяют Ярославу Пиотровскому?!

Он вошел в комнату следом за Марией и успел уловить на лицах присутствующих тень разочарования, тут кого-то ждали, но, разумеется, не его. Потому-то на лицах появилось

удивление, недоверчивое, настороженное, будто в комнате собрались суеверные люди: а вдруг это не Пиотровский, а призрак, чудище, упырь. И даже Павел, доброжелательный, наивный, доверчивый, как ребенок, Павел, даже он не встал, не протянул навстречу руку, как бывало раньше, когда Ярослав возвращался из странствий по провинции или из-за границы с чемоданом запрещенных изданий. Неужели Попов заподозрил именно его, Ярослава (но ведь вся политическая тюрьма знала о побеге, он со многими прощался!), и успел свои подозрения передать на свободу? «Вот как вы охраняете свои тюрьмы, Георгий Порфирьевич!» — почти с упреком подумал Пан — Пиотровский. И хорошо известная, черная, вязкая муть страха, которая впервые подступила к нему в камере кишиневской тюрьмы (он таки прочно засел — за перевоз типографии через границу не миловали),— Ярославу показалось, что он уже задыхается между глухими молчаливыми каменными стенами с узким, зарешеченным бойницей-окошком вверху, напротив которого серела точно такая же мертвая стена соседнего тюремного корпуса,— снова охладила ему спину, растекаясь по нервам; парализуя и тело, и душу. Но даже нервный шок, прогрессировавший с каждым мгновением, не приглушил в нем глубоко укоренившегося инстинкта самосохранения. И естественное его проявление продиктовало Ярославу единственно возможный сейчас способ поведения. Он опустился на порог, прислонил к дверному косяку голову, закрыл глаза.

— Ночью, когда меня вывозили в Москву, я прыгнул с поезда. Как можно скорее предупредите Лесковых — за ними следят...

— Лесковы арестованы...— четко, с нескрываемым вызовом произнес Александр Бычков.

Землистое, цвета тюремного сукна лицо Пиотровского поблекло. Он раскрыл глаза и жалобно посмотрел на бывших товарищей:

— Я так спешил. Но после оказии с Поповым «голубь» наотрез отказался передавать. Они перевернули вверх дном всю тюрьму...

Недоверчивая тишина наполнила комнату, Ярославу стало даже трудно дышать. Под пальцами Кашинцева зашелестели страницы газеты.

— Да вы что, считаете меня предателем? — полушепотом актера-трагика промолвил Ярослав.

— Если бы мы считали тебя предателем...— Алексей Преображенский сделал долгую многозначительную паузу.— Но партия вправе подозревать.

Алексей, подобно дантисту, который занимается больным зубом, случайно прикоснулся к воспаленному нерву, и Пиотровский рванулся вслепую — так раненый, заливающийся

кровью вол бросается на скотобойца, так прыгает на красные флажки загнанный волк. Речь Ярослава была горячей, страстной, искренняя боль прорывалась в его отчаянных словах. Но не только благодаря ей они походили на правду: волчьи времена, система провокаций, утвердившаяся в Киеве стараниями капитана Судейкина,— все это на самом деле приводило порой к трагическим наговорам, и уже кое-где поднимался бурьян взаимного недоверия и подозрений.

— Да, я — предатель, агент жандармского управления, Иуда, продавшийся за тридцать сребреников, где там за тридцать, дешевле, не столь уж и богата наша жандармерия, чтобы щедро платить Пану, я брал дешево, по десятке за народовольца, за народника — пятерку! Кто-нибудь может сказать: Пан разбогател, Пан пьет, Пан гуляет! Однако вспомните: скольких из вас я знаю — все вы на свободе! Так на чем же тогда «разбогател» Пан? Ведь он никого не предал! Я не впал в истерику, я хочу только доказать, что я не предатель! Но как это сделать, раз вы не верите? У меня остается один-единственный способ — возвратиться в жандармское управление и пускай военно-полевой суд отмеряет Ярославу Пиотровскому пятнадцать лет каторги, десять — за перевоз типографии через границу и пять — за побег из-под стражи. Впрочем, сейчас за это могут и повесить, и уж тогда вы все наконец поверите, что я честный, а впрочем, найдутся и тогда такие, которые будут сомневаться, повешен ли Пан и не вернется ли он с того света? В последний год мы только то и делаем, что ищем среди своих жандармских агентов. Это стало уже общей болезнью, братья, и я сегодня — жертва этой болезни. Но нет никакой уверенности в том, что завтра этой жертвой не станет кто-нибудь из вас. Одним словом, если вы прикажете, я сегодня же отдам себя в руки Новицкого и пойду на виселицу....

И в этот момент снова трижды зазвонил звонок.

...Они ушли первыми, вскоре после речи Павла, оставив кружковцев Левинского обсуждать вопрос о том, как налаживать пропаганду среди офицерства, одного из рычагов будущего переворота. Левинского призывали в армию, и хотя он был очень опечален этим, одновременно возлагал на службу большие надежды: увлеченному и чуточку склонному к авантюризму Исааку казалось, что офицеры Киевского военного округа только и ждут его появления в Подольских казармах, чтобы тотчас же вступить в «Народную волю». Хлопцы Бычкова тоже остались, хотя народовольский интеллигентский кружок несколько их сторонился. План Левинского импонировал братьям: боевые дружины, вооруженные выступления, террористические акты — все это по-настоящему захватывало, возбуждало, главное же, обещало быструю и эффектную победу.

Чтобы не появляться всем вместе на Большой Владимирской, которая освещалась газовыми фонарями, Павел повел товарищей через проходные дворы в сторону Шулявки; уже давно не имея постоянной квартиры, скрываясь от жандармерии, он прекрасно изучил ночной Киев. Перебредя через лужи, наполнявшиеся ручейками из свинарников и сточных канав (в Киеве все еще не было канализации), они вскоре выбрались на песчаные косогоры Караваевской улицы и вдоль Ботанического сада поднялись в Старый Киев, где жили теперь сестры. Когда приближались к университету святого Владимира, Алексей Преображенский и Мария, взявшись под руки, будто влюбленные, возвращающиеся с вечеринки, пошли впереди. Софья осталась с Кашинцевым и Ивановым. Всю дорогу, пока Павел восторгался, как они только что утерли нос тем «политикам» и «конституционалистам», которые, мол, льют воду на мельничное колесо новорожденной буржуазии, но не хотят этого понять, не хотят прислушаться к голосу людей, видящих глубже и дальше, Софья молчала; оберегала при Марии самолюбие Павла, да и не чувствовала еще тех точных и емких слов, которые должна была бы сейчас сказать Иванову. Когда же они остались втроем и Павел, махнув в сторону Жилянской улицы, снова запетушился: «Ну, и всыпал я им сегодня!», она утомленно и чуть раздосадованно произнесла:

— И никому ты, Павел, не всыпал, кроме нас самих. Теперь я понимаю, почему часть рабочих из нашего арсенальского кружка перекинулась к народовольцам. Так чернопередельцы вскоре потеряют и железнодорожный кружок.

— Ревизор приехал! — Павел был обижен, будто ребенок, который ждал похвалы, а его неожиданно отчитали.— Я полно и точно изложил программу «Союза».

— То-то и оно, что звучит она сегодня наивно.

— Как ты можешь, Соня! Вот увидишь, как только в Петербурге начнется, я брошу клич, и рабочая армия встанет под наши знамена. Скажи ей, Иван.

Но Кашинцев молчал.

— В Петербурге не начнется,— с той же грустью в голосе ответила Софья,— ни сегодня, ни завтра. Начнется, думаю, не скоро, и на это нужно трезво смотреть. А твоя рабочая армия существует лишь в твоей восторженной фантазии.

— Если наша рабочая армия вам не нужна, Софья Николаевна, я пошел,— вежливо-холодно промолвил Павел.— Жаль, я так радовался твоему приезду, думал — снова будем работать вместе... Кстати, и армия не нужна, и бунт не нужен, а что же нужно?

— Сама не знаю...— вздохнула Софья.— Возможно, слово...

— Слово, слово!..— даже стон вырвался из груди Павла.— Те, которые десять лет назад полагались на слово, ныне пасут в тундрах оленей, а воз и ныне там, только глубже завяз, по самые грядки. Ну, с тем будьте себе здоровы! — Иванов двумя прыжками приблизился к ограде вокруг Ботанического и мигом перемахнул через нее.

— Ты хотя бы место для ночлега имеешь, кипяток? — крикнул вдогонку товарищу Кашинцев.

— У Василия Демьяновича всегда постель найдется...— После этих слов зашелестели сухие листья и стихло.

— Бунтарь...

— Старое трухлявеет, а молодое — еще зеленое. Мы — люди переходной поры, и в этом наша трагедия.

— Но ведь дело хочется делать, хочется делать дело, Иван, а не ждать лучшей поры!

— А может, ты была права и сейчас слово — и есть дело?

Они без приключений прошли мимо университета; на той стороне улицы, на пустыре, их ждали Мария и Преображенский.

— А где же Павел? — удивилась Мария.

— Не выдержал злой доли и бежал от Софьи,— засмеялся Кашинцев.

— Боже мой, сколько людей, столько и мнений! — в голосе девушки зазвучала искренняя горечь.— И каждому кажется, что именно он самый умный, и вся эта словесная чехарда называется революцией!

— Не революцией, Марийка,— вздохнула Софья,— а только ступенькой к будущей революции...

Вскоре после речи Павла чернопередельцы встали и вышли, но Пиотровскому никто не кивнул, даже всегда приязненный Иванов, с которым они дружили еще с университета. И Ярослав остался с глазу на глаз с отчаянными хлопцами Владимира Бычкова и Левинского. Недавние трагические приключения провокатора Забрамского мгновенно вспомнились ему, и страх ледяным ужом прополз по спине, а ладони вспотели и стали неприятно липкими; ему вдруг подумалось, что лучше всего выскользнуть вслед за неприветливыми «союзовцами», чем снова выяснять отношения с хлопцами, которые самого бога заподозрят в измене и проткнут кинжалом. Сбиваясь и краснея, он пробормотал что-то о паспорте, который ему крайне необходимо раздобыть у Кашинцева, и шмыгнул в дверь. В коридоре Ярослав (сердце его бешено колотилось, даже в висках закололо) прижался к стене, опасаясь, что за ним бросятся, заподозрив неладное, но из ком-

наты доносился лишь монотонный гул голосов. Тогда он вышел на крыльцо: влажная осенняя ночь еще хранила приглушенный отдалявшийся голос Ивана. Ярослав двинулся на этот голос, но товарищей не догонял, а брел на почтительном расстоянии, радуясь собачьему лаю, который маскировал его шаги. Прижимаясь к заборам, он двигался на человеческий голос и обрывками слышал спор Иванова с Софьей Богомолец.

Когда же Иванов скрылся за забором Ботанического сада, Ярослав сначала намеревался последовать его примеру, но в последний миг подумал, что лучше все же встретиться с Павлом будто случайно, и почти бегом метнулся вокруг Ботанического к Бибиковскому бульвару. Пиотровский не раз бывал с Павлом в переделках и знал этот лаз, который неоднократно спасал его от жандармов: перебредя через заросли сада, Иванов вынырнул неподалеку от ворот, где на косогоре легче перебраться через ограду,— по ночам Ботанический запирали для публики. В самом деле, едва Пиотровский, переводя дыхание, остановился за тополиным стволом напротив ворот, как доски забора заскрипели, что-то глухо стукнуло. Ярослав рассудительно, не торопясь двинулся вперед и вскоре догнал Иванова:

— Павел! Неужели?

— А ты, Пан, почему по ночам слоняешься? — сердито, недоверчиво буркнул Иванов, но невольно в его голосе зазвучала радость человека, встретившего в голой степи путника.

— За тобой слежу, разве не догадываешься? — грустно сыронизировал Пиотровский и торопливо добавил: — Надеюсь, хоть ты не поверил в сплетню? Ведь так, как ты меня знаешь...

— Эх, Ярослав, сейчас самому себе не веришь: посмотришь в зеркало и думаешь — не жандармский ли агент ты, Павел?

— Новицкие и судейкины на это и рассчитывают: чтобы собственной тени боялись. А впрочем, конспирация и осторожность необходимы. У нас, в Киеве, какая-то принципиальная неконспиративность. Встречаю Марию на Владимирской, где Павел, спрашиваю, она и ведет меня прямехонько на собрание. А в последний раз видела меня ранней весной. А может, я в самом деле новый Забрамский? — заглядывать одним глазом в пропасть было не так страшно, как отворачиваться от нее, делая вид, что по обочинам узенькой тропинки — плоская равнина.

— Ну, Мария тебя давно знает и со мной часто видела...— Конечно, Павел оправдывает Марию, так и должно быть, а одновременно амнистирует в собственных глазах Пиотров-

ского.— К тому же у нее врожденная интуиция. Забрамского она всегда недолюбливала.

Изморось все усиливалась; чем-то похожие на стебли подсолнечника столбы с фонарями на хребте гористого бульвара поднимались в темно-серую мглу и удалялись; Иванов широким размашистым шагом спустился на Шулявскую площадь, потом резко свернул в сторону Лукьяновки. Пиотровский едва поспевал за ним. Под ногами зачавкала грязь. Они молчали, но это было молчание двух путников, молчание, которое сближает, а не разъединяет. И когда Павел остановился и буркнул: «У тебя есть где переночевать?», Ярослав, почувствовал, что ему почти поверили.

— Какой там ночлег! Без паспорта, без денег... Перебьюсь до утра, а там — не знаю.

— Хочешь бежать из Киева?

— Хочу взяться за какое-нибудь стоящее дело. Знаешь, сколько ненависти накопилось за полгода, проведенных в тюрьме! Сказали бы сейчас: иди, Ярослав, и стреляй, пошел бы.

— Ну, дело найдется,— уверенно, однако неопределенно промолвил Иванов и приблизил свою скуластую, с копной жестких волос, спадавших на плечи, голову к лицу Ярослава. Его глаза, глубоко спрятанные под выпуклыми надбровьями, светились впотьмах: — Есть большая задумка, но нужно людей да людей. Наступило время перейти к сельскому террору, потому что в городе мы ничего не добьемся. Впрочем, не здесь об этом рассуждать,— вдруг прервал себя Павел,— пошли.

Они долго шли по темным улочкам и переулкам, миновали Глубочицу и уже приближались к Лукьяновскому кладбищу, когда Ярослав обеспокоенно, прячась за шутку, спросил: «Ты что, может, на кладбище поселился?» — «Ну да, в склепе. Самое безопасное место»,— будничным голосом ответил Павел, но, не доходя до кладбища, свернул в узкий переулок и начал выстукивать на оконном стекле перекосившейся хатенки сложную дробь. Они уже были во дворе, когда дверь скрипнула и на крыльцо вышел невысокий мужчина в исподнем и свитке на плечах.

— Переночевать бы нам, брат Семен,— сказал Иванов.— Только не в хате, потому что нам с приятелем нужно еще поговорить.

— А я провожу вас в летнюю кухоньку, там и солома настелена, яблоки вылеживались.

— А по яблоку найдется?

— И не по одному.

— Тогда — в кухоньку.

Но когда остались в кухоньке одни, Иванов к яблокам не

прикоснулся. Он ходил по крохотной комнатке, скользя по соломе, и торопливо рассказывал Пиотровскому о своем плане бунта:

— В некоторых местах крестьяне уже готовы к бунту, но сдерживаются, ибо наперед известно, что их беспощадно подавят. Мы предлагаем им организованный в систему путь аграрных преступлений на ирландский манер. Составив список помещиков и богатеев, мы разложим на них налоги в соответствии с располагаемым ими богатством и пошлем из Киева печатные предложения от имени «Земли и воли» внести назначенные суммы. Если же они эти суммы не внесут, а они их, разумеется, не внесут, мы начнем систематические поджоги по группам: если кому вносить сто рублей — жечь на все триста и так далее. После этого — новое предложение внести деньги, и новые поджоги в случае отказа. Народ в это время заверяет начальство, что, мол, если бы люди знали, кто это делает, сами бы выдали бунтовщиков, народ даже заплатит подать, мы ему поможем в этом. Те же люди будут укрывать нас в надежных местах, об убежищах будут знать два-три преданных человека. Вообще же все дело следует вести при помощи этих же двух-трех людей. Шпионов будем беспощадно убивать. Террористические акты будут длиться до тех пор, пока требуемые суммы не будут внесены помещиками и богатеями. В дальнейшем — повторить то же самое в других местностях, охватывая все более широкие районы. Вот таким образом мы пропагандируем идеи партии, организовываем народ и вселяем в него чувство собственной силы. Тем временем помещики из сел убегают, полный финансовый кризис государства, другие террористы организовывают армию и городских рабочих, и в один благословенный день мы наносим смертельный удар по империи со всех сторон одновременно,— а там что бог даст...

На следующий день, когда окрыленный Ярослав по дороге к Кашинцеву, с которым Иванов уже договорился о паспорте для Пиотровского, зашел выпить кофе, следом за ним в кофейную шмыгнул интеллигентный, в пенсне, панок и, извинившись — из-под тонких губ сверкнули золотые зубы,— подсел к его столику:

— Ох, пан Пиотровский, или как вас теперь величать: это была чудесная мысль — выпить кофе. Вы так быстро ходите, я едва успеваю. Если бы я вас попросил ходить медленнее — у меня сердце, мне всего годик остался до выслуги. Кстати, Георгий Порфирьевич Судейкин завтра в полдень будут ждать вас в семнадцатом номере гостиницы «Гастроном». Просили не опаздывать, они любят точных агентов...

Он прошел мимо солдата на крыльце, мимо красногвардейцев, перепоясанных пулеметными лентами, и, после молчаливого, настороженно-безлюдного городского центра, его приятно поразил живой, бодрый пульс Саратовского Совета. Он остановился в сторонке и какую-то минутку наблюдал за роем человеческих лиц вокруг. Озабоченные, серые от усталости, от нервного перенапряжения, они несли на себе отблеск отчаянной, молодой решительности, безоглядной веры в свою правоту. Такие лица бывают у людей, которые после долгих блужданий в темноте ступают навстречу свету, что вдруг появился впереди. Он видел нечто похожее, подумалось профессору, а в следующий миг уже знал — эти живые, озаренные верой лица напоминают ему лицо матери и ее товарищей по борьбе, боевое поколение семидесятых — восьмидесятых годов, чьи фотографии хранит Александр Михайлович. Это поколение так жадно стремилось к революционному обновлению своей страны и сложило головы в сибирских каторгах и тюрьмах! Непримиримое, смелое, неожиданно молодое лицо матери с живыми глазами... Недавно, просматривая семейный архив, он нашел письмо, которое Софья Семеновна Присецкая писала его матери. Письмо написано в начале семидесятых годов, но было в нем глубокое понимание характера дочери и удивительное провидение ее судьбы. «Гувернанткой быть ты не можешь, так как от гувернантки требуется хорошо играть на фортепиано и говорить по-французски, да ты и не смогла бы вынести зависимость, в какой всегда бывают гувернантки...— писала Софье Николаевне Богомолец ее мать Софья Семеновна.— Без дела тебе в Киеве оставаться нельзя, да мы и не согласились бы на это. Во всяком случае, если бы ты теперь не захотела приехать, то непременно должна в январе выдержать экзамен и поступить на место или ехать в Цюрих, или домой.

...Все было бы хорошо, если бы ты хотя немного обращала внимания на наши слова, а то ты нас очень беспокоишь своей будущностью...»

Богомолец взял за рукав кожанки молодого рабочего, который почти бежал по коридору (тут никто не ходил медленно — ускоренный ритм, ритм революции), и спросил, где можно найти товарища Мицкевича. Рабочий кивнул на верхний этаж и заторопился к выходу, поправляя кобуру на широком солдатском ремне, а Александр Александрович поднялся по затертой мраморной лестнице вверх. Он нашел Сергея Ивановича в небольшой боковушке со столом, придвинутым к подоконнику,— на столе стоял, направленный в

сторону богатых кварталов, пулемет. На краешке стола, возле пулемета, что-то записывал карандашом в тетрадь, раскрытую надвое, темнолицый, пожилой уже рабочий. Невысокого роста, в черной шляпе и пальто внакидку, Мицкевич быстрыми шагами мерял комнату. На скрип двери он резко обернулся, увидев профессора Богомольца, просто и приветливо улыбнулся:

— Заходите, Александр Александрович. Я почему-то думал, что вы придете, должны прийти к нам. Хотя, предупреждаю, опасно: Мицкевича, как вы знаете, бойкотирует все врачебное сословие Саратова....

Александр Александрович знал, об этом сообщил «Саратовский вестник»: собрание саратовских врачей постановило выразить возмущение по поводу захвата большевиками власти, всячески бороться с этим захватом и объявить бойкот врачу-большевику господину Мицкевичу. Возможно, он именно потому и пришел не к кому-либо другому, а к Мицкевичу, и именно теперь, когда недавние сотрудники Сергея Ивановича, увидев его, переходили на другую сторону улицы. Они ничему не научились, они были слепы и полны желчи.

— Таким бойкотом можно гордиться.

— Я и горжусь, поверьте мне, хотя порой бывает очень трудно. Разваливаются империи, класс идет на класс войною, мы ожидаем общеевропейского революционного взрыва масс, а кучка людишек во фраках делает вид, будто ничего не случилось. Доходит до курьезов. Вчера получаю по домашнему адресу конверт со штампом Общества народных университетов. В нем сообщается, что я выведен из членов правления Общества как «лицо, принимающее активное участие в большевистском движении, которое разрушает основы истинной свободы и основы культурной жизни...» Представляете?!

— Они в самом деле не обладают чувством времени,— подтвердил рабочий, делая ударение на первом слове.— Совет присяжных поверенных Саратовской судебной палаты постановил возбудить против присяжных поверенных большевиков Антонова, Лебедева и Васильева дисциплинарное следствие и потребовать от них объяснений. Наша тройка явилась на заседание, и Антонов сказал: «Мы с вами стоим по разным сторонам революционной баррикады. Друг друга мы не убедим и морально друг друга не оправдаем. Вопрос поставлен так: либо вы нас вычеркните из жизни, либо мы вас. А вы говорите об исключении из членов Общества народных университетов. Это смешно!» И тройка покинула судилище. Что же вы думаете — они так и не решились исключить наших товарищей!

— Извините, я не познакомил,— спохватился Сергей Ива-

нович.— Профессор Богомолец. Наш товарищ Макс Дейч. Рабочий, политкаторжанин, профессиональный революционер, все вехи биографии большевика.

Дейч крепко пожал руку Александру Александровичу.

— Ну, дифирамбов профессору Богомольцу я наслушался! Но представлял вас постарше.

— От кого же это, если не тайна, могли вы наслушаться дифирамбов мне?

— От ваших студентов, Александр Александрович. Их в наших отрядах немало. Андрея Багдасарова знаете?

— Знаю.

— Ну так вот. А еще я в свое время наслушался такого же о вашей матери Софье Николаевне. В сибирских тюрьмах. Там о ней рассказывали легенды. Настоящая революционерка, хотя идеология еще народническая, характер — наш. Я услышал от студентов о профессоре Богомольце и спрашиваю у Андрея: «Не родич ли Софьи Николаевны, революционерки, фамилия довольно редкостная». Он говорит: «Сын».— «Если он пошел в мать,— говорю,— тогда будет с нами». Буду рад, если не ошибся... Сергей Иванович, так я — в бюро, доложу товарищам.

С этими словами Дейч приветливо кивнул профессору и вышел. Сергей Иванович пригласил гостя сесть и, не скрывая усталости, первым опустился на стул. Только теперь Александр Александрович заметил, какие измученные глаза у Мицкевича.

— Революцию делать трудно, Александр Александрович. Вот несколько дней проверял с товарищами тюрьмы. Каждый уголовник выдает себя за жертву царских палачей... И мы сознаем, что преступность порождена социальными условиями. Моя интеллигентская душонка не выдерживает: чуть ли не каждого рецидивиста после его покаянной исповеди хочется выпустить на свободу. Мои же товарищи по партии, рабочие, мыслят реальнее: уголовник на свободе теперь — нож в спину молодой Советской власти. И я должен наступать на горло собственной растроганности. Нам приходится утверждаться на всех социальных ступенях — от карманного вора до...— Мицкевич умолк на полуслове.

— Вы хотели сказать — до профессора медицины? — улыбнулся Богомолец.

— Я хотел сказать — до некоторых профессоров медицины. Так, как нас ненавидит часть университетской профессуры, мало кто ненавидит.

— Часть — да. Но большинство просто ошеломлены резким поворотом событий, растерялись и теперь пристально присматриваются к новой власти. Пройдет немного времени — и они будут наши.

— Вы сказали — наши? — оживился Мицкевич.

— Я ждал революции давно,— тихо ответил профессор.

— Спасибо. Я всегда верил в вас. Думаю, вы не одиноки на факультете в своих убеждениях?

— Уверен, что профессора факультета Разумовский, Крылов, Миротворцев, Скворцов, Спасокукоцкий и некоторые другие не могут не поддержать рабочую власть.

— Это уже не мало. Что же касается тех, которые колеблются, то многих отпугивает от революции начальный процесс разрушения. Он затемняет элементы созидания. Но с течением времени эти элементы будут заметны все отчетливее, и честная интеллигенция будет возвращаться к Советской власти. Классовое сознание заключается, наверное, в том, чтобы, когда массы еще только-только разрушают старый, прогнивший дом, видеть под обломками фундамент нового здания. Вы обладаете таким сознанием, Александр Александрович.

— В числе многих других людей, которые счастливо встречались на моем пути, я обязан этим и вам, Сергей Иванович.

— Видите, как мы по-светски обмениваемся комплиментами! — засмеялся Мицкевич и сразу посерьезнел: — Зная немного вас, я думаю, что вы не только ради этого пришли в Совет.

— Я принес план противоэпидемических мер в Саратове.

— Чудесно! Я сейчас познакомлю вас с товарищами из медико-санитарного отдела, и мы вместе просмотрим ваше предложение. Но сначала я хотел бы сказать вам вот что. Порог университета пока еще не переступала нога рабочего, кроме разве лишь тех рабочих, которые его строили. Между тем Советская власть открыла дверь высшей науки для трудового народа, и вскоре количество студентов резко возрастет именно за счет сегодняшних пролетариев и солдат. Почему бы понемногу не приучать их к университетским белокаменным палатам, а белокаменные палаты — к ним? Начать хотя бы с популярных лекций. И для организации населения на борьбу с возможной эпидемией такие лекции будут значить очень многое.

— Я подумаю об этом, Сергей Иванович,— ответил Богомолец.

...Университет за восемь лет своего существования знавал, кроме привычной студенческой формы, и перезвон шпор, и блеск аксельбантов, и шевиотовые чумарки, и сюртуки, и фраки, и зимние шинели с пелеринами и бобровыми воротниками. Считалось — и это было вне всяких сомнений,— что бог и царь подарили университетские аудитории, залы, клиники, лаборатории, библиотеки сливкам общества, десяти процентам люда, населявшего империю; что же ка-

сается остальных девяноста процентов, то для них высшая наука не только не нужна, но и вредна. Для них тоже существовали «науки» — будто нарочно, Саратовский университет окружали солдатские казармы и тюрьма. Саратовские рабочие по случаю открытия университета писали в приветственном письме: «Еще не близко то время, когда дверь высшего храма науки раскроется перед массой народа-труженика»...

День этот настал.

Он долго стоял в фойе университета и смотрел, как мимо оторопевшего вахтера в широко раскрытую дверь течет и течет вереница человеческих фигур: рабочая молодежь с заводов Беринга и Гантке, железнодорожники, степенные волгари, солдаты. Они переступали порог университета, будто межу, которая отделяла их привычный мир от чего-то недостижимо высокого, отмеченного ореолом святости в противовес их будничности, однако отныне доступного им. Их темные, промасленные мозолистые руки инстинктивно тянулись к шапкам и фуражкам, в глазах — извинительная неловкость, но уже через какое-то время, походив по фойе, они с настойчивостью вливались в коридоры, ища аудиторию, где профессор Богомолец должен читать лекцию. Он смотрел на их лица и снова вспоминал такое же озаренное надеждой и молодым дерзанием лицо матери на фотокарточке, присланной из Петербурга примерно в 1877 году, на обороте которой рукой Софьи Николаевны написано: «Надо учиться... Надо учиться!!..» Он начнет сегодняшнюю лекцию о бактериологии с этих материнских слов, которые не убили ни царские виселицы, ни царские казематы; через сорок лет они по-новому, светло и радостно, будто праздничные колокола, проносятся над разбуженной революцией страной: «Надо учиться!.. Надо учиться!!»

Профессор Теребинский пришел к Богомольцам морозным зимним вечером. Александр Александрович, тепло одетый, собирался на ночное дежурство — он был членом дружины городской самообороны. Дров уже не хватало, и они отапливали лишь гостиную, комнату Александра Михайловича и спальню. Однако гость, промолвив несколько привычных комплиментов в адрес Ольги Георгиевны, изъявил желание разговаривать с хозяином лишь конфиденциально, и они прошли в кабинет. Вдохнув пронзительно холодный воздух давно не топленной комнаты, профессор Теребинский возвратился в прихожую за шубой и уже не снимал ее, обеспокоенно кутался, будто на вокзале, когда неизвестно, подойдет нужный поезд сейчас или через трое суток. От этого в позе гостя было что-то неуверенное, жалобное и не по годам старческое.

— Ну, благодарение богу, дожили: профессор Богомолец — в сторожах, ходит по ночному городу и посвистывает в большевистский свисток! — Теребинский тихо, но едко засмеялся.

— Когда с профессора Теребинского жулики будут снимать его шубу, он не на шутку обрадуется профессору Богомольцу с его, как вы говорите, большевистским свистком.

— Осмелюсь напомнить уважаемому коллеге, что еще летом я предрекал эру вандализма.

— Точно так же осмелюсь напомнить господину профессору, что грабители существовали в Саратове еще до появления ненавистных ему большевиков, и напротив — большевики весьма решительно сократили «наследство», доставшееся им от Романова и Керенского.

— Да, да, сократили: вчерашние босяки теперь в Советах и комитетах и грабят среди белого дня.

— Простите, профессор, но я не хотел бы в своем доме слышать анекдотов, которые выползают из купеческих и иных гостиных! — Обычно уравновешенный, Богомолец начинал сердиться.

— Пожалуй, вы правы, коллега,— неожиданно отступил Теребинский.— Зачем нам, серьезным людям, людям науки, и в самом деле смаковать эти сплетни, этот шлак времени? Я пришел обдумать с вами вещи значительно более серьезные. Уже несколько лет мы с вами спорим — возможно, в чем-то вы не правы, в чем-то — я, видите, перед вами не фанатик, я уступчивый, мыслю реально. Но мы несомненно согласимся в главном: русская нация гибнет, гибнет русская наука и культура, и мы, интеллигенты, обязаны спасти то, что еще возможно спасти.

— В этом мы, Владимир Иванович, тем паче не сойдемся,— твердо сказал Богомолец.— Я понимаю революцию как возрождение, а не гибель.

В этот момент замигала и погасла электрическая лампочка под потолком — теперь свет выключали рано, экономили энергию. Густая темнота окутала комнату, и они приумолкли. Ольга Георгиевна внесла в кабинет керосиновую лампу, поставила на письменный стол и так же молча вышла из комнаты, прикрыв за собою дверь. Тогда Теребинский подал из темноты въедливый голос:

— Может, вы, Александр Александрович, будете возрождаться и при сосновой лучине?

— Если нужно будет — и при сосновой лучине,— невозмутимо ответил Богомолец.

— Зачем же вам, Александр Александрович, несомненно талантливому ученому, эти ненадежные социальные эксперименты? — В голосе гостя теперь звучала вкрадчивая сер-

дечность.— Представим далее, что вы правы и революция преобразит Россию в царство, как поют эти фанатики, разума и свободы. Но ведь на такое преобразование нужны не годы — десятилетия. Что произойдет с вашим талантом? Сейчас, в расцвете умственных и физических сил, вам нужно работать, и работать серьезно, глубоко, творчески, а вместо этого вы будете в расцвете сил травить красногвардейских вшей...

Богомолец молчал, и, подбодренный этим молчанием, гость говорил все жарче и откровеннее:

— Мои друзья во Франции, высоко ценя ваш талант, предлагают вам в эту исключительно тяжкую годину свою помощь. Пока есть такая возможность, оставьте Россию — и вы найдете по ту сторону границы новую родину. Я понимаю — нам, патриотам, на такое решиться не легко, но другого выхода нет. Я покидаю Россию в ближайшие недели. Одно ваше слово — и мы поедем вместе. От имени французских коллег я обещаю...

— Идите вон, господин Теребинский! — тихо, но властно и угрожающе сказал Богомолец.

— Простите, вы что — просите меня уйти из квартиры?

— Я не прошу — я требую! — Александр Александрович повысил голос.— И еще требую: никогда не переступать порога моего дома!

— Вы, господин Богомолец, совершаете трагичнейшую ошибку в своей жизни! — Теребинский встал и, еще глубже укутавшись в шубу, будто воробей на морозе, двинулся из кабинета.— Будущее нас рассудит.

— Будущее в самом деле нас рассудит,— уже спокойнее промолвил Александр Александрович, закрывая за гостем входную дверь.— Но запомните, господин Теребинский, и передайте своим друзьям, здешним и зарубежным: сын каторжанки, как вы называете меня за глаза, никогда не изменит родине...

Вскоре и Богомолец ушел из дому — дежурить на своем участке. Прислушиваясь к пересвистам дежурных на соседних улицах и сам время от времени прикладываясь к свистку, он долго ходил по ночному городу и думал о беседе с Теребинским. Понемногу успокаивался, гнев утихал, а вместо него появлялась в душе уверенность, уверенность человека, который раз и навсегда решил, с кем он и против кого он. Конечно, Теребинский расскажет об их разговоре в своем кадетском логове, подольет масла в огонь, они еще яростнее завоют, что Богомолец — за большевиков, но отныне этот вой его не касается. Он, Богомолец, за большевиков, за революцию, и он скажет им это в лицо.

...Вы остаетесь за пределами жизни, на крошечном ост-

ровке, который захлестывают могучие волны социальной бури, кучка слепцов, мнящих себя поводырями. Откройте настежь окна и двери, на земле — май 1918 года, май первого года Великой Революции, от дня которой будущие поколения начнут летосчисление... Так говорил он, о н и смотрели на него злыми и непонимающими глазами через стеклышки пенсне, о н и не здоровались с ним и с теми профессорами, которые поняли слово правды, о н и шипели ему в спину: Богомолец продался большевикам за кусок хлеба, за красноармейский паек, за красноармейские бутсы, он — сын каторжанки и потому легко нашел общий язык с такими же каторжанами, как его мать, он позорит русскую интеллигенцию, протестующую против большевистского ярма...

...Вы до сих пор боитесь слова «революция». Вы грызетесь за закрытыми дверями профессорского совета за жалованье и кафедры, вы закрываете уши, когда к вам обращается новое студенчество, те самые «кухаркины дети», коих Романовы, которым вы до сих пор поклоняетесь, не пускали на порог высшей школы; вчерашние рабочие, крестьяне, солдаты, перед которыми Советская власть открыла университетские двери,— для вас быдло и чернь, которой от рождения суждено чистить вам французские штиблеты, а не изучать медицину...

О н и же шелестели между собой: Богомолец подружился с «товарищами» из Чрезвычайной комиссии, Чека не отселила его, как других, у него с «чрезвычайкой» — общий двор, и возле его крыльца стоит на часах красноармеец; Богомолец ходит на заседания Исполнительного Комитета, на это сборище недавних каторжников и босяков, он уже служит консультантом в военной лаборатории, вот придут из степей казаки, и он вместе со своими красными друзьями окажется на виселице, он... он... он...

О н и бойкотировали профессора Богомольца, как бойкотировали каждого, кто был дальновиднее их.

А время бойкотировало их.

Каждое заседание совета профессоров с боя начиналось и боем заканчивалось.

Он чувствовал себя молодым и бодрым, как никогда ранее. Казалось, тугая скрученная пружина, которую он издавна носил в себе, высвободилась и наполнила необоримой силой его тело. Даже в походке тридцатишестилетнего профессора появилось что-то упругое и неугомонное, лучики морщинок вокруг глаз и ранняя седина не старили лица, наоборот, оно излучало энергию и решительность. Исследуя природу красоты, Богомолец писал в эти дни: «Ровно, ритмично двигается колонна войск, отправляясь защищать ло-

зунги, близкие сердцу. Это ритмичное движение выражает высокий подъем духа; им пронизаны черты лиц, энергичных в своей суровости, им горят глаза, полные торжественного огня; оно передается и нам, ассоциируясь с тысячами других движений души, вызывает в ней эстетическую радость созерцания физической силы в гармоническом сочетании ее с героическим подъемом (снова движение духа). И в такт мечтам, которые быстро проносятся, сильнее забьется сердце, более глубоким и частым станет ритм дыхания, подчиняясь ритму песни, которая звучит, и напряжение мысли гармонически сольется с напряжением мышц, которые готовы вступить в действие и уже подчинились ритму, рождая в своем слиянии ощущение красоты только что пережитого мгновения...»

Когда знакомые отмечали перемены в его внешности, Александр Александрович отшучивался: виноваты саратовские трамваи, которые почти не ходят из-за отсутствия электроэнергии, приходится полагаться на собственные ноги или на велосипед, а физическая нагрузка способствует омоложению организма, он давно это утверждал. Впрочем, ходили пешком, и недоедали, и жили в холоде все саратовцы, но у многих из окружения Богомольца эти лишения вызывали лишь растерянность и грусть. Дело было в другом, и именно об этом он писал в своих заметках к будущей работе по эстетике: Богомольца подняла и понесла сквозь тяжелые, но полные молодого дерзания дни волна революционного обновления жизни. Он верил в это обновление, в его отважную правоту, в его неудержимые жизнетворные ритмы, верил в будущее, которое оно обещало. Больше того, он чувствовал себя одним из тех, кто способствует этому обновлению, а это весеннее ощущение (когда последний, схваченный коркой снег похрустывает под ногами, и возвращаются из теплых краев журавли, и светлые мартовские небеса отражаются в талой воде) молодило и заряжало энергией. В один из дней в университетском коридоре его остановил студент:

— Товарищ, вы на какую лекцию идете?

— На лекцию по общей патологии,— вежливо ответил Александр Александрович.

— На лекцию Богомольца? Я — тоже. Но в какой аудитории будет читать профессор?

Они пошли вместе, и студент успел рассказать, что он — из новеньких, из тех, кому университетские двери открыла революция, и что ему тоже не хватает глубоких знаний, но желание учиться очень большое, он хочет послушать профессора Богомольца, потому что он, говорят, умеет читать очень доходчиво, не напускает словесного тумана, как это делает кое-кто из профессоров, а формулирует мысль четко

и просто. Чтобы не чувствовать себя неловко, профессор хотел открыться собеседнику, но они уже пришли. Каково же было удивление юноши, когда его спутник не сел рядом с ним на студенческую скамью, а торопливо направился к кафедре, и аудитория радостно загудела, приветствуя своего любимца.

После лекции Богомольца разыскал Андрей Багдасаров. Был он, как всегда, веселым, горячим и усталым. Только что пришли телеграммы о волнениях в Австро-Венгрии, и Андрей был полон надежд на приближение мировой революции. Богомолец поинтересовался, не забыл ли он за мечтами про мировую революцию о бактериологии. Багдасаров насупился и ответил, что просиживает ночи над учебниками, кроме, конечно, тех ночей, когда дежурит в губпарткоме или охотится с членами Чрезвычайной комиссии на разного рода «бывших»: офицеров, юнкеров, богатеев, пробирающихся из центральных губерний в казачьи степи и наполняющих Саратов. Днем он работает: Андрей Багдасаров — агитатор-организатор Войскового райкома РКП(б). Он — большевик, вступил в партию.

— Так что, Александр Александрович, на экзамен приду, хотя и страшно...

— Да, да, на либерализм не надейтесь. На экзамене я не хочу слышать о трудностях.

— Знаю, Александр Александрович.

— Откуда знаете?

— Ольгу Георгиевну видел, я домой к вам заходил. Жаловалась, что вы заставили ее пересдавать экзамен. И открывала мне дверь с учебником в руках.

— Она думала, что для жены профессора необязательно отлично знать общую патологию,— засмеялся Богомолец.— Я доказал ей, что для меня все студенты одинаковы.

— Она ведь дежурит в госпитале. И семья на ее плечах.

— Мы переживаем такое время, когда у каждого найдутся десятки причин, чтобы учиться как придется. Вы знаете, Андрей, когда студенты второго курса попросили перенести несколько экзаменов с декабря на январь, многие профессора отказались это сделать, я же пошел студентам навстречу и проэкзаменовал по своему предмету в январе, ибо понимаю их материальные обстоятельства и сочувствую. Но половина их сдавала общую патологию трижды. Иначе нельзя, товарищ агитатор-инструктор. Иначе ваша партия вполне справедливо через несколько лет будет упрекать наш университет в том, что мы подготовили не врачей, а недоучек.

— Моя партия? А может, и ваша? — лукаво посмотрел на профессора Багдасаров.

— Возможно, и моя,— ответил Богомолец и перевел разговор на другое: — Вы, Андрей, разыскали меня по делу?

— Да. Санитарный отдел военного комиссариата, Александр Александрович, организует клинико-диагностическую лабораторию для обслуживания Саратовского гарнизона. Товарищи просят вас быть у них консультантом.

— Вы считаете, у профессора Богомольца еще мало обязанностей? Целые дни я либо читаю лекции, либо работаю в лаборатории.

— Но еще остается ночь, Александр Александрович.

— Разве что ночь. А это в самом деле необходимо?

— В самом деле, Александр Александрович. Вы ведь знаете, как мало у нас н а ш и х специалистов.

— Ну, если необходимо — я согласен.

— Я так и знал, товарищ профессор. Приходите в Военный городок, я познакомлю вас с врачом Наумом Савельевичем Салуном. Он налаживает нашу лабораторию. Запишем вас в красноармейцы.

— Я слишком стар для красноармейца, Андрей.

Багдасаров пристально посмотрел на профессора:

— Вы моложе многих молодых, Александр Александрович.

На следующий день он приехал в Военный городок. Клинико-диагностическая лаборатория только-только начинала жить — недоставало специалистов, оборудования, реактивов. Александр Александрович пообещал Салуну привлечь к работе студентов старших курсов, кое-что из оборудования можно взять в университетской лаборатории общей патологии. Договорились, что профессор будет приходить в городок вечером и будет работать, сколько будут требовать обстоятельства. Вокруг Саратова тлели очаги эпидемий, нужно было во что бы то ни стало уберечь от инфекции первые подразделения Красной Армии, которые организовывались в спешном порядке.

Майское предвечерье было тихим и ласковым.

Богомолец теперь лишь, во время пеших переходов от дома в университет, в агрономический институт, в Военный городок, в Совет комиссаров, где размещался губернский медико-санитарный отдел, замечал весну, небо над городом, запах сирени, прохладное дыхание располневшей Волги. Шагая по мостовой в огромных красноармейских бутсах (сотрудники клинико-диагностической лаборатории выписали их для своего консультанта с военного склада, заметив, что туфли профессора начисто износились), Александр Александрович глубоко и ритмично дышал. Он так мало бывает

на свежем воздухе, и снова у него покалывает в груди, только он не признается жене, а впереди — знойное саратовское лето, почти без надежды на отдых, потому что город переполнен эвакуированными, беженцами, жителями центральных районов, которых привлекает хлебный Юг, и угроза эпидемий становится все более реальной, несмотря на героические усилия исполкома. А если вспыхнет эпидемия холеры или тифа, он, конечно, не уедет из города, нужно было бы уже сейчас создать на Волге и железной дороге пропускные изоляционные пункты... Необходимо немедленно поставить вопрос об этом в медико-санитарном отделе...

Неожиданно профессора остановил красноармейский пост. Не помогло и удостоверение — в Военный городок никого не пропускали, лаборатория сегодня не работает. На встревоженных, невеселых лицах красноармейцев Александр Александрович прочел: произошло что-то непредвиденное.

В самом деле, он еще не дошел до своего дома, как в центре города вспыхнула перестрелка. Чем больше сгущались сумерки, тем больше усиливалась стрельба. В квартире Богомольцев в ту ночь почти не спали. Под утро на Ильинской площади ударили пушки. Над домом с пронзительным воем пронеслись снаряды, и там, где был Совет, тяжко вздохнула земля.

— Стреляют по Совету! — Александр Михайлович беспокойно ходил от окна к окну. Снова прозвучал орудийный выстрел, и за крышами домов зарделось небо. Александр Александрович настоял, чтобы семья спустилась в подвал, достал из ящика стола револьвер и промолвил, обращаясь к жене, которая стояла в передней с сонным сыном на руках:

— Я пойду, Оля...

— Александр... — В ее глазах сверкнули слезы.

— Так нужно, Оля. Неужели же я за большевиков до первого выстрела?

Светало. Орудийный гул затих, но стрельба не прекращалась, теперь — вокруг Совета. Он пошел на выстрелы — почти не прячась, как привык ходить по городу в мирные дни. Серединой улицы, отстреливаясь, промчалась в сторону Ильинской площади бронемашина и скрылась за углом. Когда проходил через Советскую, вокруг засвистело, будто невидимая детвора, играя, стегала по мостовой проволочными кнутиками. Он скорее ощутил, чем понял, что это пули, ускорил шаг и в тот же миг его резко толкнули за угол дома.

— Вам что, товарищ профессор, жизнь надоела?

Александр Александрович увидел рядом с собой Андрея Багдасарова. Без фуражки, в заношенной студенческой тужурке, он стоял на фоне озаренной рассветом кирпичной

стены и, перезаряжая револьвер, искоса поглядывал на Богомольца.

— Я, знаете, Андрей, не военный человек, но подумал: если большевикам трудно, я должен быть с ними.

— Ну, большевикам еще не трудно, но горячо,— быстро произнес Багдасаров.— Правые эсеры организовали мятеж, настроили против Совета артиллерийскую часть, с ними белогвардейцы и разная сволочь. Красных войск в Саратове мало — все на фронтах, но мы ждем подмоги с часу на час, Антонов разослал телеграммы рабочим соседних городов...

Он отклонился назад, почти слившись со стеной, скользнул к углу дома и выстрелил вдоль улицы.

— Здорово это у вас получается, Андрей! — с завистью воскликнул профессор, перекрикивая винтовочные выстрелы.

Стреляли из подворотен, из окон нижних этажей, из-за вывороченных из мостовой и сложенных в кучи камней. Он нащупал в кармане револьвер: Александр Александрович еще никогда не стрелял из этого оружия, приходилось пользоваться лишь охотничьим ружьем, да и к этой науке Татаринов начал приучать его совсем недавно.

— Найдется работа и для вас, Александр Александрович! — возбужденно промолвил Андрей и через дворы повел профессора к зданию Совета. Помещение исполкома горело.

Третий и второй этажи разрушены артиллерийскими снарядами. Из окон торчали пулеметные стволы. Багдасаров и Богомолец спустились в подвалы — здесь, в душной цементированной клетке, Богомолец увидел при тусклом помигивании двух стеариновых свечей на застеленном шинелями полу раненых красноармейцев. Молоденький военный фельдшер растерянно хлопотал возле одного из них.

— Йод? Бинты? — деловито спросил профессор и начал засучивать рукава сорочки: теперь он был спокоен, он чувствовал, что нужен людям.

...Возвратился Александр Александрович домой только вечером — вместе с Багдасаровым. Последние выстрелы еще доносились со стороны Волги — красноармейцы окружали беляков, пытавшихся захватить лодки и бежать в Самару.

Большевики выстояли.

Саратов готовился к юбилейным торжествам — приближалась первая годовщина Советской Республики. Город наряжался в красные полотнища лозунгов. Прихорашивались центральные улицы, по которым должна была пройти праздничная демонстрация. Снесли гранитные постаменты царей, вместо них выросли памятники Чернышевскому и Радище-

ву: народ отдавал должное своим сыновьям, историческая справедливость восторжествовала. Со стороны Военного городка к вокзалу маршировали под гром оркестра только что сформированные красноармейские отряды. Партийные организации послали на фронт пятую часть коммунистов. Туда отправлялись лучшие партийцы, люди, которые знавали воинскую службу, были крепко знакомы с военным делом. От одной из колонн отделился и быстрым легким шагом приблизился к Богомольцу Андрей Багдасаров. Он был в темной кожанке, с огромным наганом на поясе и все еще в студенческой фуражке.

— Разрешите доложить, товарищ профессор! Ваш студент отправляется выполнять боевое задание! На этот раз в уезд, банды зашевелились. Я забегал в лабораторию попрощаться, вас не застал, просил Салуна вам это передать, но Салун что-то темнее тучи.

— Берегите себя, Андрей. Разумеется, революции вы очень нужны, но и науке — тоже. Я верю в ваш талант.

— Ох, Александр Александрович, сейчас нужна единственная наука — стрелять из пулемета! — Он возбужденно, не скрывая гордости, заговорил: — Если бы вы, товарищ профессор, увидели, какую мы крепость на колесах соорудили! Паровоз и три платформы, по краям платформ мешки с песком и бойницы, а в бойницах пулеметы. Тра-та-та — и никакие бандиты, ни белые, ни зеленые, нам не страшны, доберемся хоть до самого Колчака!

Из колонны его окликнули. Андрей смущенно обнял Богомольца за плечи, и побежал, не оглядываясь. Оркестр играл «Интернационал». Уже в городке Богомолец заметил, что шагает в такт песни, а губы нашептывают: «Вставай, проклятьем заклейменный...» Вставал народ! И нет в мире силы, которая была бы в состоянии умерить боевой энтузиазм людей, что вчера еще были голодными и рабами. Тут тоже действуют непобедимые законы жизни. Новые ритмы эпохи, революционные ритмы. Ритмично происходят все явления природы. Лето приходит на смену зиме, после ночи наступает утро. Жизнь родилась в колыбели движения, ритм стал жизнью. Ощущение красоты (мысли, художественного произведения, творчества) — результат усиления ритма наших переживаний.

Он ощущает, сердцем чувствует ритмы своего времени. Он молодой и сильный.

Профессор Богомолец быстро поднялся, стуча красноармейскими бутсами, на крыльцо клинико-диагностической лаборатории. Наум Савельевич Салун в самом деле был хмурым и грустным:

— Тиф, Александр Александрович. В Военном городке.

— Солдаты?

— Беженцы. Из Астрахани, Царицына.

— Много?

— Три-четыре случая каждый день.

— Рано, очень рано. Иметь осенью тифозных — это угрожает серьезной опасностью в феврале-марте. И нужно же — именно в Военном городке! Рядом — части Красной Армии. Я сейчас же пойду в медико-санитарный отдел исполкома. Нужно принимать экстренные меры.

— Боюсь, Александр Александрович, что при такой скученности да еще при отсутствии самого необходимого — вещь безнадежная. Я заходил в изоляционные бараки — люди лежат без постели, за ними нет никакого ухода. Беженцы живут без керосина, мыла, соли. Городской комиссариат постановил выдавать им по фунту хлеба, а выдают почему-то по полфунта. Но это уже дело не науки, а администрации.

Конечно, не профессору надлежит организовывать питание людей, убегающих от белых армий и голода. Но в то время, когда советский административный аппарат, преодолевая тысячи препятствий, только лишь налаживается, когда самые активные партийцы добровольцами идут на фронт, когда разруха стискивает горло молодой республики, этично ли в это время отмежевываться профессорам от практической работы и запираться в башне «чистой» науки? Летом на город обрушилась эпидемия холеры. Холера и в былые годы не миновала Саратова стороной, но теперь она была особенно страшной: общая разруха, скученность населения, недоедание и кольцо врагов Советской власти. Советы мобилизовали медицинские силы губернии. Указания губернского медико-санитарного отдела, где профессор Богомолец был консультантом, выполняли все советские учреждения, за правильным и своевременным выполнением этих заданий следил Чрезвычайный штаб революционной охраны. В городе был усилен санитарный надзор: непрестанно дежурили врачи, особенно на окраинах, были устроены пункты питания и пункты изоляционные на железных дорогах, на Волге. Во все концы губернии разъехались специальные санитарные отряды. Наиболее сознательная часть студентов медицинского факультета, в их числе и Ольга Георгиевна, пошли работать в эпидемические бараки. Было трудно, очень трудно, и все же Богомолец не сомневался в успехе. Наступать на тиф нужно было немедленно.

Александр Александрович снова побывал в исполкоме. Там уже знали о тифе, били тревогу и горячо поддерживали инициативу профессора. Товарищи из медико-санитарного отдела обошли изоляционные бараки, расположенные в Военном городке. В самом деле, кроватей не хватало, некому было ухаживать за больными. Под вечер в бараках появи-

лись одеяла, матрацы, простыни, из пригородного санатория привезли кровати. Военный городок надлежало привести в благоприятное санитарное состояние. На ближайшие дни было запланировано совещание. Александр Александрович пообещал внести свои предложения.

Назавтра количество заболеваний резко поднялось: уже больше сотни тифозных лежало в бараках. Теперь самой главной задачей было — не допустить распространения эпидемии в воинских частях,— это ослабило бы фронты. Работы по проблемам эстетики снова уступили у профессора Богомольца место микробиологии...

Пока тифозный микроб душит людей, исследовать природу прекрасного — слишком большая роскошь. Ведь мы до сих пор не научились лечить сыпняк, мы даже не знаем как следует его возбудителя. Что же, он отложит работу по проблемам эстетики на потом, когда будет более свободным. А пока будет исследовать тифозных вшей. Так нужно, этого требует время. И это справедливо. Он знал, что будет размышлять над законами красоты, не сможет не думать об этом, но у него хватит силы воли отложить эти проблемы на более поздние, спокойные, беззаботные времена.

Электрическая лампа замигала и угасла, оставив после себя ярко-красную тень раскаленного провода в глазах. Профессор зажег свечу, склонился над столом.

«...Несомненно, что и на фронтах, несмотря на трудности транспорта и нехватку средств борьбы, много можно сделать, придерживаясь одного непременного условия: признания за средствами борьбы, которые рекомендуются, характера военной необходимости со всеми вытекающими из этого результатами...»

Он писал об использовании в селах бань, о дезинфекции, полевых лазаретах и санитарных отрядах.

Была поздняя ночь, когда он закончил работу. Свеча догорела, лизнула чашечку медного подсвечника и угасла. Александр Александрович подошел к окну. За окном спал город, над городом висели крупные, будто яблоки, звезды. «Нужно срочно написать популярную брошюру «Борьба с тифом»,— пульсировало в мозгу.— И нужно готовить противотифозную вакцину. И работу лаборатории перевести на новые рельсы. Но этого мало. Нужна новая микробиологическая лаборатория. Необходимо внедрить принудительную дезинфекцию на железнодорожных вокзалах...»

А звезды висели так низко, что хотелось открыть окно и протянуть к ним руку. Это было воспоминание раннего детства: окно, открытое в сад. И в душе Александра Александровича зазвучали любимые строчки из Байрона:

Есть музыка в журчании ручья,
И в колыханье зарослей прибрежной:

Гармонии полна природа вся,
Об этом лишь одни глухие спорят:
Мелодьям сфер земные звуки вторят.

«Мелодьям сфер земные звуки вторят...» — повторил профессор и подумал: «Тайна эстетического чувства, тайна красоты в координации ритмов жизни (природы) с психическими ритмами индивидуальности... И я счастлив уже тем, что ощущаю красоту...»

В один из солнечных декабрьских дней лаборатория кафедры общей патологии отправилась в пригородный лес на заготовку дров. В передних санях ехали Богомолец с Татариновым и Олежка. Олег, услышав о поездке, попросился в лес; отец не мог отказать, тем более что школы не работали из-за отсутствия топлива. Теперь он гордо управлял лошадьми, и только перед поворотами или когда впереди появлялся санный обоз, профессор брал управление в свои руки. Он тоже, как ребенок, радовался ясному морозному дню, радовался внезапному досугу — окну в изнурительной суете будней, радовался возможности спокойно, без обычной поспешности поговорить с Евгением Александровичем о том, что, кроме лабораторных дел, теснейшим образом связывало учителя и ученика,— ощущении и понимании прекрасного. Накануне Татаринову пришлось спорить с одним местным поборником «чистого» искусства, которого, дескать, приземленные большевики не понимают, и Евгений Александрович возмущался:

— Я не утверждаю, что вчерашний каменщик или слесарь, которых в лучшем случае научили расписываться, разбирается в тонкостях эстетики. Но меня бесит, когда литературу, живопись или музыку выставляют этакими барышнями-недотрогами, которые с зонтиками бродят по весеннему лугу и собирают цветочки... Неужели искусство существует только для того, чтобы рождать эти банальные пасхальные литографии?!

— Собственно, не будет ошибкой сказать, что назначение искусства — открывать красоту жизни. Но правильнее будет сразу же добавить: все, что составляет жизнь и способно рождать эстетическую эмоцию, может служить содержанием художественного произведения. Мы различаем красоту или ее отсутствие даже в решении арифметической задачи.

— Даже с точки зрения медицины настоящее искусство никогда не было «чистым», заоблачным, Александр Александрович. Совершенно напрасно, например, описание шизофрении связывают с именем Блейлера. На самом же деле

не кто иной, как Бальзак впервые всесторонне описал эту болезнь. И сделал это так, что его описанию может позавидовать любой специалист. И еще. Я всегда удивляюсь, с каким знанием дела, как поразительно точно Тургеневу удалось изобразить туберкулез надпочечников, поднявшись в этом над классическим описанием Аддисона!

— Тут я с вами более чем согласен, уважаемый Евгений Александрович. Гармоническое слияние идеи с художественной формой, в которую она облечена,— вот формула идеального произведения искусства, ибо сама идея, как и лишенная ее форма, не дадут эстетической эмоции такой полноты и силы, как их удачное сочетание...

Золотистые мачты сосен с ветрилами ветвей (ярко-белая снежная пена по зеленому) гордо и таинственно возвышались над ними; березовые рощи, декоративно живописные настолько, что казались даже ненастоящими, белоствольные деревья, услышав скрип снега под полозьями и фырканье коней, выбегали из ложбинок на лесную дорогу; дубы степенно посматривали из-под мохнатых шапок, улыбались в седые усы, и сухой снег с тихим шорохом сеялся с прошлогодних листьев корицы. Лес приглашал к себе, лес колдовски заманивал присыпанным искристой крупой настом, по которому так приятно идти, размышляя о потоке жизни и смысле человеческого существования в этом потоке.

Но сейчас он не мог себе позволить подобную роскошь, эпоха эта не для отвлеченного созерцания, однако настанет ли когда-нибудь для его поколения время для чего-нибудь подобного? Больно уж на великое дело они замахнулись, и слишком много хотелось им сделать в этом мире, чтобы ожидать от жизни такого подарка.

Александр Александрович властно натянул вожжи — вдоль просеки виднелись под снегом заваленные в беспорядке стволы, прошлой осенью представители воинских частей вывозили отсюда древесину для блиндажей. Студенты и лаборанты с шумом, как и следовало ожидать от городских жителей, которые после долгого перерыва попали в лес, рассыпались по просеке. Пока Богомолец обходил участок, прикидывая, не приехать ли сюда в ближайшие дни всей кафедрой, его сотрудники разобрались попарно — больного профессора оберегали,— и скрежет пил по мерзлой древесине наполнил лес музыкой работы. Олег изучал птичьи следы на снежной пороше. Александр Александрович достал из саней пилу, прилаживался возле березового комля:

— Ну, сынок, держись за ручку пилы. Напросился — работай. Зачислим тебя в штат лаборатории.

Олег охотно взялся обеими руками за рукоять пилы. Железные зубья вгрызались в белое, будто вылепленное из

снега тело березы. Неожиданно от дороги подошел лесник и, поправив на плече ремень берданки, очень строгим голосом спросил:

— Что это вы делаете?

— Как видите, пилим дерево,— спокойно ответил профессор.

— Зачем же вы пилите дерево? Разве вы не знаете, что пилить деревья воспрещено?

— Сваленные деревья и обрезки, не потребовавшиеся для блиндажей, пилить, наверное, можно. По законам здравого смысла.

— А вы, собственно, кто такой?

— Совершенно неважно, кто я такой. Но если вы видите, что за другой конец пилы держится ребенок, то вам есть смысл, вместо того чтобы заниматься демагогией, взяться и помочь пилить.

— С превеликим удовольствием, товарищ,— улыбнулся лесник, прислонил ружье к дереву и взялся за пилу. Олег стоял сбоку и зачарованно смотрел, как легко бегает в стволе пила, извергая на снег струйки опилок. И этот зимний лес, и старого лесника, и властный, уверенный в своей правоте голос отца он запомнит на всю жизнь.

Когда дрова были напилены и сложены на сани и обоз готов был отправляться в обратный путь, Александр Александрович разрешил себе немного пройтись по лесу.

В первый миг лес показался ему сказочным дворцом, которым бредят в детстве; свечи сосен в серебряных канделябрах несли перед ним очаровательные феи-мавки, и высвеченный ими дворец с сине-зеленым сводом крыши раскрывался перед Александром Александровичем, как раскрывается на восходе солнца, выплывая из тиховодья, золотая маковка лилии. Но это было мгновенное ощущение, очень быстро оно сменилось другим, уже более взрослым, сознательным ощущением леса как живого, хотя и по-зимнему дремотного существа, одного из миллиардов в неудержимом потоке жизни, и отзывчивая душа его слилась с этим мировым потоком, трепетно растроганная великой тайной зарождения гармонии.

Ветер с Волги дохнул на верхушки деревьев, сосны покачнулись, обнажая ярко-синее бездонное небо, солнечный сноп лег на зеленый полусумрак, сыпанул на белую опушку золотыми зернами пороши. «Поэзия и музыка природы сливаются,— подумал Александр Александрович.— В шуме леса слышится баллада, то торжественно-грозная, то полная невыразимой тревоги. В ритме слов, в ритме красивых звуков отражается воспринятый сознанием ритм звуков, цветов природы. Несомненно, что музыка природы — источник и недостижимая цель музыкального творчества. Его первые

шаги — слабые попытки анализа гармонии природы, которая отозвалась эхом в душе первобытного человека...»

— Александр Александрович!

«Бывают минуты, когда человек поднимается на недостижимую для его буден духовную высоту,— думал профессор Богомолец, прислушиваясь к лесной тишине.— Это минуты эстетического экстаза, когда, пораженный красотой природы, открывшейся его глазам, забывшись в мире звуков, охваченный порывом творческой интуиции или социальной симпатии, человек вдруг утрачивает болезненное ощущение противоположности своего *я* окружающему, сливается с великим потоком мировой энергии жизни. В этом порыве залог уничтожения в будущем мировой скорби. Человеческая индивидуальность сольется с жизнью, в ощущении ее бесконечности найдет свое бессмертие...»

— Алекса-а-а-ндр Александр-ро-вич!

Его уже звали, пора было возвращаться домой. Богомолец торопливо направился на звук голосов.

Он любил зиму, когда можно, усевшись в старое, закованное льдом, решето или на кусок жести, мчаться по гористым саратовским улицам до самой Волги, когда можно, привязав к валенкам коньки, уцепиться за буфер трамвая или за сани и катиться через весь город. Он любил весну, когда освободившаяся ото льда Волга обращалась к городу первыми гудками пароходов, когда обновлялась, казалось, вся земля и каждый двор, каждый пустырь становился ареной мальчишечьих состязаний. Он любил лето...

Лето девятнадцатого года в Саратове выдалось необычным. Олежка уже привык и к воинским колоннам на улицах, и к погромыхиванию орудийных лафетов по мостовой, и к бронепоездам на привокзальных путях. Он насмотрелся на своем, еще таком коротком веку и на измученные семьи беженцев с мешками и серыми от пыли детьми, и на тела умерших от холеры на саратовских улицах. Но еще никогда саратовские улицы и площади не знали стольких военных, как в эту весну, лето и осень. Над людскими толпами лесами устремлялись в небо штыки и стволы закинутых за спину винтовок, скатки солдатских шинелей волнующе пахли для мальчика порохом и далекими дорогами. Объявления, развешенные на заборах и стенах домов, сообщали об окопных днях — тысячи горожан шли рыть вокруг города траншеи. На смену окопным дням приходили «недели фронта» — возле мобилизационных пунктов бурлили толпы, во дворах пронзительно и лихо играли гармошки и причитали женщины. На Волге старые буксиры и баржи ощетинивались пушками и пулеметами, превращались в плавучие крепости.

У причалов торжественно-грозно гудели митинги, на пароходы грузились кавалерийские части.

Для Олега лето девятнадцатого года начиналось с первых в жизни обязанностей. Неожиданно,— а впрочем, не так уж и неожиданно, к этому дело шло давно,— Олег стал в доме тем сказочным домовичком, который охраняет семейный очаг. Правда, он не бродил ночью по квартире и не навевал сны людям, он крепко спал, хорошенько набегавшись за день. А хлопот на его плечи в самом деле легло много. Мать, окончившая университет, не имела времени готовить пищу для семьи, она изо дня в день, из ночи в ночь находилась в своем госпитале. Отец появлялся за полночь, но еще долго в его кабинете горел свет. Дед заболел этим летом и почти не выходил на улицу. По утрам Олег бегал к матери в госпиталь, брал половину пайка, который Ольга Георгиевна получала на госпитальной кухне, приносил домой. Дома Александр Михайлович разогревал суп и кашу на примусе, и дед с внуком по-военному быстро завтракали. Потом Олег носил чайником воду, и они мыли пол — было жарко, по городу гулял тиф, поговаривали о холере. А в обед Олег снова бежал в госпиталь за половиной материного пайка... Александр Михайлович смеялся:

— Мы с тобой, Олежка, тоже мобилизованы...

Быть мобилизованным — это была честь, которой удостаивался даже из взрослых не каждый. Отец и мать Олега были мобилизованы — об этом свидетельствовали две буденовки с ярко-красными звездами. Буденовки хранились в кабинете отца, и каждую свободную минуту Олег использовал для того, чтобы их примерять. Оседлав швабру, мальчик носился в буденовке по гостиной и уговаривал деда «принимать парад». Ворча, Александр Михайлович доставал из картонной коробки свою реликвию — студенческую фуражку и старательно выполнял роль командующего.

После таких «парадов», которые пробуждали давнишнюю отвагу «старого казака», как он называл себя в письмах, Александр Михайлович любил рассказывать внуку о прошлом рода Богомольцев, показывал вытертые, вылинявшие пергаменты и выводил их родословную не от нежинских мелких помещиков, которые без конца судились между собой за наследство и земли, а от славного казака Епифана Богомольца, казачествовавшего в конце семнадцатого столетия в Остерской сотне и отличившегося честным ратным трудом.

Однажды зашел дядя Бакулев, он и раньше бывал в их доме, и Олег его запомнил. Бакулев закончил университет, попросился добровольцем на фронт и теперь пришел попрощаться. Он был во френче и в фуражке с блестящим козырьком и рубиновым огоньком звезды. С Александром Ми-

хайловичем они обнялись. Олег надел буденовку и отсалютовал Бакулеву. Никому он так не завидовал в то лето, как людям, уезжавшим на фронт.

В начале июля отец взял Олега на один из первых в городе субботников. Было многолюдно, на работу выходили со знаменами и музыкой. Олег гордо маршировал в колонне под гром духового оркестра и очень жалел, что его в эту минуту не видит дед. Однако дед, хотя и не был на субботнике, выспросил о нем все, что знали внук и сын. Он интересовался всем новым, что рождала бурная послереволюционная жизнь, и, поскольку других слушателей не было, читал Олегу целые страницы газет, печатавшихся на плотной серой бумаге (бумажный голод, говорил дед; Олег уже знал, что такое голод. Но как может быть голод бумажный, не мог понять).

Иногда дед начинал рассказывать о своих гимназических и студенческих годах, о поездке с Олеговым отцом, когда ему было столько же лет, как и Олежке, в Сибирь, на каторгу Кара, к Олеговой бабушке Софье Николаевне. О Софье Николаевне, чей портрет висел в комнате дедушки, он рассказывал мало — ему было очень больно, и после каждого воспоминания, которое вдруг прорывалось, Александр Михайлович надолго умолкал. Однажды к ним пришел Дейч и, спросив об Александре Александровиче, которого, как всегда, дома не было, подал деду пакет с сургучными почтовыми штемпелями. В пакете была газета, прибывшая в Саратов издалека. В ней сообщалось, что группа рабочих Нижнекарийского золотого промысла по случаю праздника возложила венок живых цветов на могилу пламенной революционерки Софьи Богомолец. Дед очень обрадовался и в тот день, пересилив слабость, даже отправился на прогулку по излюбленному, но давно не хоженому маршруту.

Настоящие красные воины в буденовках мужественно преодолевали и усталость, и трудности. В этом Олег был уверен и никогда не разрешал себе тосковать. Но время от времени ему непреодолимо хотелось ощутить ласковость отцовских рук, и он долго не спал, ожидал, когда вернется отец. В такие вечера они вдвоем (если из госпиталя приходила мать, это было настоящее счастье!) пили чай на кухне, потом сидели в кабинете, и отец писал, а Олег перелистывал тома энциклопедии, пока его не одолевал сон, и Александр Александрович относил сына в спальню.

— Что ты все пишешь, папа? — спрашивал Олег, и Александр Александрович очень серьезно отвечал:

— Книгу пишу.

— А о чем книгу?

— О науке, которую преподаю в университете,— патофизиологии.

— А ты мне прочтешь, когда напишешь?

— Ты еще не поймешь. Это будет книга для взрослых. Для студентов.

— Ты ведь рассказывал, что ныне все взрослые воюют за Советскую власть. Зачем им книга?

— Они разобьют беляков и снова возвратятся к науке. Моя книга расскажет им, как распознавать болезни.

— А скоро они разобьют беляков?

— Думаю, что скоро.

— Папа, а когда война закончится, у вас с мамой заберут буденовки?

— Нет, не заберут.

— Ну и хорошо,— успокаивался Олег, и ему хотелось, чтобы поскорее наступало первое сентября — он пойдет в школу в отцовской буденовке.

Александр Александрович действительно работал над учебником патологии «Кратким курсом патологической физиологии», как он уже вывел на первой странице рукописи. Вместо существовавшей ранее общей патологии, которая базировалась в основном на учении о клетке, Богомолец обратил особое внимание на перемены функций организма, трактуя организм как целое. Рождалась новая наука — патофизиология. В основу книги Александр Александрович положил лекции, которые он прочел в прошлые годы для студентов пятых и шестых семестров, но значительно дополнил новейшими научными данными. «Каждый отдел изложен мною в том виде, как он в существенных чертах представляется стоящим в данный момент в науке мне самому, на основании изучения литературы и, иногда,— собственных исследований и работ моих учеников,— писал он в предисловии.— Я считаю также возможным... брать из каждого учения заключающуюся в нем крупицу истины для создания цельной картины современного состояния вопроса».

Богомолец создавал свой «Краткий курс» в условиях, в которых, наверное, не создавался еще ни один учебник. Некоторые главы ложились на бумагу поздними вечерами в клинико-диагностической лаборатории в перерыве между первой и второй цепями реакции Вассермана. Работал над рукописью Александр Александрович с огромным энтузиазмом и вдохновением. При глубокой научной точности в изложении материала он не боялся непринужденности стиля, делал частые экскурсы в, казалось бы, далекие от патофизиологии сферы литературы, музыки, живописи. Рассказ о патологии эндокринных желез профессор закончил такими словами: «Эндокринология — все еще наука новая, пребывающая в периоде накопления фактов, и потому имеет право их догматизировать лишь с большой осторожностью. Влияние данных этой новой отрасли биологических знаний

на нормальную и патологическую физиологию уже и теперь огромно, открываемые ею перспективы пока кажутся безграничными... При изложении этого отдела мы по указанным причинам вынуждены были отказаться от обычной для учебника догматической формы и привлечь читателя к совместному критическому обсуждению многих вопросов. Лично я, впрочем, считаю этот метод изложения единственным, способным пробудить истинную любознательность». Эти слова можно было бы поставить эпиграфом ко всему учебнику. Богомольцу хотелось, чтобы его новые студенты, те, которые учатся сегодня и которые придут на медицинский факультет завтра, люди в военных гимнастерках и с жадными к знаниям, пытливыми глазами, полюбили создаваемую им науку и почувствовали ее значимость.

Времени для работы над учебником оставалось с каждым днем все меньше. С нынешней весны он служил в Красной Армии консультантом-эпидемиологом санитарной части Юго-Восточного фронта, штаб которого находился в Саратове. На самом же деле его полномочия и обязанности были намного шире, чем этого требовала должность консультанта. Он уже заметил: люди в это военное послереволюционное время не укладывались в рамки определенных штатным расписанием должностей и, как правило, в своей деятельности выходили за их пределы. Богомолец одновременно оставался консультантом в клинико-диагностической лаборатории Военного городка, заведовал лабораторией кафедры общей патологии в университете и серологической лабораторией в «Микробе», оставался консультантом при губздравотделе, был членом губернских комиссий по сыпному тифу, холере, малярии, возглавлял квартальную санитарную дружину, следил за санитарным состоянием саратовского водопровода...

Но наконец выпадал вечер, чаще всего субботний или воскресный, когда и Ольга Георгиевна, и Александр Александрович оказывались дома. И хотя Александра Александровича и дома ожидала срочная работа — в домашней лаборатории или над рукописью учебника, он сидел с семьей в гостиной, пока счастливо на руках матери не засыпал Олежка. Он рассказывал сыну о далеких городах, в которых ему пришлось побывать, спрашивал в подтверждение своих слов мнение отца, на что Александр Михайлович по обыкновению говорил, что более красивого, чем Киев, города он не знает.

Киев — город своей молодости — Александр Михайлович любил чрезвычайно. И когда он был в хорошем расположении духа, начинал рассказывать, как скрывался от жандар-

мов в ярах за киевской обсерваторией, как рабочие собирались на сходки на заросших осокорями и тальником берегах Лыбеди или на днепровских островах, как они с Яном (Самуилом Майером) перевозили через границу динамит для народовольцев Желябова и Кибальчича. Дед становился моложе лицом, плечи его распрямлялись, ему уже не сиделось в кресле у стола: он отодвигал стакан с чаем, вставал и мерял гостиную из угла в угол широкими твердыми шагами. Однажды Олег не удержался, спросил о бабушке. Дед остановился и посмотрел на внука полными слез глазами:

— О, твоя бабушка... Софья... Софья Николаевна...

Александр Михайлович повернулся и, пряча лицо, вышел из комнаты.

— Он до сих пор любит ее! — растроганно промолвила Ольга Георгиевна.— Какое это счастье — пронести через всю жизнь такое чувство! Какой прекрасной была, наверное, эта женщина!

— Она была прекрасна даже смертельно больной, в занесенном снегами сарайчике, одетая в тюремные лохмотья. Большие синие глаза на бледном одухотворенном лице и по-детски полные губы... художник на портрете, написанном на каторге, удачно воссоздал ее внутренний жар и одновременно нежность...

Голос Александра Александровича звучал все глуше и глуше и наконец прервался.

Это было из тех далеких, близких и святых воспоминаний, которые всегда жили в нем и которых он никогда не пробуждал всуе, тем более не выставлял на обозрение людей. Из Климова ему до сих пор писали, и это были письма словно бы из иного мира, из мира его детства, его памяти. Но они помогали пристальнее видеть в дне нынешнем, и если он не закоснел в мундире «статского советника», в уютном профессорском кабинете, а почувствовал живой ветер истории, нужно было благодарить и те вести из мира, канувшего в прошлое. «Живется очень тоскливо,— писала ему в двенадцатом году сестра матери Ольга Николаевна Присецкая-Селихова.— Репрессии вокруг удивительные и часто совсем беспочвенные...»

А вскоре пришла новая весть из Климова: «У тети Оли тоже большое горе, от которого она успокоится только со смертью. Это смерть ее старшего сына, уже кончавшего университет. Его арестовали, найдя его адрес у кого-то при обыске, и он в тюрьме заболел воспалением легкого, превратившегося в скоротечную чахотку. Его освободили уже умирающего, и по дороге в Полтаву он умер в вагоне на руках матери и тетки... Тетя Маруся живет зимой в Мину-

синске, Енисейской губернии, куда сослали ее сына Валю. Его ты тоже должен помнить...»

«Много горя и всяких невзгод перенесла я за это время,— писала Ольга Николаевна,— но последнее горе, несравнимое горе, которое даже время не притупляет, ну да что говорить, ведь ты сам имеешь сына...» И ее же последнее, из дореволюционных, письмо, написанное, казалось, кровью: «Дорогой Саша! Нас постигло большое горе. Вчера умерла тетка Маруся в Минусинске, где она жила с сыном Валерьяном. Заболела ангиной, которая осложнилась. Больше писать не могу. Целую тебя и твоих. Любящая тебя Ольга Присецкая-Селихова».

...В один из вечеров к Богомольцам пришел Андрей Багдасаров с юной девушкой. Девушку звали Людмила. Александр Александрович сразу заметил ее тонкие чуткие пальцы музыканта.

— Я учусь в консерватории,— подтвердила Людмила.

— И давно в сферу деятельности агитатора-организатора Военного райкома входит консерватория? — пошутил профессор.

— Давно,— засмеялась девушка.— С прошлогодних майских боев в Саратове. Я возвращалась из консерватории по Немецкой улице и не знала, что это опасно, когда над тобой посвистывают пули. Андрей Аркадьевич посвятил меня в азы военной науки.

— Оказывается, мы оба должны быть благодарны Багдасарову. Согласитесь, Андрей, спасать такую красавицу было намного приятнее, чем старого профессора.

— Мы поженимся,— смущенным голосом произнес Андрей.— Когда я вернусь с фронта.

Он был в военной форме.

— Вы едете на фронт, Андрей? — Ольга Георгиевна смотрела на гостя тревожно-восторженными глазами.

— Я уверен, что теперь мое начальство не решится отказать. До сих пор мои многочисленные заявления пополняли корзинки для мусора. В Военном городке не хватает партийных работников и есть десятки тысяч недавно мобилизованных, из которых нужно сделать красноармейцев. Но теперь я написал целую петицию. Прочувствованную. Я сказал все, что на сердце,— Андрей достал из внутреннего кармана френча серый листик. Читал негромко, но энергичные, в самом деле прочувствованные слова наполняли комнату высокой тревогой эпохи: — «Рапорт агитатора-организатора Войскового райкома РКП(б) г. Саратова т. Багдасарова... В то время, когда Советская Россия, окруженная кольцом контрреволюции, наносит последние решительные удары бандам разных лакеев и товарищи мои гибнут на фронте для будущности народов, я, пребывая в тылу, не могу быть индиффе-

рентным, а поэтому прошу не отказать в моей просьбе и в ближайшие дни назначить меня на один из фронтов действующей Красной Армии.

Багдасаров».

Людмила села за рояль. Она играла Шопена, играла увлеченно этюд за этюдом, и Александру Александровичу подумалось, что он, наверное, любит Шопена не только за лиризм, но и за ту глубинную социальную и национальную страсть, которая звучит в аккордах его музыки, за его революционность. «Вечный революционер, дух, зовущий тело к бою...» А может, причиной такой переоценки Шопена являются годы, на которые выпала их жизнь. Оценка художественного произведения не является чем-то застывшим, это бесконечное движение, музыка влияет на эпоху, эпоха — на понимание и ощущение музыки. «Революционный этюд» Шопена. «Схороните и вставайте, цепи разорвите, злою вражескою кровью волю окропите...» Эти слова Шевченко читала ему на каторге из завернутого в тюремное полотно «Кобзаря» мать. И судьба его матери и отца, и судьба его и Ольги, и юная судьба Андрея Багдасарова и его подруги-пианистки, которых, быть может, завтра разлучит волна гражданской войны, этот вечер в городе, похожем на военный лагерь, и страстные аккорды Шопена, и пророческие слова Тараса Шевченко — все слилось в трепетный, жгучий клубок живой жизни, который нужно было размотать, чтобы понять и полюбить навеки.

Проводив Багдасарова с Людмилой, Александр Александрович сел за рукопись. Он любил тихие ночные часы работы, когда хлопоты отдаляются и только мысль пульсирует, бьется в мозгу. «Влияние музыки на организм было общеизвестно человечеству еще до появления Орфея так же, как и жуткое чувство тревоги, охватывающее при наступлении внезапной тишины,— писал Богомолец, заканчивая главу «Патологической физиологии» «Физические причины болезней».— Ни одно искусство не стоит так близко к душе человека, как музыка. Чисто эмпирически музыкой пользуются для повышения тонуса работы, под музыку или с песней совершаются незаметно самые утомительные переходы, она властна повести людей на смерть, наполняя их душу отвагой... В чем же тайна ее могущественного влияния? Здесь не место, конечно, вдаваться в вопросы философии музыки и законы музыкальной эстетики. Существует, однако, один универсальный закон, которому в биологии и связанной с ней неразрывно патологии уделяется пока слишком мало внимания. Это закон всепроникающего ритмического движения... Ритмически совершает вселенная свой бег по пути

бесконечности, закону ритмического движения следуют космические процессы... Самые сложные душевные состояния, разнообразные эмоции — не что иное, как движения. Мы называем их движениями души, — но они — действительные движения, ибо изменяют состояние и содержание нашей психической сферы... Ритм жизни природы — разгадка ее таинственной власти над человеком, власти ритма физического, создающего физиологический ритм. Не в нем ли и тайна единства психической личности? Оно сглаживает все переходы, и мы охотно говорим вместе с художниками о «ритме красок» и радуемся высшей эстетической радостью, когда им удается найти для нас «новые тона и звуки для созидания красочных симфоний».

Он уже знал: настойчивость и упорство способны на многое — подобрать преданных делу сотрудников, увлечь их научной идеей, раздобыть в прифронтовом городе животных для экспериментов и прокормить их... Но даже неугомонный энтузиазм молодого профессора не мог сделать так, чтобы в сутках было не двадцать четыре часа, а хотя бы сорок восемь. Времени не хватало. Он и так уже казался людям вездесущим — служил в Красной Армии, читал лекции, руководил женскими врачебными курсами, лабораториями, заседал в многочисленных комиссиях... Его ассистентам приходилось не легче. Татаринов тоже читал лекции на курсах, проводил практические занятия, отводил много времени противоэпидемической организационной работе. Студенты в свободное от занятий время работали в госпиталях, больницах и эпидемических бараках.

И все же когда Александр Александрович поздними вечерами наконец приходил в лабораторию кафедры, в неуютных, холодных комнатах работали. Шумели центрифуги, громко дышал вакуумный насос, утомленный шестнадцатичасовым рабочим днем Андрей Бочкарев по-отечески ворчал на студентов, но все суетился, стараясь каждому помочь. Слышались юные, задиристые голоса Николая Сиротинина, Леонида Перельмана, Бориса Брина... Татаринов величественно дирижировал этим оркестром. Фамилии учеников Богомольца еще не были известны научной общественности, но профессор верил, что пройдет время и эти люди впишут свои страницы в большую книгу научной медицины. Он отбирал их, как селекционер отбирает зерна для посева. Работать в его лаборатории трудно, в ней было место лишь для энтузиастов науки. Полова отсеивалась быстро. Профессор о ней не сожалел. Кто не выдерживал напряжения в работе, кто мечтал сделать диссертацию, не оросив своим потом почву науки, от таких он избавлялся. Оставались зерна,

обещавшие колос. Он любил в своих учениках будущее науки.

...Профессор вошел в лабораторию и сразу же стал ее сердцем. Он не был здесь администратором, он был старшим коллегой, товарищем по работе, но товарищем строгим и требовательным. Он дружески посоветовал Перельману точнее записывать кривые, заметил следы небрежности на операционном столе и традиционную чистоту на рабочем месте Евгения Александровича.

— Я без колебаний положу на стол, где Евгений Александрович только что работал с живой культурой сибирской язвы, бутерброд и съем его,— словно бы мимоходом промолвил Богомолец, но Брин понял с полуслова и торопливо начал наводить у себя порядок. Татаринов, обескураженный похвалой учителя, отшучивался:

— Иметь бы только бутерброд, я и сам ни капельки не колебался бы...

Они жили впроголодь и еще жертвовали часть своих пайков для московских и петроградских детей.

Леонид Перельман был растерян. Результаты его опытов не соответствовали установившимся в медицинской литературе взглядам.

— Знаете, Леонид, когда начинается настоящий ученый? — улыбнулся Богомолец, наклоняясь над записями ассистента.— Когда он способен нарушить покой привычной, традиционной мысли.— Ученики прислушивались к его словам, и Александр Александрович продолжал: — Мы говорим — интуиция ученого. Но интуиция не таинственная способность предвидеть научные истины, а ценнейшее свойство интеллекта отличать достоверное от недостоверного, заострять свое внимание на единичных, казалось бы, явлениях, которые не укладываются в прокрустово ложе господствующих направлений и тенденций, систематизировать их в новую прогрессивную концепцию... А ваш опыт мы сейчас повторим вместе чуточку в ином варианте...

Ему приходились по душе эти полуночные часы в кругу учеников. Он любил искренние и плодотворные беседы, в ходе которых делился с молодыми всем самым лучшим, чем он располагал. И когда Николай Сиротинин спросил, как, по мнению Александра Александровича, убедиться, правильно ли поступил человек, посвятив жизнь науке, он окинул учеников задумчивым взглядом глубоких синих глаз:

— Вся моя сознательная жизнь прошла в университете. И все время меня мучит мысль о том, как мало в нем людей, любящих науку, интересующихся ею! Я мечтаю о том времени, когда в науке будут работать только из физиологической потребности — бескорыстной и властной, как любовь еще

не высказанная и, возможно, не разделенная... Еще и еще раз продумайте, может ли наука превратиться в цель и награду всей вашей жизни. Достанет ли у вас сил перенести от нее все удары и не разочароваться, не оказаться разбитыми? Если да — начинайте работать над тем, к чему зовет ваше сердце и где зарыты клады вашей жизни. Тогда в нашей стране не будет недостатка в ученых.

1880.
БРАТСТВО

Часы в гостиной пробили семь раз — глухой протяжный звон просачивался сквозь стены и растекался по просторной пустыне безбедной аристократической квартиры. Софья жила в ближней от входной двери комнатке, где, видимо, надлежало быть прислуге; зато окно из нее выходило в глухой сад. Комнату выбирал Павел, а он, когда речь шла о конспирации, был осмотрительным и дальновидным. Впрочем, окно уже давно было с двойными рамами, забитое, зашпаклеванное и заклеенное на зиму, и потому вряд ли Софья могла воспользоваться им в случае прихода жандармов. Квартиру снимала старая чудаковатая баронесса, за которой ухаживали две такие же пожилые горничные, похожие на монахинь; баронесса на склоне лет почувствовала «угрызения совести» и жертвовала крохи со своего стола на революцию — она была за социализм, но со счетом в банке, кухаркой и домашними работницами. Павел, производивший на пожилых женщин парализующее впечатление густой темной гривой и бородой, снял эту комнатку для приезжих революционеров.

Через полчаса послышался одинокий удар часов, а гостей все не было, и Софья начинала волноваться. Павел, если уж обещал, приходил точно, к тому же и встреча была слишком важной, чтобы к ней легкомысленно относиться. Конечно, Столяру (она сама придумала эту конспиративную кличку для Козловского, Платон в самом деле столярничал в Подольском ремесленном училище) могло что-нибудь помешать, однако Иванов забежал бы один, принес наметки Кашинцева к новой программе «Союза». Софья, с тех пор как проводила на вокзал сестру (Мария, сдав экзамен на фельдшерицу при Киевской городской управе, уехала заниматься практикой), не выходила из дому, похварывала.

Остывал самовар, и приготовленные заблаговременно слова раскатились, будто горошины, а гостей не было. Софья, укутавшись с руками в плед, ходила из угла в угол комнаты — это был проверенный способ успокоиться. Сегодня должен был основаться, теоретически, новый рабочий кружок на Подоле.

Наконец осторожно трижды звякнул звонок у входной двери. Софья запоздала: выскользнув раньше нее из кухни, дверь открыла остролицая, любознательная в отношении гостей Софьи горничная. Баронесса не очень скрывала свою новую веру — на социализм была мода,— и горничная догадывалась, какие именно молодые люди поселяются время от времени в их боковушку. «Народная воля» шумными покушениями на царя распространила романтизированный образ революционера-террориста: белоснежные манжеты, галстук, лакированные туфли, а в руках по револьверу.

На этот раз горничная была глубоко разочарована: желтоватая полоса света от лампы выхватила из ранних осенних сумерек стройную фигуру парня в ватнике из дешевенького, вытертого на рукавах сукна, щедро навакшенных сапогах и со смушковой шапкой в руке.

— Извините, пани Софья дома?

— Входите, прошу, я вас жду...— промолвила Софья, не доходя до дверей, чтобы помочь застеснявшемуся гостю: по описаниям Павла она узнала в пришельце Платона Козловского. Горничная пригасила лампу и многозначительно звякнула задвижкой на кухонных дверях: каждый подольский мужик тянется в революционеры!.. Гость, сняв ватник, оказался еще более молодым... Он остановился на пороге Софьиной комнаты и то засовывал ковшики ладоней в карманы, то прятал их за спину. Софья подала руку:

— Рада с вами познакомиться, товарищ. Но где же Павел?

Руки Платона были тонкими в кисти, однако ладонь была широкой и твердой.

— А к нам один черт прилип, будто репей. Водили-водили его по городу, а потом видим, что не отцепится, разделились. Павел повел его назад на Подол, там легче будет оторваться от него, а я — к вам...

Только теперь Софья рассмотрела глаза гостя — неожиданно глубокие для такого молодого лица, пытливые и чуточку грустные; сквозь них проглядывала душа беспокойная и страстная, Софья даже удивилась точности и емкости услышанного некогда от матери: глаза — это окна души. Окна светились, а не зияли пустотой, Павел, кажется, не ошибся, и у Софьи потеплело на душе, хотя ей было и досадно от того, что приготовленные, выстроенные в ряды различных суждений и предложений слова рассыпались. Она налила в стаканы чаю — самовар успел остыть, чай был чуть теплым, но приглашать горничную не хотелось. Впрочем, гость смотрел поверх стакана с чаем на край стола, где возвышалась стопка книг. Ее завершала оставленная Павлом популярная среди киевских народников работа «Жизнь ирландцев». Софья подала книгу гостю:

— Не читали?

Платон положил книгу на раскрытую ладонь левой руки, будто взвешивал ее, ощупал глазами обложку, перевернул несколько страниц и только после этого промолвил:

— Читал.

Софья улыбнулась: ей понравилась рассудительная деловитость, с которой гость, прежде чем ответить, примерялся к книге.

— Ну и как — заболели вместе с нашими хлопцами ирландским фенианством? [1]

— Разве здесь, в Киеве, я не насмотрелся такого же фенианства? — Козловский сидел, положив руки на колени, и спокойно, сосредоточенно смотрел на хозяйку. — Среди интеллигентных социалистов...

— Не только среди интеллигентных, брат мой, — мягко возразила Софья.

— Вы правы, есть и среди нас. Но чаще всего — следом за интеллигентными, куда ветер катит.

— Удивляюсь, как это Павел до сих пор не обратил вас в свою веру?

— Знаете, сестра, я — словно тот бычок, сопротивляться умею: меня тянут, а я — всеми четырьмя в землю упираюсь. Думаю, что все это фенианство — от роскоши.

— Ну, Павел особой роскоши не вкусил — Галагановская гимназия для разночинцев, университет впроголодь, учительство в селе...

— Не только о Павле говорю, к тому же и иную роскошь имею в виду, Софья Николаевна. Душевную роскошь. Коекому уже маловато революции завтра или послезавтра, хочется революции немедленно, сегодня же, и чтобы вокруг было как можно больше шума и грома.

— Может, вы знаете, как честному человеку сейчас нужно поступать?

— Не знаю, это правда. Но буду знать.

— Сегодня или завтра? — сыронизировала Софья.

— Скоро, — будто и не заметил иронии гость.

— Откуда?

— А вы мне расскажете, — Козловский поднял на Софью серьезные, задумчивые глаза.

— А я ждала, что вы мне расскажете...

Оба рассмеялись, и это была начальная минута взаимной приязни.

— Но без шуток, Софья Николаевна, — за этим я и пришел. Не как к пророку, в пророков я не верю, а как к человеку ученому. Добавлю и я кое-что к вашей речи, да навер-

---

[1] **Фении** — конспиративная террористическая организация, возникшая в Ирландии и Америке в 1858 году.

ное и кроме нас с вами люди, которые не разучились думать, найдутся в Киеве. Много ныне смекалистых людей, Софья Николаевна, честное слово, много, даже среди нашего темного брата рабочего. Жизнь такая, что как только у кого-нибудь котелок хотя бы малость варит, уже он и видит и соображает, что его бесстыднейшим образом обманывают этой божественной троицей — самодержавием, православием и народностью. Но каждый думает, что он единственный такой «вумный», боится и на соседа, и даже на себя глаза поднять и мертвеет в своей скорлупе. Человеку произрастать нужно, как зернышку, иначе его смелют и съедят или же попросту сгниет бесследно. Я так себе мыслю своей столярской головой: сейчас самое главное — спасти человека от одиночества, помочь ему на самого себя и на товарища взглянуть, чтобы душа навстречу другой душе живой раскрылась, будто цветок...

— А это вы хорошо сказали — о душе.— Софья все с большим восторгом смотрела на Столяра.— И об одиночестве разбуженного человека. Именно потому мы с товарищами и предлагаем организовать на Подоле рабочий кружок из людей, которые хотят знать, где живут и зачем живут...

Пока пришел Павел, разгоряченный, запыхавшийся (жадно выпил три стакана еле теплого, без сахара, чаю), они почти обо всем договорились. Не было лишь на примете квартиры, где могли бы собираться рабочие: Козловский снимал угол. Павел предложил подыскать комнату на имя Платонова товарища, тоже столяра, Василия Онийчука,— жандармерия, наверное, еще не взяла его под свою опеку. С Павлом согласились.

— Кстати, Соня, твоя квартира уже у них на примете,— сообщил Иванов, когда гости прощались.— Дважды проверял сегодня.

— Я уже и сама подумывала сменить квартиру, угнетает меня этот преферансовый социализм. Но кто же мог навести?

— О том, что вы здесь, знали двое — я и Кашинцев.

— Трое.

— Кто третий?

— А Пан. Ты ведь с ним присылал программу.

— Да,— неохотно признал Павел,— знал и Пиотровский...

Проводив гостей, Софья села за стол. Прямо перед нею, в черном, как сажа, окне, мерцали три лепестка свечей, похожие на какой-то причудливый цветок. «Чтобы душа раскрылась, будто цветок...» — вспомнила слова Платона и снова улыбнулась. Не разбираясь в конкретных формах организа-

ции и борьбы, в программах, в политике и политической экономии, во многом другом не разбираясь по молодости и из-за недостатка образования, Платон разбирается в главном: мир, в котором им выпало жить, несправедливый, враждебный человеку, но выстоять против него один на один личности не под силу, она должна объединиться с такими же, как сама, живыми, мыслящими личностями и научиться через общение с другими чувствовать себя человеком, а не покорной бессловесной скотинкой из стада, которое всю свою жизнь гнет горб ради роскоши стаи волков... Она, несколько лет назад, еще наивной девчонкой, у которой за душой не было ничего, кроме свободолюбивых эмоций, писала Александру: «Надо учиться, надо учиться!..» Теперь она написала бы по-другому: «Надо учить и учиться!..»

Софья оперлась локтями на ручку кресла, сомкнула пальцы так, что даже хрустнули косточки в суставах, и долго сидела, задумчивая и грустная. И только когда часы пробили десять раз, она придвинулась с креслом к столу: отвечать Александру на его первое — из Парижа — письмо.

«...Признаться, Александр, очень я обрадовалась твоему письму,— писала Софья.— Тебе уже, наверное, сообщили, что я в Киеве, не сердись, так нужно было. Скучать здесь не приходится, работы много, и все же порой мне очень тебя не хватает. Но это уже сантименты, с которыми я безжалостно борюсь, ибо иначе скоро опротивею себе. Психология беременной женщины еще никем, кажется, не исследовалась; несомненно, какие-то тормоза природа включает во мне, потому что порой в голове такая осенняя пустота, такое коровье спокойствие, что становишься чужой и противной себе. Не подумай, будто меня обременяет материнство, но и в этом трагизм: понимать, что твой плод властно диктует тебе свою волю, бунтовать и одновременно страстно желать его. И нужно же было так мне повезти: родилась женщиной.

Но это минутное настроение, ведь ты же знаешь меня как максималистку; и в самом деле, события последних десятилетий убедительно доказывают, что женщины удивительно чутки к социальной и национальной несправедливости и фанатически преданы мессианству (а не только мессиям, как Мария Магдалина). К тому же женщины обладают магией эмоционального влияния на массы — и женщины Коммуны убедительный пример этому. Искренне благодарю тебя за строчки о Луизе Мишель — я издавна восторгаюсь ею. Луиза сумела женскую страстность соединить со служением высокому общественному идеалу. Я же сейчас будто приговоренная к страшной прадавней каре — мое материнство и мои убеждения безжалостно тянут меня в разные стороны, и из-за всего мне страшно больно, и душа моя ныне — сплошная

рана, которую некому залечить, ибо я, разумеется, изо всех сил петушусь перед нашими общими друзьями и кажусь им, наверное, высеченной из гранита, а ты — далеко...»

Ярослав Пиотровский не пошел в гостиницу «Гастроном» на встречу с капитаном Судейкиным, и последние две недели были для него ужасными, более ужасными, чем если бы он прозябал в тюремной камере.

Человек в широкополой шляпе шел следом за ним, то исчезая, то объявляясь в самых неожиданных местах, будто знал наперед о намерениях Пиотровского, будто читал его мысли. Павел попросил Пиотровского отнести на Большую Владимирскую Софье Богомолец проект новой программы «Союза», она его ждет, а Павлу нужно немедленно бежать на Подол, он познакомился с ремесленниками, и Софья ратует за организацию нового кружка. От Пиотровского Павел почти не таился.

Ярослав направился на Большую Владимирскую, хотя встреча с Софьей Богомолец не сулила ничего хорошего. Эти дамы от революции, эти фанатички,— они только и ждут, чтобы их побили камнями, чтобы хоть таким образом насытить свое непомерное, раздутое эмансипационными веяниями самолюбие,— а рядом с Софьей ему и в лучшие времена становилось холодно. Теперь же он был весь словно тесто, которое поднялось и переваливается через край формы: без воли и уверенности в себе. Хотя кургузый панок на этот раз и не сопровождал, кажется, его, но когда Пиотровский подошел к дому, где жила Богомолец, знакомая широкополая коричневая шляпа уже показалась с другой стороны улицы и уголки сухих губ змеисто, по-заговорщицки заулыбались Пану. Ярослав сделал вид, что не заметил жандармского агента, на самом же деле у него задрожали коленки.

Он не решился сказать Софье, что за ее домом следят: все время казалось, что куцеватый панок в широкополой шляпе стоит под окном Софьиной комнаты и слышит каждое слово Пиотровского. Ярослав торопливо, но с фантастическими подробностями рассказывал Софье о единении с крестьянами на собственном хуторе. Он и сам не заметил, как увлекся. Говорил долго, наклонив над недопитым стаканом чая свое продолговатое лицо. От сладкого самогипноза пробудил его взгляд хозяйки — она смотрела через стол на Пиотровского так, как смотрят в глубокий колодец, чтобы сквозь вязкую полутьму различить в рамке из зелено-мшистых стенок сруба бледное личико воды. Ярослав почувствовал, как этот взгляд, не пронзительно острый, что бывает у людей, которые судят лишь других и никогда не судят

себя, а, наоборот, ласково-проникновенный, женский, однако до щемяще яркого света ч е с т н ы й, просвечивает его насквозь, не оставляя болезненно возбужденной душе ни единого затененного закоулка, куда можно было бы спрятать самое сокровенное, что прячешь порой даже от самого себя. Ярослав сник под Софьиными глазами, зябко повел плечами:

— Почему вы, Софья Николаевна, так смотрите?..

Софья молчала.

— Вы что, тоже считаете меня Иудой? — истерично, теряя контроль над собой, воскликнул Пиотровский.

— Разве я вам что-нибудь сказала? — с искренним удивлением спросила Софья.

— Нет, но... так, нервы...— смутился Ярослав, поднял на хозяйку умоляющие глаза.— Ваше мнение всегда значило для меня больше, чем чье-либо другое, и если бы вы, как кое-кто...

— Изменили вы или вас оклеветали, в этом должен разобраться суд товарищей,— сухо, без малейшего сочувствия промолвила Софья.— Но пока такого приговора нет, я не вправе... подозревать вас. Иначе мы из партии превратились бы в группку злостных сплетников. Но, откровенно говоря, я недолюбливаю истеричных мужчин. Я не знаю, предали ли вы, но я знаю другое: в вашей душе, господин Пиотровский, нет уверенности, что когда-нибудь, если вам будет угрожать опасность, вы не измените... Извините за вынужденную резкость, вы сами на нее напросились. Но это правда...

Ярослав молча откланялся и вышел. Человечек под широкополой шляпой просматривал газетку, прислонившись плечом к фонарному столбу. Увидев Пана, он деловито свернул газетку и спрятал ее в карман, а после этого рысцой последовал за Пиотровским. Визит к Софье довершил работу короедов, которые точили душу Ярослава. Еще ночь он перетерпел, а утром, едва дождавшись девяти часов,— из разговоров в народовольческих кружках, которые давно охотились на Судейкина, он знал, что капитан появляется в управлении в девять часов,— побрел в жандармское управление...

— Итак, волей товарищей мне суждено сегодня сказать первое слово нашему маленькому коллективу, который снова после вынужденного перерыва собрался вместе. Жаль, конечно, что не все «союзовцы» с нами, но их мнение пробилось к нам и сквозь стены Лукьяновского замка, я еще скажу об этом.— Иванов говорил сегодня рассудительно, проникаясь настроением товарищества.— Итак, жизнь давно

требовала от нас собраться в настоящем составе, и в принципе я соглашаюсь с товарищами — «рабочий союз» только тогда будет сильным и долговечным, когда городские рабочие будут сплачиваться не вокруг горстки интеллигентов, постоянно находящихся под угрозой внезапного ареста, а вокруг своего, рабочего центра, который в любую минуту может заменить центр интеллигентный. Со своей стороны я предлагал и предлагаю товарищам несколько иную систему организации городских рабочих: мы покрываем Киев сетью небольших рабочих кружков, члены которых даже не догадываются о существовании такой сети. И только в великий день социальной революции...

— На когда же изволите назначить этот революционный день — на сегодня, на завтра или послезавтра? — язвительно спросила Софья.

— Если уж вы признали меня респектабельным оратором, прошу не наскакивать...— уклонился от ответа Павел.— Итак, в день социальной революции разъединенные с целью конспирации кружки объединяются в могучую рабочую армию и вдребезги разбивают правительственные войска!

— Отдает заговорщичеством,— заметил Кашинцев.

— Теперь, братья, сами видите, как нам живется,— широко улыбнулся, поворачиваясь к группе рабочих, оратор.— Сколько людей, столько и мнений. Но уже одно то, что сегодня мы собрались таким многолюдным товариществом, подтверждает нашу жизнеспособность. Так не настала ли пора напомнить нам о себе народу? Кстати, приговор помощнику начальника «Арсенала» Коробкову датирован четвертым декабря, а полковник Коробков и до сих пор ходит петухом и притесняет рабочий люд...

— Что даст рабочим Киева убийство из-за угла Коробкова? — Лицо слесаря Венцеслава Кизера побледнело, он волновался.— Ничего, кроме новых репрессий!

— Мы заявим о себе как организация действенная и авторитетная!

— Рабочие в Петербурге завоевывают авторитет иначе: не убийствами, а единением.

— Мы убиваем ненавистное народу начальство, чтобы теснее объединить народ!

— Убийствами не объединяют,— стоял на своем Кизер, то и дело поглядывая на своего товарища, тоже слесаря железнодорожных мастерских, Александра Доллера, будто рассчитывал на его помощь. Однако Доллер, солидный, широкоплечий, в темной косоворотке, подпоясанный широким ремнем, невозмутимо жевал кончик длинного уса.— Экономический террор, о котором записано в нашей программе, поддерживает лишь наименее сознательная и наиболее забитая часть киевских рабочих.

— Венцеслав здесь прав, Павел,— заговорил и Доллер.— Из Питера однажды приезжал товарищ и рассказывал у нас на собрании об организации Петербургского союза рабочих — питерцы учатся делать революцию, сплачиваются, о забастовках подумывают, да и не только подумывают — уже и бастовали. А чтобы на какого-нибудь там Коробкова или Судейкина охотились рабочие,— такого не говорил.

— А что вы, Платон, обо всем этом думаете? — повернулась к Козловскому Софья, он впервые был на таком людном собрании и, судя по всему, переживал из-за своей молодости.

— Я — как все...— застеснялся Столяр, но понемногу пришел в себя и заговорил, хотя глаз от пола не отрывал.— Но скажу такое, что очень правильно в нашей новой программе о стачках записано. Потому что когда прошлой зимой была забастовка в киевских железнодорожных мастерских, это получило большую огласку среди рабочего люда, ведь раньше такого не знали. И многие наши после этого начали задумываться над своим рабочим невольничеством и говорить: вишь, если вместе, сообща, то и мы — силища. Вот оно как...

Платон запнулся, подыскивая слова, но, видимо, этих слов не нашел, потому что окончательно умолк. Софья подбадривающе улыбнулась Столяру, провела глазами по лицам друзей. Она чувствовала себя человеком, который по едва примятой траве угадывает тропинку, ведущую к людям. Она увидела эту тропинку раньше, еще во время своего пребывания в Петербурге, но не пошла по ней, и только теперь, поблуждав в сумерках переходной эпохи, еще несмело и неуверенно ступала на нее.

И звенела в душе радость открытия.

«Свою работу в «Южнорусском рабочем союзе» Софья Николаевна считала важнейшим периодом своей жизни. На эту работу она смотрела как на плодотворный опыт совместной деятельности русской интеллигенции с рабочим классом».

(Андриан Михайлов.
«Каторга и ссылка», 1923, кн. № 7)

«Павел и его ближайшая сотрудница Софья Богомолец... проводили ту мысль, что настоящее плохое положение рабочих может быть изменено только революцией; что фабрики должны быть переданы рабочим, а земля — крестьянам. Для подготовки рабочих к этим экономическим переменам Софья Богомолец читала им лекции по политической экономии и, между прочим, о свободной конкуренции... Мастеровые... не

могут рассказать подробно содержания лекций, ими слышанных, но тем не менее хорошо запоминают, что фабрики и заводы должны принадлежать им, рабочим, а земля — крестьянам...»

ЦГИА УССР, ф. 422, оп. 832, ед. хр. 361.

...О социалистах Гавриил слышал, да и как было не слышать: в железнодорожных мастерских бастовали рабочие, полиция арестовала железнодорожников, которые читали книги, и сослала их туда, где и Макар телят не пасет. Эти книги им, говорят, дали будто бы социалисты. Внезапной смертью умирали министры и губернаторы, взрывались динамитные бомбы на дорогах царя и даже в Зимнем дворце — все это было делом рук социалистов, которых — киевских — начальство вешало в поле за Лукьяновским замком. Воображение рисовало социалистов людьми особенными, загадочными, вездесущими невидимками с револьверами и бомбами в руках, теми добрыми мстителями за народные кривды, которых так много встречалось в сказках и так мало в жизни.

Но до сих пор ни одна ниточка, ни одна паутинка, казалось, не соединяла социалистов со столяром Гавриилом Гейнцем (позднее Софья Богомолец скажет ему на это: «Разве же вам до нашего знакомства не причиняли боли людские кривды? А каждый рабочий, которому болят раны ближнего своего, товарища по ремеслу, уже чуточку социалист»). Социалисты были очень учеными, а Гейнц едва успел научиться писать, как сразу же пришлось штудировать другую науку — как заработать на кусок черствого хлеба. Социалисты хотя и боролись с начальством и панами, сами были панами, а Гавриил — рабочее быдло, мужик, который должен был, увидев хозяйку или хозяина, снимать шапку и изображать на лице смиренность (паны подерутся-подерутся, да и помирятся, а у нашего брата чубы еще долго будут трещать, говорили более пожилые рабочие). Теперь он ступал по сыпкому песку Труханова острова следом за социалистом, да еще и на их запрещенное властью собрание.

Этот вечер запомнился Гавриилу на всю жизнь. Была опушка, налитая летними пепельно-серыми сумерками и застекленная густо-синим, с искорками звезд небом. Был красный жар догорающего костра, который бросал на высоколобое лицо молодой женщины, произносившей речь, пурпурные отблески. Был взволнованно-приглушенный гомон толпы, когда женщина умолкала, подыскивая слова. А слова ее были удивительно простыми, они давно жили на дне души Гавриила, и женщина лишь извлекала их оттуда:

— Посмотрите на свои руки — они в кровавых мозолях.

Присмотритесь к своим лицам, к лицам своих жен и детей, они черные, будто земля, от недоеданий, от каторжной двенадцатичасовой работы, от мучительных дум о необеспеченном завтрашнем дне...

Много ночей после этого снилась эта женщина Гейнцу. Сны были светлые, порой тревожно-пурпурные, как отблеск костра на лесной опушке; черные жандармские тени бросались к женщине, а он, Гавриил, мужественно и преданно заслонял ее и, пронзенный пулями, падал к ее ногам, а женщина склонялась над ним и ласково улыбалась ему.

Гейнц снова встретился с нею лишь через несколько месяцев, поздней осенью, у Платона Козловского. Накануне Платон, который с лета, после памятного вечера на Трухановом острове, снабжал товарища правдивыми книгами о рабочей жизни, пригласил после работы к себе. Но Гавриил задержался в мастерской, потому, когда вошел в комнатку Платона, разговор уже угасал, кроме хозяина там было еще трое молодых рабочих, а среди них — Павел и женщина, выступавшая с речью на лесной опушке. Она сидела у стола, положив на скатерть руки с длинными нервными пальцами. Она внимательно слушала беседу Павла с рабочими, изредка включаясь в эту беседу. Павел называл ее Софьей.

Вскоре начали расходиться. Павел остался ночевать у Платона, но сказал, что сначала проводит на Шулявку Софью. Стесняясь и запинаясь, Гейнц предложил: он тоже живет на Шулявке и может проводить пани Софью, если она, конечно, разрешит.

— Чудесно,— согласилась Софья.— Павлу еще раз брести через весь город неконспиративно.

С тем и вышли. Павел проводил их до Андреевского спуска, громко обращаясь к встречным извозчикам, но извозчики были заняты или же торопились на ночлег, время было позднее.

— Оставь, Павел, мне хочется пройтись,— отговаривала его Софья.— Нужно же когда-то дышать свежим воздухом. А вечер такой хороший...

Вечер в самом деле был славный: сеялся снежок, не та лапчатая и густая метель, которая вот-вот укутает Киев непролазными сугробами, а сухой и легкий, провозвестник близкой зимы. Город наряжался в ясно-белую праздничную одежду: даже перекосившиеся хаты Подола, повязанные снежными платочками, в снежных оборках и фартучках, становились приветливее, моложе. Улочка поднималась круто вверх, и Гейнц осторожно поддерживал спутницу под локоть, чтобы она не поскользнулась: когда подавал пальто, заметил — женщина в положении. Его захлестнула волна горячей, щемящей нежности, теперь он чувствовал себя ее охранителем и защитником. Но улицы старого Киева безлю-

дели, лишь сторожа, шурша полами длинных кожухов о мерзлые комья, бродили вокруг магазинов. Это безлюдье, эта дремотная тишина ночного города сближала. И слово за словом Гейнц рассказал Софье о своей жизни, и в этом рассказе для предыдущих двадцати двух лет хватило двух десятков слов (ранняя смерть отца, нужда, школьные классы, ремесленное училище и работа, работа, работа), зато последние несколько месяцев вытянулись в непропорционально большую и значительную полосу жизни, полную новых, ранее неизведанных чувств и мыслей.

— Но ведь и странно, Софья Николаевна. На Труханове вы говорили о нашей жизни, о социализме. И мне казалось, что я уже знал об этом, а вы только раскрыли мою душу на нужной странице и промолвили: прочти, Гавриил.

— Господа Катковы прямо-таки захлебываются от лая, что социализм — это наносное, заимствованное у безбожного Запада...— улыбнулась в темноте Софья.

— А социализм — это тоже вера в царство божье, только на земле, правда ведь, Софья Николаевна?

— Божьего царства не будет, брат,— покачала головой Софья.

— А какое же будет?

— Людское. К сожалению, люди не святые ангелы...

— Это верно, люди разные есть и будут. Но я думаю, что когда над людьми царем станет социалист...

— Даже если Николая Чернышевского провозгласить в один из дней царем, он сделает ненамного больше, чем любой другой царь до него. Мы, народники, на этом стоим. Вы, Гавриил, слыхали о такой науке — политической экономии?

— Не приходилось.

— Так вот, эта наука учит, что общества, государства развиваются не по прихоти отдельных людей, даже властителей, а по строгим экономическим законам.

— А революция?

— Революция — следствие действия этих законов, их крайнее проявление, вулкан, который взрывается, когда напряжение под земной корой становится слишком высоким.

— А эти законы можно изучить?

— Конечно. Но это очень сложно, нужно много знать.

— А я так себе думаю, что рабочий человек всякую науку угрызет, если эта наука жить ему поможет. Только вы рассказывайте своими словами, а не сплошной неметчиной, будто аптекарь с аптекарем...

— Аптекарь с аптекарем по-латыни разговаривают,— улыбнулась Богомолец и неожиданно для себя, с энтузиазмом в голосе добавила: — А что — в следующую субботу приходите к Платону и надежных товарищей приводите — поговорим о политической экономии!

— И придем! — горячо пообещал Гавриил — они уже стояли возле дома, где жила Богомолец.— Спокойной ночи, Софья Николаевна. И спасибо.

— За что?

— За беседу,— произнес он из сумерек застенчивым голосом: Софья уже поднималась на крыльцо. Он медленно направился к себе на Лукьяновку, ведь он никогда не жил на Шулявке и вовсе не по пути ему было провожать женщину. Шел, радостно и счастливо размышляя о будущей революции, и, как всегда во время таких мыслей, перед его глазами возникало, будто стяг, выхваченное из сумерек густо-красным отблеском огня лицо Софьи Богомолец...

Кажется, еще никогда Софья не жила так наполненно; время летело до невероятности быстро, будто листья дней перелистывал резкий сиверко, проносившийся над Киевом, засыпая город снегами. После вечерней беседы с Гавриилом Гейнцем она долго не могла уснуть — из безбрежного людского моря (народа, массы, толпы, по терминологии программных революционных документов) неожиданно возникали самобытные личности, интереснейшие характеры, и после таких знакомств тот полувыдуманный интеллигентами, страдающими болезнью совести, народ, та теоретико-мифическая масса становилась более реальной, близкой и понятной. Встречи с рабочими давали ей ныне так много, что она специально искала их, радовалась каждому случаю побывать в кружках, каждому новому знакомству и не понимала хлопцев, которые предпочитали не распылять главных сил «Союза», а перепоручать лекции в рабочих кружках студентам.

В свое время она идеализировала крестьян, считала их порохом, который только и ждет искры, чтобы взорваться. Вместе с тысячами других идеалистов она понесла эту искру в села и вскоре поняла, что вокруг не порох, а влажноватая солома, которую долго еще придется подсушивать, чтобы она наконец вспыхнула живым революционным огнем. Еще прошлой весной она смотрела на городских рабочих преимущественно как на будущих агитаторов, которые, будучи распропагандированы в городе, возвратятся в села готовить народ к всенародной революции. Теперь все чаще виделась ей, ощущалась в этом рабочем городском люде сила богатырская, хотя еще и в полудремотном состоянии; главное же, это будет сила, которая способна не только к бунту, к мгновенной вспышке, ибо не осознает себя; наоборот, эта сила стремится прежде всего осознать себя и мир, понять законы, которые этим миром управляют, чтобы потом воспользоваться этими законами для своего освобожде-

ния и созидания нового мира, более совершенного и справедливого. Птенцу уже было тесновато в яйце, он уже проклевывал скорлупу, и Софья слышала этот тихий, но многообещающий стук жизни. И вчерашний разговор с Гейнцем — это тоже всегда волнующее (новая жизнь!) проклевывание скорлупы и страстный зов помощи еще желторотого птенца, обещающего вырасти в ширококрылую птицу.

Утром, едва проснувшись, она уже с нетерпением ожидала прихода товарищей. Кашинцев пришел спозаранок.

— Являюсь, как на службу в департамент,— пошутил, поздоровавшись. В самом деле, домик на углу Шулявки и Ботанической за последние две недели, с того момента, когда здесь поселились Софья Богомолец и Алексей Преображенский, стал подобен штабу «Южнорусского рабочего союза». Снимая квартиру, Софья взяла себе новое имя, Алексей же давно, еще с момента выезда из Харькова, жил по чужому паспорту. И можно было надеяться, что полиция не скоро заподозрит этот скромненький мещанский домик на окраине города.

— Получила письмо от мужа,— сообщила Софья.

— Не вытанцовывается с типографией? — почувствовал ее настроение Иван.

— Царь прижимает румын, и те уже косятся на революционеров, эмиграция побаивается, что вскоре вообще их будут высылать в Россию. О типографии в Румынии, неподалеку от границы, пока и думать не приходится.

— Жаль. Мне уже снится наша газета. А оно ведь так: не трать, кум, силы...

— Будем печатать сами.

— Нереально.

— Реально, Иван. Нужно наладить работу типографии — и будет реально.

— На это среди нас способен лишь один человек — Иванов. Но этот человек слишком заметен в Киеве — за ним следят, я сам убедился. Типографию разгромят в первый же день...

— Пускай он на некоторое время исчезнет из Киева.

— Павел? И именно теперь? Ни за что не согласится!

— Для членов революционной организации существует еще и такое понятие, как революционная дисциплина.

— Существует, но не для Киева, тем более не для Павла и его хлопцев — бунтарский дух.

Вошел Алексей Преображенский — волосы острижены под ежик, болезненно воспаленные глаза, бледное лицо потенциального чахоточника — нервно заходил по комнате, стреляя глазами по сторонам и упорно не задерживая взгляда на хозяйке.

— Боже мой, снова с утра пораньше переписывать ста-

тейки! Если бы мой отец Иван увидел, куда попал его сын, то не проклинал бы меня, а обрадовался, что сын вскоре станет честным канцеляристом и займет место столоначальника в губернской канцелярии... Пока люди делают революцию, мы тренируемся в чистописании.

— Что же это за люди?

— Есть такие! Бычков вчера прибегал, пока вы с Павлом сеяли на Подоле «доброе и вечное». Был очень разочарован, что вас не застал. Обещал явиться сегодня. Предлагает народникам кооперироваться. У него грандиозный план...

— Убить Судейкина или Черткова? — насмешливо спросила Софья.

— Нет-нет.

— Продать провинциальным гимназистам фальшивые темы экзаменационных работ и на вырученные деньги возводить всемирную обитель счастья?

— Да он сам расскажет,— утратил запал Преображенский.— Я разве что, Софья Николаевна? Но душа живого революционного дела просит. А вы — как настоящая надзирательница, какой-нибудь турецкий паша с кнутом на революционной галере.

— Пошли-ка, мои невольники, лучше чай пить! — Софья быстро нарезала белый хлеб, делала бутерброды.

В дверь позвонили, и на пороге появился Владимир Бычков.

Широкий в плечах, жилистый и стройный, Владимир сразу заполнил собою комнату. Пальто он не снимал, но расстегнул его и, разрезая решительным властным шагом простор пополам, с угла в угол, посверкивал темной сталью задвинутого за широкий пояс револьвера. Все, что попадало в поле зрения его зорких живых глаз: самовар, шкаф, зеркало, этажерка с книгами, коврик на стене над кроватью, кресло, мягкий диванчик, даже фотографический портрет Александра Богомольца — все он ощупывал взглядом нескрываемо ироничным и чуточку настороженным, будто ждал коварной западни. Особенно же откровенно насмешливая улыбка появилась на лице Бычкова, когда его глаза остановились на столе, заваленном бумагами.

— Все пишете?..

— Пишем,— спокойно ответила Софья.

— Пишите, пишите, пока вас, будто кроликов в клетку, не пересажали,— саркастично произнес Бычков, раскачиваясь над столом, и с искренним отчаянием в голосе добавил: — А тогда что?

— Тогда будем сидеть. А другие будут писать. И их будет больше.

— Это бессмыслица. Будет увеличиваться число оппозиционных слесарей, будет увеличиваться и количество тюрем, только и всего. Если волк зачастит в стадо, его нужно убить, эту мудрость знали еще наши предки, и только современные образованные овцы не хотят знать об этом.

— Чем прикажете воевать, Володя? — утомленно и грустно спросила Софья.— Вон тем декоративным револьвером, выставленным на всеобщее обозрение?

— Когда объявляют войну, не думают о последствиях...

— Тысячи полусонных, разобщенных людей ждут, чтобы к ним пришли, разбудили живым словом и сказали, что они не одиноки, а вы, Володя, в это время играете в детские, к тому же и не совсем этичные игры,— Софья была раздражена, потому что приходилось терять драгоценное время на споры.

— Конечно, добродетельность перепуганного обывателя и войну с правительством не всегда удается соединить,— с горьковатой иронией промолвил Бычков.— Но Судейкин в борьбе с нами не заглядывает в этический кодекс...

— Но ведь и не у Судейкина учиться революционерам этике.

— Впервые встречаю такую несговорчивую женщину.

— Я не женщина, Володя, я революционерка,— сухо ответила Богомолец.— А о вашем плане ограбления университетской кассы мне уже рассказали.

— Не спешите отказываться, Софья Николаевна, в кассе тридцать тысяч. Половина для ваших типографий и библиотек, на оставшуюся половину мы закупим оружие.

— Если нам понадобятся деньги, мы попросим их у рабочих,— твердо промолвил Кашинцев,— в ближайшее время мы организуем сеть новых рабочих кружков с библиотеками и кассами.

— Что ж, желаю успеха.— Бычков неторопливо застегнул пальто и направился к двери.

— Дело не в экспроприации, братья, если революционерам нужны будут средства, они позволят себе экспроприацию.— Софья, как всегда, когда волновалась, прижала ладони к разрумянившимся щекам.— Думаете, я кусок мертвого железа, думаете, меня не испепеляет ненависть ко всем им, от дворника, который сломя голову бежит в жандармское управление, как только увидит, что в чьем-то окне допоздна светится, до «божьего помазанника» Александра? Разве я отказалась бы при удобном случае всадить пулю в какого-нибудь Судейкина или Новицкого? Боже, как я завидовала Вере Засулич, завидовала за один-единственный непередаваемо сладкий миг, прочувствованный, пережитый ею: ты выхватываешь револьвер и стреляешь в тупую, жирную тварь, которая весь свой век косила молодые побеги разума

и свободы. Но я нахожу в себе силы корпеть над бумагами, надрывать голос на сходках и в кружках, сея в умах людских по зернышку, иначе и в самом деле нас пересажают по клеткам, будто кроликов, и ничего от нас не останется...

...Ей было плохо; к слабости в теле, знакомой уже с предыдущих дней (с момента, когда дело пошло к зиме), прибавилась после спора с Бычковым угарная глухая головная боль. Однако более всего угнетала не физическая слабость, к которой она понемногу привыкала. И полушутливо-полусерьезные упреки Алексея Преображенского относительно «надзирательницы», и вспышки Павла Иванова, которого влекла работа на селе (подобно молодому коню, Павел становился на дыбы каждый раз, когда ощущал узду партийной дисциплины), и насмешливые двусмысленности Левинского о киевских народниках, которые «обабились» и превратились в ничто, и неудержимость младшего Бычкова, который называл прокламацию с приговором полковнику Коробкову (она была напечатана еще до ареста Ковальской и Щедрина) «гневным манифестом партии» и добивался его исполнения,— все это было теми каплями воды, которые, когда одна за одной падают на темя, больно ранят. Только ненавязчивая настойчивость и сильная воля Софьи, ее фанатичный — до самозабвения огонь души, ее неотступность удерживали хлопцев, раздраженных арестами и идейной сумятицей среди народников, от отчаянно-мужественных террористических эффектов.

В этом идейном тумане растерянно виднелись фигуры одиночек, распятые между двумя революционными эпохами: народнической, отживавшей свой век, и новой, пролетарской, марксистской, которая еще едва-едва разгоралась. Софья чувствовала себя одной из этих фигур: ее революционный опыт, ее ум, ее интуиция твердили, что время требует принципиальных перемен в идейных предпосылках революционеров, но какими будут эти предпосылки, никто наверняка не знал, не мог знать. Она искала ответ в сумерках переходного времени и жаждала единственного — чтобы вместе с нею искали его и товарищи по борьбе, а не топтались на месте, тем более не отступали назад, в день вчерашний. И единственно на этом предчувствии нового да еще на глубокой энергичной вере в завтрашний революционный день основывался ее авторитет в организации, к которой она формально даже не принадлежала (весной и летом она читала лекции в кружках, организованных Павлом, но «Южнорусского рабочего союза» с его экономическим террором сторонилась). Как-то само собой сложилось, что после ареста Ковальской и Щедрина она стала для товарищей той «над-

зирательницей», которая была вдохновительницей «Союза». (Прокурор Стрельников на заседании военного суда назовет Софью Богомолец «идейной силой «Союза»).

Павел вошел хмурый и раздраженный. Он молча опустился на стул у двери, и стул тяжело закряхтел под его ширококостным телом. С гигантских сапожищ (их сшил член «Союза» сапожник Буряк, вложив в подметки по фальшивому паспорту) струилась талая вода, однако Иванов, который всегда стеснялся своей неуклюжести, на этот раз не заметил лужиц на полу. В его широких глазах, которые еще несколько лет назад во время их первой встречи поразили Софью сиянием ничем не омраченной честности, теперь тусклой пеленой висела застарелая усталость, расслабленность. Он положил на колени вниз ладонями большие, со змеистыми венами руки и так сидел, будто крестьянин, измотанный тяжким трудом в долгий летний день. Софья уже знала, что в такие минуты Павла лучше не трогать, пока он сам постепенно не отойдет, как отходит в тепле от закоченения тело.

Софья с приглушенной сестринской нежностью погладила черные космы Павла. Иванов взял ее руку в свои огромные ладони и с благодарностью поцеловал; на его сером, как травянистый склон горы в предзимье, лице затеплилась улыбка:

— Прости, Соня.

— Что с тобой, Павел?

— Слоняешься, как одинокий волк, сегодня под одним кустом ночуешь, завтра — под другим, а охотники следом, и ямы на каждом шагу, вот так бродишь, бродишь, напряженный, и вдруг, что называется, со всех четырех валишься на землю, будто узел, в который ты стянут, неожиданно развязался.

— Это с каждым случается, Павел... Думаешь, мне всегда прыгать хочется?

— Женщины более выносливы.

— Это вам, мужчинам, так кажется, такое вы себе о нас придумали. Но столько лет такой жизни, как у тебя, никто бы не выдержал...

— Я знаю, я жилистый,— оживился Иванов.— По-мужицки жилистый. Но когда и мужику уже невтерпеж, он говорит: жилы рвутся. Вот так и со мной. Я уже переменил лишь этой осенью десятки ночлегов, и все равно они меня снова выследили. Будто сам бог за них и перстом на меня указывает.

— И кроме бога есть кому указать. Кто знал о твоей последней квартире?

— Ну, Кириллов, Пан, еще двое-трое хлопцев. Все свои. Ты снова на Пана?

— Я никого не подозреваю, пока не буду знать наверняка. Но Пиотровский неприятен мне.

— Не беспокойся, и ты ему тоже. Элементарное несовпадение характеров. Но ведь это ничего не доказывает. Я иногда так думаю: а вдруг он честен? Тогда представляешь, каково ему?.. Но они травят меня грамотно, по всем правилам охоты. Сегодня одна гнида как присосалась! Завел его аж на Глубочицу, подстерег в глухом переулке, за грудки взял, а он и свисток неспособен к губам поднести, губы дрожат: «Вы, пан милостивый, своим социализмам служите, а я детям своим, помилуйте...» Эх, думаю, из-за такой гниды — да на виселицу, отпустил. Он дал деру, а я — сюда.

— Нужно исчезнуть с их глаз на некоторое время, отдохнуть.

— Ты, Соня, знаешь, где мы все будем отдыхать,— хмуро ответил Павел.

— Для социалиста тюрьма тоже не отпуск, а продолжение революционной работы.

— Ты говоришь об этом так просто, будто уже вдоволь отведала казенного хлеба.

— Я много думаю об этом,— вздохнула Софья.— Мне т а м будет втрое тяжелее. Не забывай, я женщина.

— Я не забываю, Софья,— улыбнулся Павел,— и слово чести, если бы я не был влюблен в Марию, я влюбился бы в тебя, даже рискуя вызвать ревнивый гнев Александра.

— Искренне благодарна вам за ваше объяснение. Но без шуток, Павел: поезжай на несколько недель в Ростов, установишь там контакты с местными кружками, Кашинцев даст тебе явки. А там и Мария приедет к тебе. Возвратишься — будешь печатать нашу газету.

— А планы в отношении Румынии?

— Эмиграция много обещает, однако мало что может.

— Будет трудно. Мы едва сумели организовать изготовление прокламаций.

— А типография «Союза», спрятанная в «Арсенале»?

— Ее ведь нужно где-то установить.

— Вот этим и займешься, Павлуша, после приезда, хорошо? — Софья ласково заглянула в глаза Иванова, которые в самом деле оттаяли и горели прежним огнем.— Но сначала поедешь в Ростов. Пускай киевские филеры немного забудут о тебе. И подстригись. Не ради красоты, Мария, знаю, тебя и лохматого любит, а ради конспирации. Договорились?

— Разве же ты не уговоришь? — вздохнул Павел.— Правду говорил мой покойный отец: «Чертей рогатых не бойся, сынок, это все суеверие, а бойся тех чертей, которые в юбках»...

...— Здорово, Болеслав!

— Здравствуй, Платон.

— Как жизнь?

— Как в сказке.

— А в сказке как?

— А известно: и я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало.

— А ты пошире рот раскрыл бы...

— Э, наш хозяин тоже вумный: на чужое добро, говорит, рот не разевай, когда мы заикнулись о большей плате.

— А вы что — со страха заиками стали?

— Как это?

— Ну, ты говоришь, что вы только заикнулись... Если бы во весь голос, хозяин, наверное, стал бы сговорчивее.

— Скорее всего, Макаровых телят уже пасли бы или в подпасках у голосистых железнодорожников были... Да ты ведь знаешь, как оно у нас: один крикнет, а другой ему рот закрывает; что он может, глупый рабочий человек...

— А чтобы не быть глупым, учиться надо...

— Может, по гимназиям да университетам?..

— Есть на свете и рабочие гимназии.

— На свете, может, и есть, да только не в Киеве.

— А ты в субботу, как только стемнеет, зайди ко мне. Только никому ни звука. Помнишь наш давнишний разговор?

— О социалистах?

— Ага.

— Говорят разное, да только не встречал я таких нигде.

— А если бы встретил?

— Так и сказал бы: научите, как на свете человеком прожить, если знаете.

— Вот и приходи... Понял?

— Общее владение фабриками, заводами и коллективный труд на них — вот наша правда! Право на землю лишь тех, кто на ней работает,— вот наша правда! Право человека на свободу совести и слова в рамках, которые не противоречат общему благу,— вот наша правда! — Горячая волна поднимала Софью, будто птицу — распростертые против ветра крылья.— Но никто эту правду не поднесет нам на тарелочке, и никто ее для нас не защитит, братья. Только социальная революция сделает жизнь народа справедливой, настоящей, только социальная революция даст хлеб и свободу рабочему люду...— Софья передохнула, окинула взглядом комнату. Круг от слабо горящей лампы под потолком, будто выписанный мастерской рукой иконописца, выделял из сумерек, отделял от света и объединял шесть задумчиво-торжествен-

ных молодых, хотя уже и изнуренных полусуточным рабочим днем лиц. Глаза были разные — настороженные, восторженные, недоверчивые (мол, что может сказать этот социалист в юбке), нетерпеливые в поиске и ожидании истины, которая вот-вот откроется им. Но это были живые глаза, не затянутые бельмами обывательского самодовольства и равнодушия.

— Однако социальная революция не сойдет нам с неба по слову доброго волшебника, революция — дело крестьян и рабочих людей в городе, которые сознательно, с пониманием законов социального развития разрушат старый мир во имя мира нового. Вот для чего городским рабочим необходимо знать политическую экономию, принципы которой мы начинаем сегодня изучать...

Это было новое, дразняще сладкое ощущение собственной незаурядности. До сих пор Ярослав взбирался по косогору на отвесную кручу жизни, изо всех сил гребя в сыпком скользком песке (самовлюбленному Пиотровскому даже революция представлялась ареной, где состязаются сильные личности). А поскольку рядом были более настойчивые и мужественные, то в глубине сознания все эти годы у него не затихала щемящая боль. Попав в тюрьму и согласившись на игру с Судейкиным и Лорис-Меликовым, он быстро и безнадежно пополз вниз, к подножью горы, и страдал от этого. Он падал с болью в душе, пока не пересек невидимую межу, за которой начал мыслить свое падение как проявление неординарности.

В самом деле, отсюда, из моральной бездны, кружок чудаков на крутой горе истории представлялся таким же далеким и жалким, таким мизерным, каким бы он представлялся Пиотровскому с вершины горы. Ярослав чувствовал себя точно таким же одиноким, точно таким же непревзойденным. Это был словно бы ставший реальностью мир его высоких и гордых мечтаний, но отраженный в гигантском зеркале. В этой новой, отраженной зеркалом реальности все было наоборот, и одновременно все до умопомрачения, до манящей привлекательной иллюзии было подобным...

Его представление о самом себе и о мире значительно расширилось. Прежде Ярослав пугливо удивлялся, когда с приязненной улыбкой на устах пожимал руку человеку, которого вчера продал (да, да, продал, он уже не прятался за слова, называл вещи своими именами и даже получал от этого болезненно-дразнящее наслаждение) жандармскому управлению за одобрительный кивок Судейкина и за три червонца месячного содержания. Вскоре перестал и удивляться, лишь с любопытством, а то и с восторгом наблюдал

за собой, будто за кем-то посторонним: вот он пьет кофе с человеком и нашептывает ему на ухо переплетение архиреволюционных фраз, а потом, извинившись, бежит в уборную, чтобы записать неосторожные слова, оброненные увлеченным, доверчивым собеседником. Вот он торопится на вечеринку в интеллигентное общество (тут ему, импозантному, умеренному революционеру, все еще были рады) и, убедившись, что время научило даже этих говорунов мудро и скромно обходить скользкие темы, будто невзначай бросает громко, на всю гостиную: «Говорят, готовится новое покушение на государя...» — чтобы дома до полночи составлять на имя Судейкина очередной донос.

А Судейкину этого было мало. Жандармский капитан требовал не разговоров (кто ныне не бранит царя) — имен, адресов, планов.

Ярослав решил порыться в карманах Павла. Улучив миг, когда Павел оставил пиджак на спинке стула и выбежал в булочную, он торопливо проверил бумаги товарища.

Ярослав пробежал глазами по листам плотной почтовой бумаги и метнулся к столу: отсюда виден был угол булочной на той стороне улицы, откуда должен был появиться с хлебом и бубликами к чаю Иванов. Потом, оставшись один, он пораженно будет рассматривать копии Мариных писем, выполненные его четким и каллиграфическим почерком.

«...Как поживаете, милейший П-л? Как думаете поступить относительно В-ки? Нужно что-нибудь предпринять. Теперь ваш план относительно У-ва должен окончательно рухнуть. В каком положении ваше специальное дело? Я была уверена, что оно уже кончено и со страхом ждала письма. Что вы намерены теперь делать? Не разочаровались ли еще новыми молодыми товарищами? Часто ли видитесь? Пишите обо всем. Не раздумали ли приехать? Если нет, то постарайтесь теперь, ведь для вашего дела это все равно, а между тем мне хотелось бы с вами видеться именно теперь, впрочем, я не настаиваю, может быть, у вас нет времени... Ходят слухи, что и в Киеве арестована типография?! Что сообщает Л-д, каким образом Пан выехал?..»

Павел уже переходил улицу, но Ярослав спокойно, без единого торопливого движения записал последнюю фразу, сложил письма и засунул в карман пиджака Павла. Пошел навстречу Павлу, торжествуя в душе, что поднялся над человеческими слабостями. Позднее он придирчиво будет изучать копию письма: фраза о Л-д и Пане не уступала в четкости написания другим фразам! И эта фраза не на шутку обеспокоила его. Следовательно, ему до сих пор не доверяют, даже Павел, если просил какого-то Л-д проверить, на самом ли деле Пан чистым выскользнул из жандармских рук.

— Знаешь, Ярослав, я уезжаю из Киева,— признался Иванов, приступая к чаю.

— Не к Марии ли? — разрешил себе шутку Пиотровский.

— Марию ты не трогай! — нахмурился Павел.— У меня есть кое-что еще, кроме Марии, а Мария здесь ни при чем.

— Одно другому не мешает, кстати.

— Мешает, и очень.

— Даже Робеспьер...

— Тебя били когда-нибудь? — зловеще оборвал его Иванов.

— А что?

— Назойливый ты. Любишь совать нос в чужие дела.

— Били,— признался Ярослав.— В гимназии...— И уже другим тоном добавил: — Хозяйство оставляешь на меня?

Он наверняка знал, что Павел не оставит на него типографию, «союзовцы» и без того косо смотрят на Иванова за его дружбу с Пиотровским. Но не бросит он типографию на произвол судьбы, столько времени проносившись с нею по Киеву. Сейчас шрифт, станок и архив типографии лежат в погребе подольского рабочего, Пан знает, в каком углу даже зарыт мешок с этим сокровищем, а через него, Пиотровского, эта тайна известна и Судейкину. Но Судейкину не нужны эти железки, пока они хранятся у какого-то хлипкого и, собственно, ни в чем не повинного сапожника. Если же типография и пачки нераспространенных листовок об убийстве Коробкина будут взяты на квартире Софьи Богомолец — другое дело...

— А какое тебе дело до моего хозяйства? — окрысился Иванов.

— Ты до сих пор еще не доверяешь мне? — засмеялся Ярослав.

— Разное о тебе говорят, Пан...— тяжко, с отзвуком громов в голосе проворчал Иванов.

— Это обо всех нас говорили и говорить будут.

— Ладно, Ярослав. Но если я буду убежден, я и родную мать не пожалею, ты запомни это.

— Кинжал или яд приготовил ты для меня, дружище? — Ярослав шел у самой кромки пропасти, и сердце его стыло от страха, но на лице он изображал улыбку.

— Собственными, этими вот руками, задушу.— Павел протянул в сторону Пиотровского широченные ручищи со следами типографской краски в бороздах ладоней, и Ярослав отпрянул.— Ну, пофехтовали, Ярослав, и хватит. Революционеру сквозь все суждено пройти, и даже сквозь подозрения, так что ты не очень... Вернусь в Киев — возьмемся в четыре руки. Вечером поможешь мне перепрятать типографию. Мало ли что со мной может случиться — пускай будет у наших...

«Выводы дознания не оставляют сомнения в том, что и между рабочими встречаются лица весьма сильно «распропагандированные», вполне усвоившие революционные воззрения своих учителей о недостатках современного государственного строя и о необходимости коренных изменений в политическом и экономическом быту России. Таким распропагандированным революционером является пятидесятилетний мещанин Пироженко, носивший в Киевском кружке кличку «Дед».

ЦГИА УССР, ф. 442, оп. 832, ед. хр. 361.

На сочельник, под рождество, Софья обещала побывать у Деда, Василия Пироженко.

В тот вечер у Деда не было жарких теоретических дискуссий, хотя собрались очень разные люди. Лакомились блюдами, которые приготовила «бабка Варька», наслаждались дешевеньким вином и, главное, пели. Но было в этом собрании, в этой «тайной вечере», что-то такое, что глубоко, до щекочущей боли в груди пронизывало Софью. Это было волнующее, трогательное ощущение духовной близости, духовного братства, объединявшего сегодня тесный круг революционеров, несмотря на их программные расхождения.

Софья счастливыми и хмельными — хотя даже не прикоснулась к рюмке с вином, думая о нем,— глазами впитывала в себя знакомые лица товарищей (было много рабочих, были и интеллигенты, был даже военный, из саперов), и душа ее радостно трепетала.

Софья предчувствовала, что в таком дружном кругу в этой уютной комнатке они встречаются в последний раз, что многих из них в ближайшее время и навсегда лихая судьба в жандармской шинели разбросает по Сибирям, по тюремным застенкам (а поскольку они атеисты, то и на том свете им не придется повстречаться). Но эти капельки грусти не горчили минуты, наоборот, делали ее еще более трогательной, поднимали над буднями, над серым плесом людской повседневности. Горячая благодарность к товарищам, светлая надежда на будущее всколыхнули все ее существо. Любые слова сейчас были лишними, подумалось ей, слова — только знак, только символ того, о чем невозможно рассказать, что нужно почувствовать, пережить. В тюремных одиночках они будут вспоминать сегодняшний вечер и наверняка будут знать, что не зря прожили жизнь, ибо счастлив и богат тот, кто познал волнующую теплоту духовного братства. Незаметно, из одного голоса, как река из ручейка, за столом рождалась песня, все расширяясь и расширяясь с каждым мигом, ибо все новые голоса подхватывали ее.

Ой, на горі вогонь горить,
А в долині козак лежить.
Накрив очі китайкою,
Заслугою козацькою,
Що в головах ворон кряче,
А в ніженьках коник скаче...

Песня догоняла песню, и Софьина душа чувствовала себя празднично приподнятой и чистой. Привычные ощущения тела, отягощенного недомоганиями и беременностью, исчезли, развеялись; так бывало с нею лишь в ранней молодости, когда Софья, приехав домой на летние каникулы, выгребала в лодчонке на середину Псла и медленное ласковое течение несло ее над отраженными в воде развесистыми вербами...

Она вышла на улицу. Падал снег, легкий, искристый, будто не настоящий, а бутафорно-елочный. Он одевал газовые фонари в белые косынки. Улицы Старого, панского Киева были по-рождественски торжественны. Дома в белых снежных масках с прорезями окон, открытые настежь двери парадных с яркими пятнами ковров в глубине, с одетыми в пестрые одежды швейцарами, визг полозьев на перекрестках и шелест хмельноватой толпы... В причудливом сверкании фонарей и уличных иллюминаций даже людские глаза чем-то напоминали Софье снежинки, и было их бесчисленное множество, и были они похожими на иконы в церковной лавке, иконы, убранные в серебристую фольгу. Софья чувствовала себя в этой толпе исключением, она была зрячей среди слепых, она была с ними и прóтив них, она была с ними против них...

Празднично возбужденная толпа не угнетала ее, как это случалось раньше (в праздничные, табельные дни она чувствовала себя такой одинокой), наоборот, подчеркивала ее обособленность, непохожесть, наполняя всепобеждающей силой — силой зерна в земле.

Софья подумала, что, несмотря ни на что, она сегодня счастлива. Это был один из последних свободных вечеров в ее жизни.

1944.
«А БУДУТ СЫН И МАТЬ...»

Увенчанный многочисленными званиями и титулами, президент одной из крупнейших в Европе — Украинской Академии наук в течение шестнадцати лет, вице-президент Академии наук СССР, депутат Верховного Совета СССР и УССР академик Александр Александрович Богомолец в июне сорок четвертого возвращался в освобожденный Киев. Три года назад Академия наук УССР была эвакуирована

в Уфу, но с началом наступления наших войск на запад Совет Народных Комиссаров СССР отзывал украинских ученых в Москву. Их работу высоко оценил Государственный Комитет Обороны: «Ваш коллектив мы ставим в пример всем Академиям Союза». Богомолец был рад приезду в столицу: ближе фронт, а главное — укрепятся связи украинских ученых с московскими исследовательскими институтами. Дома их ожидала огромная работа по восстановлению народного хозяйства.

Но самому президенту в Москве не повезло — он тяжело заболел, разорвалось пораженное чахоткой легкое. Его положили в Кремлевскую больницу, врачи запретили читать и писать, отключили телефон. Это были страшные дни, он не любил о них вспоминать. Наши войска освобождали украинскую землю от фашистов, а он, который столько мечтал об этом, беспомощно лежал в постели. Разве не он, когда гитлеровцы заняли Киев и подавленные этим известием научные работники собрались в его тесном холодном кабинете в Уфе, подбадривал товарищей, хотя у самого душа невероятно болела: «Нужно не впадать в отчаяние, а уже сегодня думать, с чего начнем восстанавливать хозяйство, когда Киев будет освобожден и академия возвратится на Украину». Разве не он создал и возглавил в грозном сорок втором году Комиссию по восстановлению народного хозяйства Украины?

«Приехав в Уфу, я узнал, что сюда эвакуировалась Украинская Академия наук и что президент ее Александр Александрович Богомолец тоже здесь. Я провел у Богомольца вечер. Много разговаривали о войне, о последних событиях на фронте, о перспективах, и тогда меня чрезвычайно вдохновил оптимистический патриотизм, которым был проникнут Александр Александрович. Ведь положение на фронтах было очень тяжелое. Города сдавали один за другим. Я был тогда партийным агитатором. Тяжело информировать о поражениях. Кое-кто сомневался в победе. У Богомольца настроение было исключительно уверенным, вдохновенным. «В ближайшее время,— говорил он,— все изменится, будет крутой перелом в положении на фронтах, мы погоним врага». Он тогда и в газетах писал об этом, и по радио выступал».

Академик А. Д. Адо

Когда же осуществлялось то, во что верил, о чем мечтал, он был вне людского водоворота, на берегу безостановочной реки, именуемой временем; в безмолвии больничной палаты

думал о смерти и просил сына похоронить его под грушей в институтском саду, под грушей, которую он сам десять лет назад посадил. Но это была лишь минутная слабость, потому что вскоре Богомолец начал работать над планом реэвакуации академии, а поскольку карандаша и бумаги у неумолимых врачей невозможно было выпросить, он составлял его мысленно, а потом диктовал сыну вместе с распоряжениями по академии. Олег, посещая в больнице отца, всегда брал с собой блокнот...

...Богомолец с благодарностью взглянул на сына, который стоял рядом, у окна вагона — сын возвратился на Украину вместе с первой группой ученых, готовил базу для реэвакуации научно-исследовательских учреждений, а в Москву приехал, чтобы сопровождать отца.

— Скоро Киев,— кивнул Олег Богомолец.— Только ты не волнуйся...

Он старался не волноваться, как это было и тогда, когда телефон в больничной палате, который столько дней молчал, вдруг зазвонил и член Военного совета фронта сказал президенту, что говорит из здания Академии наук Украины в Староселье под Киевом, где находится командный пункт, и что наши войска уже стоят на левом берегу Днепра. Он старался не волноваться, потому что волноваться ему запретили врачи, даже в тот день, когда был объявлен указ о присвоении ему, академику Богомольцу, звания Героя Социалистического Труда, он лишь промолвил, что такая высокая награда — аванс и его нужно будет отработать, почему, мол, умирать и даже болеть он не имеет права...

Но сейчас он все-таки волновался — вопреки всем запретам врачей.

В июле сорок первого, когда эшелон с украинскими учеными и их семьями тронулся с киевского вокзала на восток, Богомолец разломил на две части бублик и, спрятав половину в карман, громко, чтобы слышали встревоженные люди, толпившиеся вокруг президента, промолвил:

— Эту половину бублика я съем после нашего возвращения в Киев...

В глубине души он знал: фашизм обречен, но, прежде чем умереть, он выпьет много народной крови. В начале тридцатых годов Богомолец посетил Берлин. Нацисты только вставали на ноги, только показывали зубы, но зубы эти были хищными и крепкими.

— Мы работаем над тем, как продлить жизнь людям, а в Берлине больше думают, как человека убить,— с сердцем сказал он тогда немецкому профессору, который сопровождал его. Профессор печально склонил голову:

— Перефразируя Гумбольдта, я могу с полным правом сказать: «В Берлине ненавидят все, что мешает воевать...»

Все эти три года ему казалось, что Днепр должен быть красным от крови — столько людей погибло на полях битв. Но Днепр под сплетениями железнодорожного моста не был красным, Днепр был ярко-синим, Днепр сверкал и переливался под лучами летнего солнца так, что даже больно стало глазам,— Богомолец достал платочек и незаметно смахнул слезы со щек.

Поезд выползал на правый берег реки.

Незадолго до войны он написал книгу «Продление жизни». В ней утверждал, что чувства радости, страха, гнева ускоряют биение сердца, что влияние никотина на всю нервную систему и на сердечные мышцы является бесспорно вредным, а умение продлевать жизнь — это прежде всего умение не сокращать ее. После выхода книги у него множество раз спрашивали, как достичь долголетия, и он обычно отвечал: «Уметь беречь свои желания...» Но сам он так и не научился беречь желания: без колебаний пожертвовал бы сейчас теми десятью минутами, за которые поезд простучит от Днепра до киевского вокзала, хотя он уже и не в том возрасте, когда стоит подгонять время. А поезд, словно бы испытывая его терпение, почти остановился, наверное, вокзал был переполнен воинскими эшелонами. Богомолец достал коробку «Казбека» и снова закурил — от станции Бровары он курил почти непрерывно.

Удивительно сложилась его судьба — он так часто начинал жизнь словно бы сначала! В двадцать пятом году Богомолец переехал из Саратова в Москву: народный комиссар здравоохранения Н. А. Семашко предложил ему возглавить кафедру патофизиологии Второго Московского университета. Это была его вторая молодость — счастливые, хотя и трудные московские годы. В Саратове он оставил прекрасно оборудованную лабораторию, коллег по работе и студентов, которые любили его. «Уже через год Вашего пребывания в Саратове Вы проявили феноменальный организаторский талант, огромную работоспособность...— писала в прощальном приветствии профессору Богомольцу студенческая молодежь.— Вас оценили и поняли, что Вы не блуждающий огонек, вспыхивающий только на фоне провинциальной научной жизни, а действительный светоч науки... Сейчас, прощаясь с Вами, мы хотим принести Вам нашу сердечную и глубокую благодарность за теплую дружбу с нами и за то яркое и талантливое руководство нашим научным воспитанием, получив которое нам не страшно пустить-

ся в опасное плавание в неспокойное море жизни с его ураганными бурями и невзгодами». Вместе с Богомольцем в Москву переехали и его ближайшие ученики — Леонид Перельман, Николай Сиротинин, Нина Медведева. Вскоре в новую лабораторию пришли молодые аспиранты Ростислав Кавецкий, Иосиф Нейман, Николай Федоров, Николай Горев, одно время к кафедре был прикомандирован молодой аспирант Петр Горизонтов.

«А. А. Богомольцу в высшей степени присущи были способность к синтетическому мышлению, обобщению, умение видеть целое в деталях, которые другим могли бы показаться несущественными. Часто на основании малозаметных отдельных фактов он выдвигал положение, которое потом получало подтверждение в экспериментальных исследованиях. Характерной чертой всей его научной деятельности было умение сочетать глубину теоретической мысли с задачей практической медицины».

Академик Р. Е. Кавецкий

«Под вечер пришел Александр Александрович. Уже его внешность произвела на меня большое впечатление. Сутулый такой. Вкрадчивая походка. Когда ему сказали, что вот, мол, молодой человек ждет вас почти десять часов, он улыбнулся какой-то мягкой, лучистой и доброй улыбкой. Я сразу почувствовал с ним духовный контакт. Потом он пригласил меня к себе в кабинет, и у нас с ним состоялась очень короткая беседа. Он не смотрел моих работ, а лишь спросил, откуда я знаю, что существует такая наука — патофизиология. Ведь эта наука к этому времени была еще в стадии становления. Она перепуталась с патологической анатомией. Оформление этой науки в самостоятельную дисциплину — заслуга, несомненно, Александра Александровича Богомольца. Поэтому понятно удивление Богомольца, откуда воронежский студент знает о патофизиологии. Я ему сказал, что мне нравится сам принцип этой науки. И еще — я читал его работы. Он улыбнулся, и тут я увидел его удивительные глаза, доброжелательно проникновенные и чрезвычайно добрые. В них вместе с добротой ощущалась какая-то пытливая ориентировочная реакция...»

Академик Н. А. Федоров

«Будучи молодым провинциальным врачом, довольно несмелым, переступил я порог кабинета Александра Александровича. Думал, что встречу сурового знаменитого чело-

века, который вряд ли и обратит на меня внимание. Но увидел приветливого ученого, который отнесся ко мне внимательно, по-дружески, понимая мое смущение. В ту пору на кафедре, возглавляемой А. А. Богомольцем, шла большая интенсивная работа. Поучиться было чему. Александр Александрович обладал огромным синтетическим умом, способностью понять все те аналитические явления, которые были результатом наших исследований, он умел их обобщить, дать им нужное направление, умел их поднять на большую принципиальную высоту патологических и даже общебиологических вопросов. Я с удовольствием слушал его лекции, разбор им экспериментального материала на конференции. Во всей моей последующей научной работе я старался подражать Богомольцу, и моя работа всегда характеризовалась не только аналитическим взглядом, но и осмыслением и обобщением».

Академик П. Д. Горизонтов

«Мне не раз приходилось наблюдать, с какой настойчивостью Александр Александрович добивался разнообразного оборудования. В короткий срок на пустом месте возникала хорошо оборудованная лаборатория. Во всех учреждениях, где он работал, его лаборатория всегда имела идеальный рабочий вид, а продукция значительно превосходила продукцию других лабораторий того же института. Характерная черта Александра Александровича — умение организовать не только свою работу, но и работу своих сотрудников».

Академик Н. Н. Сиротинин

«Николай Николаевич Сиротинин нам, тогда еще юношам, очень много рассказывал о стиле работы Богомольца на кафедре, на которой работаю я вот уже двадцать лет. У Александра Александровича был исключительно своеобразный стиль руководства. Он разрешал своим сотрудникам максимум личной инициативы. Он не подавлял сотрудников своим авторитетом, а лишь направлял в нужное рациональное русло, и таким образом благодаря коллективному творчеству родилось много интересных работ. Богомолец умел свои научные интересы и научные интересы своих сотрудников близко соединять с клиникой, с запросами практической медицины. Его труды московского периода очень глубоки с теоретической точки зрения. Энтузиазм сотрудников был такой, что они работали по двадцать четыре часа в сутки».

Академик А. Д. Адо

...Ему повезло на учеников, на помощников — работали с молодым задором, никто не посматривал на часы, домой возвращались последними трамваями. Леонид Перельман и Николай Сиротинин продолжительное время ночевали в лаборатории, на диванах, Нине Медведевой отвели крошечную комнатку на чердаке. Это была дружная коммуна научных работников. В складчину покупали в студенческой столовой обед, женщины-ассистенты накрывали на стол. Он до сих пор помнит студенческие тефтели, которые трудно поддавались даже молодым зубам аспирантов. Неизменно жизнерадостный Перельман называл их обед — бамлет. Когда Богомолец после лекций приходил в лабораторию, пили вечерний чай и снова работали. Вместе посещали концерты, ходили на лыжах по лесам Подмосковья. Он любил свою маленькую коммуну и, когда Перельман и Сиротинин получили самостоятельные кафедры, писал: «...Я прекрасно понимаю, что так должно быть и что так лучше для них обоих. Но чувство у меня — будто тело режут...»

Богомолец жил тогда в студенческом общежитии на Большой Якиманке. Бывшую кухню переоборудовал в кабинет, кухонная плита была завалена книгами, она долго служила ему письменным столом. По вечерам к нему приходили студенты, консультировались, рассказывали о своих планах. На медицинский факультет университета пришли партысячники. Они имели за плечами опыт гражданской войны, опыт фельдшерской работы, но не имели теоретических знаний. Высшая школа искала новые формы обучения. Одно время профессора не читали лекций, а беседовали со студентами, экзамены сдавали бригадным методом. Профессор Богомолец приветствовал поиски, но он требовал знаний, он не любил тех, кто «родом с Ленивки»...

Поезд приполз на киевскую товарную станцию и остановился.

Отсюда в сорок первом отправлялись на восток академические эшелоны.

Круг замкнулся.

День, до которого он так мечтал дожить, настал.

На бляхах солдат, заполнявших перрон, искрилось пятиугольное солнце.

Сутуловатый, с белым пергаментным лицом и неожиданно голубыми проницательными глазами под высоким челом, президент, глухо покашливая, ступил на землю Украины:

— Вот мы и дома...

Он, шестидесятитрехлетний дед, дома, а юная Гуля Королева уже никогда не пройдет по киевским улицам. Она повела бойцов в атаку — и погибла. Под Сталинградом. Он лежал тогда больной в занесенном снегами домике лесника в Юматово под Уфой и писал бойцам на фронт: «Жалею об

одном — что недуг не позволяет быть рядом с вами, товарищи бойцы. А впрочем, каждый на своем участке должен стремиться прожить жизнь не для себя — для людей, для Родины. К этому я всегда стремился...» Письмо попало к Гуле Королевой перед боем. Его нашли в полевой сумке погибшей.

Богомолец знал Гулю; в мае сорок первого широко отмечался его шестидесятилетний юбилей. После многолюдного юбилейного вечера президенту хотелось побыть одному. Он медленно шел по пустынным улицам Печерска на Виноградную, где располагался институт и его дом. Цвели каштаны — самое очаровательное время в Киеве. С Богомольцем поравнялась молоденькая женщина.

— Извините, Александр Александрович. Вы так хорошо сказали на сегодняшнем вечере: «Каждый возраст имеет свое счастье. Нужно спешить делать людям добро...» Я хожу и думаю: не только в шестьдесят нужно спешить, но и в двадцать. Ведь столько хочется успеть!..

Они тогда долго разговаривали на тихих ночных улицах. А через год Богомолец встретил Гулю Королеву в военном госпитале в Уфе, где переломы лечили при помощи его цитотоксической сыворотки. Гуля рвалась на фронт — спешила делать добро. Он тоже спешил, он тоже был солдат, хотя и за тысячи километров от фронта.

И президент подумал, как тяжело, невозможно было бы без осознания этого возвращаться сегодня в Киев.

Три военных года он стоял у пульта гигантской машины, работавшей на оборону. Эвакуация под носом у врага десятков научных институтов и возвращение их назад, еще более окрепших,— одного этого хватило бы на целую жизнь. В первый же день по приезде в Уфу, в холле гостиницы «Башкирия» — позднее этот совет ученые в шутку будут называть «заседанием под пальмой», потому что в холле в самом деле стояла роскошная пальма,— он собрал президиум Академии наук Украины и сказал во вступительном слове: «Отныне украинские ученые будут работать лишь для обороны, лишь для фронта». Через два месяца президент с полным правом писал в Центральный Комитет Коммунистической партии (большевиков) Украины: «Ныне Академия наук функционирует в составе десяти научных исследовательских институтов... Всего в Уфе есть свыше трехсот научных работников из числа наиболее квалифицированных. Планы работ институтов построены по принципу прежде всего максимального сосредоточения на оборонной тематике, а с другой стороны — на проблемах, имеющих значение для БашАССР... Оборудование АН пришло в полном порядке. Необходимое для работы извлечено, остальное снова запаковано в ящики и сохраняется в хороших складских помещениях. С нетерпени-

ем будем ждать от Вас сигнала к обратной погрузке на Киев...»

Украинские ученые принимают участие в войне наравне с бойцами. Когда он сказал эти слова? На январской сессии АН УССР сорок второго года.

Вот почему ему так легко идти сегодня по освобожденной от врага украинской земле.

•

Сын осторожно прикрыл дверцу «виллиса»:

— По Крещатику проезда нет, отец.

— Что ж, в таком случае я пойду пешком. Я хочу видеть Крещатик.

— Хорошо,— промолвил через минуту Олег Александрович.— Возможно, дорогу уже расчистили. Поедем по Крещатику, но ты, пожалуйста, не волнуйся.

— Ты ведь, наверное, запасся валерьянкой? — невесело улыбнулся президент.

— Я знал, что ты захочешь поехать по городу...— смутился сын.

Александр Александрович любил Саратов, Москву, но более всего любил он Киев. Не тюрьму, в которой он родился, а новый Киев. Тут прошло его наиболее плодотворное десятилетие. В начале тридцатых годов его жизненный корабль бросил якорь в этом благословенном заливе. Благословенном, но не тихом. «Чья жизнь в стремленьях вся прошла, того спасти мы можем»,— великий Гёте. Какая осанна творческому духу! Чья жизнь в стремленьях вся прошла... Чтобы продлить жизнь — нужно прежде всего научиться не сокращать ее. Гёте прожил долгую жизнь, он умел оберегать себя от волнений. Лишь от самого себя уберечься Гёте не мог — в душе его горел фаустовский огонь: «Не утоленный ни одним мгновеньем!» Истощение нервной системы приближает смерть. «Огромное значение для здоровья организма, для его реактивности и долголетия имеет состояние нервной системы... Можно в самом деле «умереть от радости или от горя, от внезапного сильного потрясения» — это уже не из Гёте, это из его, Богомольца, книги «Продление жизни».

Он раскрыл глаза: в ярком летнем солнце, резко диссонируя с нежной пастелью неба, чернели руины Крещатика. Богомолец читал о разбитом Крещатике, слышал рассказы очевидцев, но живая трепетная рана на теле любимого города потрясала. Он через силу раскрыл вдруг застывшие, ставшие чужими губы:

— Это — страшно.

И заговорил торопливо, без привычной рассудительности — слова придавали сил:

— Странный двадцатый век! Столько слов о гуманизме

и такие разрушительные вспышки вандализма! Но, наверно, в этом своеобразно и проявляется закон противоположностей: самая значительная от сотворения мира социальная революция и ее антипод — фашизм, с цепью самых темных за всю человеческую историю преступлений... «Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла...» [1]

— Правительство постановило в ближайшие годы восстановить Крещатик. Над проектом работают московские и киевские архитекторы.

Среди черных руин работали киевляне — разбирали завалы. Со стороны Меринговской глухо ухало — саперы подрывали остатки стен. От серых, припорошенных известняковой пылью завалов до расчищенных площадок растянулись длинные цепочки людей — из рук в руки непрерывно плыли кирпичи.

— Ты, сынок, прав! Нужно думать о том, каким будет восстановленный Крещатик. Завидую людям, которые по утрам будут идти на работу по новой улице. «І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі...» [2]

Он вышел из машины на углу Прорезной. На месте магазина «Детский мир» громоздилась куча битого кирпича, скрюченная железная арматура. Подъезжали старенькие полуторки, люди совковыми лопатами грузили мусор, и машины, покряхтывая, катили по Крещатику, который напоминал — между кирпичными берегами — узенькую речушку. Там, где до войны стоял Дом ученых, зияла пустота. А сколько совещаний и конференций провел он за десятилетие в этом здании! Его узнавали: «Богомолец! Богомолец!..» Подошла женщина, подпоясанная брезентовым фартуком:

— С возвращением, Александр Александрович! Не узнали?

— Здравствуйте, Мария Ивановна! — Президент радостно протянул руку: до войны эта женщина работала в виварии института.

— Ой, да у меня руки грязные, кирпич грузим.

---

[1] Испокон веков Украйна
Не знала покоя.
По степям ее широким
Кровь текла рекою...
Т. Шевченко. «Гайдамаки», перевод А. Твардовского

[2] И на воспрянувшей земле
Врага не будет, супостата,
А будут сын и мать, и свято
Жить будут люди на земле.
Т. Шевченко. «И Архимед...», перевод В. Бугаевского

— У рабочего человека грязных рук не бывает. Как ваши сыновья?

— Спасибо, Александр Александрович. Меньшенький в ФЗУ пошел, на токаря будет учиться, а старший воюет, дважды в госпитале лежал,— женщина вытерла платком увлажнившиеся глаза.

— Уже скоро, уже скоро.

— Хотя бы дал бог, чтобы сын живым-здоровым возвратился. Думаю себе так — отца финская забрала, так, может, хоть сыновья будут жить. А знаете, Александр Александрович, в сорок третьем самолет листовки с вашими словами над Киевом разбрасывал. Немец кричал: это не Богомолец, обманывают большевики, умер Богомолец, а я в нашем дворе говорю: это наш Александр Александрович с листовки говорит, его слова. Занавесим окна, почитаем при каганце — и от сердца немного отляжет. Живой, думаем, Александр Александрович, и все наше живое...

Богомолец не чувствовал себя врожденным администратором. «Администратор из меня более чем посредственный»,— писал он отцу вскоре после избрания его президентом академии. Но он был глубоко убежден, что о людях, которыми поручено руководить, нужно заботиться, только тогда сердца людей раскроются перед руководителем. Список научных работников, нуждавшихся в жилье, всегда лежал на столе президента. Наставляя организационную группу, которая первой выезжала на освобожденную Украину, Богомолец советовал взять на учет всю жилую площадь Академии наук. Президенту хотелось, чтобы ученые, да и не только ученые, лаборанты, шоферы, секретарши, возвратившись домой, видели: о них позаботились. Прежде чем подняться к себе, он обошел квартиры, приготовленные для сотрудников института. Квартиры были отремонтированы, даже полы натерты. Теперь на его президентские плечи ляжет тяжелая обязанность: распределить жилую площадь, чтобы никто не чувствовал себя обиженным. Многих квартир Академия наук недосчиталась. Тем, чьи дома уцелели, придется потесниться. Большинство правильно поймет такую необходимость, но не все.

У него был случай убедиться в этом в Уфе. Он откровенно скажет об этом завтра, на заседании президиума Академии наук. Чрезмерное увлечение бытовыми вопросами извинительно у младших, плохо обеспеченных категорий научных работников. Оно же производит в некоторых случаях, когда это касается более обеспеченных категорий, тяжелое впечатление. Наука требует всего человека. Науке нужно отдавать всю жизнь, весь интерес жизни, подчиняя

его, конечно, высочайшей цели — служению своему народу и через него — всему человечеству. Так он скажет завтра.

Он давно научился быть сдержанным и скрывать свои эмоции. Очень давно, еще с тех пор, когда — сын политкаторжанки — учился в гимназии и университете. Но когда в Уфе порог его кабинета переступали людишки, изнеженные бока которых неуютно чувствовали себя на раскладушке, людишки, которые требовали для себя в условиях сорок второго года чуть ли не кроватей в стиле какого-нибудь Людовика, лицо президента каменело от ненависти. Одному из таких барчуков он хотел было прочесть письмо от Леонида Перельмана из голодного, но не сдавшегося Ленинграда, однако посмотрел ему в глаза и передумал. «О себе могу сообщить, что я вполне здоров (за всю зиму ни разу не болел, даже не грипповал), бодр, физически окреп, потому что много ходил, рубил дрова,— писал профессор Леонид Перельман.— Всегда был трудоспособным и, как и в прежние времена, провожу на себе систематическую основательную профилактику атегоматоза. Пережил, конечно, и насмотрелся много, но вполне адаптирован к жизни в нашем героическом городе. Никогда не имел тенденций, которые были реализованы некоторыми товарищами, к изолированной индивидуальной эвакуации... Второй месяц занимаюсь, читаю лекции тем студентам в обоих институтах, которые по той или иной причине не могли выехать. Занятия идут на всех курсах, правда, вузы наши очень уменьшились. Прожив всю войну в любимом городе, выезжать было бы тяжело. Жаль также было бы и расставаться с товарищами, с которыми прожил все это время вместе. Ведь я с 23 июня на казарменном положении — в Мечниковской больнице. Единственное, что меня беспокоит — это семья, и особенно моральное состояние жены, которая волнуется из-за меня. Но что поделаешь, ныне такое время, что многие жены вынуждены волноваться за своих мужей,— я из них далеко не в худшем положении...»

Волнуясь, он легонько прикоснулся к звонку своей квартиры, звонок молчал.

— Электричество дают лишь вечером,— объяснил сын. Но Зоя, невестка, уже открыла дверь — их ждали. По паркету гостиной навстречу ему бежала внучка:

— Дедушка приехал! И папа!

Он прижал Катюшу к груди: соскучился невероятно. Потом вышел на балкон. Сад был залит солнцем, солнце скрадывало его раны. По ту сторону сада возвышался институт. У Александра Александровича перехватило дыхание. В начале тридцатых годов, когда Богомолец впервые приехал на Виноградную, здесь был пустырь, мусорная свалка. Он мысленно представил институт и сад вокруг, и осуществил

всё, о чем мечтал. Он сам посадил много деревьев и надеялся дожить до дня, когда этот сад поднимется.

Немцы изувечили сад, и теперь Богомольцу больно было смотреть на его раны. Это было почти физическое ощущение: сад он любил. Особенно любил и гордился аллеей, возможно, единственной в мире: белокорые березы вперемежку с персиками. Но все же и сад, и институт, и он, Богомолец, пережили нашествие! В этом была великая историческая справедливость. Погибало то, что родилось, дабы сеять смерть. А то, что создавалось во имя жизни, жило и будет жить.

— Наши книги немцы сбросили в ров и засыпали землей,— с грустью промолвил сын.— Вместо этого в дом навезли перин — здесь жили офицеры, «высшая раса», а «высшая раса», оказывается, очень полюбила украинские пуховики, но возненавидела книги. Погибла вся библиотека.

Библиотеку он собирал в течение всей жизни. Много книг осталось от отца. Они везли на восток оборудование института — было не до личных вещей. Какое неизмеримое расстояние от гениального Гёте с его «человеком был я в мире — это значит — быть борцом»,— до фашиста, который распорядился сгноить библиотеку. И как важно теперь вместе с фашистскими отбросами великой нации не возненавидеть Гёте, Вагнера, Бетховена и других великих немцев. «Обнимитесь, миллионы...» Ода Радости. Бетховен. Шиллер. Ода смерти — Гитлер.

— А помнишь, отец, мы втроем, ты, Василий Комиссаренко и я, третьего июля, накануне отъезда на восток, сидели под грушей и ты сказал: «Мы обязательно вернемся...»

Богомолец возвратился в комнату, подошел к патефону. На диске лежала дорогая ему пластинка: финал Пятой симфонии Чайковского, пружина была накручена, он с благодарностью улыбнулся Зое, опустил мембрану, торжественный, победный гром оркестра наполнил комнату, выплеснулся в сад.

Они вернулись.

И в этом тоже была великая правота жизни.

У входа в Институт экспериментальной биологии и патологии Богомольца ждал его заместитель Ростислав Евгеньевич Кавецкий. Долговязый, худой, бледное лицо, седина на висках. Вспомнился тридцать первый год. А может, это было в конце тридцатого? Москва, зимний вечер. «Я переезжаю в Киев, буду ставить на ноги новый институт,— сказал он своему ученику, молодому тогда научному работнику Ростиславу Кавецкому.— Вы поедете со мной?» — «Да, я с вами поеду»,— в его голосе не было ни малейшей нотки колебания. За эти годы Кавецкий стал одним из ведущих ученых

института, автором многих серьезных работ. Как растут люди. Взрослеют. И стареют, к сожалению. Война всем нам очень дорого обошлась. Одним из последних научных работников выезжал Ростислав Евгеньевич из Киева, на его плечи легла эвакуация института. И в Киев он возвратился одним из самых первых.

— Добирался я до Киева на перекладных, Александр Александрович. Через Днепр перешел по понтонному мосту. На этой стороне Днепра подобрала воинская машина. Но мне так не терпелось узнать, уцелело ли здание института, что я, не доезжая до Бессарабки, выпрыгнул из кузова и, будто мальчишка, начал взбираться по крутизне на гору. Взобрался и... боялся глаза раскрыть. Наконец посмотрел: стоит институт.

Когда началась война, Богомолец был в Москве. Возвратился в Киев ночью: город бомбили. Прямо с вокзала поехал в Центральный Комитет партии, а утром сказал сотрудникам:

— Институт переключаем на консервирование крови для раненых. Это — задание партии. Это очень ответственно. Кровь нужна воинам.

Работники института с того момента дни и ночи проводили в лабораториях. Перешли на казарменное положение. Богомолец приезжал из академии ночью — и в институт. Мобилизовали всех сотрудников. Наравне с лаборантами работали и профессора. Богомолец и профессор Татаринов не раз вспоминали такие же бессонные ночи в лаборатории Саратовского университета во времена гражданской войны.

Он шел по длинным институтским коридорам, заглядывая в кабинеты и лаборатории. В комнатах хозяйничали каменщики, пахло известью и красками. Кое-где на стенах еще проступали немецкие надписи. Комиссариат... Разве не парадоксально: одна из канцелярий тоталитарной империи, которая отрицает права на существование целых народов, которая изобрела газовые камеры, настроила по всей Европе множество крематориев и убила десятки миллионов людей,— в стенах института, где ученые боролись за человеческое долголетие и где, собственно, родилась цитотоксическая сыворотка, активизирующая жизненные функции организма. Никогда не забудет он одной из ночей тридцать восьмого года, когда цитотоксическая сыворотка была впервые введена мальчику, болевшему скарлатиной. С какой тревогой и надеждой ждал Богомолец звонка профессора А. М. Зюкова, в клинике которого проводились наблюдения. Наконец! — температура больного падает!.. «Применение цитотоксической сыворотки при инфекционных заболеваниях обнадеживает терапевта простой эффективностью, от-

сутствием побочных явлений»,— заявил профессор Зюков «Применяя цитотоксическую сыворотку, мы получаем терапевтический эффект, в некоторых случаях он дает чудесные результаты»,— выразил свое мнение знаток этой проблемы профессор Маньковский. Три года исследовал влияние цитотоксической сыворотки на больных шизофренией психиатр профессор Я. Т. Фрумкин. Убедительные результаты лечения переломов костей с помощью сыворотки получил доктор наук Олег Александрович Богомолец. На конференции, посвященной АЦС, как сокращенно именовалась сыворотка, выступили шестьдесят шесть ученых.

А с началом войны АЦС спасла от увечий тысячи раненых. «Сыворотка моя очень широко и с большим успехом применяется при военном травматизме в госпиталях Башкирии и Челябинской области,— сообщал Богомолец в конце сорок второго года своему давнему, с саратовских времен, другу, известному всей стране хирургу Сергею Ивановичу Спасокукоцкому.— Теперь ее будут изготовлять и в Москве. На этих днях вышла книга тезисов Уфимской конференции по внедрению сыворотки. В этой конференции приняли участие, кроме нашей академии, четыре мединститута и 49 эвакогоспиталей. Все они единодушно постановили в резолюции конференции, что сыворотку необходимо применять при военном травматизме и септических заболеваниях как можно шире...» Письма с просьбой прислать сыворотку поступали из многих городов страны. Но более всего волновало его письмо из окруженного фашистами Ленинграда — прислать сыворотку для ленинградских воинов просил профессор Леонид Рувимович Перельман.

— Ну что же, друзья, я считаю, что нужно начинать с вивария и рассадника в Совках,— сказал сотрудникам, сопровождавшим его, Богомолец.— Без экспериментальной базы нам делать нечего.

— Я не забыл, вы еще из Кремлевской больницы писали к нам: «В первую очередь — рассадник!» — оживленно откликнулся заведующий хозяйством Кузьма Рябчун.— Так что докладываю: рассадник восстановлен, уже есть навесы и клетки, закупили кролематок.

— А помните наши мечты открыть при институте диспансер, где бы лечились болезни, приближающие старость? — Богомолец толкнул половинку окна, ему было тяжело дышать, сказывалась дальняя дорога.— Тоже, скажете, рано, разве до старости, когда молодые гибнут на фронтах. Но нужно смотреть не под ноги, а вперед. С цитотоксической сывороткой мы не боялись смотреть далеко.

— Однажды в театре подходит ко мне молодой стройный офицер и крепко, словно демонстрируя силу, пожимает руку,— сказал Олег Александрович.— Потом и говорит: «Вы,

конечно, меня забыли, а я тот, кого спасла от ампутации сыворотка Богомольца...»

Сын уже рассказывал ему в больнице об этом случае, много писем приходило от воинов с благодарностью за сыворотку, и все же слова сына сегодня, в день возвращения в Киев, были приятны ему. «Так мало нужно человеку для счастья,— подумал Богомолец, сдерживая кашель.— Лишь бы знать, что ты не пустоцветом живешь на земле. Но разве это — мало?..»

Это было похоже на приятный, но маловероятный сон: праздничный стол, одни родные за столом (потому что обычно у Богомольцев обедал кто-нибудь из академии или института и обеды были похожи на научные конференции), внучка на коленях. Завтра заседание президиума, завтра начнутся хлопоты, а тем временем президенту казалось, что кинолента его жизни на время приостановилось и можно немного передохнуть. Отдых в работе должен идти впереди утомления, писал он в «Продлении жизни» и был прав; островки в бурной быстрине двадцатого века необходимы человеку, но двадцатый век так скуп на них!

— Дедушка, а если поезд обуть в резиновые колеса, он поедет и по обычной дороге?

— Наверное, поедет. Но что тогда будут делать автомашины? Они обидятся.

— Дедушка, а над вашим поездом тоже летали крылатые змеюки?

Катюшино воображение поразила сказка о крылатых змеях, которые дышат огнем; по дороге на восток, в сорок первом, она увидела над поездом крестатые самолеты, стрелявшие из пулеметов, и закричала: «Змеи! Змеи!..» С тех пор она считала фашистов змеями.

— Фашистов уже отогнали на запад, и им сейчас не до поездов. Но если бы и появились — с нами ехали на бронеплатформе зенитки. Поезд вез важные грузы для академии.

— Расскажи, дедушка, про академию.

— Катерина, дай дедушке поесть,— сурово сказала Зоя.

— Разве до обеда, когда нам не дают покоя дела академии...— Богомолец достал папиросы. Он любил полушутя, полусерьезно беседовать с внучкой о своей работе, находя веселое даже в самых серьезных академических заботах, но сегодня за столом были взрослые, и потому он рассказывал и для внучки, и для невестки и сына.

— Катюша, ты дядю Багдасарова помнишь?

— Какого дядю Багдасарова?

— В Москве к нам приходил. Все время бегает, бегает, минуты спокойно не посидит, совсем как ты.

— Того, который все время бегает, помню.

— Так вот, перед отъездом в Киев иду к Багдасарову в Институт переливания крови. В приемной, у двери директорского кабинета — стража: секретарша и официантка из институтской столовой. «Александр Александрович,— шепчут,— для вас откроем, но, ради бога, не выдавайте нас, ни единого слова Андрею Аркадьевичу, что дверь заперта. Телефон директора мы тоже отключили: не дадут ведь человеку поесть. Это — наша военная хитрость, потому что иначе приходится трижды разогревать обед для Андрея Аркадьевича.— И уже к другому посетителю: — Извините, товарищ, директора нет. Срочно вызвали в министерство, будет через полчаса...» Вхожу в кабинет — Багдасаров обедает. Вскакивает из-за стола: «Спасибо, Александр Александрович, что пожаловали, а то какая-то тюремная тишина вокруг — телефон молчит, дверь вот уже полчаса никто не открывал — будто на замке. У меня, поверите, даже желудочный сок, чувствую, не выделяется, потому что привык обедать на скорую руку: телефонная трубка в одной руке, ложка в другой и вокруг стола — толкучка». Я улыбаюсь, но молчу. Когда через десяток минут уже официантка убрала посуду, вошел заведующий одной из лабораторий: «Опыт провели, Андрей Аркадьевич».— «Почему же меня не позвали?» — «А вас не было, вы как раз в министерство...» — «Кто вам такое сказал, я не выходил из кабинета!» — «Секретарь сказала, и дверь была заперта...» Багдасаров вызывает секретаря: «Кто дверь запер?! Я что вам — ребенок, что ли?! Разгоню всех!..»

В двадцать восьмом году, после трагической смерти Богданова, экспериментировавшего на себе, Богомолец был назначен директором Центрального института гематологии и переливания крови. Его заместителем стал Андрей Багдасаров. Когда Богомолец переехал на Украину, институт возглавил Андрей Аркадьевич. Но все эти годы Богомолец не порывал связей с Институтом гематологии, был его научным консультантом. Неугомонный Багдасаров сумел привлечь Богомольца к работе в институте даже в Уфе. «Мы работаем как фабрика крови для Красной Армии; с этой целью народный комиссар дал мне полкорпуса Института курортологии,— писал Андрей Аркадьевич своему бывшему профессору в Уфу.— Нарком телеграфировал Вашему наркомздраву, а я — станции переливания крови для приглашения Вас на работу на этой станции...»

— Катюша, а ты кем будешь, когда вырастешь?

— Я вырасту и стану врачом. Буду лечить раненых.

— Пока ты вырастешь, раненых, наверное, не будет.

— Разве война не всегда будет идти?

(Война шла с тех пор, когда Катюша стала как следует помнить себя.)

— Война скоро закончится. Скоро ни одного фашиста не останется на нашей земле — советские солдаты выгонят их.

— Дедушка, а ты тоже солдат?

— Я тоже солдат,— очень серьезно ответил Богомолец и поставил внучку на пол: в дверь постучали, в гостиную входил секретарь партийного комитета Академии наук Борис Дмитриевич Грозин.

За окнами стемнело, Катюша поцеловала деда в щеку, сказала гостю «спокойной ночи» и ушла с матерью спать, а Богомолец и Грозин беседовали. Александр Александрович не был членом партии, но вот уже много лет он стоял у руля академического корабля плечом к плечу с партийной организацией. Когда-то, в начале тридцатых годов, коллектив украинских ученых еще разъедала ржавчина групповщины,— он вошел утром в здание академии и увидел в коридоре стенновку с безоглядно злым поклепом на заслуженного ученого. Президент вызвал дежурную и попросил перевесить газету в вахтерскую. Вскоре в кабинет Богомольца вбежала председатель профсоюзного комитета, женщина шумная и недалекая:

— Я буду жаловаться! Вы не имели права снимать газету — вы даже беспартийный!

Он даже вздрогнул тогда, но не дал волю гневу, спокойно и очень серьезно ответил:

— Я партийный больше, чем вы думаете...

Он чувствовал себя партийным, потому что отстаивал линию партии, потому что работал на важном посту, доверенном ему партией, потому что упорно искал научную истину. Незадолго до войны правительство наградило академика Богомольца орденом Ленина. После вручения награды он вышел из Кремля и возле Мавзолея встретил Д. З. Мануильского. Они долго ходили по Москве, беседовали. Богомолец расспрашивал старого большевика о Владимире Ильиче Ленине. «Меня, как ученого, поражает то, что во всех отраслях науки, куда проникала гениальная ленинская мысль, Ильич — революционер и реформатор,— сказал тогда Александр Александрович Мануильскому.— Это Ленин научил и меня не только познавать живое, но и в меру сил изменять его к лучшему». А через несколько дней началась война. Только благодаря партийной организации Академии наук президент смог держать на своих плечах в течение трех необыкновенно трудных лет огромную ношу. «Украинские ученые во главе со своим президентом принимают участие в обороне страны наравне с бойцами Красной Армии!» — сказал на январской сессии АН УССР президент Всесоюзной Академии наук академик В. Л. Комаров. Теперь им надле-

жало начать новый этап в развитии украинской советской науки, и то, что секретарь парткома академии пришел к нему именно сегодня, накануне завтрашних важных совещаний, было приятно президенту, и их беседа для обоих много значила.

— ...Я часто думаю, Александр Александрович, что приводит человека в науку. Конечно, желание творить, искать, открывать новое — этот стимул всегда был и будет. Жажда творчества оплодотворила много научных подвигов.— Серые глаза Грозина излучали доброжелательство.— Однако наше время родило и принципиально новый тип ученого. Желание творить остается, оно вечно, однако главное, что побуждает теперешнего ученого к деятельности, часто подвижнической и героической,— это его гражданская совесть, стремление сделать как можно больше для своего народа. В годы, подобные тем, которые мы теперь переживаем, чувство гражданственности особенно заостряется, и это закономерно, и это прекрасно. Это в самом деле новое, характерное лишь для социалистического общества явление: ученый-гражданин. Вот источник вашего непокоя в работе, который всем нам так помогает сегодня, Александр Александрович.

— Я не думаю, что непокой в работе — черта исключительно Богомольца. Я не люблю исключительности. Всех нас ждет большая работа, и каждый сотрудник Академии наук должен оглянуться на пройденный путь, заглянуть вперед, наметить план на будущее. В прошлые три года мы сделали много, Академия наук в самом деле помогла обороне, но мы в основном внедряли в практику наш старый опыт. Теперь же нужно искать новые пути, новые идеи, новые методы.

— Но война еще продолжается, Александр Александрович, и закончится она не сегодня и не завтра.

— Я понимаю, Борис Дмитриевич, вашу тревогу. Но мы не ослабим работу на оборону, лишь будем стараться вести ее по возможности на уровне передовой мировой науки. Иначе после войны нам придется догонять. А было бы лучше, если бы нас догоняли.

— Думаю, нам следует начать со смотра академии: кто мы, сколько нас. Партийный комитет этим займется.

— Смотр, к сожалению, не будет утешительным. Нужно пополнять наши кадры ведущими учеными. Я договорился с некоторыми товарищами в Москве об их переезде в Киев. А главное — надо выращивать молодых талантливых ученых в самой нашей академии. Из всех очередных задач эта, наверное, самая главная, Борис Дмитриевич, и завтра я буду говорить о ней на президиуме и надеюсь на поддержку партийного комитета. Ибо от решения этих задач зависит, какой предстанет наука сорокамиллионного украинского народа перед освобожденным от фашизма миром...

Проводив гостя, Богомолец закрылся в кабинете. Все было как когда-то, до июня сорок первого — ночь за окном, открытая в сад балконная дверь, хмельной запах молодых листьев и травы, тишина (он любил работать ночью, когда город засыпал),— и все было не так. Другая мебель, какая-то чужая, необжитая, свежеотциклеванный и до блеска натертый пол. Другое время, а главное — в чем-то другой и он, Богомолец. Слишком много пережито, чтобы думать, будто ничего не изменилось и он возвратился таким, каким отсюда уехал. Он включил приемник, повернул ручку настройки. Москва передавала Седьмую симфонию Шостаковича. Тревожная и одновременно наполненная высоким оптимистическим пафосом мелодия. Героическое время родило героическую музыку. Он впервые услышал этот гимн непоколебимому человеческому духу в домике лесника под Уфой. Три дня свирепствовала метель, обрывала электрические провода, на его столе мигала свеча, за окнами белел занесенный снегами лес, над лесом подслеповато сверкала сквозь сизую пелену тумана огромная луна. В печке потрескивали дрова. Радио передавало невеселые вести с фронтов. А он писал письмо: «Объективно здесь чудесно. В окно виден украшенный инеем, засыпанный снегом лес. Спокойно, тихо, легко дышится смолистым воздухом. Только страшно скучно. Мучаюсь от собственной беспомощности, от мыслей о том, что люди жизнь свою отдают, а я нежусь. Только и оправдывает, что порой не хватает сил дойти от печи до окна».

Он вышел на балкон. Ночь была мягкая, настоящая украинская летняя ночь. В кустах заливался соловей. Война казалась в эти минуты страшным сном. «Фашизму чужда истинная радость жизни,— вспомнил он слова академика М. Г. Холодного,— он глубоко пессимистичен, как пессимистична философия его ранних пророков — Ницше и Шопенгауэра». Они рубили деревья, они сжигали книги, они, отступая, разбивали даже зеркала, сын рассказывал, что все комнаты их дома были завалены осколками зеркал. Но наперекор их человеконенавистничеству живет этот сад, эта летняя ночь, и назло им взойдет утром солнце. «Пусть точит вал морской прилив, народ, умеющий бороться, всегда заделает прорыв. Вот мысль, которой весь я предан, итог всего, что ум скопил»[1]. Итог жизни великого Гёте. И, наверное, его, Богомольца.

Он сел за стол, заваленный бумагами; письма, черновики, оттиски статей, газеты и журналы, книги, которые наметил, но еще не успел прочесть. Все это надлежало ему разобрать, разложить по полочкам последние три года жизни. Трогательные треугольнички писем с фронта. Проблема долголе-

[1] Гёте. Фауст. Перевод Б. Пастернака.

тия и война. Когда люди под пулями думают о долголетии, в этом тоже проявляется непоколебимость их духа. Людям хочется верить, что наконец будут найдены лекарства от всех болезней. Но он, академик Богомолец, чьим именем все чаще называют цитотоксическую сыворотку, знает, что природа чудес не признает. Есть диво человеческих возможностей, и сыворотка лишь активизирует огромные силы организма. Незадолго до войны на прием к участковому врачу пришел столетний дед с просьбой вылечить его от старости — деду прочли книгу «Продление жизни». Над дедом, конечно, пошутили, но настанет время, когда и от старости будут лечить. Он, Богомолец, верит в это.

Было много писем от украинских ученых, которых военное лихолетье разбросало по стране. Отдельно лежали письма от Евгения Оскаровича Патона. Богомолец и Патон глубоко уважали друг друга, а в последние годы и подружились, хотя виделись очень редко. Евгений Оскарович, институт которого в начале войны был эвакуирован в Нижний Тагил, почти не появлялся в Уфе, и президент понимал его: электросварщикам не до заседаний. «Я очень рад, что результаты нашей многолетней работы удалось использовать в борьбе с ненавистным врагом,— писал Е. О. Патон президенту Академии наук в ноябре сорок второго года.— Очень сожалею, что мне не придется поехать в Уфу на декабрьскую сессию Академии наук. Около двух недель назад мы обязались в конце года пустить еще пять новых автоматов на нашем заводе и не менее двух автоматов на Уралмаше в Свердловске. В такой ответственный момент мне никак нельзя оставлять институт. Из научных сотрудников института тоже никому не придется быть на сессии, потому что их помощь нужна заводам...» И еще через год — уже после присвоения Евгению Оскаровичу Патону звания Героя Социалистического Труда: «Чтобы максимально помочь заводам, я требовал от сотрудников, чтобы они занимались лишь теми вопросами, которые смогут найти применение на заводе завтра... С самого начала я перевел институт на военное положение... Думаю, что после войны в период восстановления разрушенной промышленности юга, перед нашим институтом будут поставлены серьезные задачи... Прошу извинить мое отсутствие на заседаниях президиума в Уфе — я не могу покинуть институт». Вскоре патоновский коллектив возвратится в Киев, и нужно думать, как обеспечить ему условия для работы. Завтра на президиуме он будет говорить и об этом.

«Я хотел бы написать о вас книгу»,— обратился к президенту журналист. «А не смогли бы вы подождать, пока я умру? — невесело пошутил Богомолец и, чтобы журналист

не обиделся, добавил: — Я не думаю, что о живых людях нужно писать книги. Между героем и автором книги должно быть расстояние во времени. А интервью — что же, присылайте вопросы, я охотно отвечу».

Теперь должен отвечать. Он никогда не был пустословным и не терпел празднословия у других. Журналисты делали великое дело, он это понимал, но журналисты часто употребляли слишком громкие слова, они любили писать о президенте, который родился в тюрьме, это звучало эффектно, а для него высокая трагедия матери никогда не переставала быть болью, и он боялся слов. Но в интервью речь будет идти не о нем — о науке, а люди должны знать, что научные работники зря народный хлеб не едят. Склонившись над тетрадью, Богомолец быстро, сосредоточенно писал. Строчки слов безостановочно струились из-под пера, будто догоняли мысли. Он почти ничего не зачеркивал, не исправлял, почерк у него был четкий, строгий, каждая буква — как зернышко: «Ведущей проблемой, которой касаются почти все мои исследования, является проблема нормальной и патологической реактивности организма. Нарушение нормальной реактивности организма — основной фактор, определяющий возможность возникновения болезни, ее течение и конец... Нужно научиться управлять целебной силой организма, которая всегда была самым лучшим союзником больного и лечащего врача... Я думаю, что ответ на ваш вопрос о моей школе в патофизиологии следует отложить, потому что я считаю себя не таким еще старым, чтобы подводить окончательные итоги своей деятельности. Над чем я работаю сейчас? Нужно решить еще много вопросов, касающихся физиологической системы соединительной ткани, чрезвычайно важных и для клиники, и для выяснения некоторых сторон проблемы борьбы за нормальное долголетие человека... Вторая проблема, которая меня очень интересует, это проблема физиологических корреляций (взаимоотношений) между отдельными частями вегетативной нервной системы...»

«Он разрешал нам с Катюшей бывать в его кабинете. Я могла потихоньку читать Кате книгу, а он в это время работал. Я любила смотреть, как он работает. Лицо было очень сосредоточенным, писал ровно и красиво, как ручеек, у него был красивый почерк. И вдруг — я любила эти мгновения — рука его застывала, лицо резко изменялось: то по нему пробежала тень улыбки, то, наоборот, лицо становилось более суровым, и потом, будто взрыв, рука с пером взлетала и он начинал писать быстро-быстро...»

З. В. Богомолец

Дверь кабинета приоткрылась, Богомолец неохотно оторвался от бумаги. На пороге стоял сын. Давно уже у Богомольца стало привычкой советоваться с сыном по многим административным и научным вопросам, иногда эти беседы длились далеко за полночь. Но сегодня в глазах Олега была тревога:

— Отец, минут через десять прилетят фрицы — бомбить. Тебе лучше спуститься в бомбоубежище.

Это было так неожиданно — его научные планы, его мечты — и вдруг бомбы.

— Никакие фрицы теперь над Киевом летать не могут!

— Могут, отец. Фронт не так уж и далеко. Они прилетают каждую ночь в начале первого, бомбят Дарницу и мост через Днепр.

Богомолец встал из-за стола, нашел среди бумаг карту, развернул ее и с помощью сына прикрепил к стене. Это была карта железных дорог, ее раздобыл на одной из станций в сорок первом Олег, дорисовал реки, отметил города, и президент всю войну не расставался с нею. Сколько тревожных, тяжелых, и безмерно счастливых минут провел он над этой картой, отмечая сначала отступление, а потом неудержимое движение фронтов на запад! Этот яркий солнечный день, день его возвращения в освобожденный Киев, эта вышитая соловьиными трелями ночь, поток мыслей в тишине, которую он так любил, все убаюкивало его сегодня, приглушало тревогу. Приятно думать, что война заканчивается, что мы победили, но война еще идет, еще умирают люди, и много молодых жизней еще проглотит фашистский змей, пока не издохнет в своем логове, захлебнувшись человеческой кровью.

А небо над Киевом пронзительно гудело. Застучали зенитки, по окнам поплыли серые тени от немецких осветительных ракет. Олег выключил свет, и они вышли на балкон. Волна ночных бомбардировщиков скатывалась к Днепру. Зенитки били по фонарям, подвешенным на парашютах. Небо светилось холодно, мертво. Сад вытянулся и, казалось, приник к земле. «А может, и в самом деле рано болеть завтрашним днем? — подумал, вспоминая беседу с секретарем парткома, Богомолец и сам себе ответил: — Рано успокаиваться, подытоживать, расслабляться, но не рано думать о будущем и планировать его. Наше послевоенное будущее будет таким, каким мы его теперь задумаем и спланируем». Там, в Уфе, «под пальмой», он сказал членам президиума Академии наук: «Товарищи, сейчас война! А следовательно — все для нужд фронта!» Завтра он скажет несколько иначе: «Война продолжается, товарищи. Армии нужна наша помощь. Армии нужна совершенно новая могучая техника. Поэтому все ученые, которые могут работать в области раз-

работки новой техники, должны этим заняться. Расширять исследования по ядерной физике, искать горючее для ракет. Электроника...»

Гул немецких бомбардировщиков постепенно удалялся к западу, небо снова засветилось звездами, несмело запел в саду соловей. Богомолец включил свет, принялся за работу. Нужно торопиться, завтра — хлопотный день. «Благодаря блестящим победам нашей героической Красной Армии немецкие захватчики изгнаны с Украины,— писал он.— Эти победы дали возможность возвратиться в родной Киев и Украинской Академии наук, которая, эвакуированная на Урал в составе всех своих высококвалифицированных сотрудников, со всем своим богатым научным оборудованием, в годы Великой Отечественной войны все силы отдавала помощи нашей Красной Армии, нашей оборонной промышленности и подъему производительных сил народного хозяйства. Немецко-фашистские бандиты принесли в нашу столицу Киев огромные разрушения. Огромные разрушения понесли от них и институты Академии наук. Но уже и сейчас, одновременно с работой по приведению академических институтов в порядок, разворачивается в Украинской академии и большая исследовательская работа, направленная к главной цели: достижению скорейшей победы над ненавистным врагом...»

1881.
РОЖДЕНИЕ

Свет замелькал для нее яркими вспышками, будто в окнах встречного поезда, мелькнули — белое поле заснеженной улицы и синие пятна жандармов, которые торопливо бегут на месте; розовочубые шлейфы дыма над шулявскими домами с тусклыми окошками-глазками; белее снега иконно большое лицо Марии; темный клинышек бородки Алексея и высокий, с залысинами лоб над постаментом из жандармских шинелей — Преображенского, который вырывался, окружили полицейские; петля из людских глаз — холодновраждебных, жалостливых, любопытных и пустых: дворники, игравшие роль свидетелей, случайные прохожие и уличные гуляки, которые радовались бесплатному зрелищу; и, наконец, как финал остросюжетной комедии, как шутовской фейерверк в ее честь — острая, до боли в глазах, вспышка магния в руке полицейского фотографа и объектив аппарата, будто глазок в дверях камеры, которые потом с металлическим гулом хрястнули за ее спиной...

А между внезапным арестом на Шулявской улице, когда они с Марией и Алексеем вышли позавтракать, и вспышкой магния в Старокиевском полицейском управлении был обыск. По улице и через двор Софью вели под руки, хотя вокруг синел жандармский эскорт. В комнате она гордо и брезгливо передернула плечами, и сопровождающие отпустили ее, зато шинельный строй стал еще плотнее. Позвякивая шпорами, фатоватый жандармский капитан с самоуверенным лицом известного актера, который вынужден играть второстепенную роль в провинциальном театре, властно раздвинул строй жандармов и поставил возле арестантки стул.

— Прошу садиться, Софья Николаевна, мы хотя и непрошеные гости, но быстро отсюда не уйдем, тут для нас найдется чем развлечься...

И он сделал вид, что смеется: это был холодный, но торжествующий клекот, который, внезапно заявив о себе в комнате, точно так же внезапно и оборвался. Ни одна черточка не вздрогнула на лице Софьи, которое и самой ей сейчас казалось гипсовой маской,— оно было омертвевшим и чужим. Она придумала это для себя давно, еще в поезде, который вез ее прошлой осенью в Киев: на случай ареста не называть свою фамилию, пойти на виселицу или каторгу безымянной, навсегда отречься от себя и своей жизни. Внутренне она готовилась к аресту, как к смерти, естественно неминуемой, и когда этот миг настал — она умерла, по крайней мере была уверена в этом. Ее ненависть, ее отвращение ко всему, что олицетворяли синешинельники, были слишком велики, чтобы разыгрывать представление из следствия и суда. Она умерла в тот миг, когда посреди заснеженной Шулявки к ним кинулись из подворотен синие тени; ее нет — отстраненная и чужая, вошла она с гурьбой жандармов в комнату, где когда-то, возможно, и жила, а сейчас чувствовала себя в ней лишней. Равнодушно и немо наблюдала она, как из-под подушки с опаской достают револьвер, как раскрывают чемодан Павла с типографским шрифтом и прокламациями «Союза» об убийстве полковника Коробкова, которое планировалось еще Николаем Щедриным, но так и не было осуществлено, как летят на пол книги и журналы, а изъятые «Народная воля», «Вперед», «Исторические письма» Лаврова, «Кобзарь» Тараса Шевченко, рукописи, записная книжка с украинскими песнями ложатся на стол перед глазами капитана.

Она присутствовала на собственных похоронах, только и всего. Жандармы пополам разрезали матрац, рылись в подушках и узле с бельем, околоточный надзиратель бульварного участка перекликался с помощником пристава, который составлял опись вещей, некогда принадлежавших ей: «Салфеточка для стола, ваше превосходительство, и ситце-

вая малороссийская юбка, и юбка репсовая с кофточкой, ваше превосходительство, и четырнадцать книг...» Софья лишь присутствовала, как присутствует, по рассказам няньки, в комнате, где стоит гроб, душа покойника. Но и такой роскоши — иметь душу — она не могла сейчас себе позволить.

У нее не было и тела, потому что им распоряжались синешинельники,— помимо ее воли его снова взяли в тиски рук, посадили в сани, сани дернулись и, сопровождаемые всадниками, двинулись вверх, в Старый Киев.

Вокруг было, видимо, красиво: ночью выпал снег, и ослепительно-белая улица переливалась серебром, сквозь просвеченные косым послеполуденным солнцем стекла окон зеленели разукрашенные подрумяненной ватой и бумажными корабликами елочные ветки; с крутого склона Ботанической слетали на санках мальчишки и, увидев жандармский поезд, изо всех сил мчавшийся по бульвару, резко, напуганно тормозили, переворачиваясь в сугробы и, словно суслики в степи, высовывали из сугробов краснощекие, в снежной пыли личики. Эту красоту Софья лишь отмечала трезвым холодным умом, отщелкивала костяшками на счетах сознания, будто невозмутимый ревизор или статист в зале художественного музея, но не ощущала ее.

В Старокиевском полицейском участке Софья теми же отчужденными глазами смотрела на суету людишек вокруг себя. Когда к ней прикасались рукава шинелей или когда ей дышали в лицо, Софья брезгливо отворачивалась. Ни на минуту не появилось у нее ощущения, что она находится среди людей. Из своей внутренней дали она, казалось, смотрела на марионеток, на кукол в шинелях, мундирах и замызганных гражданских сюртучках сквозь опрокинутую подзорную трубу, которая, следовательно, не приближала, а наоборот — отдаляла. Мир представлялся графически четким, но уменьшенным, ничтожно пигмейным; мстительная радость этого мира, ненависть, низкопоклонство вовсе ее не касались — оловянные жандармчики, товарищи прокуроров и писаря и она, Софья, существовали на разных плоскостях, которые нигде не пересекались.

Ее фотографировали, записывали приметы и о чем-то спрашивали, но она никого не хотела слышать и потому не слышала. Вскоре в услужливо раскрытую невидимою рукою дверь (кулисы кукольного театра, вертепа, который под рождество показывали в Гадяче) озабоченно, деловито и празднично вбежал жандармский полковник; шинельно-мундирная толпа предупредительно расступилась перед ним, и полковник, простучав коваными сапогами по кафельному полу, остановился на расстоянии шага от Софьи. Его глаза поднимались на Софью, как поднимают ствол винтовки, чтобы выстрелить; наконец Софья увидела прямо перед собой

два выпученных глазных яблока, которые изо всех сил стремились подавить ее испепеляюще-гневным, тренированным взглядом.

И тогда впервые в минуты ареста гипсовая маска Софьиного лица ожила, и губы непроизвольно сложились в извилистую веточку иронически презрительной улыбки: таким жалким был этот претенциозный человечек в шинельной раковине, силившийся казаться значительным, даже грозным. Неожиданно обжегшись об эту улыбку, полковник оцепенел в недоумении. Софья наконец услышала настырный, усиленный присутствием начальства голос Судейкина:

— Софья Николаевна, будьте любезны наконец сообщить нам, имеете ли вы намерение давать показания?

Софья отрицательно покачала головой.

Она еще видела, как на переносице полковника выступили крошечные капельки пота, как веки опустились и наполовину прикрыли глаза; холеное лицо его зеленело, багровело и в конце концов заполнило своими розово-зелеными студенистыми щеками комнату — от пола до потолка, поглотив столы и кресла, наплывая на окна полотнищами ушей, а жирный подбородок, казалось, распластался на полу толстыми, будто свернутый ковер, складками, Софья даже брезгливо отступила...

— В склад! — прогремел громкий голос полковника Новицкого, и Софью Богомолец повели вниз, в подвальные камеры Старокиевского полицейского участка.

Поймала себя на том, Александр, что шепотом разговариваю с тобой. И эти наши с тобой беседы шепотом через тысячи верст приятны и радостны для меня. Как жаль, что не могу разрешить себе этой роскоши: она разнеживает и оживляет меня, будто весенние соки в спиленном дереве, безжалостно призрачные, ибо пробуждают желание жить, а я не имею права на этот мираж, я уже не живу, меня уже нет, прощай... только поскорее бы все это закончилось, потому что эта гнетущая, изнурительная тишина, который день подряд... молчу... прощай, прощай...

Мария пробыла в камере трое суток: ее освободили после допроса так же внезапно, как и арестовали. Жандармы при обыске нашли в чемодане Присецкой программу «Народной воли» для рабочих, рукописную программу социалистов-народников и шифрованные письма. На допросе Мария ничего не сказала по сути дела, лишь изображала на лице удивление, когда следователь говорил о вещественных доказательствах. Подписав протокол допроса, девушка положила

руки на колени и ждала, что сейчас офицер зазвонит в звонок и жандарм поведет ее по серым, мрачным коридорам к крутой лестнице в подземелье, где одиночки, где холод и сырость. Солнечное пятнышко лежало на тыльной стороне ее узкой, продолговатой ладони, и хотя кожа, настроенная на холод, почти не ощущала прикосновения солнечного луча, процеженного сквозь двойное, темно-серое от давнишней пыли оконное стекло, Мария смотрела на него сосредоточенно, с умиротворенной детской радостью. В цементированном погребе одиночки Марии иногда казалось, что одновременно с нею и весь живой мир закрыт в гигантской камере и он медленно, но безнадежно созревает и увядает. Собственно, так оно и было: во влажном холодном каменном мешке тюрьмы умирал наивно-юный мир с нежными листочками, созданный воображением Марии.

В кабинет следователя вошел еще один жандармский чин, и Мария узнала капитана Судейкина, который во время ареста командовал жандармами. При обыске и по дороге в Старокиевский полицейский участок он был с Марией любезен, даже предупредителен, но когда Присецкая отказалась дать показания, капитан, зло кусая краешек нижней губы, зловеще улыбнулся: «Считайте, мадемуазель Присецкая, что отныне вы на два шага ближе к виселице...» Теперь Судейкин держал в руке бумажечку, которая, казалось, излучала сияние; освещенное этим сиянием лицо капитана было нарочито радостным.

— Ну что, Мария Николаевна, отдохнули у нас? — ехидно, но не изменяясь в лице, спросил он.

Мария молчала. Давящий мрак неожиданного ареста — грубые, нахальные лапы жандарма, громкие, будто на плацу, команды, стена напуганных, любопытных и одновременно глубоко равнодушных лиц, копание чужих и ненавистных людей в твоих бумагах, первый допрос, реальное ощущение неволи — все это снова замаячило над нею, угнетая душу.

— Напрасно, напрасно так, Мария Николаевна,— разглагольствовал тем временем Судейкин, остановившись возле Марии и с показной легкостью пружиня на носках.— Революционеру на роду написано любить народ, а я есть кто — один из массы, из толпы, которую вы, герой, критически мыслящая личность, должны вести к светлому будущему. Нам с вами строить царство свободы и равенства, верно я говорю? — Он засмеялся и перестал корчить из себя шута: — Ну, ладно, милости прошу, вы свободны, госпожа Присецкая... Распишитесь вот здесь, формальности...— Он положил перед Марией бумагу и ткнул указательным пальцем с блестящим, хорошо ухоженным ногтем в место для подписи, явно наслаждаясь впечатлением, которое произвел на Ма-

рию.— Не удивляйтесь, с несовершеннолетними мы не воюем, к тому же, уверяют нас врачи, у вас больна грудь! Не меня, не меня, а своего папу, с которым имею честь быть знакомым, благодарите. Уважаемый старик, и очень жаль, что ему так не повезло с детьми. Кстати, не вздумайте с нами шутить — найдем на краю света...

С этими словами Судейкин погасил улыбку на лице и, чуточку разочарованный, вышел из кабинета. Эти минуты дались Марии с большим трудом — она еле нашла в себе силы, чтобы не выдать на лице ни удивления, ни радости. Только теперь, когда Судейкин ушел, она посмотрела, что должна подписать,— обязательство о невыезде из Киева.

— Почему вы до сих пор не освобождаете Софью? — Мария овладела собой, ее голос звучал (по крайней мере ей так хотелось) укоризненно и сурово.

— А мы, знаете ли, с нею не наговорились,— холодно ответил следователь.— Она еще менее разговорчива, чем вы. Это у вас родственное?

— Софья ни в чем не виновна!

— Ох, пани Присецкая, вы говорите — невиновна. Невиновных мы не арестовываем, вы это запомните. Я вот каждый день, ложась в постель и вставая утром, молюсь богу за своего государя и уверен, что меня никогда не арестуют. До более счастливой встречи, барышня...

Присецкая так и не успела понять, шутил следователь или говорил всерьез. Он позвонил, и через несколько минут, пройдя по узким, сильно прокуренным коридорам, Мария очутилась на улице, и дверь полицейского участка жадно щелкнула за ее спиной. Софийская площадь, расписанная полозьями саней, походила на загрунтованное белым полотно живописца, где контуры будущей картины только еще намечены; маковки собора горели под лучами солнца золотисто-розовым пламенем, и капельки этого пламени скапывали на пышные белые гирлянды снега в темных пальцах кленов, и снег празднично мерцал, напоминая о свечах на новогодних елках; по аллее парка легко и кокетливо шла быстрыми шагами миловидная барышня в меховой шапочке, ее почтительно сопровождал молоденький армейский офицер с лицом восторженным и счастливым. И только теперь Мария поняла, что она смотрит на окружающее иначе, чем четыре дня назад,— взглядом чужестранки, самоуглубленного скитальца, которого увиденное ни капельки не трогает, потому что в душе его живут миры более существенные, а го, что перед глазами,— лишь позолота на личине, не более чем представление. Еще какой-нибудь час назад она изнывала в своей одиночке, так рвалась на свободу к товарищам, к людям и вдруг, уже относительно свободная, поняла, что она сейчас мечтает лишь о четырех стенах, где бы она снова

была наедине с собой, где бы могла ни к кому не обращаться, ибо любые слова в эту минуту показались бы ей фальшивыми.

Мария ступала все медленнее и медленнее, и непроизвольные слезы собирались в уголках глаз, скатывались по осунувшимся щекам и холодили лицо. Она плакала по той наивной, по-детски доверчивой Марийке, Мизе, Мизинчику, которая была и которой уже никогда не будет. Молодая и неопытная, она думала, что люди изменяются на каждом крутом повороте их жизни. Значительно позже она поймет, что люди в чем-то похожи на деревья: холодный ветер осени в одну ночь срывает с них листья, и наутро дерево уже неузнаваемо; на самом же деле — это его суть: рисунок его ветвей остается неизменным и живым, чтобы при первом теплом дуновении снова зазеленеть и стать доподлинно похожим на себя, на прошлогодний.

Но был на свете человек, которого Мария, несмотря ни на что, хотела бы встретить,— Павел Иванов.

Время, наверное, плыло, как плывет вода в Днепре, монотонно и безостановочно, но камера Софьи была островком, которого это течение времени не касалось,— оно проходило мимо. Обед приносили из ближайшей кухмистерской, холодный и постный, но она не ощущала ни вкуса еды, ни голода. Громыхали замки и засовы на дверях, заключенную выводили в коридор, и Софья говорила себе: утро. Входил новый начальник караула проверить, не перегрызла ли арестантка решеток на узеньком, покрытом, как бельмом, корочкой льда окошке под потолком, а надзиратель вносил лампу, и Софья равнодушно отмечала про себя: вечер. В один из дней «голубь», полицейский, который за мелкую плату оказывал услуги революционерам, положил под миску с капустняком коротенькую записочку от Марии — оказывается, ее выпустили. На обороте Софья написала марганцевокислым калием, которым очищали воздух в камере, ответ — короткий и суховатый, написанный из чувства долга: товарищи на свободе должны знать о ее положении и не питать излишних иллюзий. Найденного при обыске у нее вполне достаточно, чтобы отправить на виселицу. Следовательно, ее нет, она себя похоронила, и пусть товарищи заботятся не о ней, а об общем деле. В соседнюю камеру вселили Елизавету Ковальскую, иногда они перестукивались, но Софья делала это неохотно — она сказала миру все, что могла, и пускай оставят ее в покое.

Как-то (она потеряла уже счет дням и только в протоколе допроса увидела: 13 января) Софью повели наверх, в канцелярию жандармского управления. Следователь выложил

на стол ее фотографии, удостоверения и деловито пообещал: если заключенная и сейчас не признается, что она жена врача Софья Николаевна Богомолец, он, следователь, вынужден будет вызвать в Киев ее отца, отставного подпоручика Николая Максимовича Присецкого. Софье не хотелось встречи с отцом, встречи, которая неминуемо закончится новыми упреками за ее непослушание и самоволие, она не хотела никаких встреч, пускай бы поскорее закончились эти формальности. Да, она — жена врача Софья Богомолец, она принадлежит к революционной партии народников, но не является членом «Южнорусского рабочего союза». От кого получила найденные в ее комнате вещественные доказательства, а также книги, рукописные брошюры и письма, она дать показания не желает. Ее муж в настоящее время путешествует в Туркестане, о брате давать показания она не хочет и вообще по существу дела не скажет больше ни единого слова и просит до суда ее не беспокоить.

На следующий день в Софьину камеру вошел капитан Судейкин. Софья отчужденно взглянула на непрошеного гостя, она стремилась избежать чьего бы то ни было общества, тем более — жандармского. Но Судейкина холодным взглядом не проймешь! Будто и не заметив, что на его приветствие не ответили, капитан поставил стул на середину камеры и расположился, закинув ногу на ногу,— в носке его начищенного сапога отражалось белесое пятно окна. Сцепленные пальцы рук гостя лежали на колене, и вся его согнутая в поясе фигура должна была свидетельствовать о сочувственно-печальной задумчивости. Софья помнила его со дня ареста возбужденным, петушистым наполеончиком в капитанских погонах, который суетился и кричал, будто и в самом деле командовал боем, а не арестом двух женщин и студента. И эта резкая перемена удивила Софью. Тем временем Судейкин поднял на женщину глаза — глаза старательно выражали страдание! И говорил капитан вполголоса, медленно, будто каждое свое слово добывал бог весть из каких душевных глубин.

— Я завидую вам, Софья Николаевна... Да, да, завидую, и это не поза, это серьезно. Вам не надо играть, вы вся как вы есть, хотите — любите, хотите — ненавидите. А так трудно — каждый день выдавать себя за другого, чем ты есть на самом деле. Поверьте мне — тяжело...

Он умолк, пристально всматриваясь в ее лицо, будто ожидал сочувствия. Но лицо Софьи оставалось таким же невозмутимым и холодным, как и раньше. Укутавшись в накинутое на плечи пальто, она сидела на краешке деревянных нар, вытертых до блеска поколениями невольных гостей Старокиевского участка, и смотрела на Судейкина как на давно описанную наукой букашку, у которой вместо шести

ножек обнаружили восемь, но этот случайный феномен ничего не изменял в ее классификации.

— Не подумайте, что я тоже вижу панацею от всех общественных бед в революции, тут мы с вами никогда не будем союзниками. Впрочем, возможно, я смог бы обратить вас в свою веру. Знаете, с Валерьяном Осинским мы много и остро спорили и в конечном счете нашли общий язык, только мальчишечье упрямство Валерьяна помешало ему избежать виселицы, все зависело только от него. Многое в нашем государстве мне, как и вам, не нравится, более того, я убежден, что мы, если не изменимся, докатимся до катастрофы. Но не революция, нет, эволюция — вот что еще в силе спасти нас, Софья Николаевна. Вы же, революционеры, своими, извините за откровенность, не всегда обдуманными поступками мешаете более дальновидным и солидным людям возводить фундамент будущей России — свободной и могучей. Вот из-за чего я борюсь против вас, Софья Николаевна. Но не обо мне идет сейчас речь — о вас. Говорю же все это лишь для того, чтобы вы видели во мне не врага, а до известной степени единомышленника, который тоже неравнодушен к судьбе нашего многострадального народа...

Софья закрыла глаза, и в камере стемнело. Голос Судейкина наплывал издалека мелкими волнами слов, которые сначала казались утешительно-искренними и добросердечными; но эта фальшивая оторочка, эта пена постепенно рассыпалась, оседала, и из-под личины слов отчетливо стало видно обличие злого, коварного зверя. Витиеватость стиля, слова-волны, слова-пена родили в ее сознании мимолетное воспоминание о море, об Одессе, где она была прошлой зимой, воспоминание-вспышку, которую она тотчас же погасила, потому что не разрешала себе воспоминаний с тех пор, как оказалась в тюрьме. Но через короткое время запульсировала невинная, осторожная мысль о том, что, быть может, стоило бы и прислушаться к голосу капитана (не доверяя, разумеется, ни единому слову),— вдруг удастся воспользоваться его иезуитским коварством для спасения, для последующего над ним триумфа...

— Так вот, доверьтесь мне, и давайте рассудим реально и трезво, Софья Николаевна.— Судейкин нервно похрустывал пальцами.— Все, что вы могли сделать для народа и революции, вы уже сделали. Вы из игры вышли, каждый революционер когда-нибудь да выходил из игры, и отныне она будет продолжаться,— если, конечно, она будет продолжаться,— без вас. Будем надеяться, и я в это верю, что история, как говорится, вас не забудет, и через сто лет благодарные потомки возвеличат вас как отечественную Луизу Мишель, а меня, жандармского капитана Судейкина, распнут на кресте презрения. Откуда им знать, что некоторые люди куда

значительнее тех жалких социальных ролей, которые им приходится играть на этом свете. Видите, я мыслю весьма широко и учитываю возможные варианты. Но людям, которые сейчас отираются при власти, извините, начхать на мнение грядущих поколений, и они без малейших колебаний отправят вас на виселицу, тем более что — считаю своим долгом напомнить вам об этом — Киев находится на военном положении, и действуют в Киеве законы военного времени, и судить вас будет военный суд...

Она словно бы разделилась на две части и рассматривала одну из них как кого-то постороннего. С горьким удивлением отметила, как средь мертвого пепелища (а еще некоторое время назад только такой себя и представляла) затеплился огонек надежды, как вспыхнули от него соломинки воспоминаний и планов на будущее, планов нереальных, фантастических (она прикидывается, она делает вид, что раскаивается, она играет, и Судейкин поддается на эту игру, потом она выезжает за границу и там организовывает...), как окутывает душу благодушная расслабленность, а в глазах, которые отреченно мертвели все эти дни, неожиданно рассветает... И Софья, удивляясь человеческой сложности, обрадовалась, что способна вот так взглянуть на себя со стороны и проанализировать собственные эмоции, собственные сокровеннейшие мысли, и еще обрадовалась она тому, что у нее есть силы распоряжаться в своей душе, как в собственном доме. Ступая уверенно, властно, она вошла в свой дом, подула на лампу — лампа погасла, и в душе снова стало темно и мертво, как она и хотела. Судейкин, видимо, заметил эти перемены, потому что голос его стал тверже:

— Не подумайте, Софья Николаевна, что я вас запугиваю, бога ради, да вы и не из тех людей, которых можно запугать. Но мы с вами интеллигенты, и я не верю, что интеллигентный человек позволит разрастись в себе безоглядному мужицкому фанатизму. Мы знаем больше, чем вам кажется, и мы не столь наивны, чтобы верить, будто найденные в вашей комнате типографские шрифты, револьверы, прокламации принадлежат болезненной, к тому же еще и беременной, женщине. Мы наверняка знаем, кто и когда эти вещи принес вам на сохранение, знаем даже, куда этот человек уехал было из Киева. Кстати, он уже в Киеве и частенько видится с вашей сестричкой, которая до потери сознания влюблена в него. Как видите, жизнь продолжается и будет продолжаться независимо от того, будете вы молчать на допросах или поможете нам наказать действительно виновных. Так вот, Софья Николаевна, речь идет в сущности о формальности — вы лишь подтвердите то, что нам давно известно...

— Вы предлагаете мне измену? — переспросила Софья.

— Боже мой, как мы любим громкие слова! — Лицо Судейкина стало грустным.— Кто посмеет бросить камень в женщину, которая ждет ребенка и добровольно выходит из игры, сделав для революции все, что могла? Ну, ладно, не хотите называть Иванова, обойдемся без фамилий. Для решения судом вашей участи важно, что найденные вещи не принадлежат вам, что они вам навязаны...

И тогда Софья почувствовала, как среди тьмы и омертвения, на которые она сознательно обрекла себя, загорелось, вспыхнуло пламя, и это пламя гогочет радостно, бешено, пронизывая всю ее бунтарским, живым огнем ненависти. Она ненавидела не Судейкина — его позерство, его игра, из которых так отчетливо явствовала ничтожность его самого, вызывали в Софье лишь брезгливое отвращение; в лице этого жалкого актера в жандармской форме она ненавидела весь насильственный аппарат царизма, душивший лучшие силы народа. И в этой жгучей ненависти она наконец ощутила самое себя, страстную и непримиримую Софью Богомолец, какой была до ареста, какой знали ее товарищи; сила внезапно прочувствованной ею непримиримости была столь велика, что она вынуждена была сдержать себя, чтобы не опуститься до словесного поединка с этим вымуштрованным цербером.

— Революционер, господин капитан, и в тюрьме не перестает быть революционером,— процедила Софья сквозь стиснутые зубы.— И напрасно вы думаете, что Софьи Богомолец уже нет. Возможно, она еще только начинается. А сейчас я попрошу вас выйти отсюда...

— Вы не так поняли меня, Софья Николаевна.— По бледному лицу Судейкина пошли красноватые пятна-лишаи.— Я думал, что мы, как интеллигентные люди, договоримся...

— С каких это пор среди жандармов объявились интеллигенты? — В словах Софьи было столько желчи и нескрываемой насмешки, что челюсти капитана задрожали и сверкнуло золото вставных зубов. В инстинктивном оскале было что-то хищное, волчье и естественное для жандармского капитана — это на миг открылась его подлинная сущность. Он вскочил, пытаясь все-таки поколебать уверенность в себе этой дерзкой женщины.

— Мне искренне жаль, но вы еще глубоко раскаетесь, госпожа Богомолец...

На его худощавом лице наконец появилась холодная, жестокая улыбка.

— Уйдите прочь, капитан...— повторила Софья тихо и сдержанно, но это было затишье перед бурей, и Судейкин почувствовал это. Пожав плечами в позолоте погон, Судейкин быстро вышел из камеры, и замки на железных дверях угрожающе щелкнули за ним.

...Наверное, ты прав, Александр: мне не хватает твоего спокойствия и рассудительности, я и люблю, и ненавижу, не оглядываясь. Но в этой стычке с капитаном я не могла иначе поступить. Твоя Софийка вдруг почувствовала, сколь живуч и силен в каждом человеке инстинкт самосохранения, почувствовала и испугалась. Этот инстинкт в человеческой душе напоминает ручеек от ключа, который сначала еле заметно струится из-под горы, а вскоре вырывает глубоченный овраг. Он коварный и хитроумный, этот инстинкт, он бурлит в нас в самых безвыходных ситуациях, он, боясь ума и совести, много не требует для себя: ему достаточно и крошечного невинного компромисса, ведь все мы люди и так далее.

Я вынуждена была обороняться от самой себя, обороняться решительно и безоговорочно, я должна была отрезать себе путь к компромиссам. Я продемонстрировала самой себе, что человек может быть сильнее животных инстинктов. И сейчас мои нервы, привыкшие к тюремной немоте, болезненно трепещут. Поэтому я и разговариваю с тобой. Вот-вот я успокоюсь и снова впаду в спячку, из которой меня буквально вырвал взрыв почти биологической ненависти к этому слизняку в жандармском мундире (боже, как он силился уверить меня, что под этим мундиром есть индивидуальность — будто она может быть там, где нет убеждений!).

Мне вдруг вспомнилось, как я ждала тебя осенью семьдесят шестого, в беседке, в Царском саду над Днепром. Под кручей по ярко-синему плесу неторопливо плыли белые парусники, а ты, высокий, стройный, в новой темной паре, торопливо ступал по засыпанной золотистыми кленовыми листьями аллее, и я почувствовала себя в тот миг безумно влюбленной гимназисточкой, хотя было это уже после нашей женитьбы. Но молчу, прощай...

Из полицейского участка Мария пошла на Шулявку, где их арестовали. Вещи и книги не все были на месте — растаяли при обыске не без помощи жандармов и свидетелей. Письма не поступали — их задерживали на почте. Хозяйка квартиры была на удивление любезной, сожалела, что у сестер неприятности, она убеждена — это ошибка, власти разберутся, Софья Николаевна — такая порядочная женщина. Однако оставить у себя явно не желала. А впрочем, Мария и не хотела бы жить в доме, который будил в памяти столько щемящих воспоминаний. Договорившись с хозяйкой, что вещи побудут у нее, пока Мария найдет новое помещение, она снова вышла на выкрахмаленную морозом улицу. Бесцветно-холодное солнце прижималось к горизонту, тени

были длинные, мрачноватые, от них на душе становилось еще тоскливее.

Мария пошла на Фундуклеевскую, надеясь, что ей сдадут комнату в доме, где она жила прошлой весной, когда готовилась к экзамену на фельдшерицу. Сокровенной же мыслью было — встретить в центре кого-нибудь из знакомых, увидеть наконец нормальное человеческое лицо и услышать живые вести из их мира.

Неподалеку от городского театра в толпе показалось знакомое лицо. Это была Софьина подруга гимназических лет, прогрессистка и либералка, у нее они намеревались было остановиться по приезде в Киев. Учительница словесности тоже увидела Марию, но моментально отвела глаза и прошмыгнула мимо: Присецкую уже не узнавали...

В конце концов она сняла комнату, конечно, не признавшись хозяйке, что только что вышла из полицейского участка. Однако ночью она почти не спала. Засветив лампу, принялась было читать: после пережитого литературные фразы казались искусственными, фальшивыми. Газеты были переполнены официальным пафосом по поводу либеральных реформ Лорис-Меликова.

На следующий день, когда Мария выбирала в магазине на Крещатике ночную сорочку, чтобы передать Софье, к ее руке на прилавке прикоснулись тонкие женские пальцы. Мария подняла глаза — рядом стояла, капризно и покровительственно поглядывая на хозяина лавочки, Зина Астафьева:

— Неужели у вас не найдется чего-нибудь получше, чем это тряпье? Я хотела бы приобрести французское белье...

— Минуточку, милая пани...

Он метнулся в кладовую.

— За тобой следят,— вполголоса, не поворачивая головы, торопилась Зина.— Они и выпустили тебя, чтобы приманить Павла. Сегодня, когда стемнеет, зажжешь лампу, а сама выскользнешь через черный ход и дворами придешь ко мне. Теперь уходи, а я еще поторгуюсь...

Мария медленно, чтоб до появления на улице одеть расцветшее внезапной радостью лицо в привычную для надзирателей грусть, направилась к выходу из магазина. У крыльца переступал с ноги на ногу, будто нанялся утаптывать снег, панок с цепкими, нахальноватыми глазами под меховой оторочкой низко надвинутой на лоб шапки. Марии вспомнилось: он еще вчера несколько раз попадался ей на глаза. Кажется, панок не очень и скрывал, что выполняет служебные обязанности, потому что быстро двигался за Присецкой в людской толчее. Мария обрадовалась, что вчера была инстинктивно осмотрительной, ни к кому не привела «хвоста».

В квартире Зины Астафьевой Мария прошлой зимой слушала реферат «Положение семьи с точки зрения социалистов», прочитанный Подревским. Вход был платным, в гостиную набилось с полсотни людей, деньги, понятно, были переданы революционным кружкам. Зина жила неподалеку от нынешней Марииной квартиры, и к ее дому можно было добраться через дворы и глухой переулок — Павел все предусмотрел. Астафьева ничего не сказала о его приезде, но Мария была уверена: Иванов сегодня будет ждать ее. Однако была еще только середина дня, и солнце, думалось, навсегда повисло в холодящем, как ярко-синий коленкор, небе.

Ярослава угнетало неприятное, тошнотворное ощущение: он стоит на ступеньке последнего вагона и земля, разлинованная шпалами и рельсами, стремительно убегает из-под его ног. После отъезда Павла из Киева дела Пиотровского и впрямь пошли не лучшим образом — он потерял единственную опору в революционной среде. Арест Софьи Богомолец, Марии Присецкой, Ивана Кашинцева и Алексея Преображенского в первую очередь сказался на нем: все знали, что Пиотровский терся вокруг них. Теперь Ярослав целыми днями не выходил из комнаты. По ночам ему снилось, будто его закопали до самых плеч в тяжелую влажную глину. Он барахтался, просыпался темной ночью в липком, холодном поту и до утра прислушивался к шорохам.

Иванов должен был вскоре возвратиться, и, разумеется, Ярослава опередят, нашепчут Павлу полные уши сплетен и наговоров, раздуют огонек подозрения, который всегда теплился в душе Павла. В игре, которую вел Ярослав, нужны были козыри, а козырей не было, были одни лишь слова. Во время бессонницы, охваченный страхом, Пиотровский лихорадочно фантазировал, рисуя щедрой кистью своей фантазии самые невероятные революционные подвиги, которые удивляли, поражали, приводили в восторг весь мир — от Судейкина до исполнительного комитета «Народной воли». Только тогда они убедятся, что Пиотровский... В чем они должны были убедиться, он не додумывал, но были минуты, когда он искренне забывал, что давно пляшет под дудку жандармского управления, и обида окутывала душу едким туманом. После ночи наступало серое зимнее утро, полуночные убаюкивающие мечты рассеивались, и предметная реальность безжалостно душила Ярослава Пиотровского.

Наконец Павел заглянул к нему. Был звонкий морозный вечер: когда запоздалый прохожий торопливо прошел по улице, почудилось, что кто-то невидимый обламывает под окнами комнаты Ярослава хрупкие сосульки. Напряженными были такие минуты, и пальцы Ярослава зябко стяги-

вали вокруг шеи шерстяной плед, который Ярослав любил,— в нем он выглядел элегантным, значительным.

А после этого в оконное стекло и в самом деле забарабанили: часто-часто, потом — еще три четких перестука. Так мог стучать к Ярославу только Иванов. Это был его знак. Когда Пиотровский открыл входную дверь с многочисленными засовами и внутренними замками, руки его дрожали от тревожной и неуверенной радости. Павел был без бороды, постриженный и похудевший, на бледном лице теперь еще отчетливее темнели глаза. Ярослав отвел взгляд, скользнув по аккуратному, без прежней показной небрежности костюму Иванова, и засыпал гостя горохом слов:

— Ты уже слыхал, надеюсь, о моем визите с прокламациями тайного общества к ходорковцам? Блестящая революционная акция, которой оба мы можем гордиться, вопреки наивным либералам и любителям лекций, мечтающим опусами по политической экономии перевернуть мир...

Неожиданно Ярослав заметил, что его слова как-то обтекают Иванова (так вода ручейка обтекает гранитный валун) и что Павел уже сидит за его, Ярослава, столом с рукой в боковом кармане пальто, а он, Пиотровский, стоит перед гостем на фоне белой, в паутине трещин стены, и тень от его, Ярослава, гибкой фигуры, переломленная пополам, перечеркнула затканное изморозью окно, за которым кто-то невидимый, теперь уже по-настоящему, обламывает сосульки с низкой крыши. Иванов, обрывая Ярослава, устало и горьковато промолвил:

— Хватит, Пан, лицедействовать. Ты уже сыграл все, на что был способен. Играл довольно удачно, однако на бис тебя никто не вызовет...

— О чем ты, Павел? — Ярослав пытался придать своему голосу оттенок легкости и наивности, но вместо этого выдохнул эти несколько слов с тяжелым натужным хрипом.

— Нужно читать революционные газеты, Пан. «Народная воля», где доказано, что ты предатель, неделю назад появилась в Киеве. Я думал, что в Киеве давно уже и духу твоего нет. Я долго был легковерным, теперь уж молчи и не хватай ртом воздух, как рыба на берегу. Я попросил питерских товарищей убедить меня — и убедился. Там, ты знаешь где, все хранится, как говорят, для грядущих поколений: и твои покаянные письма Лорис-Меликову, и порука капитана Судейкина, и копии твоих доносов. Так что, Пан, занавес опускается, и сейчас ты сыграешь свою финальную сцену...

Павел вынул из кармана руку — в его правой руке темнел револьвер.

И наступил миг, который в последнее время не раз мерещился Пиотровскому в жутких снах. В лицо заглянула прямо-таки осязаемая смерть, и он без памяти кричал, а голоса не было, не было крика, был только липкий пот и агония, судороги. Ноги его подкосились, тело обмякло и стало ватным, не осталось никаких желаний, кроме одного-единственного, остро-пронзительного, всевластного: жить, существовать любой ценой. Он упал на пол и, помогая себе одеревеневшими вмиг руками, попятился, пополз от темного ствола револьвера в угол комнаты.

И тут щелкнул взведенный рукою Павла курок — и в глазах у него все потемнело и исчезло...

В передней квартиры Астафьевых Мария долго не могла нащупать пуговиц пальто — руки ее дрожали. «Начисто продрогла, пока добежала,— извинительным голосом сказала она Зине, которая открывала ей.— Такой морозище...» Будто лунатик, пошла она на свет, сочившийся сквозь приоткрытую дверь гостиной, где сидела лишь Зинина мать, закутанная в плед, с вязанием на коленях. Кто-то поздоровался за Марию ее же голосом, но чужим и далеким, а из боковушки в гостиную ступил Иванов.

Все существо ее, как только шевельнулись портьеры на дверях комнаты, закричало: он! Он! Павел взял Мариины ладошки в свои широкие, жесткие ладони и долгое, сладкощемящее мгновение так держал, пристально и заботливо всматриваясь в лицо девушки. «Тебе было плохо?» — спрашивали его глаза из-под крутых надбровий, и Мария так же молча, одними глазами, однако отчетливо ответила: «Мне в самом деле было несладко, но я думала о тебе...» Это было наваждение — этот миг нежных чувств, наваждение, от которого они тотчас же отпрянули и за которое поторопились бескомпромиссно осудить себя. Павел отпустил ее ладони и нервно прошелся по гостиной, в которой, кроме них, уже никого не было: хозяева незаметно оставили их наедине. Полоска золотистого света от лампы упала на лицо Иванова, повернутое резко, будто Павла внезапно пробудили от глубокого и приятного забытья.

— Что Софья?

У Марии не было сил говорить: ей перехватило горло и не отпускало. Она достала из рукава записку сестры, которую та сумела передать через «голубя», и подала Павлу. Иванов быстрым тренированным взглядом пробежал ее и схватился за голову — его цепкие короткие пальцы, будто деревянный гребень, взъерошили волосы.

— Это я, я, только я во всем виноват! Боже, каким я был

наивным мальчиком, да что мальчиком — круглым дураком!

— Павел, не надо...— тихо, сочувственно промолвила Мария.

— Как — не надо?! Человек, собственно, из-за меня пойдет на каторгу! Человек, который старался работать, пока мы, будто подростки, играли с огнем!

— У Сони не только твои листовки и шрифт найден, хватает и без них. Они много знают, они даже мои письма к тебе читали.

— Знают и читали, потому что Пиотровский предатель!

Мария опустилась на диван, ноги не держали ее. Жизнь снова, в который уж раз, поворачивалась к ней той гнетущей, зловещей, стороной, которую она изо всех сил стремилась не замечать. Лицо ее по-детски нахмурилось, и она тихо заплакала. Иванов подошел к девушке:

— Тебе нужно уезжать отсюда. Там, где сражаются, тебе не место.

— Пока ты здесь, я никуда не уеду.

— У меня отсюда одна дорога: туда, где ныне Софья. Рано или поздно. Я никогда не прощу себе, если и ты из-за меня погибнешь.

— Они меня не станут трогать. Моя единственная вина — что я люблю тебя.

— Думаешь, этого так мало? — ласково и светло улыбнулся Иванов.

— Нет законов, которые запрещали бы любить.

— Ты их еще не знаешь, Марийка, ни законов, ни людей.

— Без тебя я не уеду из Киева. И я — под надзором, дала подписку.

— Тебя выпустили как приманку. Будь осторожна.

— Я хотела бы хоть иногда тебя видеть.

— Теперь, больше чем когда бы то ни было, я не принадлежу себе. В организации осталось мало людей. А мы хотим начать все сначала...

— Будь и ты осторожен, Павел.

Он улыбнулся.

— Я буду писать тебе через Зину.

От Астафьевых они вышли поодиночке.

«Дорогая моя!.. Я устроила своего рода заключение, то есть сижу дома, почти ни с кем не вижусь, пока не поправлюсь. Совсем тяжело видеть людей, особенно таких, которые при первой опасности согласны попрятаться в норки. Только свидание с общим нашим другом вполне облегчает душу. Теперь я уверена, что в нем не ошиблась и что он

даже лучше, чем я ожидала. Не будь его, было бы полнейшее разочарование в людях... Наш друг обвиняет в случившемся себя и меня, отчасти это, может быть, верно. Благодаря твоей записочке он узнал о твоем положении и чуть не рвал на себе волосы, когда понял, в чем дело...»

(Из письма Марии Присецкой Софье Богомолец, перехваченного жандармами)

Пиотровского пробудил к жизни мороз. Сознание возвращало его в мир земных ощущений: тугие обручи холода охватывали тело, где-то в затылке пульсировала острая, давящая боль. После этого словно бы рассвело, и он увидел вверху, почти над собою, керосиновую лампу с красным наперстком на фитиле, где едва-едва теплился огонек, с закопченным стеклом: догорал керосин. Ярослав с огромным трудом сумел повернуть голову на холодное дуновение, и в глаза его с невероятно громким, перепуганным звоном упал черный проем открытой настежь двери, возвратив вдруг весь ужас сегодняшней ночи, вплоть до того момента, когда кто-то невидимый выключил ему сознание.

Ярослав резко вскочил: кажется, он даже не ранен. Даже не ранен! Он, который каких-нибудь несколько часов назад умирал, прощался с жизнью, подкошенный неотвратимостью смерти от руки Павла. Все еще в полутьме, он шмыгнул к двери, хлопнул ею и закрыл на крюк. Затем дернул дверцу платяного шкафа — он был пуст, а нигде больше в его комнате человеку невозможно спрятаться. Он подул на тлеющий глаз лампы — лампа погасла, и белесые пятна заиндевевших окон проступили из темноты. Он отошел в угол комнаты, где было наиболее безопасно, и замахал руками, разгоняя по телу застывшую на холоде кровь. И вместе с кровью, которая запульсировала в висках и кольнула в омертвевшие было кончики пальцев, в груди у него вспыхнула радостная ярость: он, Ярослав Пиотровский, наперекор всему миру, наперекор судьбе — ж и в о й... Он живой! Он дышит, он ощущает, он может протянуть руку и во тьме прикоснуться к шершавой меловой стене или же к мягкому холоду оконной изморози...

И Пиотровский закашлял мелким, приглушенным смехом.

За ночь он не смежил глаз, а когда в окнах забелело и заскребли на улицах лопаты дворников, он пришел к мысли, что можно существовать и без каких бы то ни было иллюзий в отношении себя. Уже не скрываясь, он побрел утром в жандармское управление (перед этим долго отогревал дыхани-

ем на замерзших стеклах кружочки-полыньи и смотрел на улицу, не подстерегают ли его возле дома).

Капитан был холодно-вежливым, озабоченным и безразлично смотрел сквозь Пиотровского.

— Я человек чести и сдерживаю слово.— Судейкин движением ненавязчивым, будто случайным, поправил погон, и только теперь Ярослав заметил, что его жандармский покровитель уже не капитан, а подполковник.— Я не отдаю своих агентов под суд. Но оберегать вас от ваших бывших сообщников, господин Пиотровский, я тоже не имею ни времени, ни желания. Умнее всего будет, если вы исчезнете из Киева навсегда, по крайней мере на несколько лет. Долг перед престолом вы выполнили и тем самым искупили свои грехи. Вернитесь к жизни личной, общественного деятеля из вас, как видите, не вышло. Впрочем, вы еще имеете шанс обелиться перед революционной ватагой...

— Как? — вскрикнул Пан, раскрываясь в этой вспышке внезапной надежды больше, чем в скупом рассказе о ночном визите Павла Иванова.

— Покончите жизнь самоубийством, оставив записку, что вас безосновательно оклеветали. Это будет убедительно и эффектно.— По сухим губам жандармского подполковника пробежала улыбка.— Но это не для вас, Пиотровский, вы на такое не способны... Извините, у меня больше нет времени. Тут вам еще надлежит получить, прошу, вот здесь распишитесь, но это уже в последний раз, мы в средствах тоже ограничены и благотворительностью не занимаемся...

В тот же день Пиотровский навсегда покинул Киев. Под звенящий перестук колес о мостовую он меланхолически мечтал о сереньком провинциальном местечке, где он затеряется, растворится, исчезнет и для революционеров, и для жандармов. В предчувствии новой жизни, тихой и скромной, душа его снова звенела неопределенной призрачной надеждой, которая не покидает человека до последнего удара его сердца, и он улыбался этой надежде застенчиво, нищенски.

Но в следующий же миг проснулся страх, который отныне будет жить в его сознании полноправным хозяином, упал на этот еле тлеющий огонек и погасил его, оставив в душе Ярослава один лишь пепел, черный и мертвый.

Оно вскинулось где-то в глубинах тела Софьи (в этот миг она чувствовала себя такой же необозримо большой, как река или вулканическая гора), властно и самоуверенно напомнив о себе, на миг затихло, словно давало Софье время осознать то, что случилось, а после этого толкнуло ее под

ребро, раз, и еще раз, и еще, и вдруг Софье почудилось, что она слышит, как бьется его сердце — часто-часто, будто дитя долго догоняло ее, и наконец настигло, и обняло ее крошечными, теплыми ручонками, и приникло головкой к груди, и в тишине, которая наступила (за железной дверью камеры холодно позвякивали подковы часового), ее вдруг озарил щемяще-радостный, голубой свет: взлелеянные ею облака сердито заклубились где-то в уголках приневоленного к жизни сознания и растаяли. Потом о н о, ее дитя, затихло, а Софья еще долго лежала под тюремной, вытертой до ниток дерюгой, прислушиваясь к своему телу и удивляясь сладкой, тонкой надежде, которая неожиданно охватила ее.

Эти видения появлялись помимо ее воли. Они произвольно хозяйничали в ее воображении, пестрые и раздражающе-соблазнительные. Она снова представляла беседку над Днепром, в Царском саду, белые парусники на синем плесе реки и устланную золотистыми кленовыми листьями аллею. Но теперь они были в беседке втроем — Александр, она и их ребенок с голубыми, как небо, глазами, которые неторопливо бегут по речной глади вдогонку за неповоротливым пароходом, а тот шлепает лопастями огромного колеса, приближаясь к причалу...

Она представляла сад в Климове, до голубого купола неба наполненный зеленью и соловьиным щебетом; они втроем — Александр, Софья и о н о, их дитя,— поднимаются от пруда, искупавшиеся, с брызгами воды в волосах, и о н о бежит впереди них через фиолетовые кусты сирени наперерез розовокрылому мотыльку. Она представляла небольшой домик в каком-то уездном городке, где Александр имеет врачебную практику, открытая веранда, стол, застеленный белой скатертью, и серебрянолицый самовар, и белая чашка, и она с ребенком на коленях, и из сада на веранду поднимается Александр с букетиком лесных ромашек — она с детства любила ромашки...

Главное, она постепенно привыкала к этим сладко-банальным, как рождественские картинки, видениям. Через несколько дней после утра, когда ее дитя впервые напомнило о себе в тюрьме, она уже не убегала от них, наоборот, подсознательно радовалась им. Незаметно для себя Софья приноровилась вспоминать свое прошлое, сначала несмело, ярко-синими окнами меж облаков, в нашептываниях, обращенных к мужу (в раннем детстве, когда мать оставляла ее одну в детской, а сон не приходил, она нашептывала сама себе сказки и всякие нафантазированные истории), потом все более сознательно, пока эти воспоминания, эти ощущения не прорвали плотины ее вынужденной немоты и не ринулись в прорыв бурным, полным жизни потоком...

...Не помню, рассказывала ли я тебе, как впервые встретилась с морем. Мы с одним одесским рабочим долго шли вверх по белым, дурманно-сладким одесским улочкам (цвела акация), наконец он остановился: «Море, Софья Николаевна». Я замерла, широко раскрыв глаза, однако ничего не видела, кроме ярко-синего, распростертого на полмира неба (цвета́ и неба, и земли были неестественно яркими, лубочными, будто картинки сельских художников с хатками, вербами и русалками, а может, это мне отсюда, из темной камеры, они такими вспоминаются?). «Где море?» — спросила я с детской недоверчивостью, и одессит весело засмеялся: «Да перед вами же, Софья Николаевна!» Я скорее поняла, чем рассмотрела, что вот это, на полмира раскинувшееся небо и есть море, море, которое незаметно для глаза где-то там, за горизонтом, сливается с небосводом, впитывая в себя его колоритные южные краски. Тогда я, будто девчонка, путаясь в подоле длинного белого платья (ты любил, когда я одевалась в белое), побежала с крутого пригорка навстречу морю, которое с теплой нежностью ласкало белопенными гибкими щупальцами гальку. Мокрые камешки на берегу походили на только что вылущенные каштаны (я люблю, когда каштан, ударившись о мостовую, раскрывает полушария шубейки и являет миру влажно лоснящийся, будто губы ребенка, плод; есть ли в Париже каштаны и падают ли они, как в Киеве, внезапно и счастливо? Посмотри на них моим в о с т о р ж е н н ы м и н е ж н ы м взглядом...)

Я только теперь вот догадалась, почему все утро разговариваю с тобой о море. Оно, дитя наше, время от времени подплывает ко мне, словно морская волна к берегу, и бьется, и резвится, и ластится, и я кажусь себе в такие минуты морем, и простираюсь на весь белый свет, и верю в счастье. Я в самом деле сейчас на диво утешена. Родов не боюсь, вообще ничего я не боюсь. Когда о н о оживает, чувствуешь е г о таким желанным и родным, что ради него не страшно претерпеть любые муки. Боже, какое было бы счастье, если бы ты был рядом со мной, только не в камере, и я могла положить голову на твое плечо!

Вот сейчас снова наше дитя подплыло — подтверждает мои слова к тебе. Через тысячи километров оно приветствует своего папочку...

Прости, пришли за мной — в канцелярию, допрашивать.

Весть об арестах в Киеве, которую со станции привез в синем конверте извозчик, упала внезапно, немилосердно: у Софьи Семеновны отнялась левая рука, а голова Николая Максимовича до утра стала белой, будто полотно в щелочи.

Произошло то, чего они так боялись последние годы и во что в глубине души не верили, как до последнего мгновения человек не верит в близящуюся смерть, одновременно осознавая ее неотвратимость.

На рассвете Присецкий велел приготовить возок: он поедет в Киев, он докажет любезному жандармскому капитану, он спасет своих детей из каменного колодца, каким представлялась дряхлеющей памяти о военной гауптвахте тюрьма. Он не знал, как будет убеждать и о чем будет рассказывать, но мысль о заточенных дочерях (одна — беременная, другая — совсем юная) была такой пронзительно-болезненной, что все существо Николая Максимовича жаждало веры в невозможное, в чудо...

Жена в спальне молилась, и слова молитвы капали в тихих лампадных сумерках, будто слезы.

С этой призрачной верой в чудо и приехал Присецкий в Киев. Было туманное морозное утро с инеем, и деревья вдоль улиц укутывали сизо-белые тени-близнецы: будто неведомый художник, нарисовав ветки темным, расщедрился и обвел каждую линию белилами. Сквозь этот прозрачный серебристый узор внушительно и трезво желтели кирпичные прямоугольные коробки правительственных зданий. Наконец-то после обеда Николай Максимович добился приема у капитана Судейкина. Судейкин стоял у камина, протянув к огню белые, с короткими грубыми пальцами руки. Отблески пламени лепестково розовели на его выбритых до зеркального блеска щеках, и когда Судейкин повернул голову на шаркающие шаги Присецкого, лицо его было холодным и недобрым.

— Господин капитан...— Николай Максимович никогда еще так не унижался: в голосе его звучала лишь хрупкая надежда на милость и прощение.

— Подполковник, господин Присецкий, подполковник...— резко, насмешливо прервал его речь Судейкин. Только теперь Николай Максимович рассмотрел — в свете, лившемся сквозь высокие, бело-синие окна кабинета, на плечах Судейкина горели золотом новенькие погоны подполковника!

— Господин подполковник... дети мои...

И тут подполковника будто подменило: глаза сузились, кожа перекошенного лица напряглась, оттенив темно-сизые желваки, руки напружинились, будто перед прыжком, и уже вот-вот из-под тщательно обработанных ногтей должны были показаться когти. Подполковник вытянулся, запрокинул голову, двумя скрюченными пальцами правой руки стиснул себе кадык, изобразил на лице удушье и прохрипел в лицо Присецкому:

— Вот что ждет ваших детей!.. Веревка!..

Подал надежду Николаю Максимовичу на следующий день жандармский полковник Новицкий. Он терпеливо и сочувственно выслушал длинную исповедь Присецкого. Возможно, помогло и тактичное напоминание о влиятельной родне жены, хотя к шуринам-генералам Николай Максимович так и не зашел вчера, весь вечер просидев с Марией. В горе, обрушившемся на его семью, генералы вряд ли захотели бы помочь, Мария права: не в воровстве же обвиняются молодые Присецкие... Политическое дело, подобно пожару, оставляет знак на каждом, кто осмеливается его тушить.

После этой исповеди (уже много лет парализована жена, микробы либерального времени, заражающие не сложившиеся еще души, беременность старшей дочери и несовершеннолетие младшей) полковник Новицкий позвонил в колокольчик и попросил адъютанта принести дело Софьи Богомолец. С отвращением и ужасом смотрел Николай Максимович на серенькую картонную папку, на которой значилось имя, заклейменное политическим обвинением, имя его дочери, его Софийки, его Сони, Сонечки...

Подвижные и цепкие, привыкшие к канцелярской возне пальцы полковника грациозно раскрыли папку — в ней было подшито с десяток бумаг, но эти бумажонки деловито, без сантиментов застилали белым саваном Софийкину судьбу. И впервые, еще до подчеркнуто объективного ответа Новицкого, Николай Максимович не столько понял, сколько ощутил внутреннюю логичность и неотвратимость событий, которые накатывались на него на шестидесятом году жизни, как накатывалась однажды снежная лавина в Кавказских горах. Тогда его спасла скала, принявшая удар на себя, разрезав лавину надвое и спустив ее двумя грохочуще-стремительными рукавами в пропасть. Теперь скалы не было, он и только он должен был принять на себя удар. И с каждым словом жандармского полковника в голубом мундире не понимание поведения дочери — нет, от этого-то он нынче был дальше, чем когда бы то ни было,— но почтительно-удивленное сочувствие к ее высоким, по доброй воле накликанным на себя мукам, к ее крестной дороге на ее собственную голгофу с каждой минутой все острее и глубже охватывало его.

Новицкий и в самом деле оставлял впечатление вполне беспристрастного человека: вот факты, факты и только факты, строго документированные. При обыске у жены врача Софьи Богомолец найдены шрифт, отпечатанные листовки «Южнорусского рабочего союза», два револьвера, запрещенная литература. Изъятая переписка и некоторые внешние наблюдения подтверждают близкое знакомство арестован-

ной с политически неблагонадежными; арестованная наотрез отказалась давать какие-либо показания, держится независимо и дерзко, о ее раскаянии, к сожалению, ничто не свидетельствует. Он, Новицкий, понимает родительские чувства́, но такова невеселая реальность.

Что же касается Марии Присецкой, то ей ничто не угрожает, ибо все понимают, что имеют дело с наивной девчонкой, которая случайно попала в тенета революционеров, хотя, разумеется, ей нужно быть послушной, вести себя как следует, ибо теперь все или почти все будет зависеть от ее дальнейшего поведения. Пускай господин Присецкий передаст своей жене, Софье Семеновне, самые искренние сочувствия и заверения, что он, Новицкий, сделает все, чтобы возвратить ей детей. Но пускай и они, родители, со своей стороны оказывают всяческую помощь властям. Следствие вот-вот закончится, и он разрешит переписываться, чтобы доброе родительское слово отрезвило заблудшую душу Софьи. Быть может, Николаю Максимовичу стоило бы несколько позднее съездить за границу к сыну Ивану, чтобы уговорить его возвратиться на родину. Но это позднее. А пока необходима небольшая формальность, которую, очень жаль, но никак нельзя исключить,— допрос. Только пускай Николай Максимович вполне доверится жандармам, как доверяется врачу, который лечит тяжелую болезнь. Болезнь в самом деле тяжелая, но о б щ и м и у с и л и я м и они с ней справятся...

На этом аудиенция закончилась.

Ко всему был готов в своей жизни Присецкий, но что его на старости лет будут допрашивать в жандармском управлении — этого не ждал. И чувствовал себя перед этим допросом и на допросе муторно и горько. И хотя полковник Новицкий подсластил пилюлю, которую ему надлежало проглотить, этих искусственных, с бумажным привкусом сладостей хватило ненадолго. Не было уже и в помине оптимистически-приподнятой и прочной надежды, с которой он полгода назад вышел из кабинета Судейкина и спешил в Климово. В глубине души он уже не верил жандармам, хотя и очень хотел верить.

Он ждал приглашения в кабинет следователя, который должен был его допрашивать; пустые коридоры управления выстудили остатки разбуженных Новицким надежд. К тому же действовали предостережения Марии, хотя вчера он и сердился на дочь: доумничались до тюрьмы, так разрешите хоть теперь отцу поступать, как он считает необходимым. Это недоверие к неистовым защитникам «самодержавия, православия и народности» просвечивалось сквозь осторожные и суховато-сдержанные ответы Присецкого: «Семья моя состоит из жены моей Софьи Семеновны, доче-

рей Софьи, Марии и Ольги и сына Ивана. Первую из дочерей я признаю в предъявленной мне фотографии... она замужем за врачом Александром Михайловичем Богомольцем, где последний проживает, я не имею ни малейшего представления. Дочери моей Софье ныне 24—25 лет, родилась она в местечке Ковалевке, воспитывалась она сначала дома, потом в частном пансионе в городе Гадяче, откуда поступила в пятый класс Киевской гимназии, но с седьмого класса она вышла по собственному желанию. Потом вышла замуж в 1875 или 1876 году, тоже не помню, и, наконец, поступила на Петербургские медицинские курсы... После замужества она была у меня один или два раза, в последний раз в сентябре или октябре 1880 года. Переписывался я с нею редко... В предъявленной мне еще карточке я признаю дочь мою Марию, ей 19 или 20 лет... Она переписывалась со мной, и я адресовал ей корреспонденцию в Киев, но на какие адреса, вспомнить не могу. Я ждал ее к себе в этом месяце, но поскольку сестра Софья заболела, Мария и осталась в Киеве, чтобы пробыть некоторое время возле сестры. Относительно убеждений моих дочерей я ничего особенного показать не могу. Дети мои были со мной всегда ласковы, я ничего плохого за ними не замечал, они никогда не делились со мной своими политическими убеждениями, да иначе и быть не могло, ибо ничего, кроме самого строгого осуждения, они во мне бы не встретили...»

Проснувшись утром, я теперь не тороплюсь вставать со своего жесткого ложа, а жду, когда напомнит о себе мой маленький узник. Он не заставляет себя долго ждать; дитя наше, Сашенька, неусыпное и любознательное к жизни, во мне ему тесновато. Оно вскидывается, будто рыба в вентере, толкает меня под грудь, а я говорю ему: «Доброе утро!..» Так начинается наш тюремный день, так он и проходит, в молчаливых, однако ласковых и утешительных разговорах между нами тремя — мною, тобою и им, хотя оно еще и не пришло на этот свет, а ты от меня за тысячи километров.

Впрочем, я вовсе не знаю, где ты теперь; возможно, в соседней камере, за непроницаемой каменной стеной? Не приведи боже!.. Пока ты на воле, мне кажется, что и частица меня тоже где-то там, по ту сторону стен, где солнце, белый снег и где уже каплет со стрех, потому что постепенно наступает весна. Я слышу, чувствую приближение ее, хотя до календарной весны еще две недели. Предчувствую, когда меня выводят (я все-таки добилась этого) на полчаса в затиснутый меж четырех кирпично-серых стен дворик Старокиевского полицейского участка на прогулку. Но даже в этом колодце (собственно, та же камера, только над головой

ярко-синее, до боли в глазах, небо) гулять приятно, да еще и вдвоем с нашим дитятей!

Моя кожа, к удивлению, не грубеет в заключении, наоборот, я ощущаю, как до этого никогда не ощущала, прикосновение солнечного луча к щеке или по-зимнему колючее дуновение ветра, которого раньше я вовсе бы и не заметила. Из-за стены ко мне доносится перекличка людских голосов, стук копыт и визг полозьев на углу (от тишины в камере у меня порой болят уши, тишина до сих пор угнетает меня, она, как это ни странно, мешает сосредоточиться, отвлекает внимание, а может, это тоже результат моей беременности?). В драгоценные минуты (всего лишь тридцать и аж тридцать) таких прогулок нельзя не верить в счастье, да еще когда в тебе бьется два сердца, да еще когда с крыш капает, а снег под лучами солнца в затишке постепенно высыхает.

Неудержимо хочется вырваться из этой размеренной, как покачивание маятника в настенных часах, карусели под недоверчиво-пристальным надзором штыков, куда-то в иную жизнь, хорошую и наполненную любовью, в вихрь впечатлений и общество л ю д е й. Я хочу быть стройной, нарядной и привлекательной. Хочу нравиться тебе. Ты знаешь, я никогда не любила прихорашивания, наоборот, я всегда была за эмансипацию, даже в одежде, и отдавала предпочтение темным нарядам и коротким волосам. Но ныне я оделась бы в блекло-зеленое декольтированное платье, отделанное мехом, который так шел бы к моим длинным волосам.

Ты удивляешься, что в голове твоей жены, которая сейчас ходит вразвалочку, потому что полная, как бочоночек, выписывает круг за кругом по двору полицейского участка, столько глупых мыслей?! Но теперь я наверняка знаю, что это счастье — идти рядом с тобою по аллее нашего сада в Климове, сидеть с тобою в беседке над Днепром, стоять с тобою над кроваткой нашего будущего ребенка, даже мыть посуду на кухне — это тоже счастье. Ибо жить — это счастье; теперь, когда во мне две жизни и когда звери в синих мундирах делают все для того, чтобы эти две жизни как можно скорее перестали существовать, именно теперь, как никогда раньше, я это понимаю.

И все же, возвратившись в камеру, я пишу им свой первый, зафиксированный на бумаге протест:

«В жандармское управление.

Прошу прислать мне письма, по всей вероятности, полученные недавно в жандармском управлении на мое имя. Не хочу думать, чтобы задержка писем употреблялась как один из утонченных способов пытки.

С о ф ь я Б о г о м о л е ц

1881 г., 13 февраля»

Правда же, немного неожиданно для сентиментальной барышни, каковой я тебе сейчас кажусь. Ты упрекнешь меня: зачем дразнить псов! Согласна, в моем заявлении нет и намека на раскаяние или просьбу, слова колючие. Но ведь я должна, обязана (прежде всего для самой себя) гордо напомнить, что я точно такая же, какой была до ареста, что я не жду от них милости и не имею ни малейшего намерения уступать им.

Я так хочу жить, Александр, и быть счастливой, и растить нашего ребенка, так хочу! Но не ценой измены себе и нашим общим идеалам.

Наконец возвратили чемодан с одеждой, отобранный при обыске, и я могу переодеться.

Александр Богомолец узнал об аресте жены в конце января: письма с родины переправлялись через пропасть границы трудно и долго, да и парижский адрес его, кроме Софьи, знала лишь сестра Екатерина, жившая в Нежине. Но и без горькой вести на душе у него было тревожно. Софья сообщала, что приехала в Киев, ибо нуждается в квалифицированной врачебной помощи (трудно переносит беременность), но Богомолец наверняка знал, что все это пишется из расчета на цензорский глаз. Не с Софьиным темпераментом стоять в стороне, когда вокруг кипят революционные страсти, да еще в Киеве.

Он сам испытал на себе гипноз большого города: то ли многолюдье, то ли особые нервные ритмы жизни, то ли резкий, разительный контраст в быту социальных классов, но город срывает скорлупу инертного равнодушия, пробуждает совесть человека.

Марксисты правы, и он особенно остро ощутил это за границей; будущее человечества взвешивается на весах города, на одном плече этих весов аристократические Липки, а на другом — Подол, Шулявка, Лукьяновка с их рабочим людом.

Однако душа Александра никогда не тянулась в город. При всех вариантах их совместного с Софьей будущего (человек, пока живет, не может не думать о завтрашнем дне) в его представлении возникала одна и та же неизменная декорация: уютный домик с деревянной террасой в саду, цветы — от ранних фиалок до синеоких позднеосенних звездочек, устланная влажными желтовато-золотистыми листьями аллея в лесу, в которой так легко под меланхолический шелест листьев думается. Он не был революционером, бунтарем по характеру, его привлекали медицина и философия, он любил вслушиваться в трепетный пульс размышлений о смысле человеческого бытия на земле. Борцом он стал

из высокого долга перед народом, который страдал, борцом его сделало общество, где человек, чтобы чувствовать себя человеком, вынужден был бороться. Потому-то в декорации с домиком, с садом и врачебной практикой в уездном местечке было менее всего конформизма; наивная и беспретенциозная декорация была естественной для какой-то грани его существа, его характера. Когда Софья забеременела, затянутый илом ключ забурлил на дне его души с новой силой, и он еще в Климове надумал: возвратившись из-за границы, снова получить врачебную практику где-нибудь в уезде и разрешить наконец себе и Софье более спокойную и размеренную жизнь. Ему казалось, по крайней мере ему хотелось верить, что на смену весенним молодецким эмоциям для него наступает пора раздумий и обобщений.

Теперь, после известия об аресте Софьи, все кардинально менялось. И хотя в глубине сознания еще теплился огонек надежды (пускай сошлют ее, не могут ведь, не должны заточить надолго, оторвать от ребенка, он поедет следом, даже в Восточную Сибирь, получит разрешение работать врачом), трезвое и независимое рацио подсказывало, что в жизнь его ворвалось что-то новое, еще не понятое по-настоящему. На следующий день, посетив друзей по революционной эмиграции, Александр покинул Париж. Только теперь, кажется, он сполна осознал, как глубоко и беззаветно любит свою жену. Мысль о том, что его лобастый, с нежными и непримиримо-страстными, ч е с т н ы м и глазами под свободным разлетом бровей ребенок (Софийка, Софиечка, Солнышко, гимназисточка с белым бантом) в холодной тюремной клетке, беззащитный перед харей в жандармском мундире, пронизывала Богомольца реальной физической болью, от которой не спасал и томик Канта с его отвлеченной мудростью,— ведь мудрость дается нам лишь через опыт, но никогда не дается через разум или воображение.

О себе в эти дни он не думал.

Границу переходил темной ночью, в яростную пургу, с большим трудом нашел контрабандиста, который, позарившись на щедрую плату, согласился в такую непогоду провести нетерпеливца.

Александру казалось, что как только он появится в Киеве, все сразу образуется и Софья не будет страдать. В Киеве эти иллюзии быстро развеялись, в особенности после того, как он разыскал Марию. До сих пор Богомолец втайне надеялся, что Софью арестовали случайно, возможно просто за революционную литературу, в нынешние времена женщины с такой провинностью наказывались ссылкой либо надзором полиции. Мария рассказала все, что знала, и мир померк в глазах Александра.

Утром он пошел на Софийскую площадь, где, как рассказывала Мария, в подвалах Старокиевского полицейского участка ждала военного суда его жена. Так вот куда он спешил, нетерпеливо пересчитывая телеграфные столбы — знаки цивилизации! Он спешил к тускло-свинцовым окнам губернских присутственных мест и городской полиции.

Похоже было, что наступит хорошая погода: сизый иней таял на куполах Софийского собора, и золотые маковки пылали искристо-розовым пламенем. Над дверями полицейского участка висела иконка, перед нею болезненно мигала в мерцании солнечного зимнего утра лампада. Провалы подвальных окон, огражденных чугунными решетками, темнели разинутыми пастями вдоль засыпанного крупчатым снежком тротуара. Александр взглянул вниз, но не увидел ничего, кроме затянутых изморозью стекол и чугунных вериг решетки. Жандарм, топтавшийся на углу Большой Житомирской и Большой Владимирской, положил руку на эфес сабли и направился к Богомольцу. Разум Александра пытался охватить трагическую парадоксальность ситуации и бессильно отступал за ширму банальных истин: такова жизнь, так уж заведено в человеческом обществе. В самом деле его любовь, его жена, его Софийка была где-то здесь, может, на расстоянии какого-нибудь метра от него, возможно, стояла у одной из этих слепых подвальных бойниц или прижималась к холодной, толщиной в десять кирпичей стене, а он ничем не мог ей помочь, более того, он не мог даже взглянуть на нее нежно, их разделяли не стены, их разделяли похожие на штыки параграфы законов.

Он тяжело вздохнул и направился в сторону Михайловского собора: встречи с жандармом, который приближался, он вовсе не жаждал.

Полюбовавшись Киевом (возможно, через час он тоже окажется в подземельях полицейского участка или в Лукьяновском замке), Александр прошел в жандармское управление. Он назвался Судейкину и имел удовольствие видеть, как рыжеватое лицо подполковника покрылось розовыми пятнами. Но через миг подполковник овладел собой и криво улыбнулся:

— Рад вас видеть, господин Богомолец. А ваша жена пыталась убедить нас, что вы в Туркестане... Где изволили путешествовать?

— Я был за границей.

— Конечно, без разрешения. Надеюсь, вы знали, что вы подвергнуты надзору полиции?

— Без разрешения, господин подполковник. И я готов понести за это наказание. Но я прошу разрешить мне свидание с моей женой Софьей Богомолец, которая арестована вами без каких-либо оснований на это.

— Ну, об основаниях не будем говорить...— Левая половина лица подполковника, как и раньше, улыбалась, а правую сковал безнадежно жестокий холод.— Кто-кто, а вы, господин Богомолец, хорошо знаете, что мы имели не-ко-то-рые основания на арест вашей жены. Точно так же вы знаете, что, пока ведется следствие, процессуальный кодекс не разрешает свиданий. Но все мы люди, Александр Михайлович, даже жандармы, хотя вы не считаете нас за людей, и понимаем ваши чувства. Я думаю, мы разрешим вам свидание, нарушив установление, но при одном условии: если вы искренне и честно расскажете нам, с кем вы выехали за границу и чем вы там занимались. Еще бы нас очень интересовало, чем так привлекла вас и вашу жену позапрошлым летом Кубань...

— Надеюсь, господин подполковник не думает, что я буду пополнять своими показаниями досье на собственную жену? — вежливо, однако с открытой неприязнью спросил Богомолец.

— Почему бы и нет, если этого требуют интересы охраны престола? — Брови Судейкина выгнулись знаками вопроса, положенными ничком.

— К сожалению, я иначе воспитан, господин подполковник, и считаю аморальным давать показания не только против собственной жены, но и раскрывать имя того, с кем я переходил границу.

— В самом деле, к сожалению,— верхняя губа Судейкина опустилась на краешек нижней.— Пока что вы свободны, но выезд из Киева я вам запрещаю. Вскоре мы вас вызовем для серьезных и, надеюсь, более приязненных разговоров.

— Я сказал все, что мог.

— Желаю хорошо отдохнуть, господин Богомолец, после ваших долгих путешествий. Прекрасная погода, не правда ли?..

Однако Александр был уже у двери и не ответил. В коридоре, пропахшем бумагами, табаком, его чуть было не стошнило. Он задержал дыхание и уже на улице с удовольствием вдохнул полной грудью чистый, морозный воздух.

Он снял комнату в одном доме с Марией: патриотический поступок — экономия жандармских средств... Но жандармское управление об экономии не заботилось — за Присецкой и Богомольцем все равно ходили агенты. Поднадзорные выходили из дома редко, лишь пообедать, и морозы (февраль выпал очень холодным) безжалостно испытывали служебное рвение шпиков. В конце концов агенты отважились дрейфовать по улице в одиночку. Один из них тем

временем активно заботился о прибылях здешнего шинкаря.

В комнате Марии стояло фортепьяно, но девушка долго не решалась прикоснуться к его клавишам: Мария и Александр чувствовали себя как в трауре. Мария уже не бредила вслух о завтрашнем революционном дне, она вообще мало говорила. Но случались минуты, когда ее немота спадала, как спадает полотнище, которым художник занавесил свою новую работу, и Александр узнавал прежнюю свояченицу, по-детски доверчивую, в приподнятом настроении. Разбуженная женственность, улавливавшаяся в такие минуты в каждом ее движении, в каждом слове, делали давнишнюю юную вдохновенность еще более выразительной и прекрасной. Все ее дремлющие до поры силы и еще мало задетые жизнью чувства были собраны, будто солнечные лучи линзой, вокруг образа Павла Иванова. Она любила и жила ныне любовью. Это самовыражение через чистое и глубокое чувство любви к другому человеку объединяло Марию и Александра, делало их товарищами в жизненной дороге. Мария, подобно Александру, не имела никаких иллюзий относительно будущего для своего возлюбленного и догадывалась, какие испытания ждут ее любовь.

Однажды Александр попросил ее сыграть. В Климове он часто видел Марию за фортепьяно. Девушка неуверенно пробежала тонкими пальцами по клавишам, потом, соблазненная живым звучанием струн, опустилась на стульчик. И комнату, которая постепенно окутывалась зимними сумерками, наполнила музыка Шопена. Музыка была страстной, гневной, глубоко проникающей. В глазах Александра подозрительно защемило, в груди ощущалась пустота, будто сердце исчезло. Он подумал о Софье в каменном подземелье, в каменной могильной тишине, и это трепетное, щемящее наслаждение, которое дарила ему музыка, показалось запретным, аморальным в такое время, время общественных поминок, общественной панихиды, общественных похорон, ибо его и Софийкино поколение в самом деле хоронило свои упования и иллюзии. И Александр почувствовал, что он вовсе не такой беспечный и уравновешенный, как ему представлялось до сих пор, что он вот-вот заплачет,— Богомолец вскочил, вышел из комнаты, и музыка оборвалась на низком, как ночь за окнами, регистре.

После этого они уже не музицировали по вечерам. Ощущение не понятой ими провинности, которую невозможно было объяснить логическими категориями, тяготело над ними вместе с грустью и печалью, окрашивая в траурные тона их ожидания. Александр давал себе отчет, что это ощущение присуще каждому мыслящему человеку в переходную эпоху, человеку, который все видит и все понимает, но не

считает необходимым бросаться незащищенной грудью на штыки. Но от осознания этого не становилось легче, наоборот, он начинал ненавидеть свою способность к анализу и рассуждениям.

Иванов пришел неожиданно даже для Марии, которой он время от времени передавал через Астафьеву записки. В тот вечер они засиделись в Мариинои комнате. Александр рассказывал о заграннце. Для девушки, которую, возможно, ожидала Сибирь, рассказы Александра о Париже и Цюрихе должны были казаться сказочными фантазиями, она слушала жадно и пытливо. Она еще не знала, что такое ностальгия, когда после двух-трех месяцев жизни на чужбине перестаешь восторгаться конституциями и парламентами и начинаешь лихорадочно мечтать о времени, когда увидишь по ту сторону границы похожий на миниатюрную николаевскую казарму вокзальчик с его извечной жандармской бдительностью и кофейной бурдой в плохо вымытых чашках.

Иванов постучал в окно, выходившее в садик. Мария встрепенулась, щеки ее вспыхнули румянцем, и она метнулась к двери. Александр не видел Иванова с лета и удивился переменам, которые произошли с ним. Это уже не был несдержанный в движениях и словах студент, стремившийся выдавать себя за мастерового или эдакого петушистого парубка, для которого и Днепр по колено, а сосредоточенный, интеллигентный человек, рано возмужавший, на лице которого факельно пылали молодые, неугомонные глаза верующего. Павел верил в завтрашнюю революцию, во внезапное обновление человечества, в царство свободы и справедливости на земле. Александр со своим рационалистским скепсисом, со своим древом, которое, сгорая, превращается в пепел и дым,— формы его изменяются, но суть остается (по Канту), чувствовал сейчас себя намного старше гостя, хотя они были почти однолетками. Богомолец прозорливо подумал, что во времена, которые они сейчас переживают, только человек с такими верующими, как у Павла, глазами может чувствовать себя счастливым. И лишь теперь ему открылось, что там, в подземелье, его Софья, у которой такие же пылающие, верующие, глаза,— счастлива.

Павел даже не раздевался, он был похож на стрелу в полете, стрелу, очертание которой поймал в бромисто-серебряную западню фотограф-мастак; он стал в тень от шторы и до конца своего визита уже не сдвинулся с места, распятый на серой стене.

— Про Софью мне известно столько же, сколько и вам. Она отказывается давать показания. Вот и все. Я бы не беспокоил вас, но...— Он быстро взглянул на Александра, мино-

вав взглядом Марию, будто стыдился перед Богомольцем своих человеческих чувств,— но хотел сказать, что мы все ждем утешительных вестей из Петербурга, в ближайшие дни там решится. А если в Петербурге вспыхнет, у нас тоже загорится, у нас все готово, городские рабочие и крестьяне возьмутся за топоры, и я не знаю, буду ли иметь тогда время...

Александр знал, что в Петербурге это готовилось давно, знал также и то, что у Павла точная и надежная информация от киевских народовольцев. Следовательно, не сегодня-завтра в Петербурге снова прогремят взрывы, и если «божья благодать», о которой столько говорено в церквах, не спасет императора от динамитных снарядов, царский престол, этот символ деспотизма, играющий судьбами миллионов, пошатнется. Его сердце забилось, и Александр сказал хрипловатым голосом:

— Ты ведь знаешь, Павел, я не разделяю этих приятных иллюзий, но если будет нужно, я — с тобой...

Ты, Александр, конечно, уже знаешь эту новость: царь убит! Нас, подвальных узников полицейского участка, разбудило ночью позвякивание подков о кирпичный пол, перестук прикладов и нервно-злые выкрики военных команд. Коридор заполонили солдаты, возле двери каждой камеры стало по двое часовых. Мы с соседкой Елизаветой Ковальской сразу же обменялись догадками сквозь глухую стену (я ведь здесь прошла первые и важные уроки тюремной науки), однако она тоже ничего не знает. До утра я перебрала, кажется, все возможные варианты: внезапный побег когонибудь из заключенных, восстание в Петербурге или Киеве, новая эпидемия ненависти и страха в околопрестольной псарне — это у них как приступ хронической болезни, новое покушение на царя...

В амбразуре моего окошка начало светлеть, и надзиратель, как всегда, отпер дверь камеры, проверяя, не испарилась ли я из нее за ночь. Глаза его были красными, лицо поблекшим; пожилой полицейский, за мундиром которого время от времени еще шевелилось человеческое сердце, единственный из моих сторожей, которого я удостаивала иногда несколькими словами, и он это ценит. Приглядываясь в соответствии с тюремными правилами к решеткам на окнах, он прошептал:

— Беда, беда, их императорское величество убиты бомбами социалистов...

Так я узнала о причине ночного переполоха. Как жаль, что я не разделяю розовых иллюзий «Народной воли» и не

могу поверить, будто на нашем общественном горизонте взошла заря. Те, кто разделяет такие иллюзии, как они будут счастливы нынешним днем! У меня у самой сердце бешено выстукивает, кажется, его слышит вся тюрьма. Все же это день, когда справедливость торжествует. Самый сановный душитель нескольких революционных поколений наказан именем народа. Это не только месть, это отчаянно мужественный подвиг наших побратимов, крик, который хотя и не вызовет лавины народного гнева, но откликнется во многих и многих сердцах. Конечно, убивать царей — все равно что рубить голову сказочному змею: из раны вырастает две новых. Нужно сделать так, чтобы меч восставшего народа рассек тело змея на мелкие кусочки, сжег его и пепел развеял по ветру. Но сердце не слушает доказательств разума... А какой праздник, наверное, сейчас там, за этими, сегодня еще более ненавистными стенами!

К сожалению, события поспешили подтвердить правоту моего разума, а не эмоций. В коридоре раздался голос участкового пристава и застучали двери камер: заключенных выводили по одному в коридор, после этого шаги стихали на ступеньках, ведших в канцелярию. Через пяток минут хозяева одиночек возвращались обратно. Пришли и за мной. Сизощекий пристав нервно бегал по кабинету, у стола молча стоял попик с распятым на чахоточной груди крестом.

— Приказано привести к присяге новому государю Александру Третьему,— пристав не скрывал своей растерянности.

— Я отказываюсь присягать новому царю.— Голос мой был тих, потому что последние дни я болею, но пристав застыл посреди кабинета, будто эти слова пригвоздили его к паркету.

— И вы... вы... с вашим!..— криво улыбаясь, он ощупал глазами мою располневшую фигуру.

Я не считала нужным поддерживать эту дружественную беседу...

— Что здесь происходит, господа? — В кабинет вошел Судейкин.

— Господин подполковник,— вытянулся пристав,— по приказу из канцелярии генерал-губернатора привожу к присяге арестованных!

— Вы что, господин пристав, забыли, что лица женского пола не присягают государю? — Судейкин говорил холодно и презрительно, сегодня он особенно ненавидел меня и не скрывал своей ненависти.— Уведите заключенную!

— Слушаюсь!

Теперь я думаю, что эта инсценировка была устроена тем же жандармским управлением, чтобы получить еще одно доказательство моей нелояльности по отношению к власти.

Но поступить иначе я не могла, ты меня поймешь, Сашенька. Я не хочу играть с ними в аморальные игры. Я свободна, как никогда ранее, хотя и в клетке. Неволя, собственно,— это страх; если же страха в сердце нет, если человек не подыгрывает своим палачам, он свободен.

Как хорошо, что ты не знаешь: мы с нашим маленьким плоховато себя чувствуем. Но мы не плаксы, не нытики, и мы не будем просить врагов о милостыне. Кем бы он или она, наше дитя, ни было в жизни, оно будет иметь характер и закалку революционера. Я передам ему это в наследство. Возможно, это единственное, что я могу ему передать.

Не горюй.

Иванов дал знать о себе на следующий день после взрывов в Петербурге. Через Зину Астафьеву Александр был приглашен на собрание у Семинариста. Семинарист — Иона Кириллов — жил над Лыбедью, его квартира была конспиративной, о ней Александр знал еще с лета.

Когда стемнело, Богомолец опустил занавески на окнах, зажег лампу и выскользнул через черный ход. Улицы были пустынны. В этом году рано наступила весна, город утопал в снежном месиве, кони били копытами по слякотной мостовой, грязные веера брызг с шелестом рассеивались по тротуарам.

В кирпичном колодце двора, за узорчатыми чугунными воротами разговаривали:

— Вишь, и тиятры закрыли. Надолго теперь.

— Государь народу волю дал, а паны ему за это — по шее.

— Мало мы их, студентов, шерстили...

В голосах отчетливо слышалась смесь растерянности, темного страха и ненависти. Сгорбив плечи, чтобы казаться меньше ростом и не бросаться в глаза, Александр направился вдоль стен домов, где было темнее, пересек Ботанический сад. На крыльце затерянного в лыбедском предместье флигелька кашлянули — это относилось к Александру:

— Не найдется ли прикурить, господин хороший?..

Он назвал имя Павла Иванова.

— Входите, господин доктор.

Александр надеялся увидеть у Кириллова чуть ли не все киевское революционное товарищество. Ему представлялось собрание, которое только ждет мужественного призыва, чтобы шумным, освежающим потоком разлиться по киевским улицам. На самом деле в комнатке с окнами в сад, в сторону Лыбеди, сидело десятка два кружковцев Левинского и

братьев Бычковых. Выступал незнакомый Александру пожилой щуплый человечек в засаленном чиновничьем сюртуке. Он требовал, чтобы организация разослала своих агентов по окрестным губерниям с «золотыми грамотами» Александра II, который, мол, спасся от рук панов и сейчас призывает народ к бунту, обещая землю и волю. Это должен был быть еще один вариант дела Стефановича в Чигиринском уезде...

После поборника самозванства также возбужденно и нервно выступил Исаак Левинский. Павел Иванов без уверенности в голосе убеждал, что под его рукой сотня рабочих, за каждым из которых пойдет еще десяток, и что они готовы объявить войну деспотизму. Это был вечер самообмана. Постановили ждать вестей из столицы, но все знали: телеграф выстукивает лишь победные жандармские реляции о сотнях арестованных, и ни одна из телеграмм не сообщила о восстаниях или бунтах.

С гнетущим осадком в душах Богомолец и Иванов ступали по ночным улицам. Город спал. Жило лишь нечто похожее на слабую надежду, трепетную, будто огонек спички на весеннем ветру, когда Павел прикуривал в подворотне.

— Напрасно я вытащил тебя на это представление, Александр. Софья была права: кучка заговорщиков...

— А что же твоя тысячная армия?

— Какая там тысячная,— нахмурился Павел.— Десяток сознательных рабочих, но и они гнут свою линию, учат цыплята, как курице жить.

— Чему же они учат? — улыбнулся Богомолец.

— Да уж не топором размахивать...— Голос Павла стал мягче.— У нас снова есть свободная типография, Александр. С завтрашнего дня засучиваем рукава и — в печатники. Наверное, сейчас это и в самом деле самое разумное. Прощай, не знаю, увидимся ли...

Вскоре Александру принесли только что отпечатанную прокламацию «Союза», и он вспомнил слова Павла о цыплятах, которые пробуют учить курицу. После характерных для Иванова выпадов против конституции, которая сделает невозможным фабричный и заводской террор, после экономических требований, прокламация неожиданно заговорила другим голосом: «...На вас, члены нашего «Союза», лежит вся ответственность за будущее рабочих. Вы светочи темного люда, вы умственная и моральная сила народной массы. Умножайте ваши силы в деле организации. Действуйте словом, делом и примером! Сплачивайте вокруг себя верных и честных людей: ваше дело не погибнет. Добрые семена упадут на благодатную почву. Вокруг нашего знамени сом-

кнется дружная боевая сила, и не страшны будут нам ни цари-вешатели, ни свита их наемных слуг, ни тысячи штыков, на которых только и держатся царские троны. Штыки эти будут нашими штыками!.. И разорвутся тогда вековые цепи, в которых царский произвол держал разум, чувства и волю российского народа!..»

Но с Ивановым они встретились еще раз — у Зины Астафьевой. Жандармское управление разрешило Марии поехать в Климово, к родителям. Парализованная мать чувствовала себя плохо, да и отец после зимних потрясений почти не поднимался с постели. Похоже было на то, что в Киев девушке уже не разрешат возвратиться и ее ждет участь сестры Ольги. Зина устроила подруге небольшие проводы. Пришли ближайшие друзья и, конечно, Павел Иванов. На вечеринке почти не шла речь о политике, больше пели, чем говорили. Было печально от мыслей о товарищах, о родных, которые томились в нескольких кварталах отсюда по тюремным одиночкам, глубоко трогало обновленное ощущение единства с близкими по духу людьми. Прощаясь, Иванов и Мария взялись за руки и застыли на долгие минуты. Что ждало их впереди? Провожать Марию Иванов не решился: за ним снова охотились, жандармы лихорадочно разыскивали «свободную типографию», и на вокзал Присецкую сопровождал Александр. Девушка погрустнела, было больно смотреть на ее осунувшееся лицо. И когда поезд должен был трогаться, Богомолец улыбнулся:

— А замечаете — весна!

Было и в самом деле тепло, в эти первые дни апреля, даже душновато. С полей сквозь удушливый запах мазута и угольного дыма веяло разомлевшим живым черноземом.

— Приеду домой — буду сажать георгины,— кивнула Мария.— И скоро сирень зацветет. В прошлом году Павел подарил мне букет сирени, мы искали счастьица, по пять лепестков в соцветии, и нашли сразу семь штук. Смешно, правда?

•

Мне, Александр, прошлой ночью приснился очень светлый, солнечный сон. Приснилось мне, будто выглядываю я из настежь раскрытого окна нашего дома в Климове. Под окном из влажной, разрыхленной граблями земли выстреливают ярко-зеленые язычки петушков и пурпурно горят ростки пионов. Весна в нашем саду нежная и пушистая, как пушинки на лозняке, и я знаю, что я уже родила дитя, которое скоро принесут мне кормить, потому я так счастливо выглядываю тебя, и ты появляешься из-за деревьев со стороны пруда, идешь по аллее в белой сорочке и издалека

смеешься мне и протягиваешь букетик синих, как небо, подснежников. А вокруг так солнечно!

У меня даже в глазах защемило, когда я проснулась в полночь в своем каменном холодном гробу, но я быстро взяла себя в руки и даже сумела уснуть. И снова мне снилось что-то светлое и хорошее. Снилось, будто я, стройная, высокая, красивая, с длинными волосами, в светлом платье, хожу по лугам среди пышных, по колено ромашек, и мне так легко... Сны в тюрьме для арестантки, которую ожидает виселица,— еще одна, уже по злой прихоти природы, пытка. Болезненны не сны — болезненно пробуждение от этих солнечных и счастливых видений. Ты привыкаешь к клетке, ты соглашаешься со своей безнадежностью, со своим терновым венцом, и вдруг дверь клетки раскрывается, ты свободна, ты летишь, ты снова чувствуешь, снова любишь — и вдруг все опадает, как листья с охваченного огнем дерева, и только черный костяк клетки и угарный керосиновый дух камеры... Невыразимо радостно мне видеть тебя хотя бы в снах, но я учусь сопротивляться этим иллюзиям; просыпаюсь, как только меня подхватит и понесет голубое половодье ночных грез.

А сны в тюрьме, Александр, снятся мне цветные, это странно, правда? Наверное, протест сознания против тюремной бесцветности. Дитя наше бунтует, видимо, чувствует весну, и ему тоже хочется освобождения — от моего тела. Никак не привыкну к мысли, что оно уже есть, а я его еще не видела...

Сны оказались вещими. Утром мне приказали взять одежду и повели в канцелярию. Тут по всем правилам бюрократии, как вещь высоко ценимую, передали меня жандармам тюремного ведомства. После соответствующих подписей и печатей я стала обитательницей Лукьяновского замка.

Во дворе меня уже ожидала печально известная тюремная карета. Ты, наверное, не раз видел такие на улицах Киева. Она тоже видела многих наших товарищей, видела в последние их минуты, везя к месту казни. Черный гроб на колесах.

Я забыла тебе нашептать, по правде говоря, не хотела огорчать; накануне меня осматривал врач, и у него хватило мужества и врачебной этики признать состояние моего здоровья не совсем удовлетворительным... Следовательно, меня переводят не просто в тюрьму, а в тюремную больницу. Какой парадокс эпохи — лечить человека, чтобы убить его потом, медленно или же сразу! Но не буду о печальном.

Странное ощущение, когда переступаешь черту между холодной подвальной затхлостью и ярким солнечным половодьем. Так входишь в бурлящую морскую пену навстречу

новой волне, которая катит с моря, сверкая золотым пенистым гребнем. В тюрьме учишься ценить каждое мгновенье. Пять шагов от порога каземата до кареты, пять шагов по солнцу, пять шагов в дуновении весеннего ветра, пять шагов живых запахов, воробьиного чириканья, пять шагов под голубым небом, а не под низким каменным потолком камеры...

На синюю, цвета жандармской шинели стену сел красный, с темными полумесяцами на крылышках мотылек, я улыбнулась ему...

Но как бы мы ни растягивали мгновенья, они проходят, и я уже сидела в тюремной карете, меж двух жандармов, от которых разило потом, кожей и ружейным маслом. Оконца кареты были занавешены черным и не пропускали света. Но когда мы тронулись, подпрыгивая на выбоинах мостовой, занавески заколебались, и всю дорогу через город мне удавалось урывками, зелено-солнечными вспышками видеть живой мир. Сверкнули и исчезли купола Софийского собора, мимо самого окошка проплыла ветка клена с салатными капельками почек, дети в скверике играли в мяч, я уловила миг, когда мальчик лет десяти, размахнувшись, швырнул мяч на зеленую бархатную мураву — и занавеска ревниво оборвала это видение, только донесся всплеск счастливого детского визга сквозь цокот копыт и дребезжание рессор, и снова — розовое личико девочки над забором в сиреневых кустах, раскрытое в сад окно и женщина с младенцем на завалинке, залитой солнцем... Я с болью подумала, что мое дитя так мало хорошего видит моими глазами. Я вспомнила старое суеверие, что беременная женщина должна смотреть только на красивых людей, чтобы и ее ребенок был красивым. Мое дитя чуть ли не с первых дней в моем лоне видит лишь безлико-холодные хари жандармов. Единственное, что я могу сейчас для своего дитяти сделать,— это как можно больше думать о тебе и представлять твое лицо, твою улыбку и слушать твой голос, я хочу, чтобы оно было похожим на тебя. И то, что я краешком глаза сквозь пошатывание занавесок увидела весенний Киев, это только к лучшему, пускай дитя мое знает, что мир — это не серые, покрытые известью стены, затянутые плесенью, а что-то непостижимо прекрасное, и его можно любить, а не только ненавидеть. Я люблю его, живой мир, сейчас больше, чем когда бы то ни было, и я тоже хотела бы сидеть на солнечной завалинке с ребенком на руках или идти по весеннему Киеву под призывный пересвист скворцов в парках и сонное гудение пчел в липах, я бы так хотела жить, Сашенька,— лишь бы только не нужно было платить за эту жизнь своей совестью...

В тюрьме меня ждал следователь. Он любезно продемон-

стрировал папку с моим делом. Они ничего не имеют, кроме актов обысков и неопределенных показаний нескольких переодетых в гражданское унтеров, но он прав: этого достаточно, чтобы, учитывая первомартовские события, послать меня на виселицу. Я стала мягче и не засмеялась ему в лицо. Я только сказала:

— Я знаю об этом.

— И не желаете ничего добавить к своим показаниям? — переспросил он.

— Нет, не желаю.

— А весна?— Он заметил в моих глазах отблески солнечного дня и подумал, что после четырех месяцев тюрьмы я люблю жизнь больше, чем собственную душу.

— А весна будет, господин капитан. В Лукьяновский замок весну не упрячете...— Я торжествовала.

Он молча позвонил и приказал отвести меня в тюремную больницу.

— Боже мой, что они с тобой сделали! — простонала Софья Семеновна, как только Мария переступила порог родительского дома.

Марию не удивил стон матери. Уезжала она из Климова наивной и светлой девчушкой, теленком, которого впервые выпустили из кошары и для которого жизнь — это распростершиеся от горизонта до горизонта луга, где по колени ароматная зеленая трава. Возвратилась же взрослым человеком, который знал цену страданиям и жизни. Она нашла свою прошлогоднюю фотографию: особенно изменились ее глаза. В прошлом году они еще пылали, будто два фонарика, щедро озаряя светом каждого, кто к ним приближался. Ныне между ними и остальным светом будто опустили темную занавеску. Фонарики едва мерцали в глубине глаз, недоверчивые, упрямые, сосредоточенные в себе. И при встрече она уже не бросилась к матери, как это было бы раньше, а подошла тихой утомленной походкой, прижалась щекой к ее холодной руке и спросила сочувственным взглядом: «Вам тяжело, мама? Мне тоже...»

Родители в самом деле любили ее, в самом деле истосковались по ней и в самом деле были больны. Поэтому первые дни жизни Марии дома были отмечены лаской и вниманием. Она нередко вывозила мать на террасу в коляске, облитая солнечным кипятком старая вишня смолисто пахла, сад на глазах пробуждался к жизни, на сирени распускались почки, и крошечные липкие листики раскрывали навстречу солнцу зеленые ладошки. Между кустами по прошлогодней листве деловито похаживали скворцы, и с утра до вечера над селом, над прудом радостно-тревожно курлыкали журавли-

ные ключи. В такие дни Марии начинало казаться, что киевская жизнь с ее арестами, тюрьмами, ненавистью, страстями — лишь плод болезненного воображения, а может, отвратительный сон, от которого она наконец пробудилась. Захмелевшая от весны и домашнего уюта, она жила в каком-то приятном дурмане, пока не увидела однажды утром на материном ночном столике письмо, адресованное в Киев, полковнику Новицкому Василию Демьяновичу. Конверт еще не был заклеен, но ей, разумеется, и в голову не приходило — подобно цензору проверять письма. Но когда мать появилась на террасе в неизменной коляске, она спросила:

— Мама, вы писали Новицкому?

Софья Семеновна с неколебимым ощущением правоты и даже с гордостью ответила:

— В беседе с Николаем Максимовичем полковник Новицкий разрешил мне обращаться лично к нему...

— Что ж вы ему пишете?

— Ну, на этот раз я прошу о Софье. Я рассказала о случае, приключившемся со мной четверть века назад, когда я была беременна Софьей. Тогда у меня было неладно с нервами, меня лечил полтавский врач, он еще жив и может подтвердить. Я думаю, что Софья беременна, потому и взяла на себя вину...

— Жандармам все равно, беременна Софья или нет. Но какое унижение, мама!

Мать подняла на Марию глаза, в которых горела глубокая боль:

— Ты, Мизя, ничего не понимаешь. Моя дочь в тюрьме...

Она заплакала и долго не могла успокоиться.

Вечером Марию пригласил в кабинет отец.

— С матерью ты будь нежнее, обходительнее, дочь. Я тоже знаю, тут никакие мольбы не помогут. Но пусть пишет прошения, пусть молится, у нее только и осталось, что надеяться. Кто знает, вдруг бог и смилостивится...

— Но ведь это унизительно для Софьи!

— Вы были слишком горды у меня, и я долго закрывал на это глаза. Теперь должен быть жандармом у собственной дочери, по приказу Новицкого перлюстрировать твои письма. Вот до чего довела ваша гордость!

Присецкий открыл ящик и положил на край стола распечатанное письмо.

— На вот, читай. Но не смей отвечать. Он арестован, а ты знаешь, что ожидает таких...

— Что бы ни ожидало, я буду с ним,— тихо сказала Мария и вышла из комнаты.

Итак, Павел арестован, разгромлена типография «Рабочего союза», Зина писала об этом в письме, которое распеча-

тал отец. Что же, Павла приговорят в каторжным работам, и она поедет за ним в Сибирь. Павел сделал все, что мог, для революционного дела и теперь принадлежит лишь ей, Марии. Ничто не мешает им соединить судьбы. Она поедет в Киев и попросит у генерал-губернатора разрешения выйти замуж за государственного преступника Иванова.

Дорога не замедлила расстелиться перед нею, правда, несколько иная, чем та, к которой Мария готовилась.

Средь бела дня в имение прилетели уездные жандармы с приказом Новицкого арестовать Марию Николаевну Присецкую. Пока Мария собиралась, офицер любовался из беседки климовскими пейзажами, а жандармы торчали у дверей ее комнаты. Везли ее из Климова как значительную государственную преступницу. В закрытой коляске с эскортом конных жандармов. Крестьяне в огородах крестились и долго смотрели вслед.

Арест был таким внезапным и каким-то беспочвенным, что у Марии не было ни времени, ни сил задуматься над переменой в своей жизни. С любопытством посматривала она на людей, которые сидели с нею в одном вагоне, будто в калейдоскопе, мельтешили перед нею лица: сочувственные, равнодушные, полные неприязни. Такая молоденькая, а уже с жандармами путешествует, социалистка, теперь прошли их времена — вылавливают. Впервые Мария ехала в Киев без счастливого возбуждения в душе, ехала не учиться, не к Павлу, ехала в тюрьму. В Старокиевском полицейском участке жандармы, сдав Марию Присецкую, взамен получили квитанцию за номером 703, с подписью полковника Новицкого и оттиском казенной печати: «Доставленная политическая арестантка, дочь отставного подпоручика Мария Присецкая принята...» Унтер-офицерам из штата Полтавского жандармского управления Павлу Галочке и Никифору Желибе в соответствии с законом были выданы прогонные и кормовые...

Они торопятся, Александр, и, если бы могли, заставили бы меня родить раньше, им не терпится поскорее устроить процесс, получить высшие чины, награды и освободить камеры Лукьяновского замка для нового пополнения. Мне передали, что они снова арестовали нашу Марийку, что же, у них собственная логика — больше жертв, громче процесс, громче слава вешателей, а следовательно, и более щедрая благодарность... Это было так неразумно и бессердечно — отрывать от больных родителей единственную дочь, которая еще с ними оставалась! И все лишь ради их судебной статистики! Ибо уж кто-кто, а Мария действительно невиновна

даже с точки зрения самодержавных законов, а если и виновна, то в одном: что она полюбила...

Я порчу им парад; нельзя же посадить на скамью подсудимых женщину на сносях. И они ждут не дождутся, когда я разрожусь. Меня снова посетил врач, и я услышала, как он сказал в коридоре конвойному офицеру: «Передайте начальнику тюрьмы, что уже скоро...»

Итак, скоро. Я уже тоже хочу, чтобы скорее. Я ныне какая-то очень уверенная в себе. Я не боюсь физических мук, я вытерплю все, вытерплю с радостью, только бы подарить нашему дитяти, в котором сольемся воедино я и ты, жизнь. Даже не верится, что такое диво возможно. Представляю, с каким жадным любопытством я буду искать в ребенке твои черты. Он будет похож на нас обоих, и все же это будет совершенно новый человек, третий, это будет наше с тобой будущее, наша поросль. У меня уже нет прежней тревоги. Утром я просыпаюсь с удивительной легкой и счастливой мыслью: мое дитятко!.. О самих родах почти не думается. Что такое сутки страданий в сравнении с новой жизнью, которую я рожу?!

Ныне я преисполнена самоуважения и целые дни безумно, ненасытно мечтаю о будущем,— о долгой и наполненной жизни нашего сына (я почему-то уверена, что у нас будет сын). Я не знаю, кем он будет, но верю в то, что жить он будет при новых социальных условиях и, возможно, ему посчастливится строить новое общество, во имя которого я жертвую своей жизнью. Это будет прекрасно, я верю в это и по-хорошему завидую своему сыну и благословляю его.

Я рисую в тюремной тишине самые фантастические картины, и все они кажутся мне правдоподобными и достоверными. Еще никогда я так не верила в будущее, как верю сейчас.

И только глухой ночью большой страх коварно, во сне окутывает меня, и я просыпаюсь в тревоге, прислушиваюсь, как толкается, пульсирует оно... Ты поймешь меня, потому что ты любишь меня. Пока оно во мне, они не властны забрать его от меня.

Я никогда не любила красивых слов, но когда я думаю о завтрашнем дне, в котором суждено жить нашему дитяти, я вижу голубизну, пронизанную солнечными лучами, что-то невыразимо светлое и прекрасное, и между этой голубизной и мною, в сером тюремном халате, как свет из тьмы, как росточек, как мостик, как зернышко, которое прорастает, он, наш сын...

Телеграмма киевскому генерал-губернатору от начальника Лукьяновской тюрьмы:

«БОГОМОЛЬЦЕВА БЛАГОПОЛУЧНО ОТ БРЕМЕНИ СЫНОМ РАЗРОДИЛАСЬ». МАЯ 12 ДНЯ, 1881 ГОДА, 8 ЧАСОВ 24 МИНУТЫ.

Приписка: «Сообщить военному прокурору...»

Весна в прошлом году выдалась ранней, и майское утро было по-летнему наполнено запахами, цветами и звуками. В ярах, в зарослях еще фиолетово светили свечи сирени, а по Владимирским взгорьям уже сновал в косых солнечных лучах влажноватый от ночной росы тополиный пух. На склонах возле Андреевской церкви еще время от времени одиноко вспыхивали соловьиные трели, а в палисадниках уже порхали блестяще-черные скворцы-подростки. Неудержимый разлив зелени, дурманяще-густые запахи пионов, жасмина, георгинов приглушали тяжкий дух людского скопища, оттеснив его в Глубочицкие овраги, и безраздельно господствовали над городом, возвещая о празднике жизни.

Александр рано вышел из дома, чтобы не пропустить момент, когда заключенных будут везти в суд. Долго бродил по Старому Киеву, пьянея от этой летней роскоши. Растроганный красотой окружающего земного мира, он отказывался верить в то, что происходило. На Большой Житомирской скопилось множество жандармов в синих мундирах, вокруг здания суда шныряли филеры. Александр еще издали услышал, что их везут: цокот копыт разносился вдоль булыжной мостовой, будто казачий эскадрон шел в атаку на город. И в самом деле из-за угла выскочили всадники с пиками в руках. И только после этого, окруженная плотным казачьим эскортом, затемнела на фоне зелени тюремная карета, запряженная четверкой коней. Карета промелькнула мимо Богомольца амбразурами затянутых занавесками окон — ветка сирени, вся в пышных соцветиях, свисала с кареты,— видимо, кто-то ею поприветствовал узников с балкона; в следующий миг железные ворота судебного двора распахнулись, карета, окруженная всадниками, нырнула в черную пропасть, и ворота закрылись.

Был десятый час, суд должен был начаться в одиннадцать. Николай Максимович вчера приехал в Киев и остановился в гостинице. Вечером они встретились — официально, холодно; тесть с нескрываемой нарочитостью избегал любых тем, кроме судьбы внука. Осторожно, без особого нажима в голосе предложил он Александру Михайловичу на определенное время взять внука в Климово, если... Дальше многозначительного если они не ступали — оба имели в виду смертный приговор Софье или многолетнюю каторгу. К удивлению старика, Богомолец легко согласился отдать ребенка. Александр Михайлович уже много ночей болезненно размышлял над судьбой сына и приходил к одной мыс-

ли: пока что ребенку лучше всего будет в Климове. Отец будет занят какое-то время иным — он сделает все, чтобы помочь Софье бежать из заключения. Старик был так поражен уступчивостью зятя, что согласился на следующее утро встретиться с ним и вместе идти на суд.

Когда Александр постучал в номер, Николай Максимович дописывал письмо. В его остывших, как пепел вчерашнего костра, глазах не было прежней враждебности, но не было и приязни.

— Пишу, чтобы искали кормилицу,— коротко проинформировал Присецкий.— Если...— он многозначительно посмотрел на зятя,— телеграфирую.

— Их привезли. Я был там.— Богомолец чувствовал себя неуютно.

Тесть избегал разговора о суде, о Софье, вся его любовь, все мысли сосредоточились теперь на внуке. Софью Николай Максимович вычеркивал из списка действующих лиц, Софья исполнила свою роль, родив сына, чтобы теперь он, отставной подпоручик Присецкий, счастливо вывел его в люди, подготовил к военной карьере. В этой любви к внуку, через головы матери и отца, было что-то неестественное и эгоистичное. Но Александр знал одно: пока что ребенку у деда с бабкой плохо не будет, а там время покажет.

Николай Максимович готовился к суду, как к смертной казни; он заслужил это наказание, он виновен и не ждет помилования, жизнь жестока, более жестока, чем ему казалось, не суетитесь, господа палачи, он уже мертв, остались лишь формальности — четвертовать... Он падал, как падает могучий дуб,— узловатые ветви судорожно хватаются за синий шелк неба, но ствол, уже подкошенный железом, покорно клонится к земле. Рождение внука разбудило его и неожиданно наполнило новыми силами и чувствами. Он понял, что еще не все потеряно в жизни, что нынешние тяжелые для его семьи времена пронесутся, как морская буря, которая что-то отнимает, но что-то и дарит, он, возможно, потерял дочь, но вместо нее нашел новую жизнь, которая нуждается в его защите, чтобы вырасти и окрепнуть. Внук вырастет возле него, а следовательно, возьмет от деда все, что тот в состоянии будет ему дать, а он, горько наученный, упорно будет лепить внука по своему образу и подобию.

Присецкому казалось, что жизнь еще можно начать сначала, по крайней мере перевернуть назад несколько страниц толстого, неизвестно кем мудрено расписанного фолианта его судьбы.

Но сначала нужно было пережить суд над детьми. И он понес себя, запакованного в футляр из темной старомодной пары и невозмутимо строгой, чуточку печальной немоты на лице, понес на глумление, на позор. Еще никогда не чувствовал он себя таким одиноким и несчастным, как в то солнечное весеннее утро на шумных киевских улицах; высокая фигура зятя, почтительно шагавшего рядом, не утешала, наоборот, еще сильнее бередила рану жалящими воспоминаниями. Если бы он в семьдесят шестом не дал согласия на брак Софьи, возможно, не было бы сегодняшнего утра, и многого другого не было бы... Мысль была такой приятно-дразнящей, что Николай Максимович даже забыл, что Софья в семьдесят шестом не просила о разрешении, а лишь ставила родителей в известность: «Кроме того, сообщаю, что выхожу замуж за молодого врача Александра Михайловича Богомольца. Он очень хороший и очень любит меня...»

Они уже переходили Софийскую площадь. Вдоль здания, где должен был проходить суд, пепельно-серой гусеницей вытянулась шеренга солдат. У двери толпились жандармы и группка молодых людей — судя по одежде, рабочие и студенты. Молодые люди пытались протиснуться ко входу, но жандармы грудью, как плотиной, перекрыли этот поток. Предъявленные Николаем Максимовичем и Александром повестки охранники долго сверлили несколькими парами глаз, пока разрешили пройти в зал.

— Отец Софьи Николаевны...— с почтительной теплотой в голосе промолвили вдогонку им из группы молодых людей, оттесненных жандармами.

И это было странно и непривычно для Николая Максимовича.

Зал был полупустым; в первых рядах сидело около трех десятков жандармских и военных чинов, среди них выделялись пышные шляпки дам. Люди в мундирах пришли сюда по долгу службы, дамы — из любопытства, ради развлечения. Отдельные группки жались по углам зала — родичи подсудимых, допущенные на суд. На подмостки вышли члены военного суда — замелькал глянец лысин и засверкали позолотой эполеты парадных мундиров. После этого ввели подсудимых — их плотно охватывали тиски из вытянувшихся в струнку солдат. Николай Максимович едва различил среди бледных, изнуренных и удивительно молодых лиц лица дочерей — Софьи и Марии. Присецкого вдруг пронзил острый стыд — в этом зале происходит что-то возбраненное человеческой моралью, что-то преступное. Эти людишки в парадных мундирах собрались с единственной целью — убить нескольких молодых людей, нарушивших

их покой. Убив их, эти чучела в мундирах с облегчением сядут за свои сервированные фарфором столы, чтобы снова лакомиться икрой и французскими устрицами.

И это ощущение не покидало Присецкого до конца судебной расправы.

Александр увидел и дам с лорнетами, и людишек в золотых позументах, которые старательно исполняли роль судей, и двуглавого орла, который распростер крылья над зеленым сукном судейского стола, и сухое, злорадное лицо прокурора Стрельникова, и подполковника Судейкина, который в новом белом кителе и в новеньких погонах красовался в зале перед дамами. Но вся эта позолота, вся эта пена перестала для него существовать, как только Александр встретился глазами с Софьей. Софья похудела, осунулась, и глаза ее теперь как бы распространились на пол-лица. Она сразу, как только опустилась на скамью, нашла в зале Александра и тоже не сводила с него глаз. Они разговаривали глазами и были счастливы после стольких месяцев разлуки. А вокруг них лицедействовали, со смешной солидностью подыгрывая друг другу. Они с ними не играли, как говорили в детстве, они жили особняком, друг другом. А судьям было нудновато играть самим с собою, они ревниво следили, чтобы все, кто был причастен к процессу, старательно выполняли надлежащие им роли. Конечно, он, Александр Богомолец, не будет свидетельствовать против собственной жены, он уже заявлял об этом в жандармском управлении, сказал и тестю в суде.

— Я тоже не буду свидетельствовать против дочерей,— ответил на это Присецкий, и седая голова его опустилась на грудь.

— Спасибо вам,— тихо промолвил Александр.

— За что? — поднял на зятя глаза Николай Максимович, и Богомолец не знал, как ответить. Под сенью двуглавого орла даже элементарная порядочность кажется чуть ли не подвигом.

А потом он увидел, как от боковой двери по рукам жандармов к Софье поплыло что-то белое, перевязанное розовыми лентами, и он понял — скорее почувствовал, что это их ребенок, их сын, которого принесли кормить. Волна прошелестела по залу и стихла — Софья уже держала ребенка на руках, легонько повернув его в сторону Александра, и тот увидел красноватое личико, похожее на большое яблоко, а после этого на личике засверкали росинки глаз.

Так они впервые встретились — отец и сын: в зале суда.

Софья решила давно и навсегда: она не признает ни их следствия, ни их суда. Она могла бы прислушаться к суду свободных граждан, но не к суду военных чиновников, для

которых важна не вина или правота обвиняемых, а мнение департамента полиции. Прежде чем вынести приговор, они будут ждать указаний царя, а суд — лишь представление, лишь формальность, и она не позволит превращать себя в марионетку кукольного театра. Она так и заявила в ненавистные холеные лица подполковников и полковников:

— Я принадлежу к партии социалистов-народников, суда же вашего не признаю и принимать участия в нем не буду.

Разумеется, они не ждали от нее раскаяния, но это был вызов гигантской государственной машине, которую они представляли сегодня, и лица над зеленым судейским столом поблекли: они так же ненавидели ее, как и она их. Не оставалось никаких иллюзий: два мира, два лагеря разделила баррикада, которой она грезила, когда читала о парижских коммунарах. Отказались признать суд и ее товарищи. Лишь Мария попыталась что-то доказать, все еще не веря, что этим прилизанным людишкам в позолоте глубоко безразлично, воевала она с властью или только по воле обстоятельств была среди тех, кто осмелился воевать. Марию, собственно, судили за то, что она полюбила не какого-нибудь коллежского секретаря с перспективой выбиться в столоначальники, не подпоручика, который на склоне лет будет подполковником, даже не мелкого помещика, который бы, сдавая остатки имения в аренду, просиживал свою жизнь в шинке, а революционера.

Судилище предоставило Софье встречу с мужем из-за барьера, через штакетник из жандармских торсов. Она увидела мужа и теперь была наедине с ним, ибо ничто в зале суда для них не существовало, кроме них самих: ни лживые свидетельства переодетых в гражданское жандармов, ни желчный клекот прокурора Стрельникова, требовавшего для подсудимых смертной казни, ни нудное бормотание судебного чиновника, который читал судебные постановления.

И когда в последнем акте судебного представления объявили о десяти годах каторги для Софьи Богомолец, им вовсе не было страшно, ибо они были вдвоем.

Только теперь, после суда, ей разрешили свидание с Александром.

В один из таких же майских дней семьдесят пятого года гимназистка Соня Присецкая торопилась на свидание с выпускником медицинского факультета Киевского университета Александром Богомольцем. Тополиный пух легкой метелью проносился по бульвару, в Ботаническом саду играл духовой оркестр, Александр ходил по главной аллее сада

с руками за спиной, степенный, задумчивый, будто готовился к экзамену, а не объясняться в любви. Она миновала главные ворота Ботанического и пошла по бульвару навстречу солнечной метели, такая же легкая, белая и нежная, как тополиная пушинка, а сердце учащенно билось, пело, и ему было тесно в груди. Вдруг Софье подумалось, что это у нее, наверное, от недостатка мужества, а когда речь шла о силе воли и мужестве, она не разрешала себе никаких послаблений. Софья возвратилась к воротам Ботанического и снова увидела Александра, который задумчиво шагал по аллее. Она приказала отяжелевшим ногам нести ее по аллее, и ноги послушно побрели, а Александр уже увидел ее и заторопился навстречу, протягивая к ней руки, и было все у них, как в романе о влюбленных, так и не так, потому что ни в одном романе не были еще описаны синие лучистые глаза Александра и ни в одном романе вроде бы влюбленный не объяснялся так неловко и по-старосветски:

— Я считаю счастьем просить вашей руки и сердца...

Она счастливо, по-детски засмеялась, а потом испугалась, что Богомольца обидит этот смех, и сказала с глазами, полными слез:

— Я вас тоже люблю, Александр, и буду вашей женой.

Теперь она шла на свидание по затхлым тюремным коридорам в сопровождении двух жандармов, чьи сабли шоркали о кирпичный пол, в серой арестантской дерюжке и с ребенком на руках. И в комнате для свиданий их разъединяла широкая полоса «ничейной земли», по которой невозмутимо ходил жандарм, пока другой синешинельник следил из угла комнаты за каждым их движением. Даже ребенка не разрешалось передать в руки отцу, словно тот был зачумленный. Они снова сидели друг против друга, как на суде, лишь чуточку ближе, и так же разговаривали глазами, а потом Александр с трудом произнес первые слова:

— Я счастлив просить вашей руки и сердца...

— Я люблю вас, Александр,— счастливо повторила она свои девичьи слова,— и буду вашей женой.

— И я люблю тебя, Софья,— выдохнул Богомолец.

Они хотели так много сказать друг другу, но при двух ненавистных свидетелях, в течение их времени, которое неумолимо сокращалось, приготовленные слова переставали быть крайней необходимостью. Вместо них мозг лихорадочно искал новых слов, весомых и значительных для обоих, но наталкивался на острый, как штык, окрик:

— Об этом воспрещено разговаривать!

Все же он сумел намеками сообщить Софье, что будет сопровождать ее в дороге на каторгу и поможет бежать. О судьбе ребенка он не решился говорить: не хватило силы

еще раз напомнить матери, что в ближайшие дни у нее заберут сына. Софья заговорила об этом сама. Уже когда время их свидания исчерпывалось и оставалась его самая малость, Софья подняла глаза на мужа и спросила, вкладывая в голос как можно больше спокойствия:

— Сашка оставишь у своих или у отца?

— У Николая Максимовича...

Софья согласно кивнула, поднялась, и он увидел в блеклом свете от зарешеченного окна ее остроугольное, серое, будто высеченное из камня тюремной стены лицо...

Из прошения отставного подпоручика Н. М. Присецкого Киевскому, Подольскому и Волынскому генерал-губернатору:

«...Приговор этот над детьми моими вместе с тем является приговором и надо мной. У меня отнято последнее дитя мое. О старшей дочери своей я не осмеливаюсь просить, будет милость Ваша — облегчите ее участь. Но я умоляю Ваше высокопревосходительство и обращаюсь к милосердию Вашему и сердцу — помилуйте младшую дочь Марию, которая, пребывая в таком возрасте, когда люди лишь входят в общество, когда перед нею едва открылась жизнь, она уже выбрасывается из этого общества, лишена доброго имени, всех прав, навсегда разлучена со мной и ее старой матерью, которая уже семнадцать лет лежит в постели и для которой этот удар равносилен смерти, не перенесу и я этого горя и несчастья!

Умоляю, утешьте нас, старых. Не дайте погибнуть этой молодой жизни! Вы сами отец и имеете детей. Не откажите в этой, возможно, последней просьбе в моей жизни. Верните нам дочь, верните ее обществу, которому, возможно, она еще будет полезной.

Спасите эту несчастную и прежде времени погибшую девушку! Возлагаю всю надежду на человеколюбивое сердце Ваше; жду с молитвой и трепетной надеждой решения Вашего и уповаю, что небесная заступница вселит Вам сочувствие к старому отцу и к несчастью его детей».

На документе пометка *«ОТКЛОНЕНО»*.

ЦГИА УССР, ф. 442, оп. 830, ед. хр. 382

Тюрьма была переполнена, ждали новых арестов: Стрельников и Судейкин неутомимо искали крамолу. Осужденных торопливо готовили к дальней дороге в Сибирь. Каждая ночь могла быть для Софьи последней, проведенной возле своего ребенка, и женщина почти не спала, в часы долгой ночной

бессонницы насматривалась на сына, чье крохотное круглое личико походило на отраженную полную луну, повисшую над июньским Киевом. Часовым, которые то и дело заглядывали в камеру через глазок, думалось, будто каторжанка ворожит над младенцем: губы ее подергивались, нашептывая самые ласковые, самые теплые слова, которые только приходили на ум, руки ее с жадностью впитывали тепло, которое излучало спеленатое тельце ребенка, и, случайно прикоснувшись к его шелковистой коже, старались сохранить воспоминание об этом прикосновении в глубине сознания...

Однажды, во время очередной прогулки по крошечному тюремному дворику (осужденным, которых готовили к этапу, разрешали совместные прогулки), Павел Иванов рассказал Софье о последней ночи Валерьяна Осинского. В ночь перед казнью Валерьян и его жена, которой виселица была заменена двадцатью годами каторги, перекликались через тюремный двор — их камеры находились в противоположных крыльях Лукьяновки. До рассвета, когда Осинского с табличкой на груди «Государственный преступник» повезли в поле, где возвышались виселицы, над тревожной притихшей тюрьмой звучало нежное и грустное, как прощальный зов обреченного журавля к своей журавушке: «Валерьян! Софья!.. Валерьян! Софья!..» Рассказ Павла поразил Софью: силы человека, верящего в идею, неисчерпаемы, и мужество его не имеет границ.

Начальство, учитывая скорый отъезд осужденных, милостиво разрешило Софье еще одно свидание с мужем, и Александр между прочим рассказал, что Николай Максимович, который после суда уехал в Климово поддержать в горе больную жену, возвратился в Киев, будет иметь сегодня аудиенцию у генерал-губернатора, а завтра повстречается с Софьей. В тот же день на прогулку во двор не вышла Мария. Софья волновалась — не заболела ли сестра. Часовые отмалчивались. Иванов нервничал, подозревая начальство бог весть в каких кривдах: они с Марией, которой губернатор двадцать лет каторги заменил ссылкой в Сибирь, договорились обвенчаться в одной из этапных тюрем по дороге в дальние края. Вечером на поверке стало известно: старый Присецкий просил генерал-губернатора отправить Марию с другой партией заключенных, чтобы она не имела возможности обвенчаться с Ивановым. Генерал-губернатор, конечно, одобрил такое проявление «родительской любви» и отдал соответствующие распоряжения. Марию отделили от группы «союзовцев», даже совместные прогулки запретили. На Павла страшно было смотреть.

— Я все равно убегу, все равно. Ты веришь, Соня?!

Она кивала головой. Она и сама теперь надеялась лишь

на побег. Александр будет сопровождать ее, и они воспользуются первой же возможностью.

На следующий день Софью вызвали в тюремную канцелярию, а ребенка приказали оставить в камере. Нужно было соблюсти какие-то формальности перед отправкой. Партию готовили к этапу, и Софья спокойно направилась в сопровождении солдата по тюремным коридорам. Сын спал на ее койке, прикрытый поверх «гражданской» одежды тюремной дерюжкой: в камере, несмотря на начало знойного лета, было сыро и холодно. Софью проводили в комнату, куда обычно вызывали для допроса. Переступив порог, она увидела отца. Жандармский офицер кивнул Присецкому и поспешно вышел, слегка прикрыв за собой дверь: Софья слышала, как в коридоре переступал с ноги на ногу часовой.

Отец заметно состарился за последнюю неделю, на суде он выглядел много лучше. Теперь не на что было надеяться: обе дочери отправлялись в Сибирь. Плечи бывшего подпоручика, который всегда так гордился воинской выправкой, заметно опустились, усы и лицо стали одного неопределенного серого цвета. Еще сутки назад Софья бросилась бы отцу на шею — была почти уверена, что видит его в последний раз. Но после его прошения по поводу Марии и Иванова родное отцовское лицо воспринималось ею как маска. Она уже не доверяла им — этим искалеченным, измученным лихолетьями душам, которые способны во имя «родительской любви» эгоистически подкосить дочь. Вместо теплого приветствия она сказала спокойно и отчужденно:

— Здравствуйте, папа.

Отец, наверное, почувствовал ее настроение и понял, что Софья в с е знает. Лицо его вдруг съежилось, ноги подкосились, Присецкий с глухим стуком упал на колени и в отчаянии протянул к дочери руки.

— Не ради тебя, ради ребенка твоего прошу — напиши прошение на имя государя, простят...

Вместо ответа она спросила с мукой и несмелой надеждой (а вдруг еще одна провокация жандармов!) в голосе:

— Папа, как вы могли так поступить — с Марией? Они ведь с Павлом любят друг друга!

Глаза Присецкого потемнели от застарелой, толком не осознанной ненависти:

— Я не отдам дочери каторжнику! Чтобы моя дочь всю жизнь прозябала в Сибири!

— Вы сделали ее несчастной, папа.

— Настанет время, и она поймет, что мы сделали это ради ее счастья. Вы, мои дети, никогда не...

— Ваши дети уже взрослые, папа, и разрешите им самим решать, где их счастье.

— Софья, склони голову перед необходимостью, иначе бог покарает тебя!..— Голос старого Присецкого задрожал.

— Что же это за справедливый бог, если он будет карать таких, как я? — вздохнула Софья и тихо добавила, подходя к отцу: — Поднимитесь, папа, я никого ни о чем не буду просить, вы ведь знаете.

— Сын! Сын! — закричал Присецкий, поднимаясь с колен.— Сын тебе никогда не простит! Подумай только: сын каторжанки!..

Софья взяла отца за руку и поцеловала его в холодную, будто ледяную, щеку.

— Сын меня поймет, папа. Если это будет м о й сын.

Дверь резко раскрылась — на пороге стоял жандармский офицер. Неприязненно-официальная мина на его лице свидетельствовала, что он слышал разговор — из коридора или из соседней комнаты.

— Свидание закончено, заключенная Богомолец. Извольте пройти в канцелярию начальника тюрьмы.

Она направилась к двери и уже с порога сказала:

— Берегите моего сына, папа.

Ее привели в приемную начальника тюрьмы, там расхаживали офицеры, надзиратели, подозрительно вежливые и аккуратные гражданские; обитая коричневой кожей дверь кабинета проглатывала вытянутые, напряженные фигуры и выплевывала назад, в приемную с озабоченными, подавленными или счастливыми лицами. Тут привычно текла канцелярская жизнь. Люди служили, дослуживались до почетных и щедрых пенсий, а время от времени кто-то срывался со скользкой карьерной лестницы и вынужден был приходить к начальству с униженным прошением. Софья долго стояла в углу, в стороне от этого муравейника, и солдат с винтовкой неподвижно торчал возле нее. В кабинете начальника тюрьмы глухо ударили часы — было время кормить ребенка, она еще даже не знала, зачем ее сюда вызвали. Офицер, подслушивавший ее разговор с отцом, прошел в кабинет начальника, как-то странно, победоносно и в то же время с любопытством взглянув на Софью. Через несколько минут он снова появился в приемной и приказал солдату отвести заключенную в камеру.

Софья шла быстро, солдат с винтовкой едва успевал за нею, путаясь в полах шинели. Ей все еще не давала покоя мысль — что должно было означать торжествующее и одновременно любопытное выражение на лице жандарма, даже с некоторым покровительственным сочувствием в глазах. Инстинктивная, еще не выраженная в словах и образах тревога гнала ее — дверь камеры поспешно открылась перед Софьей и точно так же поспешно, с морозным, метал-

лическим лязганьем хрястнула за ее спиной. В глазах Софьи потемнело, и ей захотелось, чтобы не рассветало никогда.

Ребенка в камере не было.

Она стиснула себя в крепкий узловатый кулак и занемела, будто от внезапного удара под грудь. На дверях заскрипел железный глазок — чужие, холодно-любопытные глаза смотрели ей в спину, чтобы потом рассказать со скрытым наслаждением в курительной комнате, за преферансом или за обеденным столом, как с к у л и л а революционерка, когда забрали ее щ е н к а, куда и девались ее и д е и, ведь баба и есть баба, хоть и корчит из себя...

Она была не вправе даже застонать. Она неподвижно стояла, устремив невидящие глаза в пропасть окна-бойницы, на донышке которого ярко синел разлинованный решетками лоскутик неба. Молчаливые и оттого во сто крат более мучительные слезы текли по ее лицу, скапывали в вырез сорочки, на грудь, переполненную молоком, которое отныне никому уже не нужно.

Она плакала в тюрьме первый и последний раз.

Но о н и ее слез не видели.

Она предчувствовала страдание, однако никогда не думала, что это так невыносимо больно.

Отныне она ничего и никого не боялась.

И осужденных — их боялись: тайно, ночью, вывезли за Киев, на товарную железнодорожную станцию, закрыли в зарешеченном вагоне и отправили с самым первым поездом. Александр Богомолец догнал партию уже в Мценске. Здесь, в знаменитой пересыльной тюрьме, он добился краткого свидания с Софьей, но о скором побеге не могло быть и речи. Оставалось уповать на Сибирь — в тамошних тюрьмах и на этапах администрация и конвоиры не столь ревностны к службе. Но в Казань, куда следом за «союзовцами» приехал Александр, щедро «подмазанный» чиновник сообщил ему нерадостную весть: большую группу заключенных, куда попадала и Софья, будут отправлять специальной баржей вниз по Волге.

Был холодный и дождливый августовский день. Еще с рассвета Александр бродил поблизости от тюрьмы. Наконец тюремные ворота раскрылись, выплюнув рой жандармов и солдат с винтовками; немного погодя стали выводить по двое, колонной, арестантов. Старые арестантские халаты с тузами на спинах, арестантские картузы с наушниками, корявые арестантские боты и портянки из дерюжки замелькали перед глазами Александра. Наконец он увидел Софью, бледную, с большими печальными глазами, она шла в паре

с Иваном Кашинцевым. Он пошел сбоку, наталкиваясь на провожавших в дальнюю дорогу родных и на случайных зрителей, которые столпились вдоль улицы. Позади колонны тарахтели по мостовой грязные подводы с арестантскими пожитками, люд тревожно, надсадно гудел, и, уже не таясь, он закричал, пересиливая своим мощным голосом другие голоса:

— Соня! Я найду тебя, задержись в Иркутске, пока сможешь, я съезжу в Нежин, раздобуду денег — и в Иркутск, только спокойно жди меня, не горячись, я приеду!..

Софья кивала головой и пыталась улыбаться сквозь ограду из солдатских штыков. Какой-то полицейский чин от имени публики попросил арестантов спеть украинскую песню. Среди уголовных вспыхнуло было «Засвiт встали козаченьки, в похiд з полуночi...», вспыхнуло и угасло под мелкой промозглой изморосью, сеявшейся с низких облаков.

Возле вязкого волжского берега неуклюжей халабудой возвышалась огромная баржа, сверху и с боков обнесенная проволочной сеткой. Колонна арестантов подошла к берегу. Обвитое проволокой чудище, с крошечными зарешеченными оконцами над свинцовой водой, проглотило людей в арестантских халатах, и буксирный пароход, дохнув в небо черным клубом дыма, торопливо потащил его на середину реки. Баржа уже утонула в пасмурной мгле, а Александр машинально махал ей вслед, даже не задумываясь — видит ли его Софья или нет; и дождь солеными каплями стекал по серому, как вода, лицу Александра. В этот момент сильные цепкие руки взяли его под локти. Он даже не оглядывался, чтобы еще хотя бы на миг удержать в глазах окутанную туманом баржу, которая забрала у него Софью. Он уже знал, что это — надолго и что Софья напрасно будет ждать его в Иркутске.

— Доктор Александр Богомолец? — зашептал над ухом вкрадчиво-зловещий голос.— Согласно предписанию киевского жандармского управления вы арестованы...

1945.
НАИВЫСШЕЕ МГНОВЕНИЕ ЖИЗНИ

Накануне академик Богомолец случайно узнал, что, заботясь о его здоровье, к нему на прием ограничили доступ избирателей. Давно он так не сердился. Наверное, с тех пор, как, вскоре после приезда в Киев, встретил у дверей своей квартиры снабженца академии с корзинкой, полной дефицитных продуктов. «Это для кого, извините?» — спросил Александр Александрович, брезгливо приподняв край газе-

ты. «Для президента...» — невозмутимо ответил снабженец. «Так вот, уважаемый товарищ, я настоятельно прошу вас передать тому, кто вас послал, что академик Богомолец, как и все наши люди в годы войны, получает продукты по карточкам и в приварке не нуждается...»

Теперь он снова звонил в разные ответственные учреждения, доказывал, что депутат Богомолец чувствует себя здоровым и депутатские дела его не обременяют. Ограничения, конечно, сняли, но неприятный осадок на душе остался. Его считают старым и больным. Он в самом деле и стар, и болен, он — давний, корни его в такой невероятно далекой эпохе, что уже и не верится в ее существование. Но чувствует он себя в эти летние месяцы сорок пятого года удивительно молодо. Депутатские дела, конечно, отнимали много времени, сотни людей, тысячи писем, даже безадресные письма находили его, даже письма с тремя словами, выведенными на конверте химическим карандашом: «Депутату Александру Александровичу». Богомолец не полагался на секретаря, прочитывал сам каждое письмо, оставляя «сумку с письмами» на более позднее время, на вторую половину ночных бдений. Письма были разные, больше печальных, ибо таково послевоенное время, у того неизвестно где родные, у другого человека сгорел дом, а у третьего не стало кормильца и сам калека; депутату не писали о радостях, писали о горе, ожидая помощи, но он любил эти предутренние часы, проводимые над письмами.

Сегодня он тоже поздно лег, но проснулся рано, успел наведаться в институт, побывал на опыте, довольно остро подискутировал с одной «ученой дамой», потом поехал в Институт физики, побеседовал со строителями, которые ремонтируют здание академической библиотеки, и теперь торопился в академию: вот-вот должен был прийти Евгений Оскарович Патон. Вечером он уезжал в Москву, на сессию Верховного Совета СССР. А только что в институт позвонил товарищ детских лет Александр Левчановский, оказавшийся проездом в Киеве. Сколько лет они не виделись? Почти полстолетия. Когда-то, кажется в двенадцатом году, полиция арестовала Левчановского за участие в студенческом движении и нашла в его записной книжке адрес профессора Саратовского университета Богомольца. Тогда он имел много неприятностей по этому поводу. Да, много вобрали в себя эти годы! Человеческий век краток, и возможности памяти ограничены, но есть еще другая память, память истории, и когда он думал, сколькими историческими событиями отмечена эпоха, в которую ему судилось жить, собственная жизнь — всего лишь шестьдесят четыре года! — не представлялась краткой. Вроде бы об этом он не писал в своей книге «Продление жизни», а жаль: человеческое долголетие —

вещь относительная, наверное, главное — не сколько прожито, а как прожито, сколько отдано своего, сколько сделано для людей...

Посещение Института физики мало порадовало Богомольца, и увиденное не давало ему покоя по дороге в академию.

Год назад президиум заслушал доклад академика А. И. Лейпунского и постановил в кратчайший срок создать условия для усиленной работы. Сделали все, что могли, главное — возобновили начатое еще до войны строительство циклотрона. Институт сосредоточил внимание на самых современных проблемах науки — ядерные исследования и космические лучи, спектральные исследования молекул и кристаллов, электроника и полупроводники. Но война все еще продолжалась, и каждый добытый гвоздь стоил больших усилий; полгода назад президент лично вынужден был хлопотать о том, чтобы включили вентилятор в Институте химии. Теперь, после Победы, положение изменилось. Однако здание Института физики очень повреждено. Не было лабораторной мебели, оборудование устарело. Между тем война показала, какое огромное значение имеют физические науки, а также производство химических веществ для обороны и развития хозяйства. Он, Богомолец, предчувствовал это и как мог способствовал в начале тридцатых годов организации физико-технического института в Харькове. «Дверь открыта,— приветствовал президент научных работников, которые расщепили атом.— Теперь шагайте вперед. У вас в руках наше будущее». Время подтвердило, что открытия в разных разделах физики и в самом деле во многом определяют будущее человечества. Теперь в физических и химических институтах Украины сосредоточены лучшие научные силы республики. И они должны работать во всю мощь, от этого многое, очень многое зависит.

Машина остановилась возле здания Академии наук на Владимирской. Впервые он переступил порог этого здания таким же летним днем 1930 года. За год до этого Богомольца избрали действительным членом Всеукраинской Академии наук. Тогда же он, отдыхая на юге, имел беседу с членами украинского правительства. Богомолец давно мечтал о возвращении на Украину, однако административная работа не привлекала, наоборот, хотелось сосредоточиться на научной деятельности. «Не мы просим вас возглавить академию — просит украинский народ»,— сказал ему Григорий Иванович Петровский. После избрания Богомольца президентом в Сочи пришла телеграмма, подписанная Советом Народных Комиссаров УССР. И он согласился...

По лестнице академии навстречу президенту шла вахтерша.

— Удалось вам устроить ребенка в садик? — спросил Богомолец.

— Сразу же после вашего звонка, Александр Александрович. «Если просит академик Богомолец, мы отказать не можем»,— так и сказали. Не знаю, как вас и благодарить.

— Не за что благодарить. Когда есть возможность сделать добро, кто не сделает.

«На трибуне сессии новый президент с его полными истинной мудрости глазами, высокий, немного сутуловатый, со словно бы наклоненной вперед фигурой, он напоминал полководца... Даже термины употреблял военные, говоря о создании «научных кулаков», «сосредоточении сил на ключевых позициях», «ликвидации прорывов».

Академик Н. Г. Холодный

«Избрание академика Богомольца президентом ВУАН среди украинских ученых вызвало живую радость, единодушное одобрение».

Академик Д. З. Мануильский

Богомолец сел за стол, подпер голову руками, закрыл глаза — так легче думать: Ботанический сад на склонах Днепра — стройка всесоюзного значения, вчера президиум прозаседал полдня, утверждая проект; в этом плане и другие важные, неотложные дела — строительство циклотронной лаборатории, полное восстановление Института физики, а еще крайне необходимо пристроить новый корпус к книгохранилищу академической библиотеки, а может, лучше получить коробку сожженного немцами здания на Тарасовской и восстановить — будет книгохранилище, ускорить с проектом обсерватории, задуманной еще в годы войны, отремонтировать биостанцию в Крыму и Полтавскую гравиметрическую обсерваторию, восстановить Уманский заповедник... Гётевский Фауст сейчас воскликнул бы: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!..» Но Фауст восклицал, так сказать, авансом, «предвосхищая торжество», а ему, Богомольцу, восклицать наперед никак не годится, ибо он еще не собирается под грушу, посаженную им в институтском парке, где завещал себя похоронить. Сейчас главное — не утонуть в мелком, не упускать из виду магистральный путь, наступили годы строительства, гул орудий сменился перестуком топоров и шорохом кельм...

— Александр Александрович, здравствуйте...

Президент поднял глаза: в дверях кабинета стояла жен-

щина в военной форме с погонами майора, на груди сверкали медали и орден Красного Знамени.

— Не узнаете, Александр Александрович? Майор медицинской службы Ирина Станишевская...

Но это был лишь короткий миг замешательства, президент уже вставал, уже выходил из-за стола. Он поначалу не узнал женщину — что делает с людьми война! С первого взгляда Богомольца поразили ее глаза — усталость, удивление и недоверие темнели в них. Такими бывают глаза у человека, который долго брел по лесному пожарищу и неожиданно вышел на зеленую опушку. Станишевская запомнилась ему совсем иной: солнечное лицо аспирантки, которая только что защитила кандидатскую диссертацию (незадолго до войны, он был оппонентом), счастливое, молодое лицо, хотя сын ее уже учился в университете, лицо — как видение такой далекой теперь довоенной жизни.

— Что вы, Ирина Васильевна, вы почти не изменились.

Но женщина не хотела неправды:

— Это были очень трудные годы, Александр Александрович.

С первых дней войны Станишевская работала в лаборатории по консервации крови для раненых, потом ее мобилизовали. Зимой сорок второго она написала Богомольцу в Уфу из военного госпиталя — просила выслать для раненых ампулы с цитотоксической сывороткой. Они обменялись несколькими письмами. Для Богомольца эта зима выпала тяжелой, но письма он писал бодрые и полные веры в скорую победу, знал, как эта вера необходима на фронте.

— Родные ваши нашлись, Ирина Васильевна?

— Сын тяжело ранен в первые месяцы войны, он долго лечился в Сибири, потом приезжал ко мне в госпиталь. С дочерью встретилась уже здесь, в Киеве. Она успела эвакуироваться и закончила среднюю школу на Урале. Муж погиб под Варшавой...

Лицо женщины, густо исчерканное морщинками, напряглось, застыло, умерло, и только глаза, ставшие глубокими и темными, жили на нем.

— Я понимаю, это очень большое горе. И я знаю, как мало помогают в горе слова. Когда у меня умер отец, я очень страдал и избегал людей, которые пытались меня утешить. У вас большое горе, к тому же — вы переутомлены и, если вы желаете, мы предоставим вам возможность отдохнуть. Но мой искренний совет — вам нужно работать, ибо работа — самое действенное лекарство. Возвращайтесь к себе в лабораторию...

— Я не знаю, как буду исследовать какой-нибудь гипофиз после всего, что видела и пережила. Я всю войну прора-

ботала в госпитале для раненных в грудную клетку. От одной смерти до другой, бывало, засыпаешь, потому что нет сил держаться на ногах. Просит молодой солдат: «Посидите возле меня, доктор». Я сажусь. Начинает рассказывать о себе. Рассказывает о селе над рекой, о матери, о девушке. А потом умирает. Сколько же людей умерло на моих глазах. Я привыкла к смерти, Александр Александрович. И это, наверное, самое страшное.

— Вы слишком много внимания уделяете горю, Ирина Васильевна, и своему, и горю других. Но человек, на мой взгляд, не должен культивировать в себе горе. Это неестественно, нежизненно. Живой человек должен жить, работать, делать для людей добро. Война закончилась, но смерть есть и будет. Люди умирают от болезней. На человечество наступает рак. Каждый год на земном шаре от рака умирают более миллиона людей. Мы же пока ограничиваемся легкими контратаками. А нужно готовить раку Сталинград и Курскую дугу, как фашизму. Я предлагаю вам заняться в нашем институте раковыми опухолями. Применение цитотоксической сыворотки увеличивает шансы на то, что удастся избежать рецидива рака после операции. В этом направлении, мне кажется, и нужно искать. Мы попробуем бороться с опухолями, активизируя защитные силы организма. Мы делаем лишь первые шаги. Но со временем работа нескольких поколений ученых возвратит человечеству миллионы солнечных лет...

«Я не помню, чтобы он когда-нибудь спросил: «А что я хотел сказать?», чтобы он потерял нить беседы. Александра Александровича раздражали, отрывая от работы, лишь дураки. А дураков тоже было немало. И среди научных работников, и среди знакомых. Но он был добрым и терпеливым. Никогда никому не отказывал. Если у него была срочная работа, все равно принимал гостя, но, выяснив суть дела, сразу же говорил: «А теперь, наверное, вам пора домой». Однако далеко не со всеми он был снисходителен. К карьеристам относился брезгливо, иронично и беспощадно».

З. В. Богомолец

Человек, который сидел теперь перед Богомольцем, относился по своей конституции к ярко выраженному «пищеварительному» типу: широкая нижняя челюсть, большой рот, короткая шея, короткая, но широкая грудная клетка, склонность к ожирению. Он не любил этот тип человека — тип прошлого. Он любил астеников, но ведь это не причина для неприязни, как и новенький, из тонкого защитного цвета

сукна китель, строгого, полувоенного покроя, долженствовавший засвидетельствовать принадлежность его владельца к народу, который воюет, и одновременно выделить его из народа, поскольку народ в таких кителях не воюет. Но человек должен красиво одеваться, разве не он, Богомолец, увидев, в какой потертой шинеленке ходит заведующий одной из лабораторий института, раздобыл и передал ему отрез на пальто? Следовательно, и не это раздражало Богомольца в посетителе.

В этом человеке его раздражала воинственная невосприимчивость реальности. Это был мечтатель, но не тот мечтатель, который поднимается на хрупких крыльях энтузиазма над реальной жизнью, а тот, который стремится втиснуть жизнь в клетку из параграфов и инструкций. Патоновский Институт электросварки не вмещался в клетке. Патону тесной была сорочка из решеток, но ведь он, как президент, не должен говорить об этом человеку в кителе защитного цвета, потому что этот человек призван стоять на страже финансовой дисциплины, а Патон, что ни говори, эту дисциплину на протяжении военных лет нарушал, ибо размах работы возглавляемого им института был непредвиденно огромным. И неожиданно Богомолец поднял на посетителя улыбающиеся глаза:

— А знаете, уважаемый товарищ, возможно, Патон потому и великий, что нарушал финансовую дисциплину...

Он знал, что не должен, не имеет права так говорить, но сказал, и теперь ему уже было немного жаль финансиста, который обиженно складывал в кожаную папку бумаги с выводами комиссии.

— Но ваши претензии справедливы, и мы рассмотрим их на ближайшем президиуме.

Богомолец проводил финансиста до дверей, любезно попрощался, не любил, когда люди выходили из его кабинета неудовлетворенными. А может, чувствовал себя виновным, что не сказал посетителю всего, что по этому поводу думает и чувствует. Потому что человек в кителе защитного цвета все равно не поймет и будет смотреть на президента холодно и недоверчиво. Потому что этот человек не видел в лицо Евгения Оскаровича Патона и не слышал его голоса в июле сорок первого года: «Мне важно как можно скорее быть в Нижнем Тагиле. Мне важно, чтобы мой институт работал. А о моей семье пускай позаботятся другие...»

В приемной было полно людей. Его неизменный в течение пятнадцати лет секретарь Екатерина Череповская предупреждала каждого, что президент уезжает сегодня в Москву и вряд ли сможет многих принять. Но люди привыкли, что Богомолец не уходит из академии, пока не побеседует с последним посетителем, и ждали. Богомолец подумал об

Александре Левчановском — навряд ли удастся им сегодня встретиться, потому что домой он наверняка уже не вырвется, а прямо из академии поедет на вокзал. Через приемную в кабинет президента неторопливо шел Евгений Оскарович. Академик холодно, но вежливо кивнул финансисту, лицо его нахмурилось, наверное, подумал, что Богомолец и хотел встретиться с ним именно по поводу финансовых проблем. Однако Александр Александрович решил про себя, что не будет сегодня портить настроения Патону и рассмотрит жалобы финансистов позднее, на президиуме, когда возвратится из Москвы. Высокий, широкоплечий и стройный для своих лет, Евгений Оскарович осторожно пожал руку президенту и опустился в кресло. Однако в кресле тело его не расслабилось, как это бывает с людьми, которые не очень ценят свое и чужое время и любят поговорить обо всем понемногу, а оставалось таким же напряженным, полным динамики, будто у штангиста перед рекордным подходом. Не только за деловитость и четкость в работе уважал Богомолец этого выдающегося инженера; Патон умел мыслить творчески и широко и самоотверженно добивался воплощения задуманного им в жизнь. Когда Богомолец впервые приехал на Украину, работа в академии велась хаотично, по старинке. Ломая «феодальную» традицию, он опирался на таких дальновидных и способных к практической деятельности ученых, как Патон. В начале тридцатых годов Патон пришел к президенту с идеей создания Института электросварки. Богомолец сразу же поддержал Евгения Оскаровича, и вскоре украинское правительство постановило создать такой институт. С тех пор они глубоко уважали друг друга, и годы совместной работы это уважение еще больше сцементировали.

— Так что же труднее, Евгений Оскарович,— воевать или восстанавливать?

— На нехватку работы и тогда не жаловались, и теперь жаловаться грех. Уже на двенадцати крупных предприятиях республики внедрена автоматическая сварка. Научились сваривать броню, научимся сваривать и трубы, цистерны и газопроводы.

— Как дела на «Запорожстали»?

— Автоматический метод сварки кожуха доменной печи во время монтажа домны обещает ускорить работу втрое.

— Ваш институт, Евгений Оскарович, давно уже для всей академии является прекрасным примером связи научной теории с практикой.

Мысленно он снова вернулся к беседе с Ириной Станишевской. Он ответил на ее сомнения — ответил для нее, не для себя, ответил как врач, который забывает о собственной

боли у постели больного. Станишевская много пережила, чувствует остро и глубоко. Они все сейчас на ратном поле после кровавой битвы, поле боя густо усеяно страшными воспоминаниями. Они только что пережили один из актов мировой трагедии, перед которой бледнеет гамлетовское «быть или не быть?». Вчера народ сказал — быть! И заплатил за право на бытие кровью, а сегодня — что сегодня?

— Своей жизнью, Евгений Оскарович, мы в эти дни решаем практически одну из кардинальнейших проблем человечества. После великих потрясений у каждого народа два пути: либо отравлять себя печальными воспоминаниями, либо строить на пепелище дом еще более прекрасный.

— Я за то, чтобы строить, Александр Александрович. Я инженер. И, кроме идейных убеждений, обладаю еще профессиональными симпатиями...

— А я — врач, Евгений Оскарович, и именно поэтому, наверно, так остро ощущаю боль. Да было бы странным, если бы такая страшная война не оставила после себя душевных травм. Вот почему наша положительная программа имеет, кроме всего прочего, также и большое терапевтическое значение.

— Вы напоминаете мне в эти дни зодчего.

— Я лишь добросовестно выполняю свои президентские обязанности. Но академия сейчас и в самом деле напоминает строительную площадку, и это радует меня необычайно. Вы только посмотрите, сколько мы строим! Атомные реакторы, книгохранилища, типографию, Ботанический сад, несколько жилых домов, восстанавливаем, расширяем и строим заново Институт электросварки, физико-технический, черной металлургии, энергетики, строительной механики, физики, ботаники. Правительство выделило академии сто миллионов рублей на восстановление и реконструкцию. На ближайшем заседании президиума я буду предлагать в связи с большим строительством в Киеве разработать план по капитальным объектам Академии наук на ближайшие пять лет. Возглавить эту комиссию я прошу вас, Евгений Оскарович.

— Думаете, старый Патон еще мало загружен?

— Кто больше везет, на того больше и нагружают, Евгений Оскарович. Это закономерно. Мы с вами, что и говорить, уже немолодые кони, но мы знаем, куда везти. Подпряжем молодежь — и в дорогу.

— Что ж, Александр Александрович, вы обладаете счастливым даром для организатора науки — умеете увлечь человека...

...«Жажду никогда жаждущий не утолит...» Гёте — мудрец, но сколько печальной иронии в финальной сцене

поэмы: Фауст провозглашает свой знаменитый монолог под аккомпанемент лопат, которыми копают ему могилу. Фауст останавливает не то мгновение, которое живет, он останавливает будущее мгновение, то мгновение, когда бы увидел «народ свободный на земле свободной». Народ, к которому принадлежит он, Богомолец, одолев чужеземных захватчиков, свободен и живет на свободной земле. Но остановить мгновение — такого желания никогда не возникало у Богомольца. Потому что нет человеческому познанию и человеческим устремлениям границ. Возможно, он именно теперь переживает высочайшее мгновение своей жизни, но самое высшее мгновение его народа — впереди, и так будет всегда. Возраст человека — возраст его соединительной ткани, но возраст народа на горизонте времени никто не начертил и не начертит. От взлета к взлету, от одного высокого мгновения к другому высокому мгновению шествует народ по тернистым дорогам истории, и в осознании этого — счастье личности.

— Александр Александрович, извините.

Он оторвался от окна — в кабинет входила Екатерина Череповская.

— Нужна ваша подпись, Александр Александрович. На списке сотрудников академии, которые срочно нуждаются в жилье. Для горисполкома.

Такой же список с момента возвращения академии в Киев не исчезал с его стола, однако президент еще раз внимательным взглядом окинул страницы документа.

— Сколько колоритных фамилий у нашего народа! Какое огромное поле для исследований филолога, да и историка! Кстати, в крошечной Остерской уездной земской управе, помню, в начале столетия работали Сорока, Горобец и Снегирь...

Екатерина Евсеевна засмеялась — легко и сердечно.

— А знаете, душенька, вы будете долго жить...

— Потому, что я работаю рядом с человеком, исследующим проблемы долголетия? — лукаво улыбнулась секретарь.

Богомолец шутливо погрозил пальцем:

— Не лукавьте, душенька. Вы будете долго жить потому, что любите труд, любите людей. Вы живете и работаете с улыбкой. Запомните, что улыбка и смех — продление жизни...

«... Какая ненадежная вещь — человеческая память,— подумал Богомолец, выходя из-за стола навстречу новой посетительнице — солидной, с круглым, исполненным убежденного самоуважения лицом женщине.— Память почти не фиксирует эволюции человеческой личности. Вот и мне уже

кажется, что Полина Павловна всегда была такой, как сейчас, а она же вырастала в эту пышную, изысканную, в золоте, даму из молоденькой и старательной аспиранточки на моих глазах».

— Александр Александрович, я требую объяснений!

— Извините, Полина Павловна, но сегодня на ученом совете института я говорил вполне исчерпывающе и в форме, доступной для доктора наук...

— А не думаете вы, товарищ президент, что я, возможно, двадцать пять лет училась для того, чтобы не здороваться первой с уборщицами и лаборантами!

— Я ненавижу барство, Полина Павловна,— тихо, но очень отчетливо промолвил Богомолец.— Вы стучите ножкой на технический персонал института, будто помещица на прислугу. Но мы живем в социалистической стране, где все равны — и профессор, и уборщица, и где научный работник обязан вести себя интеллигентно...

— Я не позволю, Александр Александрович!

— Нет, это я не позволю, Полина Павловна! — Глаза Богомольца, как всегда, когда он гневался, пронзительно, холодно синели.— Вы пришли не на базар, а к президенту Академии наук, прошу вас сесть и разговаривать спокойно...

Случай, о котором с возмущением говорил сегодня на ученом совете Богомолец, произошел на прошлой неделе. Полина Павловна пришла к заведующему хозяйством института за спиртом для своей лаборатории. Спирт выдавался лишь по требованию, которое подписывал заведующий отделом, а визировал директор. Подписи Богомольца на требовании не было, а вместо заведующего отделом подписалась сама Полина Павловна. Завхоз вполне резонно не выдал спирта. Полина Павловна обозвала его бюрократом, а когда завхоз попытался оправдаться, окончательно потеряла самообладание, кричала на него, топала ногами. Завхоз был человеком скромным и никому не пожаловался, но свидетели этой позорной сцены рассказали Богомольцу о случившемся, и его возмущению не было границ.

— Я проводила опыт, и мне крайне необходим был спирт,— нервно прикоснулась кончиками пальцев к сережкам в ушах Полина Павловна.

— Вы в самом деле вели себя, как помещица,— уже мягче и спокойнее сказал Богомолец,— и обижаться не нужно, а нужно посмотреть на себя критически. Смотреть на себя критически никому не хочется, но жизнь заставляет нас время от времени делать это. Вы меньше глотнули дореволюционной жизни, я — больше, и я вдоволь насмотрелся, как один человек унижал другого. Чтобы этого не было, много

прекрасных людей пожертвовали жизнью, Полина Павловна...

Полина Павловна молчала. А Богомолец смотрел на ее холеное лицо, покрывшееся сейчас розовыми пятнами, и думал, что микробы чванства проникают сквозь перегородки истории из одной эпохи в другую и борьба с ним требует постоянного внимания и профилактики. Один человек предрасположен к заболеванию, другой — нет, тут тоже своеобразная реактивность — реактивность душ.

— Что ж, Полина Павловна, я вас немного пожурил, не знаю, правильно ли вы меня поняли, но я обязан был вам помочь. Теперь давайте поговорим о вашем новом опыте. Я с большим интересом слежу за ним...

Когда дверь за Полиной Павловной закрылась, Богомолец прошел к столу, закурил. Дышалось тяжело, кашель то и дело стискивал грудь. Курение, безусловно, вредно для здоровья,— но он, несмотря на это, курил много. В санатории под Москвой академику Богомольцу рассказали анекдот про академика Богомольца. Якобы кто-то спрашивает Богомольца: «Александр Александрович, как продлить жизнь?» — «Курите?» — поинтересовался Богомолец. «Не курю».— «Пьете?» — «В рот не беру».— «Женщин любите?» — «Обхожу десятой дорогой».— «Зачем же продлевать такую жизнь?..» — удивляется академик Богомолец.

Он тогда долго смеялся, потому что любил остроумное слово, потому что в этой побасенке был и свой смысл, только цепочку вопроса нужно перекроить. Если жить вполсилы, можно жизнь продлить, но зачем тогда ее продлевать? Он сам никогда не умел да уже, наверное, никогда и не научится жить вполсилы. А сейчас он немного устал. У него нет приемных дней, он принимает всегда, когда свободен от важных заседаний. Когда чувствуешь, что нужен людям и можешь им помочь, сил становится больше. Но работа с людьми — дело трудное. Люди приходят, как путники к колодцу. Каждый колодец имеет дно. Только поддаваться усталости он не имеет права. Сегодня он едет в Москву, а еще нужно решить множество дел и заглянуть в «сумку с письмами». Он позвонил в гостиницу Левчановскому:

— Александр Митрофанович? Приезжай, дружище, в академию, ибо чувствую, что до самого поезда тут пробуду. Сейчас за тобой придет моя машина.

И тогда из далекого-далекого прошлого приплыло к Богомольцу воспоминание детских лет. Когда это было? Где-то в начале девяностых годов прошлого столетия. Отец возвратился из ссылки, и они жили в Нежине. Но еще до поездки на Кару. Следовательно, в тысяча восемьсот девяностом году. Как это странно звучит сегодня, в году тысяча девятьсот сорок пятом, после стольких мировых потрясений. Отец ку-

пил ему трехколесный велосипед, и они поехали в гости к Левчановским, на другой конец города. Точнее, отец пошел по тротуару, а он, Сашко Богомолец, ехал по пыльной немощеной улице. Было очень жарко, пыль скрипела на зубах, но Сашко Богомолец нажимал на педали и победно въехал во двор Левчановских. Дойти можно было за полчаса, он ехал не менее полутора часов, но, пересилив слабость, пересилил искушение отдать велосипед отцу и легко шлепать ногами по проторенной тропинке.

В дверь кабинета снова постучали. Группа ученых возвратилась из зарубежной командировки — заказывала оборудование для научно-исследовательских институтов. Руководитель группы протянул президенту пластинку.

— Бетховенская «Аппассионата», Александр Александрович. Исполняет Артур Шнабель.

Богомолец не скрывал искренней, почти детской радости. О его увлечении музыкой в академии знали, иногда, возвращаясь из командировок, дарили пластинки. Он любил Чайковского, Шопена, но Бетховена — особенно. Он любил в Бетховене его страсть и глубину чувств. Возможно, эта любовь передалась от отца. Или от матери, хотя мать не имела времени услаждать душу музыкой. Она знала иную музыку — музыку революции. Но музыка — это характер. Александр Александрович осторожно положил пластинку в ящик стола. Жаль, что не сможет прослушать ее до отъезда. Зато в Москве будет знать, что дома его ждет радость.

— Ну, товарищи, рассказывайте. Ждал вас с нетерпением...

После беседы с учеными Богомолец сел за стол, чтобы набросать проект письма в правительство. Пока он вернется из Москвы, работники аппарата академии подготовят и отправят письмо. Перо быстро побежало по белому бумажному полю, сея строчки ровных, четких букв. Нужно как можно быстрее принять меры, способствующие дальнейшему развитию украинской советской науки. Он знает, что у правительства ныне очень много забот, необходимо залечивать раны, причиненные республике фашистами, но он, президент Академии наук, глубоко убежден, что в двадцатом столетии движение общества вперед невозможно без научно-технического прогресса, и каждый день, упущенный теперь, болезненно откликнется в ближайшие десятилетия. Вот почему он обращается в Совет Народных Комиссаров с просьбой о кардинальной помощи научно-исследовательским учреждениям республики. Необходимо удовлетворить заявку Академии наук на импортное оборудование на сумму не менее восьми миллионов немецких марок. Для размещения заказов необходимо послать в Германию бригаду сотрудников Академии наук. Некоторые наиболее сложные приборы

в Германии не изготовляют, их придется заказывать в Соединенных Штатах Америки. Чрезвычайно важно для институтов Академии наук УССР, чтобы их заказы были выполнены как можно скорее. Институты ежедневно сталкиваются с нехваткой химически чистых реактивов, огнеустойчивой посуды, точных электроизмерительных приборов и тому подобное. Чтобы устранить эту нехватку, было бы целесообразным пустить на Украине фабрику химически чистых реактивов, а один из стекольных заводов обязать изготавливать высококачественную химическую посуду. Программы работ этих предприятий разработали бы специалисты академии. Опыт возглавляемого им Института экспериментальной биологии и патологии подтвердил особую целесообразность организации при институтах Академии наук небольших механических мастерских, монтирующих аппаратуру по заказам научных сотрудников, ведь очень часто среди стандартной аппаратуры не удается найти тех модификаций приборов, которые более всего подходят для определенного опыта. Такие мастерские могли бы делать приборы и для нужд других исследовательских учреждений. Для создания подобных мастерских необходимы высокоточные станки, соответствующий инструмент и качественное сырье. Кроме того, было бы своевременным построить на Украине завод точного приборостроения. До настоящего времени подготовка научно-исследовательских кадров носит хаотический, неорганизованный характер, научные институты не всегда имеют возможность привлечь к работе наиболее способных выпускников высших учебных заведений. Чтобы улучшить подготовку аспирантов, крайне необходимы общежития и столовые, ведь многие аспиранты имеют семьи, а забота о приготовлении пищи отнимает массу времени...

О чем он забыл? Да, денежное содержание для аспирантов. Ведь аспирант-докторант, имеющий звание кандидата наук, получает вдвое меньше, чем если бы он получал как старший научный сотрудник научно-исследовательского института. И указать, что удовлетворить эти неотложнейшие потребности необходимо как можно скорее, потому что воспитание научных кадров — процесс длительный, сложный, научный работник формируется после окончания им высшего учебного заведения не менее десяти лет, следовательно, речь идет не о сегодняшнем дне и не о завтрашнем, а о том дне, до которого он, Богомолец, наверное, не доживет, но о котором он очень заботится...

Президент неохотно оторвался от бумаги — в дверях стоял седой, в очках, с металлической оправой, в гимнастерке, подпоясанной строгим офицерским ремнем, незнакомый и словно бы знакомый человек. Из-за его спины выглядывала растерянная секретарша:

— Александр Александрович! Этот товарищ убеждает меня, что вы его ждете...

Богомолец медленно встает из-за стола, боясь ошибиться. Полуразрушенный хлев, с чердака которого можно прыгать в солому ледника, погреб, полный воды, по этому озерку приятно плавать в бочке из-под гнилой капусты, пещеры под бревнами, сад, обсаженный развесистыми вербами, и двое мальчиков в бархатных штанишках и розовых шелковых рубашечках в саду — Левчановские, Сашко и Николай. Неужели этот седой, согнувшийся под тяжестью лет, плечистый мужчина и есть Сашко Левчановский? В бархатных штанишках, розовых рубашечках братьев Левчановских отпускали в гости к Богомольцам, но разве индейцы (а они тогда, начитавшись Майн Рида, играли в индейцев) одевались в бархат и шелк? Левчановские снимали праздничную одежду, осторожно складывали ее в беседке и, вымазавшись в грязи, целехонький день очертя голову носились по саду.

— Александр!

— Сашко!..

Это был мгновенный полет в фантастической машине времени, возвращение туда, куда невозможно возвратиться и куда человек мысленно возвращается всю жизнь,— в детство.

— А помнишь старый развесистый каштан возле веранды? Там сначала была наша «резиденция». Но потом на веранде поместили больного деда, и мы перенесли «резиденцию» на вербы в конце сада. Неподалеку в круглой беседке часто сидел с книгой Александр Михайлович, но мы его не боялись, он не был домашней полицией. Крыжовник, смородина, яблоки, груши... Копанка и озерцо возле усадьбы. Земляные крепости с валами и рвом, стрелы из камыша...

— А помнишь, мы с отцом жили на Магерках, так называлось предместье Нежина...

— Третий дом от моста, неподалеку от усадьбы теток...

— Точно! И мы ходили по загустевшему болоту возле теткиного сада. Ты провалился по пояс, и отец сушил нас у себя в комнате да кормил яичницей с ветчиной, которую он собственноручно готовил на бензинке.

— А потом Александр Михайлович читал наизусть Тараса Шевченко — «Сон», «Кавказ», «Гайдамаки».

— А помнишь, как мы любили играть в городки!

— Пять фигур с пяти палок! Позавидовал бы сам академик Павлов, который, говорят, до глубокой старости увлекался городками.

— А помнишь то лето, когда ты появился в Нежине на настоящем английском велосипеде и мы состязались — кто

тише будет ехать. Ты умел останавливаться на одном месте и не трогался, пока нам не надоедало следить за часами. У нас ведь с Николаем надолго терпения не хватало.

— А помнишь...

Екатерина Череповская с бумагами в руках смотрела на них по-матерински мягко и снисходительно.

— Тут письма, Александр Александрович. Вы уже не успеете, я, наверное, сама займусь ими?

— От обязанностей слуги народа меня лишь смерть освободит. Я просмотрю, Александр Михайлович, надеюсь, извинит мне это. Кстати, знаешь, с чего началась моя президентская работа пятнадцать лет назад? Пришел на прием мальчишка из Остра и принес характеристику на своего отца, подписанную — кем ты думаешь? — земским врачом Александром Михайловичем Богомольцем! Отец мальчика работал с моим отцом в земской больнице на Остерщине. У него не было специального образования, но более опытного фельдшера я не встречал. Не без его влияния я и перешел с юридического на медицинский факультет университета. Теперь старый фельдшер просил меня засвидетельствовать подпись отца, он хотел еще работать, а его выпроваживали на пенсию. И я написал на характеристике: «Подпись моего отца, бывшего земского врача А. М. Богомольца, подтверждаю. Президент Всеукраинской Академии наук Александр Александрович Богомолец». Вот так замкнулся своеобразный круг.

— Этот документ достоин Музея Революции.

— Судьба каждого человека, которому выпало жить на грани эпох, исторически значима, только и всего. Екатерина Евсеевна, не смогли бы вы организовать нам чай?

— Я помню, как ты с отцом возвратился из поездки в Кару: вырос, похудел, посерьезнел. О матери ты и тогда ничего не рассказывал, а нам неудобно было расспрашивать.

— То, что я мальчишкой пережил на Каре, было таким глубоким, трагичным, настоящим, что я до сих пор боюсь разменять его на слова, потому и не люблю вспоминать о прошлом. Послушай-ка, что пишут президенту Академии наук: «Александр Александрович, у меня есть большое научное дело, но сам я этого не могу доказать, потому что я мало образованный человек, и настоящим прошу вас помочь. Это дело очень важное для нашей науки. Я хочу доказать, Александр Александрович, что такое природа, отчего она произошла и как она сотворила все живое на земле. Я точно вам расскажу, и вы со мной согласитесь, что земле нет ни конца ни края, и что на земле живем не только мы, и не одно солнце на весь мир, солнца на земле много, и людей не на небе нужно искать, а на земле, потому что

вверху все пространство занимает воздух и нет там никаких людей...»

Богомолец размешал сахар на дне темно-коричневого (он любил крепкий чай) стакана. Тонко звякнула о стекло ложка: звук этот был приятен, он успокаивал после утомительного дня, он был домашним,— и ему вдруг захотелось домой, на Виноградную — слушать музыку, пить чай и анализировать, выверять свою жизнь, жизнь ученого почти за полстолетия: он в это время работал над статьей «Основные направления работ». Прошлой ночью написал вступление к статье. Она начиналась так: «Ведущей проблемой, которой касаются почти все мои исследования, является проблема нормальной и патологической реактивности организма». Один из научных журналов давно просил его написать такую работу, но Богомолец все отнекивался, считая, что подытоживать сделанное еще рановато. Начал писать неожиданно для себя, возможно, под впечатлением тяжелой прошлогодней поездки по разрушенному Крещатику,— и увлекся. За окном, по ту сторону Владимирской улицы, сверкал в ярких лучах заходящего солнца Музей В. И. Ленина. Сегодня он уже не поработает над статьей — скоро уж и на вокзал.

— Но пора уже и поберечь себя, Александр,— промолвил Левчановский, сочувственно глядя в пригасшее лицо товарища детства.— Второй жизни не будет.

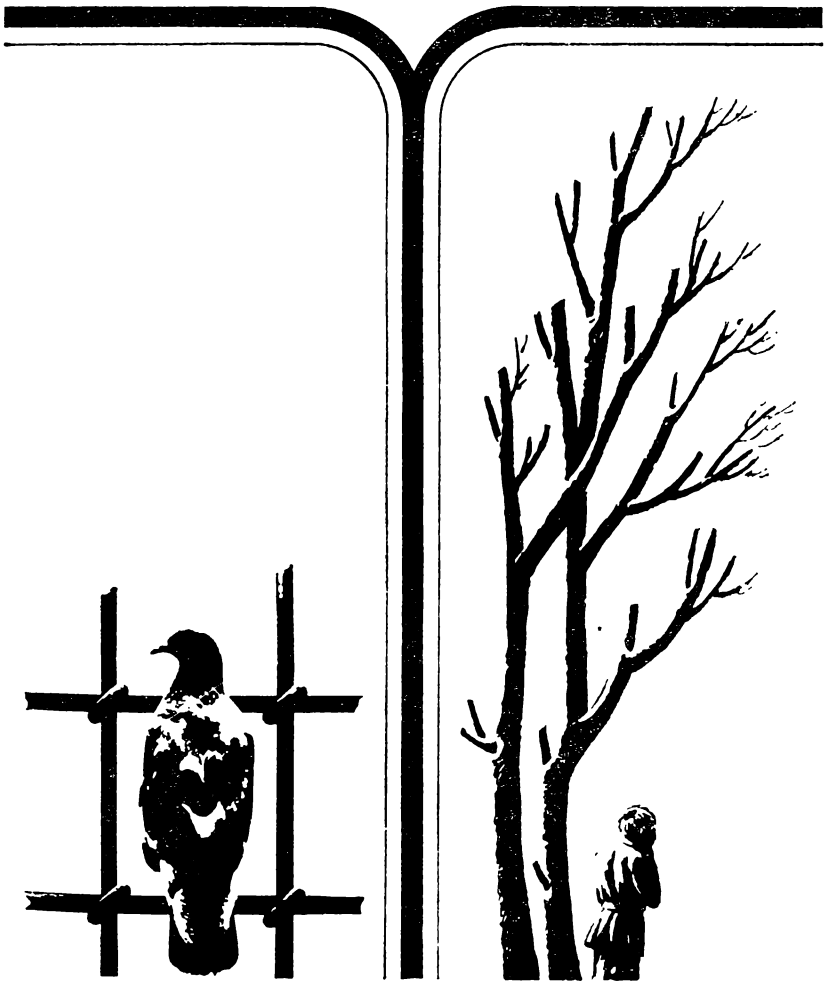
— Человек увлеченный, человек, живущий динамично, остановиться не может. Нет пределов человеческим желаниям, нет остановки, тут, признаю, я — не только сугубый теоретик. Наверное, желания необязательно беречь, это не лекарство, которое набирают в пипетку и экономно капают на рану. Желания, если они есть, берут в плен всего человека и уже не отпускают его до самой смерти. Возможно, если бы сейчас было другое время, я сказал бы себе: хватит, уважаемый Александр Александрович, слагай полномочия президента и занимайся только научной работой, ибо это есть та форма труда, где ты наиболее полезен людям. А еще лучше — добивайся академической пенсии и — в Староселье, на Днепр, дыши свежим воздухом и наблюдай, как опадают листья с дубов и осокорей, это прекрасное занятие, оно рождает много философских мыслей. Но так уж нашему поколению выпало — то революция, то гражданская, то первые пятилетки, то война, теперь — восстановление. Ритмы жизни, и какой жизни! Ты посмотри, какой масштаб, какой простор для работы! Работаешь — и хочется работать, живешь — и хочется жить. Вчера мы сидели целый день здесь, в академии, утверждали проект дальнейшего расширения Ботанического сада. Представь только: растения со всех континентов Земли — на днепровских склонах. Мы не доживем — дети доживут, сады над Днепром станут украшением Киева.

А в Голосееве мы задумали мощный Центр сельскохозяйственных наук. В том же Голосееве строим обсерваторию, которая будет изучать малые звезды. А циклофазотрон! Атомная энергия — будущее человечества. Я верю, что человечество будет иметь не только атомные бомбы, но и атомные электростанции. А наша неугомонная молодежь уже мечтает о машинах, которые будут думать! Не я один — тысячи людей этим занимаются, но я чувствую свою причастность к делам, определяющим будущее народа, и словно бы сам уже живу в этом будущем. Это прекрасное чувство, Сашко, и этим чувством вопреки всем болезням и усталости я счастлив. Возможно, я переживаю самое высокое мгновение в своей жизни, но я не скажу: «Время, остановись!» — и не потому, что боюсь смерти, а из-за того, что нет пределов моему желанию — жить и делать людям добро!..

1971—1976

ДОРОГА К МАТЕРИ

КНИГА ВТОРАЯ





1882.
ПОБЕГ

«Дорогой Александр,
думаю бежать, не дожидаясь тебя, может быть, удастся, обещали помощь с воли, из Кары бежать намного тяжелее, а с дороги легче всего, если есть хоть какая-то помощь извне; если бы ты приехал, когда я писала, то была бы уже свободна, ждать больше не могу; впереди беспросветная тьма, постылая неволя, жизнь, иссушающая мозг и душу... А жить так хочется, так неудержимо манит свобода, так жадно все существо мое просит дела... такое горячее желание видеть всех близких, дорогих людей, прижать к сердцу дитя мое дорогое...»

(Из письма Софьи Богомолец, перехваченного жандармами, к мужу А. М. Богомольцу)

«Начальнику Киевского губернского жандармского управления от надзирателя Киевской тюремной крепости 15 января 1882 года.

Пристав Старокиевского участка доставил для содержания во вверенной мне тюремной крепости политических арестантов...—13 сего января дворянина Александра Михайловича Богомольца.

О чем вашему высокоблагородию имею честь сообщить

Надзиратель крепости».

«...Пишут мне из нашей «всея Руси» препакостнейшие известия. Аресты и гонения, каких давно не бывало. ...И Богомолец арестован, и к нему никого не допускают.

...Сегодня утром получил из дома известие, что старшая сестра по дороге на Кару бежала...

(Из письма брата Софьи Богомолец Ивана Присецкого)

Скрипнула калитка. «Старшóго!» — крикнул часовой голосом хриплым, застуженным, но счастливым: пришла смена. Заговорил снег — во дворе женской тюрьмы, потом на крыльце. На подворье затопали, бряцнули винтовки, распахнулись двери камер — вечерняя поверка. У Софьиных нар солдаты замедлили было шаг,— сейчас пропахшая табаком рука урядника сдернет с ее головы полу халата, и она демонстративно возмутится: не дают покоя больной! — но шаги гулко затопали дальше, к камерам уголовных. Она закрыла глаза, притворяясь сонной, караул быстро вернется обратно, пусть солдаты привыкают к неподвижным, закутанным в тюремное тряпье фигурам на двух соседних, разделенных проходом нарах,— ее и Елизаветы Ковальской.

«Думай о чем-то приятном,— приказала себе Софья,— теперь ты никогда не бываешь одна, и только вот так, накрывшись с головой халатом, ты сможешь хоть на минутку остаться наедине с собой».

Усилием воли она вызвала в памяти серое, в соленых каплях осеннего дождя лицо Александра на волжском берегу, в Нижнем Новгороде, когда арестантов вели на баржу. Софья теперь помнила мужа лишь таким, все, что было до того, будто улетучилось из памяти. «Александрик мой...» — прошептала про себя, но уже в следующую минуту даже то серое, все в каплях дождя, похожих на слезы, лицо мужа исчезло, вместо него вспомнилась темная, тянущаяся через зеленую тайгу, борозда Сибирского тракта. Под босыми (казенные «коты» выдаются на шесть суток, а изнашиваются за два дня) ногами арестантов чавкала грязь, смешанная с первым снегом, звенели цепи, плакали дети, покрикивал конвой, скрипели колеса обоза, свистели кнуты над измученными, истощенными, как и люди, лошадьми, на подводах стонали больные, а из первых рядов партии, медленно тянувшейся к селу, плыла протяжная, тоскливая «милосердная». Офицер конвоя позволял петь ее, когда лица уголовных уже желтели от голода: «Милосердные наши батюшки, пожалейте нас, несчастных странников, не забывайте нас, бедных заключенных. Накормите нас и помогите нам, бедным, нуждающимся. Пожалейте нас, наши батюшки, пожалейте нас, наши матушки»...

Снова, без остановки, топот сапог через их, проходную, камеру. Ухнули двери, и еще раз — в кухне, заскрипел на разные голоса снег во дворе — караул менялся, вот-вот выйдет и заспешит домой надзирательница тюрьмы, ее выпустит уже новый часовой. Прибежала ли сегодня к надзирательнице подруга? Кажется, нет, но она забегает часто, солдаты привыкли, что надзирательница и ее товарка вместе выходят из тюрьмы.

Итак, они с Елизаветой Ковальской располагают только

этими несколькими минутами, пока солдаты, пройдя через их камеру, проверяют уголовных.

Заплакал ребенок. После топота солдатских сапог и звонко-гулкого перестука прикладов нежный детский плач в камере был звуком из иного мира. Голос ребенка поднял Софью с нар. Вспомнилось: у Сашка болел животик, всю ночь напролет она носила сына по камере киевской тюрьмы, со страхом поглядывая на светлеющий решетчатый квадратик окна, сына могли отобрать у нее каждую минуту, и каждый новый день был тогда похож на саднящую рану, которая открывается и снова и снова кровоточит. Мгновенно вспыхнувшая в сознании картина прошлого — как укол, глубокий, но уже не такой болезненный, как раньше: столько горя людского насмотрелась за это время Софья, что собственное померкло. На ее глазах дети задыхались в вонючем чаду тесных этапных тюрем, умирали от голода, в тифозном жару под дождем и снегом, замерзали у материнских грудей на сорокаградусном сибирском морозе, она слышала, как матери просили бога о великой милости для своих детей — быстрой смерти, и проклинали минуту, когда породили их. Ее сын рос у деда, хотя без отца и матери, но присмотренный и не голодный.

Детский плач, так похожий на Сашин, Софье не почудился: в углу камеры баюкала свою крохотную дочурку Елизавета Южакова.

В прошлом цюрихская студентка, она была арестована за участие в громком деле — экспроприации из херсонского губернского казначейства около двух миллионов рублей на нужды революционной борьбы. Елизавету выслали в Сибирь, в глухое селение Балаганск. Она попыталась бежать вместе с Игнатом Бачиным, политическим ссыльным. Пробирались тайгой от займища к займищу, выдавая себя за супружескую пару. Но им не повезло. Да и мало кому выпадало счастье бежать из Сибири. Теперь Игнат Бачин сидел в уголовной части тюрьмы по ту сторону реки, Елизавета с недавно родившимся ребенком — здесь. Они собирались пожениться перед новым путешествием, теперь уже под конвоем, в далекую Якутию.

— Разбудила вас моя крикуха? — Женщина пыталась улыбнуться, так улыбалась, если бы могла, трагическая маска.— Молоко у меня на казенной баланде пропадает, а она, глупышка, не понимает, требует свое. А у вас, Соня, есть дети?

— Я не спала,— Софья плотнее закуталась в халат из жесткой тюремной дерюги (она не слышала вопроса Южаковой, не хотела слышать, не имела права слышать) и села на краешек нар, где лежала Елизавета Ковальская.— Видите,

как мы напугали их своими протестами, уже смирились, что мы лежим во время вечерней поверки. Надо спешить, долго нас здесь не продержат. Все наши уже на Каре. А оттуда не вырваться, там стерегут на совесть.

...От тебя до сих пор ни одной весточки, Александр. Я писала тебе часто, пока мы плыли на барже, просила телеграфировать в Томск, но и в Томске от тебя ничего не было. Уже в Красноярске мы узнали, что жандармское пугало фон Беринг, который сопровождал нашу партию, из осторожности или из подлости не отправлял наши письма. Да и разве напишешь обо всем, что на душе, если знаешь: его холодные глазищи подозрительно ощупают каждое слово твоего письма, пока будет оттиснут штамп: «Просмотрено».

Зато для наших безмолвных бесед с тобой через пять тысяч километров не нужно разрешения жандармов, и я мысленно, как и в киевской тюрьме, разговариваю с тобой. Правда, делаю это все реже, не позволяю себе расслабиться, слишком больно думать о тебе и нашем ребенке без всякой надежды на скорую встречу,— только бередить рану. Но признаюсь — одному тебе! — в своей человеческой слабости: воспоминания своевольно нарушают запрет, и тогда сквозь холодный осенний дождь проступает твое лицо — на волжском берегу, когда отчаливала наша баржа. Нас оторвали друг от друга, может быть, навсегда, полоса воды между нами все расширялась, как это было больно, Александрик! Но — молчу... Еще никогда, кажется, я не любила тебя так, как люблю теперь. Даже в первые дни после замужества... Любовь, как и яблоко, должно дозреть, иногда на это нужны годы. Не завидуй, Александрик, влюбленным, которые могут каждую ночь лежать рядом и обниматься. Они не знают, как сладко любить, когда между любящими пол-Европы и уже пол-Азии. Посмотри на карту России и представь букашку, которая ползет по необозримой Сибири все дальше и дальше от тебя. Это бредет в неизвестность по скованному морозом Сибирскому тракту, по глухой, безмолвной тайге твоя «мудрость», как ты меня когда-то называл, твоя Софийка. Вот-вот забудется душным сном иркутская женская тюрьма, засну и я на дощатых нарах, завернувшись в халат из шинельного сукна, и встречусь во сне с тобой, увижу тебя, приласкаю нашего сынулю. До тех пор, пока не загремят засовы на тюремных дверях и хриплый голос начальника караула не сотрясет камеры:

— На по-вер-ку!..

И только в одном я не признаюсь тебе, Александрик: что вы с Сашулей уже не приходите ко мне во сне, а снятся мне в тюрьме только тюрьмы...

Она снова накрылась с головой халатом. Надо беречь силы. Если посчастливится бежать из тюрьмы — это только начало, первый шаг, потому что самая страшная тюрьма — Сибирь, стены ее — бескрайняя тайга, болота, мертвая снежная пустыня. Из огороженных кольями этапных тюрем убегают многие, но только счастливые одиночки вырываются из сибирской петли. Она должна вырваться, ей должно повезти — ведь она еще недоборолась, недолюбила, недожила.

Раньше, в киевской тюрьме, и после суда, в первые этапные месяцы, Софья любила сон. Сон даровал забытье, пусть и временное, сон был неподвластен жандармам. В тех первых тюремных снах ее душа отдыхала. Софья снилась себе свободной. Чаще всего: будто идет она (в длинном белом платье) по цветущему лугу, не идет даже, а летит: так ей молодо, легко и вольно, травы меняют свои волшебные цвета, как в калейдоскопе. Пробуждения были страшными — черные стены камеры, густой, словно деготь, воздух, настоянный на «парашном» смраде, клопы и вши, мгновенно пронзающая и оттого еще более острая безнадежность — до отчаяния.

И все же эти передышки, эти короткие побеги в сны оживляли.

Где-то уже в Сибири, на этапах, ей начали сниться тюремные камеры. Они были до ужаса одинаковы во всех этапных тюрьмах — продолговатые пеналы с крохотными решетчатыми оконцами под потолком. В эти пеналы набивали арестантов так, что негде было даже стать, но Софье они снились пустыми: она ходит вдоль стен, закопченных, окропленных красными пятнами (следы расправы заключенных с клопами и вшами), и вдруг нащупывает потайную дверь в стене и не выходит — выпархивает через нее. Это и было единственное, щемяще сладкое и радостное мгновение во сне, потому что за потайной дверью ее ждет такая же тюремная камера. Позже даже этих счастливых вспышек не стало, и только тюрьмы да этапы реально, тяжело, черно снились ей. И только теперь, когда исчезла эта минутная иллюзия свободы, дарованная снами, Софья в полной мере почувствовала, что она невольница.

Она снова приказала себе заснуть. Это так легко, только представить себе лодку, которую нежно несет Псёл, а ты лежишь в ней на спине, на пахучем, только что с луга сене, белые облачка и зеленые макушки верб плывут в твоих глазах, а пальцы опущенной за борт руки щекочет вода. Но вот она уже не в лодке, а на барже, огороженной проволочной сеткой, и вода за круглым грязным окном черная, осенняя: дикие берега Камы, такое же пустынное низкое небо, и сумерки, выползая из лесов, клубятся над рекой, закрывают непроглядной завесой весь белый свет. А над Софийкой торчит педантичный и трусливый фон Беринг, начальник кон-

воя, требует вернуть ножницы — ножницы из ее же несессера он выдает Софье каждое утро, а к вечеру, чуть начинает смеркаться, обязательно приходит за ними. Ножнички крохотные, они едва разрезают ткань, но фон Беринг щелкает каблуками:

— Я вынужден буду применить силу...

Софья поднимает голову и видит в сумерках его лицо: сухое, бледное, мертвое. Рука ее, протестуя, выхватывает из шитья ножницы и швыряет в затянутый жандармским мундиром призрак. Фон Беринг закрывается рукавом шинели, лицо его больше сморщивается, теперь оно похоже на череп в анатомическом кабинете акушерских курсов, которые Софья когда-то (кажется — в другой жизни) посещала, а череп холодно змеится бескровными устами:

— Я мог бы подать рапорт о нападении на офицера жандармского корпуса. Но я так не сделаю.

— Вас не хватит даже на это.

Фон Беринг поднимает ножницы и идет к дверям каюты, на глазах уменьшаясь ростом, пока не превращается в горбатого карлика, она презрительно смеется ему вслед, смеется над его пошлостью, его испугом, его канцелярским счастьем, которое ждет его, если он доставит партию политических без приключений и сдаст ее конвою в обмен на гербовую бумажку...

Софья проснулась от собственного смеха. А может, она и не спала. Фон Беринг рапорта не написал, чтобы не испортить другого рапорта, который пойдет в столичные канцелярии. Но во время их последней встречи во дворе красноярской пересыльной тюрьмы, где этапную партию несколько часов держали на лютом морозе, он мстительно ухмыльнулся. Софья поняла эту ухмылку позже, когда ее вызвали в тюремную контору,— администрация предложила политическим сфотографироваться, обещая послать снимки домой. Смотритель красноярской тюрьмы Островский, в свое время отбывавший наказание за уголовное преступление в этой же тюрьме и теперь выслужившийся до надзирателя, развалясь в кресле, молча ощупывал Богомолец нахальными глазами. Софья тоже молчала. Наконец Островский процедил сквозь зубы:

— Слушаю...

— Я хочу написать письмо родным и послать фотографию.

— Разве вы не понимаете, что это великая милость со стороны администрации тюрьмы, а милости так не просят.

— Я не умею просить.

— Научитесь...

— Боюсь, что и не научусь.

— Думаешь — с тобой здесь цацкаться будут?! — заорал

надзиратель, лицо его наливалось кровью...— Ты будешь швырять ножницы в глаза жандармским офицерам, а тебе за это в ножки кланяться?! Я с тебя дворянскую спесь собью, в тюрьме — не в маменькином имении. Ты здесь никто, в полной моей власти, захочу — раздавлю как вошь и буду прав пред богом и царем, против которого вы с жиру бунтуете.

Она повернулась и быстро вышла из кабинета, боясь, что не выдержит, набросится на этого негодяя, недавнего уголовника, жандармского лакея, даст пощечину, вопьется ногтями в его сизую от водки рожу. («Я обещала тебе, милый мой, ради нашего сына, ради нашей любви, скрывать свою ненависть, но разве это возможно, если ненавидишь их так, как ненавижу я! Нет, рассудочной осторожности твоя Софийка не научится никогда...») Канцелярия находилась за тюремной оградой — она бежала через двор, солдат с винтовкой едва поспевал за ней, мороз сушил слезы, и Софья впервые была благодарна сибирской стуже. Но в камере, среди своих, силы покинули ее, Софья упала на нары и разрыдалась. Узнав о стычке с надзирателем тюрьмы, политические отказались посылать домой фотографии и потребовали губернатора. Вместо губернатора в камеру политических явился жандармский офицер в сопровождении Островского.

Надзиратель топал ногами и брызгал в лицо Софье слюной:

— Меня власть поставила, я знаю, что делаю, а твое дело подчиняться!

Александр Долгушин, организатор революционного кружка в Петербурге, осужденный на десять лет каторги, вскочил с нар и дал Островскому пощечину. Вбежала стража, узников растащили по одиночным камерам. Политические потребовали сменить надзирателя и объявили голодовку. Через несколько дней тюремный врач докладывал губернатору, что многие из политических очень ослабли, изнурены этапами и могут умереть. Губернатор согласился временно устранить Островского. Александр Долгушин пока оставался в Красноярске дожидаться положенных ему дополнительно десяти или пятнадцати лет каторги: за протест в тюрьме правительство расплачивалось щедро. Партию политических спешно отправили по этапу.

«...С С. Н. Богомолец мы впервые встретились в Нижнем Новгороде в августе 1881 г. на арестантской барже. Дальше лежал этапный путь в Красноярск... Софья Николаевна Богомолец — урожденная Присецкая. Все молодое поколение этой семьи приняло деятельное участие в революционном движении и подвергалось притеснениям царского правительства.

...Попав в тюрьму, Софья Николаевна полностью отдалась борьбе с тюремщиками и вела ее страстно. В тюремщиках она видела душителей пленников самодержавия, стремящихся растоптать в своих жертвах все человеческое. И тюремщики не оставались перед ней в долгу».

А. Михайлов

«Во время суда над нами Богомолец получила конспиративно письмо с воли. Расшифровав его, она обратилась ко мне: «Скажите, намерены ли вы бежать, если присудят каторгу?» — «Намерена, если даже будет поселение».— «Рассчитываете ли вы на какую-то помощь с воли?» — «Нет, только на себя».— «Согласны бежать вместе со мной?» — «Согласна...» — «...Если вы твердо решили бежать, должна вам сообщить: я получила письмо с воли от близких мне людей, которые предлагают помочь побегу женщин, осужденных на каторгу».— «Напишите им, что мы согласны бежать».

Я полностью доверяла Богомолец, знала ее как человека, который серьезно относится к любому делу, и, не в пример киевлянам, строго придерживается конспирации... В Москве к Богомолец приходил на свидание ее муж, который в это время находился на свободе. Вернувшись с последнего свидания, Богомолец сообщила мне: «Киевляне помнят свое обещание, но говорят, что ближе, чем из Сибири, побег организовать нельзя».

Приходилось ждать, иного выхода не было... Весь долгий путь — в лютые морозы в напряженном состоянии, не зная, где и когда явится к нам помощь. В каждом встречном проезжем мы с замиранием сердца пытались узнать нашего спасителя. Так мы доехали до Иркутска. Утомленные, иззябшие, поздно вечером добрались мы до маленького деревянного домика на окраине города. Это была женская тюрьма...»

Е. Ковальская

В Иркутске Софья и Елизавета Ковальская прикинулись больными — здесь жило много киевлян, политических ссыльных, они обещали Софье организовать побег. Впрочем, болезней и не надо было выдумывать, чего-чего, а их хватало: больше года тюрем, этапов, голодовок, тысячи километров тайги, они и сами не понимали, как человек все это может выдержать и — жить. До Кары, по сибирским масштабам, было рукой подать — месяца три этапного пути. А бежать с каторги почти невозможно, надо бежать с дороги.

Софья сбросила с головы халат — все равно не заснуть. Бежать, во что бы то ни стало бежать! Перед глазами лишь тюремные камеры да жандармские рожи. Так скоро покажется, что иной жизни и не бывает... Она знала: человек,

упавший в колодец, жив до тех пор, пока видит над головой, далеко за срубом, голубой клочок неба.

Елизавета Южакова кормила девочку. Ржавый свет коптилки рассеивал мрак в углу камеры, и на нем мягко, как рисунок пастелью, проступал силуэт женщины, ее длинные, распущенные волосы, накинутая на плечи дерюжка, из-под которой белели груди. Она прижимала к себе запеленатого в шерстяной платок ребенка. Мгновенным желанием Софьи было перевернуть эту страницу, на которой нарисована кормящая мать, но Южакова подняла глаза и нежно (она все еще не видела ни решетки на окне, ни черных тюремных стен, ни деревянных нар, а только сонно умиротворенное личико младенца) прошептала одними губами:

— Заснула моя кроха...

Софья, осознав реальность картины, поднялась с нар и направилась к женщине с ребенком,— словно с мороза в тепло. Долго смотрела, как Елизавета укладывает дочь, отгораживая ее полой тулупа от насквозь промерзшей, заиндевевшей стены.

— И я своего сына в тюрьме родила. Трех недель не прошло, как у меня его забрали. Позвали в канцелярию, возвращаюсь, а ребенка в камере уже нет. Это после суда было. Думали, что я у них милости попрошу.— Софья говорила резко, но медленно, словно бросала слова по одному и ждала, пока они долетят до Южаковой, да не дождалась.— Меня — на каторгу, сына — деду с бабушкой отдали.

— А муж?

— Муж сегодня на воле, а завтра один бог знает, если бог, конечно, заглядывает в бумаги департамента полиции. Готовил для меня побег в Киеве, но ничего не вышло. Он поехал следом за нашей этапной партией до Москвы, потом до Нижнего Новгорода, там нас загнали на баржу, а он остался... Обещал, что догонит партию в Сибири... Я ждала его в Томске, в Красноярске, теперь здесь, в Иркутске. Не знаю, что и думать.

— Приедет — не ближний свет. Главное, что есть кого ждать, кого любить. Теперь вот и у меня есть моя кроха.— Елизавета коснулась губами головки ребенка.— Горяченький лобик, только бы не простудить. Радуюсь доченьке своей, а от этого еще более виноватой перед ней себя чувствую: мне на радость, а ей на горе родила на свет. Не думала, не гадала о ребенке, а вот появился. Бежали мы из Балаганска вместе с Игнатом Бачиным, за мужа и жену себя для конспирации выдавали — вот, доконспирировались. Вы, Софья, счастливая, даже не понимаете, какая вы счастливая — вы любите, по вашим глазам вижу, что любите. А я не люблю Игната, безразличен он мне, но под венец пойду, хочу, чтобы у доченьки моей был отец. И боюсь я, Сонечка,

одинокой в эту снежную пустыню, в тундру ехать, — ведь не на месяц, не на год, а на долгие годы. За побег из ссылки в Якутию гонят, в улусы, в юрты...

— И оттуда можно бежать! — убежденно сказала Софья.

— Ой, Сонечка, убежать можно отовсюду: и из тюрьмы, и с каторги, и из ссылки,— вздохнула Южакова, завязывая волосы в узел.— Но разве только здесь тюрьма? — она обвела глазами стены камеры. Тюрьма и по ту сторону стен, еще более страшная: Сибирь, тайга. Если не злые люди за глотку схватят, то природа-мачеха. Не сотни ведь, а тысячи верст, да каких — сибирских, морозных, снежных, бездорожных верст!

Софья оглянулась на дверь камеры уголовных и прошептала:

— А мы с Лизой надумали бежать. Боимся, что потом будет поздно.

— Спешить тоже не стоит, знаю по собственному опыту. С воли кто-то поможет?

— Обещают. Я переписываюсь.

— Я не отговариваю, не хочу, не имею права. Но если неудача — это еще пять лет каторги. К вашим десяти. А ребенок, муж...

— Если бы я думала о ребенке и муже больше, чем об общем деле, я бы сюда не попала, а плодила бы солдат для его величества императора российского. Бренчала бы на фортепьянах и пила кровь крестьянскую,— резко оборвала ее Софья.— Я еще в Киеве могла написать слезное прошение о помиловании, и, поверьте, мой батюшка, с таким-то козырем, уж достучался бы до самого помазанника... Я не хочу зря коптить небо в этих вшивых застенках, хочу дело делать, бороться, хочу всей этой серошинельной камарилье хоть немножко крови да попортить! А ребенок вырастет и без меня!

— Понимаю, Софья. Но мать есть мать...

— Я не мать, я революционерка!..— Софья вдруг всхлипнула, будто захлебнулась густым тюремным воздухом, и упала лицом на колени Южаковой. Тело ее дрожало от сдерживаемых рыданий, а сквозь стиснутые губы рвался протяжный, как от глубокой, невыносимой боли, стон. Проснулась, поднялась с нар Елизавета Ковальская, высокая, худощавая женщина, с властным суровым взглядом.

— Что с вами, Софья?!

— Да так, о наших бабских делах разболтались, вот у нее узелок на душе и развязался.— Южакова нежно гладила худенькие плечи Софьи. Тело ее уже не вздрагивало, успокаивалось, как успокаивается, стихает вдруг забурлившая вода, стоны тоже понемногу затихали, пока совсем не стихли.

— Софья говорила вам о наших планах? — Ковальская остро взглянула на Южакову.

— Потому-то у нас такой невеселый разговор и получился... Отсюда бежать, может быть, и легко, а вот Сибирь без надежной помощи не пройдешь.

— Помощь Софье обещали здесь, в Иркутске, ее киевские знакомые. Но без вашего согласия и помощи мы отсюда не убежим.

— Разумеется, я согласна.

— За помощь в побеге политических жандармы по головке не погладят,— я обязана вам об этом напомнить.

— Я знаю. Но дальше Якутии меня не пошлют — некуда дальше!

— Мы вам благодарны.

— За что благодарны? — Южакова посмотрела с укором.— Разве помощь при побеге — не долг революционера?

Казанцев, как и положено врачу тюремного ведомства, держался официально — во всем холодная, сдержанная вежливость.

— Попрошу вас глубоко вдохнуть.

Софья послушно вдыхала.

— Извольте выдохнуть.

Она с удовольствием выдыхала тюремный чад.

— Теперь кашляните, пожалуйста.

Пальцы Казанцева были сухие, острые, словно не знали, что такое боль.

— Извольте одеваться. Ваша болезнь проходит. Думаю, что можно готовиться в дорогу.

Софья молча кивнула. На пороге камеры стояла надзирательница — в обычном своем мещанском платьице, подвязанная в талии платком: жалуется, что кости ломит, день-деньской добровольно в тюрьме, служба, ясное дело, незавидная, но ведь дети, только ради них и живешь... На Софью она смотрела равнодушно, без тени участия,— глаза надзирательницы, но не женщины.

— Я снова плохо сплю, доктор,— пожаловалась Богомолец.

— Вот пилюля, выпейте перед сном, это вас успокоит,— Казанцев достал из саквояжа свернутую бумажку, подал Софье и быстрым шагом направился к камере уголовных. Надзирательница подалась следом. Софья отодвинулась от окна, затянутого морозом, проворно развернула бумажку. Там лежала пилюлька, а бумага была усеяна рядами мелких, как маковые зернышки, букв.

— Что пишут? — поглядывая на дверь, ведущую в камеры уголовных, прошептала Ковальская.

— Они спрашивают, когда мы сможем покинуть тюрьму. Я напишу — завтра.

— Боюсь, что мы не успеем приготовить одежду.

— Я буду шить всю ночь, но — только завтра! — лицо Софьи пылало.

Ковальская молча кивнула: она не очень доверяла Софьиным связям, киевские бунтари — люди темпераментные, но не очень уважающие конспирацию. Ехать в Киев ее и Николая Щедрина уговорил три года назад брат Софьи — Иван Присецкий. После очередной волны арестов в Петербурге. Было много планов и надежд, а сделать успели мало. Когда Присецкий рассказывал о разливе революционного половодья в Киеве, глаза его пылали, как вот сейчас у Софьи. Ему хотелось верить, что сил хоть отбавляй, и — верил. Жизнь в Киеве и впрямь била ключом, но было в этом оживлении и нечто карнавальное. По крайней мере, так показалось Ковальской и Щедрину. Киевляне плохо знали, что такое конспирация. Павел Иванов ходил по улицам в красной косоворотке, грива по плечи — за версту видно, что нигилист. В революционные кружки проникали агенты жандармского управления. От изменников и провокаторов, разумеется, не застрахована ни одна организация. Ни в Петербурге, ни в Москве, ни здесь, в Иркутске. Но когда впереди двадцать лет каторги — можно рисковать. Ну, будет двадцать пять, какая разница?..

Ковальскую и Софью Богомолец судил один и тот же военный суд, обе они формально принадлежали к одной революционной организации — киевскому «Южнорусскому рабочему союзу», но на воле они встречались мало. И то давно — еще в Харькове: дом Елизаветы Солнцевой — Ковальской она стала позже, после замужества,— служил пристанищем для местных и приезжих революционеров. Когда Софья приехала в Киев, Ковальская и Щедрин уже были за решеткой. Взгляды их на методы революционной борьбы тоже во многом отличались. Прокурор на процессе называл Софью Богомолец идейной силой «Союза», но она никогда не разделяла полностью программы, написанной Ковальской вместе с Николаем Щедриным, и потому даже отрицала свою принадлежность к организации. Ближе они познакомились и подружились уже после суда, по дороге в Сибирь...

— Нас встретят на мосту.

— Напишите, пусть держат в руках белые платки, мы — достанем свои. На мосту может стоять кто угодно. Вы хотя бы знаете их в лицо?

— Знаю одного. Это Володя Козловский, киевский студент. У Козловских одно время жили мой брат Иван и сестра Мария. Жандармы выследили Ивана, окружили дом, но он успел выскочить в окно и убежал оврагами. Против Марии

у жандармов тогда не было никаких улик: гостила у брата, только и всего. Но потом, на процессе, ей и это припомнили, вы знаете. У Володи Козловского...

— Меня не интересуют фамилии, тем более в этих стенах,— сухо остановила ее Ковальская.— Поспешите, вы не успеете написать ответ, Казанцев вот-вот пойдет обратно.

«...Обратили на себя внимание студент университета св. Владимира Владимир Козловский и проживающий с ним в одной квартире Иван Присецкий, которые были знакомы с революционными деятелями: Валерианом Осинским, Софьей Лешерн фон Герцфельд и Владимиром Дебогорием-Мокриевичем, а также из числа привлеченных по делу о последнем преступном обществе в Киеве с Поповым, Ивановым, Голубовым и Жуковым. Во время проведенного обыска найдено: в квартире и в других помещениях Козловского и Присецкого прокламация по поводу взрыва 19 ноября 1879 года на Московско-Курской железной дороге, пластинка для вырезки фальшивых печатей, революционное воззвание под названием «Обращение реалистов к обществу», книга «Правил для печатников» и записка, которая указывала на немаловажное значение в вышеупомянутом преступном обществе деятельности арестованного Попова, который намеревался устроить подкоп для взрыва и с этой целью ездил в Харьков за электрической батареей... В связи с этим Козловский также арестован, с появлением же в Киеве Присецкого, который до обыска успел исчезнуть, установлен надзор...»

(«Свод показаний, данных некоторыми арестованными в делах о государственных преступлениях»)

Да, Ковальская права, не надо называть имен, в тюрьме и стены имеют уши, это неконспиративно, но, Александрик, ты ведь знаешь, я не умею быть осторожной, рассудительной, я хочу на свободу, я хочу к тебе, к нашему ребенку. Конечно, после побега придется жить с чужим паспортом, и на Полтавщину в ближайшие годы дорога заказана, потому что там, подле сына, отца и больной матери, меня будут подстерегать синешинельники, но ты привезешь ко мне моего сыночка, мой цветочек, я становлюсь сентиментальной, сейчас я обуздаю себя, зажму в кулак (ты знаешь, что это я умею) и напишу на волю о нашем согласии бежать завтра же из этой постылой клетки.

Тюремный врач, неотступно сопровождаемый надзирательницей, вышел из камеры уголовных и тут на один-единственный миг Софья уловила на себе его не чиновничий, а

человеческий, живой, сочувственный взгляд. В следующее мгновение глаза врача снова подернулись туманом, будто облачились в мундир тюремного ведомства, но Софья, отвыкшая от сочувствия и нежности в тюрьмах, была благодарна и за этот минутный проблеск.

— Господин доктор,— Софья презрительно глянула на его аккуратную бородку, смотреть в глаза она боялась — вдруг не сдержится, вдруг повеет от нее теплом, благодарностью, сфальшивит в игре, и в сознании надзирательницы поселится подозрение,— я не желаю пить ваших лекарств.

— Извольте пояснить, по какой причине? — Казанцев тоже смотрел мимо Софьи.

— А если вы в сговоре с ними, с тюремщиками,— Софья кивнула на надзирательницу,— и получили приказ меня отравить?!

Она бросила бумажку с пилюлькой на пол, под ноги врачу.

— Что ж,— сухо промолвил Казанцев,— воля ваша.

Нагнулся, поднял завернутую в бумажку пилюлю. Потом повернулся к надзирательнице:

— Позаботьтесь, чтобы Богомолец регулярно выходила на прогулку, у нее плохо с нервами.

Официальный кивок головой, и уже хлопает дверь, лязгает замок, уже его нет — единственного, кто теперь связывает ее с волей.

— А об Александре снова ни словечка,— вздохнула Софья.

— Думаю, что вас давно ждут письма от мужа, но товарищам сейчас не до того. Да и что напишешь на клочке бумаги? — Ковальская утешала ее.

— Написали бы хоть что-то, они знают, как я жду. Уже месяц, как послала письмо через Казанцева. Александр непременно бы телеграфировал, если бы получил.— Она долго смотрела на окно, зачеркнутое решеткой, забеленное морозом,— никакого просвета...— Да что же это я, девоньки, расселась! Давайте тряпье, какое у кого найдется, будем готовиться к балу-маскараду...

Во время вечерней поверки солдаты, бросив настежь дверь в коридор, минуя их камеру, шли к уголовным. Надзирательница обычно спешила домой — дети, она оставляла тюрьму еще до поверки, но иногда и задерживалась. Часовой у ворот, из нового ночного караула, не мог знать, выходила надзирательница или нет. Ковальская фигурой похожа на надзирательницу, вот за нее она и будет себя выдавать, а Софья должна сойти за подругу надзирательницы, которая частенько забегает в тюрьму поточить лясы. Надо было успеть выйти из камер и со двора тюрьмы, пока новый караул не начнет считать уголовных. От них караул снова пройдет

через камеру политических, поэтому-то Ковальская и Богомолец, уже много вечеров подряд готовя задуманное, накрываются с головой халатами и требуют, чтобы караульные их не будили.

Допоздна шила Софья разные одежки, похожие на наряды надзирательницы и ее подруги, зимняя ночь — ранняя гостья, возможно, им и повезет, часовой не заметит камуфляжа. Легла, когда глаза уже нестерпимо резало. Неужели это ее последняя ночь в тюрьме? Конечно, последняя, сказала себе, последняя, последняя, последняя, будто заклинала, и с завтрашнего дня ей будут сниться только Александр и их малыш — Сашко, а не эти гнусные жандармские рожи, потому что она будет на воле.

Воля — какое легкое слово! Оно словно летит на крыльях.

И в ту же ночь Софье приснилось, будто она легкая, как паутинка, и может парить в небе. Приснилось, что гонится за ней толпа жандармов во главе с фон Берингом, а за их спинами тяжело переваливается толстый Островский. Уже настигают ее, уже протягивают волосатые ручищи, а она отталкивается от земли и взмывает ввысь, парит над тайгой, над сибирскими реками, летит, снова опускается на землю, а жандармы все гонятся, они уже близко. Еще усилие, рывок — и Софья под облаками, в белом платье или в свадебной фате, а жандармов внизу тьма-тьмущая, у них ружья, они останавливаются и целятся в нее, свободную, недосягаемую. Фон Беринг машет стеком — залп!

Софья вскакивает: хлопают двери, гулко топают сапоги, стучат приклады — утренняя поверка.

Они слушали.

Наконец стукнула кухонная дверь, надзирательница, покашливая, вышла на крыльцо: пойдет домой или дождется смены караула? Заскрипел снег под окном, взвизгнула калитка: надзирательница ушла. Уголовные за стеной играли в карты: смех, визг. Теперь — ждать вечерней поверки. Как обычно, Софья Богомолец и Ковальская лежали на нарах, с головой накрывшись халатами. Но в этот вечер они были одеты, обуты, закутаны в платки — совсем как иркутские мещаночки. За оградой прозвучала военная команда. Сменился часовой у калитки. От волнения у Софьи похолодели ноги — холод добрался до колен, казалось, ноги постепенно отмирают. Софья со страхом подумала, что когда наконец наступит решительная минута, она не найдет в себе сил подняться.

Сначала открылись входные двери из коридора, потом настежь распахнулись двери камеры — клубок холода по-

катился между нарами. В первые дни «обживания» иркутской тюрьмы Ковальская и Богомолец протестовали, когда солдаты караула вот так нагло выстуживали их небогатое теплом жилье. Теперь это сулило им свободу.

— Никак не могу заснуть,— пожаловалась из-под халата Ковальская.— И так все болит...

— Если бы эти дьяволы в шинелях не топали, как стадо,— нарочито громко ответила Софья.— Я уже спала.

Караул, не останавливаясь, проследовал к уголовным.

На обратном пути унтер-офицерские очи отметят сидящую Южакову и две привычно неподвижные фигуры, прикрытые тюремными дерюжками. Софья вскочила (не чувствовала ног, но они все же слушались), достала из-под нар кучу тряпья и прикрыла халатом. Все это проделывала механически, заученно, они с Ковальской за последние дни продумали и бессчетное количество раз повторили каждое движение. За порогом камеры все придется делать в первый и последний раз: независимо от того, посчастливится ли им выйти из тюрьмы, назад дороги не будет.

Ковальская уже стояла у двери, внешне спокойная, собранная. Софья даже позавидовала ей. Они кивнули подруге, заботливо баюкавшей на руках ребенка, и шагнули через порог навстречу серым, косматым клубам пара. Последнее, что Софья видела в камере,— широко раскрытые, полные тревоги, благословляющие глаза Елизаветы Южаковой.

— Не думала, не гадала, что попаду сегодня на пельмени,— как можно громче, чтобы услышал часовой, сказала в сенях Софья.— Своему и словом не обмолвилась, куда иду, подумает — к хахалю.

Голос был чужой, не ее голос. Ковальская в ответ засмеялась, и Софья удивилась, как естественно и непринужденно звучит ее смех. Елизавета легко и привычно сходила с крыльца, будто делала это ежедневно. Теперь они приближались к часовому, мешковатая фигура которого темнела в калитке. Часовой отступил за частокол. Женщины были уже по ту сторону ограды, когда солдат игриво крикнул:

— И меня б, тетушки, на пельмешки взяли!

— Свой такой дома — до пельмешек охочий,— отшутилась Ковальская, не оборачиваясь и не останавливаясь, низким, хрипловатым голосом надзирательницы.

— А я, может, моложе и ловчее!

— Старый конь борозды не испортит...— снова засмеялась Ковальская.

Снег звонко, слишком звонко заскрипел у них под ногами. Тюрьма понемногу отдалялась — черная бездна в сизом зимнем тумане. Поле по обочинам дороги, распластав белые крылья, летело навстречу. Впервые за много месяцев (больше года минуло со времени ареста в Киеве) Софья шла без

жандармского «почетного караула». Удивительно свежий после тюремного смрада воздух пьянил, и голова слегка кружилась. Софье вспомнилось, как возвращалась она по зимнему Киеву — Бибиковский бульвар, скверик возле университета — с вечеринки; на этой вечеринке познакомилась она с Александром Богомольцем, юным, красивым, проникновенный, задумчивый взгляд, высокий лоб, грива волос до плеч) студентом Киевского университета, будущим медиком и уже революционером (тогда каждого, кто приходил на тайные собрания студентов и гимназистов, она считала революционером). Так же падал снег, собираясь в белые облачка вокруг фонарей, она не шла — летела, кутаясь в пелерину от взглядов прохожих,— что, если вдруг встретится гимназическое начальство, она тогда училась — в каком классе гимназии? — не могла вспомнить, было это неимоверно давно, целых семь лет назад, только семь...

Воспоминания сейчас — когда так много положено на весы судьбы — великая роскошь: впереди заснеженное, скованное льдом лоно реки, на противоположном берегу — горбатые городские домики. Замаячил мост. На мосту две фигуры. Случайные прохожие? Ждут их? Промерзшие балки моста жалобным эхом отзываются на каждый шаг, будто вздыхают или всхлипывают. Время доставать платочки. Что-то забелело и в руках людей, стоящих на мосту. Софья замедлила шаг, Ковальская недоверчиво прижалась к перилам.

— Свои, свои, вас встречаем! — голос как будто знакомый, а что, если ошибка, последний раз она видела Володю Козловского три года назад, незадолго до обыска в домике Козловских на тихой киевской улице; они с Александром погостили у Козловских дня три и поехали на Кубань. Александр увлекся тогда производственными ассоциациями, а Софья больше верила в агитацию среди крестьян, жандармы шли по их следам, а точнее — намеревались выследить Ивана...

Раздумывать было некогда, Софью уже брали под руку. И снова тот же голос:

— Господи, Софья Николаевна, неужто это вы? Сам готовил побег, но не верил до последней минуты, что выберетесь из тюрьмы. Удивляюсь вашему мужеству. Какие характеры рождает время, какие характеры! Но сейчас вам с подругой нужно расстаться, мы поселим вас пока что отдельно, так безопаснее. Завтра в Иркутске такая буча поднимется!..

Она молча кивнула. Расставаться с Ковальской не хотелось, но ведь людям, которые их спасают, лучше знать. Елизавета и ее спутник уже скрылись из виду, исчезли в лабиринте вечернего города. Софья едва поспевала за

Козловским. Последний месяц, сказываясь тяжелобольной (чтобы подольше остаться в иркутской тюрьме), она почти не поднималась с постели и теперь быстро утомлялась. Они долго петляли по заснеженным улочкам, сторонясь освещенных окон и прохожих, пока не оказались на задах какой-то усадьбы. В глубине сада темнел крохотный флигелек. Козловский открыл дверь — из сеней повеяло теплом. Пропустив Софью вперед, он долго и старательно щелкал запорами. Наконец вспыхнула спичка, замигала свеча, выхватив из тьмы узкую деревянную кровать, стул, печурку, икону в углу. Единственное оконце в комнате было завешено шерстяным платком. Козловский поставил свечу на стул:

— Бедновато, но тепло, сбросьте казенный тулуп, Софья Николаевна.

Она взяла свечку, приподняла повыше; из темноты проглянуло лицо ее спасителя: худое, с потемневшими приморожеными щеками, обросшее, почти незнакомое, и только глаза — родные.

— Сибирь не молодит, Софья Николаевна...

— Вы, Владимир?! Борода вас изменила...

— Я,— невесело засмеялся Козловский,— кажется, я.

Она обеими руками схватила его широкую ладонь:

— Спасибо вам, спасибо!

— Пока не за что благодарить, Софья Николаевна. Вы только перебежали из одной тюрьмы в другую. Прогулялись, так сказать, по свежему воздуху.

— В Сибирь приезжает мой Александр, вот-вот будет здесь, мы договаривались... Он поможет мне выбраться отсюда.

— Александр Михайлович, должно быть, будет в Сибири, но не так скоро и не по своей воле. Александр Михайлович Богомолец арестован и ждет в киевской крепости суда. Вот так. Не хотел я вас огорчать, но вы, Софья Николаевна, мужественная женщина, можете позволить себе такую роскошь — знать правду, какой бы горькой она ни была...

Софья молча опустилась на стул. Пламя свечи в ее руке дрожало, словно задумалось и вот-вот погаснет.

Когда Софья подняла голову, глаза ее были сухими, только в них не было дна: два темных, в синих ободьях, провала.

— Как выбраться из Сибири?

— Нанять надежного проводника — и через тайгу, до Владивостока, там сесть на американский корабль... Но придется ждать лета.

— Вы знаете, я не могу ждать! Да и не для того я бежала из тюрьмы, чтобы улизнуть в Америку. Хочется дело делать! А если все мы разбежимся по заграницам, как мы-

ши...— резко оборвала она и умолкла.— Простите, Володя, нервы, переволновалась я сегодня.

Козловский снял с печурки зашумевший чайник, налил в медную кружку кипятку, развернул бумажный пакетик с колотым сахаром.

— У меня здесь припасено холодное мясо и хлеб, хотите есть?

— Я ужинала — там...

Думать о тюрьме было неприятно. Как вспоминать кошмарный сон. Взяла кружку с горячим чаем — она медово сияла при мигающем свете свечи. Одно из первых воспоминаний детства — медный овальный поднос с медным чайником и кофейной мельничкой, ручку которой ей позволяли крутить, из мельнички выдвигался крохотный ящичек, полный таинственных, будто из другого мира, запахов; еще на подносе стояли медный кувшинчик для сливок, медные купольца чашечек и звонок, которым мать вызывала горничную,— все глубоких медных тонов, теплое, ласкающее глаз.

Софья решительно отодвинула кружку и поднялась:

— Тепло здесь у вас, я уже отвыкла, а привыкать к теплу не стоит. В Америке и вообще в эмиграции мне делать нечего. Я еще слишком мало сделала, чтобы смотреть со стороны, как борются другие. Мне нужно в Европу, в Киев, и как можно скорее.

— В Киеве, Софья Николаевна, жандармы уже все так чисто подмели после вашего процесса, что вряд ли что-либо удастся сделать в ближайшее время. Все, кто осмеливался поднять голову, либо в тюрьмах, либо высланы в Сибирь. В последние месяцы арестовано около сотни товарищей, брали каждого, чье имя упоминалось в жандармских бумагах. Неужто вы думаете, что ваше появление в Киеве останется незамеченным? Да еще после побега из тюрьмы! Только прогуляетесь по России, и снова свидимся в этих краях... А вторично вырваться из-за решетки будет труднее...

— Всех, с кем я работала в Киеве, не арестуют, откуда тюрем набрать... Это был короткий, но такой емкий период моей жизни, Володя. Я читала лекции по политической экономии в рабочих кружках, и слово мое, я это видела, чувствовала, падало на плодотворную почву. Судьба подарила мне слишком мало времени, я только начинала понимать, что надо делать. Но и того, что сделано, уже не выкорчуют и целые армии жандармов. Я вернусь к рабочим и буду в кружках пропагандировать социализм до тех пор, пока меня снова не арестуют... Месяц такой работы стоит того, чтобы за него заплатить годами тюрьмы. А еще надеюсь помочь Александру. Если не в самом Киеве, так по дороге в эти края, что не удалось ему — удастся мне, я знаю...

— Воля ваша, Софья Николаевна. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить вас до железной дороги. У товарища, который пошел с Ковальской, вы с ним познакомитесь потом, есть в этом деле некоторый опыт. Он тоже нелегальный, скрывается в Иркутске. У него связь с ямщиками, развозящими почту по Сибирскому тракту. Они «по веревочке» будут передавать вас, так и доберетесь до первой железнодорожной станции за Уралом. Другого пути в Европу нет. А там уж полагайтесь на себя. Паспорт мы вам обеспечим. Но только вот надо выждать неделю-другую, пока уляжется буча после побега. Скоро ваше исчезновение заметят, если не заметили уже, и начнут розыск по всему губернаторству. Эта машина у них хорошо отрегулирована: перекрываются дороги, обыски, облавы, засады. А сейчас, Софья Николаевна, я должен идти. Наведаюсь к вам завтра, когда стемнеет. Из этой хижины выходить вам, разумеется, нельзя, сами понимаете. Наберитесь терпения. Хозяин усадьбы из сочувствующих, но осторожен: знает о вас и будто бы не знает.

— Обождите! — Софья боялась остаться наедине с мыслями об арестованном муже.— Топить можно?..

— Лучше ночью или на рассвете. Дрова в сенцах. Завтра я принесу книги, а пока отсыпайтесь. В дороге, которая вам предстоит, все может случиться.

Она закрыла за Козловским дверь, вернулась в комнату, дунула на свечу и, как была, одетая, упала на кровать, спрятала лицо в подушку.

Когда это было? В начале лета семьдесят шестого, кажется. Как нереально давно! Словно привиделось или приснилось. Зимой она написала родителям на Полтавщину, что оставляет гимназию, не желая увеличивать свой долг перед народом, и теперь будет работать и зарабатывать на себя, а еще — выходит замуж за молодого врача Александра Михайловича Богомольца. И вот она впервые предстала пред родительские очи с будущим мужем. Александр, хотя и было ему уже двадцать шесть, выглядел гораздо моложе, оба они в то лето были так молоды, оба верили в скорую победу разума и добра. Революционной волне, прокатившейся по России, казалось, не будет удержу, они чувствовали себя капельками той волны и были счастливы этим. Софья задыхалась от непримиримого огня в крови и пыталась разжечь пламя любви и ненависти в сердце каждого, с кем сталкивала ее судьба, даже своих родителей надеялась сделать революционерами, и оттого, что мало кто из окружающих хотел и способен был гореть так же, как она, бурно спорила и конфликтовала с родными. Александр, более рассудительный и уступчивый, не требовал от людей жертвенности во имя будущей революции, этим он понравился ее родителям,

и они почти простили такой самостоятельной и такой ребячливой дочери ее упрямое непослушание, короткую стрижку и тайно тешили себя надеждой, что этот врач, человек положительный, обуздает в конце концов непокорную, строптивую Софью.

Лето семьдесят шестого — идиллический островок в жизни их семьи, короткая остановка, затишье перед бурей, отдых, передышка. Так отдыхали давние их предки перед днепровскими порогами. И для всех Присецких это было последнее более или менее спокойное лето. Старшая сестра Ольга перешла в последний класс гимназии, много читала, хотела казаться очень взрослой, и действительно была разумной и серьезной. Младшая из сестер — Мария, Мизя, Мизинчик, как называли ее в семье,— заканчивала прогимназию. Родители не намеревались отдавать ее в гимназию (учеба нынче к добру не приводит) и присматривали среди ближайших соседей-помещиков выгодную партию. Перед братом Иваном открывался ровный путь к высоким чинам — он заканчивал кадетский корпус, отправлялся в столицу в военно-инженерное училище. А теперь и на Софью, судьбой которой так были обеспокоены родители, нашлась узда и тормоз — муж; осенью оба едут в Екатеринославскую губернию, где у Александра Михайловича будет медицинская практика.

Родители готовили приданое, чтобы семья уездного врача имела все, что надлежит иметь порядочному семейству. И лишь в последние дни лета родители узнают, что Александр Богомолец действительно будет практиковать в Екатеринославской губернии, но Софья едет не с мужем, а в Петербург, на женские медицинские курсы при Николаевском военном госпитале. И поднимается буря.

А пока что — погожие, спокойные дни в зеленой беседке, где солнце брызжет сквозь виноградные листья золотым цыганским дождем на любимые книги, на любимого Александра (белая вышитая рубашка, светлый лоб, длинные волосы, которые она любила ерошить), на ее легкое летнее платье. А пока что — ласковая вода Псла, которая берет тело в теплые ладони и баюкает, как в колыбели, и зеленый берег залит солнцем, оно нежит, вдыхает в тело жизненные силы на долгие тюремные годы, на долгие тюремные годы...

Мрак последних лет, смрадные тюремные сумерки снова заслоняют тебя, Александрик, прежнего, счастливого, от меня, но усилием памяти (сегодня у меня есть на это силы) я разрываю их, и снова мы, омытые нашей теплой речкой, напоенные солнцем и любовью, идем, взявшись за руки, по све-

жескошенному лугу, из камыша выглядывает сиреневый месяц, а в зените розовеют перья туч, будто следы дня, босиком прошедшего по небу и исчезнувшего за горизонтом, и белые аисты на копнах молодого пахучего сена... Сейчас я запрещаю себе воспоминания, это слишком больно, даже для твоей Софьи; только в последний раз — ты в саду, над обрывом, с которого виден наш заливной луг, опоясанный Пслом, а месяц бледный и мудрый, как твое чело, которое я люблю целовать, прижавшись к тебе; я боюсь шевельнуться, чтобы не вспугнуть мгновение, прекрасное как сказочная птица (помнишь иссиня-золотую сизоворонку), потому что знаю: таких мгновений будет мало в нашей жизни (иногда мы, женщины, становимся так самоуверенны, что верим, будто бег времени подчиняется нашей воле, а может быть, так оно и есть), а ты потихоньку напеваешь свою, и уже мою, любимую:

Закувала та сива зозуля
Рано-вранці на зорі...

А теперь ты в тюрьме, и возможно, в той же камере киевской крепости, где я родила нашего Сашка, где прожила с ним счастливые две недели — мое короткое материнство (оказывается, и в тюрьме можно быть счастливой) и где отобрали у меня сыночка (мне тогда так больно было, как будто разорвали надвое, но они не увидели моих слез!). Это наши с Сашком тени остались на закопченных стенах твоей камеры! Один из красноярских тюремных держиморд, надзиратель Островский, удивлялся: «Чего еще вам, дворянам, не хватает, что бунтуете?! С жиру беситесь! Я вот не дворянин, никто никогда и куска хлеба даром мне не дал, а служу царю верой и правдой!» И он по-своему прав: чего нам не хватало? Моего состояния и твоего, приобретенного кровью крепостных, хватило бы, чтобы мы до конца своих дней по полгода нежились на крымских и кавказских курортах, а вторую половину года попивали чаи из самоваров в уютных киевских гостиных. А еще твоя прибыльная профессия — только не стыдись залезать в карманы доверчивых больных. Мы могли продлить сладкие минуты забытья над обрывом, где я тебя обнимала, на все отведенные нам годы. В конце концов, цель жизни — жизнь с ее радостями, а не добровольная смерть в тюрьмах. От нас требовалось одно: чтобы мы заплатили за право на житейские радости нашими душами. Чтобы мы закрыли глаза на все, что делается вокруг. Мы даже не торговались — такая плата для нас не была и никогда не станет возможной. Мы не родились героями, мы обыкновенные люди: мы только поступили так, как требовала наша совесть. Это естественно, иначе и быть не могло. У нас просто не было выбора: в нашей деспотической импе-

рии для честного человека, который не может торговать своими убеждениями, судьба готовит единственный путь — многострадальный Сибирский тракт. Впрочем, что я говорю: выбор был, ведь могли мы все видеть, все понимать и — молчать, иронизируя над царским строем шепотом, с глазу на глаз, под пуховым одеялом, за закрытыми ставнями... Но ведь это позорнее, чем быть циничными держимордами, надзирателями во всероссийской тюрьме, палачами,— те, по крайней мере, не оправдывают себя и не изрекают велеречивых интеллигентских сентенций по поводу фиги в кармане.

Значит, все так и должно было случиться, как случилось, нам не в чем себя упрекнуть; я вот-вот засну впервые за последний год не на нарах и не в тюремной камере, хотя и недалеко от них. С порога иркутской тюрьмы (только бы не переступить мне снова этого порога; я уже поверила, что отныне свободна, не люблю быть в клетке, муж мой дорогой, не создана я для клетки, твоя Софийка любит свободу, да и кто ее не любит) в тюрьму киевскую шлю тебе, мой любимый, привет...

Прости мне минутную сентиментальность.

Она почувствовала в предутреннем полусне, как выстуживается изба, и проснулась. Не зажигая свечи, затопила печурку. Накинула на плечи тулупчик, долго сидела у раскрытой дверцы. Огонь она любила с детства. Огонь жил в камине, в зале. Днем он спал, прикинувшись кучкой серого пепла (он был похож тогда на мертвую птичку), а вечером распластывал золотые крылья и становился иволгой (иволги жили в вербах над прудом), трепещущей иволгой, что бьется в розово-черной клетке камина и никак не может взлететь; через какое-то время огонь уставал бороться, сворачивался в пурпурный комочек, крылья опадали и мертвели, обволакивались пеплом, огонь делался белесым, будто хотел замаскироваться. Перед сном Софийка придумывала сказки про огонь, который она освобождала из клетки и огонь крылатой солнечной птицей взмывал в небо. Девушкой она полюбила свободный огонь — в саду, когда садовник жег прошлогоднюю листву, на берегах Псла — под праздник Ивана Купала. Зажигали этот огонь, пускали на воду украшенный свечками венок сельские девчата и хлопцы, а барышни ходили смотреть, как развлекается простонародье. Как-то и ее отпустили в ночное, не на всю ночь, правда, а пока луна взойдет. Софья скакала верхом, следом ехал отцовский кучер. Дикое пламя разожженного пастухами костра разрывало ночь, тогда казалось — до самых звезд, костер запомнился. В детстве она была очень самостоятельной и упрямой, первые слова, которые научилась говорить после «мама» и «папа»,— «я сама», буква «с» не давалась, и это звучало: «я

шама». В куклы никогда не играла: нарумяненные, набитые ватой, одетые во множество красивых одежек, привезенные отцом из столицы, они так новенькими и нетронутыми переходили по наследству к младшей сестре, а Софья до самой прогимназии играла с сельскими детьми в запорожских казаков и гайдамаков, память о которых еще жила на Полтавщине.

Софья закрыла дверцы печки с дотлевающим, сникшим жаром, подошла к оконцу, отодвинула занавеску. Утреннее солнце лежало на замерзших стеклах продолговатыми розовыми космами. От печки веяло теплом, и стекла покрывались прозрачными льдинками, но Софья не хотела ждать, пока они оттают, продышала луночки. Первое, что бросилось в глаза,— бревенчатая стена, похожая на тюремную, и она внутренне содрогнулась: на мгновение показалось, что все ей только приснилось — побег, кружение по ночному Иркутску, разговор с Козловским. Потом поняла — перед ней глухая стена приземистого сарая в снежной шапке. Сбоку темнел частокол и три молодые березки вдоль него — словно свечки. Окно выходило на белый, разрисованный заиндевевшим сухим бурьяном огородик. Ни звука не доносилось из-за частокола, возможно, там была такая же улочка или такой же огород; мир, казалось, сузился до размеров белой полянки под окном с тремя березками, увешанными редкими медяшками уцелевших листочков, и лоскута яркого, но холодного неба над ней.

Софья пила чай и смотрела, как оттаивают, будто линяют на глазах, окна, вода собиралась на подоконнике, пока не потекла на пол звонкой струйкой. Стайка снегирей прилетела на огород, красными фонариками повисла на гнущихся веточках бурьяна, это было красиво — красное на ослепительно белом фоне. Серый пушистый кот шел по гребню частокола, хищно поглядывая на снегирей, да как прыгнет в огород. Почти невидимый, он стлался по снегу, но птицы заметили его, вспорхнули и исчезли, кот долго смотрел им вслед, потом и он исчез в каком-то уже недоступном для Софьиных глаз мире, только веревочка следов осталась на пороше. Тень от частокола, все суживающаяся, начала снова расти, в тени снег был сизоватый, как рафинад на сколе. На миг появился дятел, пестрый, карнавальный, побежал по стволу березы и исчез — не привиделся ли? Софья смотрела на эти всплески жизни широко раскрытыми, жадными глазами и не могла утолить жажды. Это был ее, только ее театрик, спектакль для нее, хотя и длинный, на весь день, но завершенный, и она с тоской думала, что вот-вот упадет занавес — наступит ночь. День действительно угасал, смеркалось, но Софья была благодарна судьбе и за этот короткий отдых души.

...Вечером в дверь трижды, как и было условлено, постучали. Софья осторожно отодвинула занавеску: Козловский. Он был встревожен, угнетен, не присел даже, все ходил по комнате, нервно покашливая в ладони.

— Что, плохие известия?

В ее голосе не было страха, скорее сочувствие, чуть ироническое. Она недолюбливала нервных мужчин. Козловский почувствовал насмешку и поспешно спрятал руки в карманы тулупчика, привалился к дверному косяку.

— Плохого пока еще ничего нет, но обыски идут по городу, и весьма густо, хозяин перепугался, свободомыслие его мигом выветрилось, просит забрать вас. Вы, конечно, слышали о неудачном побеге из красноярской тюрьмы Малявского? В тюрьме ему помогал Долгушин, а на воле — сестра Долгушина, дочь прокурора. Долгушину за помощь при побеге политического дали пятнадцать лет каторги, а его сестру сослали в Якутию. И это прокурорских детей! Люди наслышаны и боятся.

— Запасная квартира есть?

— Только та, где теперь Ковальская.

— Идемте,— Софья решительно поднялась, начала одеваться. Ей было жаль своего уединенного, такого тихого, после этапного многолюдья, пристанища, жаль этого окна и огорода за окном — завтра снова прилетят снегири и дятел, но ее уж не будет здесь, не будет никогда, но крохотный живой театрик она запомнит надолго. А может быть, короткий, меланхолический зимний день у окна — это все, чего она добилась своим побегом?

— Жить отдельно от Ковальской сейчас безопаснее для вас. Я вот мысленно перебираю своих знакомых в Иркутске, кто-то из них да согласится вас принять. Мой долг — сберечь вас во что бы то ни стало.

— Беду не кличут, она приходит сама, Володя, независимо от нас... Я уговорила Ковальскую бежать из тюрьмы и разделю ее участь. Если мы выберемся из Сибири, то только вдвоем. Я и так корю себя, что оставила ее на незнакомых людей.

— Люди, у которых теперь Ковальская, надежные.

Софья погасила свечу и вышла в ночь.

Теперь они шли по глухим околицам Иркутска. Кое-где светились окна занесенных снегом изб. Козловский осторожно обходил их, проклиная снег, звонко скрипевший под ногами. Софью завораживали освещенные, не прикрытые ставнями окна. Она замедляла шаги, стесняясь своего любопытства, заглядывала в души жилищ. В большинстве окошек светлели проталины — быть крепкому морозу,— но в призрачном свете свечей разглядеть за ними что-либо было трудно. Порой ей везло, и взгляду открывались трогатель-

ные картины: семья у самовара, женщина с шитьем на коленях, мать, пеленающая или кормящая ребенка. Она и раньше любила глядеть в вечерние окна, а теперь, после тюремных камер, где казалось, что в мире только и существуют совиные лица жандармов, толпы измученных, обездоленных людей, укутанных в мешки из рогожи, лязг цепей, каменные ловушки стен, эти видения из полузабытой, почти нереальной теперь для нее жизни она вбирала с жадностью. Особенно трогали Софью дети. Дети были и в тюрьмах, брели с осужденными родителями по Сибирскому тракту, замерзали в дороге, умирали от горячки в этапных тюрьмах, и не единожды, каждый день, сердце обливалось кровью. Но ее сын, мать и отец — все, чем она когда-то жила, существовало вне этого подневольного, закованного в цепи мира, и теперь она словно бы приближалась к ним, своим любимым и родным. В одном из окон Софья увидела не старого еще мужчину и мальчика лет шести-семи, сидящих за столом, женщина несла от печки миску с ужином, хозяин резал хлеб, прижав к груди буханку, а мальчик смешно, неуклюже держал в обеих руках ложку; женщина поставила миску на стол, подняла глаза — спокойная, тихая радость светилась в них.

Софья отшатнулась, догнала Козловского и больше уже не задерживалась у окон. Они вошли в темневший на самом краю поля дом. В длинной и узкой комнате, напоминавшей камеру, Софья сразу же увидела Елизавету Ковальскую и бросилась к ней, как к самому родному человеку, с которым рассталась не накануне, а бог знает когда. А может, за этим порывом пряталась она от видений за освещенными окнами, от тоски по семейному уюту и теплу... Да, несмотря на несхожесть характеров, различие взглядов на пути революции, подумала потом Софья, с Ковальской ее роднит что-то значительно большее, чем с той молодой матерью из занесенного снегами домика, радостно и терпеливо несущей сквозь будни свою горькую и вместе с тем сладкую жизненную ношу, которой было Софья на миг позавидовала. И раньше, в тюрьме, ей приходила мысль, что все они, отгороженные от будничного мира глухими стенами, словно бы выпали из общего потока жизни и живут по отличным от всех законов эпохи своим собственным законам. Миллионы людей влюблялись, женились, расходились, воспитывали детей, копили деньги, складывая копейку к копейке на приданое, на теплый угол, на клочок земли, который можно огородить и чувствовать себя на нем хозяином, гнулись перед сильными мира сего ради денег, орденских ленточек, ступеньки на общественной лестнице: миллионы счастливые и менее счастливые, удачливые и невезучие, богатые, бедные и не очень бедные радели о теплом семейном гнезде и, любя друг друга, перед сном просили бога о единой милости: пусть завтра нам будет

не хуже, чем сегодня, пусть будет спокойно в мире. И на всю необозримую империю только горсточка отчаянных беспокоилась не о себе, брошенные в каменные мешки, закованные в цепи, они жили будущим общечеловеческим счастьем. Это добровольное отчуждение от вся и всех во имя всех порой пугало, как пугает и кружит голову высота, когда поднимешься на вершину горы и глянешь вниз, но оно же и возносило над всем будничным, над мелкими человеческими слабостями, оно придавало им нечеловеческие силы и упорство, поражавшие даже врагов...

Козловский попросил разбудить его в полночь, лег на полу, накрылся полой тулупа и тотчас же заснул, а они с Елизаветой сидели на кровати, прижавшись друг к другу, шепотом разговаривали и не могли наговориться: расстались сутки назад, но сутки на воле, пусть и относительной, после года тюрьмы и этапных мучений казались такими наполненными впечатлениями и чувствами!

В памяти Софьи от тех дней останутся лишь рождественские огоньки снегирей в белом огороде, да освещенные окна домика на окраине Иркутска.

А потом были длинные, однообразные, как в тюрьме, дни, только что не черные, а белые: за окном их комнатенки, насколько хватал глаз, лежало снежное поле. Раз в день через него переваливало с востока на запад солнце, но никогда не возвращалось назад, и каждый вечер Софье казалось, что это навеки, и солнце больше не появится на белой черте. Но утром солнце снова являлось над заснеженным горизонтом, красное от мороза, и поле за окном растягивалось на полмира, манило, звало, обещая свободу, жизнь, свидание с родными, борьбу, а они с Елизаветой жались в комнатенке, как звери в клетке,— ждали неведомо чего. Отъезд откладывался со дня на день — вот-вот должны прибыть в Иркутск ямщики, которым можно доверять, «по веревочке» они доставят их к железной дороге, должны, но их все не было. По городу шныряли переодетые жандармы, полиция делала налеты с обысками на квартиры неблагонадежных интеллигентов, дороги из города давно были перекрыты. Им оставалось одно — затаиться и лежать, выжидая, положившись на счастье, на судьбу. Побег не был как следует подготовлен, теперь Софья понимала правоту Александра, во время коротких свиданий в тюрьме умолявшего не торопиться с побегом, дождаться его приезда. Огражденный частоколом загон для арестантов — это еще полтюрьмы, Сибирь — вот тюрьма, убежать из которой почти невозможно. Надо знать Сибирь, чтобы в это поверить.

Но Софья все равно бежала бы, узнав об аресте Александра, днем раньше, днем позже, какая разница! Не бежать — просто не могла: тюрьма оказалась страшнее, чем думалось, и страшна она не голодом, холодом, разлукой с близкими, все это она вынесла, вытерпела бы. Тюрьма страшна бездеятельностью. День без дела, которому посвящена жизнь, погибший, безвозвратно утраченный день. Он тянется неимоверно долго, прожить его равносильно ожиданию, пока капля ледяной воды упадет на темя,— кажется, испанская инквизиция придумала такую пытку. Софья не боялась боли, физических страданий, но быть похороненной заживо — выше ее сил.

Она хотела так мало и так много — жить.

«Я постараюсь задержаться в Иркутске до лета, если ты до апреля не получишь известия о моем побеге, то не выезжай, как собирался раньше; по приезде моем на Кару тебе будет послана телеграмма; денег на руках у меня мало, но, кажется, можно достать. Если я получу отказ в значительной помощи, то бежать без тебя не буду; не волнуйся, любимый мой, верь, что на ощупь ничего делать не стану. До свидания, спешу закончить, крепко тебя целую, Олю, мальчика моего любимого... Хорошо, если бы еще кто-то приехал в Сибирь, пиши чаще и всегда сообщай адрес телеграфом; скажи это и Оле. Тоска страшная; будь здоров и не тоскуй, я здорова. Павел еще в Красноярске, централисты на днях пошли на Кару, я должна была идти вместе с ними, но осталась тут из-за болезни, имея в виду побег. Приветствуй всех».

Из письма Софьи Богомолец, перехваченного жандармами, к А. М. Богомольцу

«Государь император в 6 день апреля 1883 года высочайше повелеть изволил: выслать для проживания в городах Западной Сибири по усмотрению министерства внутренних дел на четыре года Александра Богомольца.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ».

«...Вашего сына... мы любим, как своего ребенка. Жизнь наша сложилась так, что чем скорее смерть, тем лучше. Если вы поедете к Софье, у вас еще будут дети. Но будете ли вы счастливы с ними. Дети — это радость и горе родителей. Забыть, не любить их не в природе человеческой, но как счастлив тот, кто их никогда не имел. Какое горе может срав-

ниться с горем человека, когда дети гибнут, а помочь им не можешь... Желаю вам всего доброго. Сын ваш здоровенький».

Из письма матери Софьи Богомолец А. М. Богомольцу

В эти долгие, исполненные ожидания дни Софья иногда позволяла себе помечтать. Она закрывала глаза и представляла себя по ту сторону Уральских гор, в Европе. Вот она с паспортом на чужое имя садится в поезд: Москва, потом Киев, в Киеве уже цветут каштаны, а может быть, тополиный пух, теплый, щекочущий, коснется лица. Это лирика, но раньше мая она действительно не доберется до Киева. Синий Днепр на полмира, и золотые маковки соборов на зеленых холмах, и будет цвести сирень на склонах, снова лирика; на вокзале она возьмет извозчика, берега Лыбеди в желтых кувшинках... сначала она поедет... К кому же она сначала поедет? Ее уже будут искать в Киеве: и на вокзале, и в гостиницах, и на квартирах знакомых жандармские ловушки. Впрочем, почти все, кого она знала до сих пор в Киеве, либо здесь, в Сибири, либо в центральных тюрьмах, либо в эмиграции, впрочем, наверное, появились уже новые люди, москвичи дадут ей их адреса. Но разве и в Москве не то же самое? Но вот ей посчастливилось пройти сквозь все препятствия, она расплачивается с извозчиком, поднимается на деревянное крыльцо домика где-то на Шулявке, в рабочем предместье Киева, ей открывают, она называет пароль, проходит в гостиную — навстречу ей встает Александр, он либо бежал из тюрьмы, либо его выпустили за отсутствием улик — Александр осторожный; он идет ей навстречу, распростерши руки, и тут, наверное, она упадет от радости, нет, она не покажет, как поражена неожиданной встречей, просто обнимет его, на минуту прильнет к мужу...

У Софьи перехватывало дыхание, она широко открывала глаза, чтобы спастись от острой, пронизывающей все тело радостной боли, похожей на счастливый крик, на теплую пенистую волну, которой тебя вдруг захлестывает море, а когда вновь зажмурилась, они с Александром уже ехали в Климово, на Полтавщину, к их сыночку; они появятся там, разумеется, на один вечер, на одну ноченьку, а на рассвете покинут имение. Может быть, сынуля их так и не проснется, не взглянет на мать васильковыми своими глазами, но она прижмет его к себе, сонного, и всю ночь будет держать на руках живой, теплый комочек, а сын будет спать, легко, сладко посапывая, и улыбнется ей сквозь сон...

Но вскоре Софья запретила себе и эту радость — мечтать: терялось ощущение реальности, жизнь становилась похожей

на сладкую, вязкую патоку, и так больно было просыпаться от грез. Теперь она часами ходила от окна к двери, прислушивалась к жизни за стеной, в соседней комнате; хозяйка дома подрабатывала, давая временное пристанище беглецам,— и политическим, и уголовным. Козловский клялся, что укрытие это надежное, и Софья верила: сибирячка их не выдаст, за риск ей хорошо уплачено. Но все подозрительные квартиры почти всегда на примете у полиции, и обыск может быть случайным. К хозяйке, пригожей молодке, вечерами наведывался солдат, отводил душу чаепитием, подбивал клинья к хозяюшке, напрашиваясь на ночевку, молодица отшучивалась, но беглянки боялись, что она в конце концов обмолвится о квартирантках или настырный солдат и сам заподозрит что-то и позовет полицию.

А за окном, до горизонта, белело поле — сойди с подоконника и иди, иди. Пока хватит сил, пока не окоченеешь где-нибудь в сугробе, не заплутаешь в тайге: свобода...

Устав ходить по комнате, она садилась у окна, смотрела на заснеженное поле и представляла себе путь от Иркутска до Киева — тысячи снежных километров.

Закончилось все неожиданно, а может быть, кто-то и предвидел конец, ведь к этому шло...

— Бабоньки, солдаты во дворе, сейчас вас арестуют! — вскрикнула хозяйка в соседней комнате. Софья бросилась к окну, но поля, которое столько дней нашептывало о свободе, за окном уже не было — его застили серые фигуры в шинелях. В тот же миг дверь с шумом распахнулась — на пороге стояли солдаты с револьверами. В комнату вошел веселый, довольный полицмейстер. Сняв перчатку, достал платок, вытер лоб.

— Набегались мы за вами, дамочки, по всему Иркутску. Шутить не советую, дом окружен. Наигрались, хватит, теперь отдохнем и мы, и вы...

Что-то тяжелое навалилось, парализовало Софью, сделало тело безжизненным, покорным чужой воле. Она не сопротивлялась, дала себя обыскать и молча смотрела, как обыскивают Ковальскую, роются в их постелях, выгребают пепел из печурки. Прятать было нечего — ни оружия, ни паспортов, все им только обещали, даже писем они не писали, наивно надеясь, что окажутся за Уральскими горами быстрее, чем их письма. Потом им принесли тулупы, и Софья покорно дала себя одеть. Со всем было покончено: с надеждами, планами и — с жизнью. Софья Богомолец уже умерла, ее уже нет, вот чужие руки кладут ее тело в сани, везут по белому полю — хоронить. Под холодным зимним солнцем горят над ее телом стальные свечи-штыки. Черная продолговатая коробка тюрьмы на белом плацу — ее гроб. Двери закрылись, гремят замки — это заколачивают крышку гро-

ба, и день навсегда погас. Ее ведут по темным коридорам в камеру — в большом гробу есть еще гроб поменьше — карцер. Ее толкают через порог в непроглядную сырую тьму. Торжествующий смешок надзирателя, гремят еще одни двери — и все.

Она прислоняется к мокрой, в изморози стене, широко открытыми глазами смотрит во тьму и думает об одном: умереть. В письме к Александру она просила привезти яд, именно на такой случай, когда и незачем и нечем жить. Но Александр в тюрьме, не привезет, да и будет уже поздно, жить она не хочет и не будет жить. Десятилетие, нет, теперь больше, потому что лет пять прибавят за побег. Существование в гробу, похороненной заживо, в конце концов это хуже смерти, унизительнее для человека. У кого-то из политических должен быть яд, их привезли в мужскую тюрьму, можно перестучаться, они передадут яд с уголовными, которые разносят по камерам еду. Мысль, что скоро муки ее окончатся, успокоила Софью. Она огляделась вокруг, привыкшие к темноте глаза уже различали контуры предметов. Ковальская лежала на нарах неподвижно, не слышно даже ее дыхания. Еще одни голые нары темнели у стены. И все, камера крохотная.

Вдруг на стене она заметила светлые полосы, будто прочерчено белым по черному. Линии проступали все четче, а она все смотрела на них, пока не озарила догадка: там окно, забитое досками! Протянув руки и перешагнув камеру, она действительно нащупала доски, свет брезжил сквозь них. Где-то там, за стенами тюрьмы, за забитым окном жил яркий зимний день, жило солнце. Безумное желание видеть свет дня разбудило Софью, отогнало навязчивые мысли о смерти. Жить! — наперекор этой промозглой, гипнотизирующей тьме, наперекор торжествующему смеху выродков в жандармских мундирах, наперекор участи своей. Она нащупала край доски и с силой, удесятеренной ненавистью, рванула ее на себя. Заскрипели гвозди, треснуло дерево, и в лицо Софьи брызнуло солнце. Испуганно закричал часовой под стеной тюрьмы, в коридоре затопали, загремели замки, а Софья одержимо, торжествующе срывала доску за доской. Вбежали надзиратели с солдатами, схватили Софью за руки, оттащили от окна, связали веревками. С порога командовал, покрикивая на солдат, адъютант иркутского губернатора Соловьев. Уже связанная, она тянулась к окну и смеялась в злые, испуганные лица надзирателей — страшен был этот смех.

— Да заткните же ей глотку! — взвизгнул адъютант губернатора. Надзиратель кинулся к Софье. Ковальская стремительно вскочила с нар и наотмашь ударила его.— А эту ведьму в цепи! Кузнец! Позовите кузнеца!

Солдаты заколачивали окно досками. Вот остался лишь крохотный косячок света, еще доска, еще два гвоздя, глухие удары молотка, и она в могиле — ночь.

Шепчу тебе, Александрик, с того света. Я снова в тюрьме, и теперь надолго, если не навсегда. Завтра нас отправят в Кару, оттуда бежать тяжело, почти невозможно. Да и следить за мной теперь будут внимательнее. Я не жалею, что решилась на побег, попытала счастья. Душа моя, все мое существо требовало этого решительного, отчаянного шага. За побег набавили мне пять лет каторги, но цифры эти както меня не трогают — десять, пятнадцать, двадцать — какая разница? Если представится случай, я, конечно, буду бежать снова, снова и снова. Но надежд на нашу встречу мало, муж мой дорогой, я не обманываю себя, не тешусь напрасными надеждами. Хотелось бы увидеть мальчика моего, крохотку мою. Что ж, у каждого своя доля и свой путь широкий. Мне подарили «Кобзарь» Шевченко, читаю его — как молюсь. Счастливый: после него осталась его боль, его слезы — стихи. После меня останутся лишь кипы дел в жандармских архивах и — мой сын. Я все чаще думаю о нем — взрослом, и о мире, в котором он будет жить. Я верю, что этот мир, его мир будет справедливый и честный,— слишком много хороших людей пожертвовало всем во имя новой жизни. Такие мысли согревают меня в моей сырой холодной тюрьме. Я верю, что в его мире тюрьмы станут музеями, а новые люди сберегут память о нас и поклоняться будут мукам нашим и силе духа нашего.

А пока мы латаем одежду, собираемся в дальний путь через тайгу, через Байкал, на каторгу Кара. Николай Щедрин будет тащить от этапа до этапа тачку, к которой его приковали, прибавив еще пятнадцать лет каторги. Девятнадцатый век — век прогресса! В чем вина Щедрина: узнав, что тюремные надзиратели издевались надо мной и Ковальской по приказу адъютанта иркутского губернатора Соловьева, он дал ему пощечину. Взбешенный Соловьев приказал привязать Щедрина к столбу, поддерживающему стены камеры, и отомстил — бил связанного.

Вот так мы здесь живем, Александр.

Несмотря ни на что — живем! И я живу, хотя случались минуты, когда хотела умереть. Но я не подарю нашим врагам такой радости. Еще не одному из них попорчу жизнь. Знаю, ты волнуешься за меня, но быть смирненькой не обещаю.

В тюрьме, как и на воле, живешь, покуда борешься, пока не упал на колени...

1887.
ОТЕЦ И СЫН

«Сынок твой процветает — верховодит среди мальчишек, любит книжки и сказки. И все спрашивает, какая ты. Нянька Уляна его убеждает: «Засадили? Не беда! Раньше только за кражу в тюрьму сажали, а теперь за правду сажают. Все знают, за что твоя мать на крестном пути — за правду... для всех... от жалости к нам, простым... Вот ты подрастешь и свое дело сделаешь». А он все слушает и все хмурит брови...»

Из письма к Софье Богомолец ее матери

Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову

1887 г. ноября 10. Москва.

...Бывший революционер, врач Богомолец, он был под надзором, теперь освобожден, но только с запрещением жить в столицах, жена его приговорена в 1881 году в Кару на 10 лет. Она пыталась бежать, возвращена и ей прибавлено 6 лет. Муж ее желает хлопотать о ней в Петербурге у начальства,— главное желание его в том, чтобы ему разрешено было жить с ней, ему и их ребенку — в Каре. Не можете ли вы узнать или даже попросить кого нужно — можно ли ему приехать в Петербург для этого».

Все было как когда-то, в начале лета 1876 года, когда они впервые ехали к родителям Софьи. Так же наливались хлеба, цвели липы, в лугах над Сулой паслись лошади. Не было только Софийки. Тогда, в семьдесят шестом, они отправили кучера с багажом вперед, а сами пошли от Ковалевки к имению Присецких по полевой дороге. Софья нарвала во ржи васильков, вплела в волосы и, кружась перед ним на дороге, смеялась: «Я выхожу замуж, я выхожу замуж!» Александр прикрыл глаза, перевел дух: вспоминать слишком больно.

В долине, под горой, поднимая ногами пыль, играли в догонялки сельские ребятишки. Богомолец поставил на землю чемодан, детвора галдела, щебетала вокруг, как стайка береговых ласточек:

— Чур, не вожу!

— Чур, и я не вожу!

— Чур...

— Сашко водит!

— Сашко!

— Бежим!

Стайка рассеялась, кинулась врассыпную. В центре полянки, прямо перед Богомольцем, переступал с ноги на ногу мальчонка лет шести-семи, одетый аккуратнее, чем другие дети, в белую матерчатую, не домотканую сорочку и отглаженные штанишки. «Водишь! Водишь! Водишь!» — пищала, дразнилась ребятня, а мальчонка, нахмурив лобик, с тревожным любопытством рассматривал незнакомца. Из-под выпуклого надбровья, рассеивая последние сомнения, сияли Александру синие Софьины глаза. Все приготовленные заранее, выношенные в мечтах слова забылись, Александр протянул к мальчику руки:

— Здравствуй, сынок...

Навстречу ему потянулась светлым лучиком ладошка:

— Здравствуйте!

— Ты... ждал меня?

— Долго ждал,— совсем по-взрослому вздохнул мальчик и вынул свою ручонку из рук Александра.— А вы надолго?

— Думаю, что надолго,— выдохнул Богомолец.— Поедем с тобой в Нежин.

— А мама к нам приедет?

Он знал, что их долгая-долгая дружба начинается с этой минуты, и не хотел, не мог говорить неправды шестилетнему человечку, который столько уже успел пережить.

— Возможно, мы поедем к маме. Мама пока еще не может к нам приехать. Она в тюрьме.

— Я знаю, она за правду. Няня Уляна говорила: «Твоя мать за всех добрых людей страдает». А вы тоже за правду были в Сибири?

— Наверное,— усмехнулся Богомолец.— Красть я не крал... Дедусь дома?

— Болен дедусь. Вот я только башмаки надену, дедусь ругает, когда я босиком, говорит, ты, внучек, не какой-то там босяк, а дворянин. А я люблю босиком.

Александр взял сына за руку, и они пошли в гору, к белеющему дому Присецких. Ладонь была теплая и нежная, как лепесток. В бесконечно долгие, одинокие годы ссылки в далеком Семипалатинске Александр Михайлович столько мечтал о встрече с сыном, что теперь все это казалось сном. Лишь сыновья рука с живчиком бьющегося пульса убеждала в реальности происходящего, и Богомолец держался за эту руку с цепкостью утопающего, который наконец нашел точку опоры. Он не тонул, но годы Сибири не перечеркнешь. Сколько бумаг исписал Александр, выпрашивая у петербургских чиновников одной-единственной «милости» — отбывать наказание еще на несколько тысяч километров дальше от столицы, на Каре, там, где отбывает наказание его жена, и единственно, чего он добивался в департаменте полиции,— разрешения заниматься врачебной практикой (поли-

тическим ссыльным запрещалась какая бы то ни было деятельность), но оказалось, что в Семипалатинске нет даже аптеки, и его единственной помощью больному могло быть только доброе слово.

— Я открою вам большую тайну,— вдруг сказал сын, интуитивно обходя, как умелый лоцман, подводную скалу, слово «папа».— А вы никому?..

— Конечно, нет,— лицо Богомольца было серьезным, он действительно с уважением отнесся к словам мальчика.— Не в моих правилах выдавать тайны.

— Тогда идите, пожалуйста, со мной,— Сашко юркнул в густую зелень. Александр едва продрался сквозь придорожные кусты. Они пошли через сад, старый, запущенный сад Присецких, сбегавший к пруду. Тропинка вывела отца и сына на главную аллею. Аллею давно не чистили — сиреневые кусты разрослись и сплелись верхушками, трава стелилась под ноги, хоть сейчас под косу. За редколесьем блеснул синевой пруд; летел, серебря воду, тополиный пух — как первый снег на висках. Вот здесь, под тополями, осенью восьмидесятого, уезжая за границу с братом жены Иваном Присецким, они попрощались с Софийкой. Здесь он в последний раз видел ее — свободную.

(— ...Я должна, понимаешь, должна отказаться от всего, чем соблазняет меня жизнь, я должна быть свободной!

— И даже от меня — свободной?!

— И даже от тебя, если этого потребует революционное дело! Но ты знай всегда: я люблю тебя и буду любить...)

— А теперь закройте, пожалуйста, глаза.

Александр сел на скамью под тополем, прикрыл ладонью глаза. Господи, неужели все это было на самом деле — на этой вот поляне, под этими деревьями?! И сегодня они стоят такие же могучие и неподвижные, несут в себе свой мир и свою тайну, так же серебрится под солнцем вода, будто капельки ртути на гигантской зеленой ладони, и он, пусть постаревший на шесть лет, пусть в чем-то другой, но и он тоже здесь, а его Софийки, его Солнышка («Свободы, свободы! Света! Света!» — писала из Петербурга) — нет.

— Смотрите!

На зеленой мураве стоял мальчик с лучистыми Софийкиными глазами, его руки крепко сжимали рукоятку отшлифованного до блеска деревянного меча.

— Это волшебный меч,— Сашко размахнулся, и высокие зеленые побеги лопухов и крапивы упали наземь.— Его нашел на поле боя, где наши бились со степняками, дядько Панас, он коней пасет. Против этого меча ни один жандарм не устоит!

Лицо мальчика пылало, он подступил ближе и доверчиво заглянул в глаза Богомольца:

— Мы вызволим мою маму, правда?

Александр протянул дрожащую руку и погладил круглую стриженную «под горшок» головенку:

— Сын мой...

И тут что-то оттаяло, освободилось в душе мальчика, внезапное половодье чувств прорвало плотину осторожности и неловкости меж сыном и отцом. Сашко выронил меч, бросился к отцу со счастливым, сквозь слезы, криком, словно только что увидел и узнал его:

— Папочка, папа, папуля, я так тебя ждал, я знал, что ты приедешь, только не оставляй меня больше! Дед пугает, говорит: он мать твою угробил и тебя погубит, а я все равно знаю, что ты хороший, и не хочу жить без тебя...

В последний раз Александр плакал в Нижнем Новгороде, на берегу Волги, когда осенний мрак уносил от него арестантскую баржу, а с ней Софью — далеко в Сибирь...

В имении Присецких он чувствовал себя, как зритель за театральными кулисами после спектакля. Еще хранились декорации для каждого действия, каждой картины сыгранной пьесы, еще звучали в ушах голоса персонажей (он так часто вспоминал эти голоса в годы ссылки), но самих актеров уже не было в театре и никогда не будет, потому что люди, которые вернутся из Сибири (если вернутся), будут в чем-то иными, жизнь, к сожалению, не театр, и трагедии, и комедии на ее сцене играются всего один раз.

— Деда, деда, мой папа приехал!

Длинный обеденный стол в гостиной, придвинутые к столу, старательно выстроенные в шеренгу спинки высоких резных стульев — декорация, которой давно не пользовались. За их последним семейным обедом семь лет назад Софья сидела вот здесь, красное дерево, казалось, еще хранило ее тепло — Александр пробежал пальцами по резной спинке,— напротив нее, на другом конце стола, отец, Николай Максимович Присецкий. Так бывало, пока не дошло дело до словесной дуэли меж отцом и дочерью, предотвратить которую, вопреки всем стараниям, не смогла даже добрейшая, покладистая Софья Семеновна.

(— ...Высокую честь называться русским гражданином даровали и даруют, папа, не военные кампании, а свинцовые рудники Сибири и тюремные централы!

— Не знаю, дочка, как это называется по чужеземному — ваши нигилизмы, политические интриги, революционные пропаганды, ваши гнилые немецкие социализмы, вам это лучше знать, а по-нашему это называется прямо, без обиняков: государственная измена!

— Конечно, отец, если среди ста миллионов слепых ра-

бов появляется группка зрячих людей, способных на самостоятельный критический взгляд, способных пожертвовать жизнью, чтобы отстоять право народа на физическое и нравственное развитие в стране, где критика давно умолкла, наука похоронена, а философия пошла в содержанки,— их способность нормально видеть обывателю всегда кажется преступной и греховной, во имя собственного спокойствия обыватель первым взывает к власть имущим: на костер их!..)

Мать умерла прошлой зимой. Александр так и не смог проститься с ней, опоздал на несколько месяцев, Софья, наверное, тяжело пережила эту смерть, мать она очень любила. Как и семь лет назад, на мраморном столике стояли часы с боем, но стрелки не двигались, остановились, или их не заводили — остановилось время. Но Александру казалось, что оно замерло и по всей империи, страна представлялась ему громадным полуживым телом, сердце которого по капризу природы находится не в груди, а где-то далеко на периферии, за Уральскими горами, в сибирских снегах, и это далекое, тяжко бьющееся сердце не в силах дать свежую кровь всему организму, его биения хватает лишь на то, чтобы тело не умерло, существовало на грани жизни и смерти, пока не запульсирует во всем организме молодая сила, рожденная верой и надеждой на будущее.

Александр мыслил как профессиональный медик, врач-практик. Он попал в мертвую зону между двух общественных волн: одна волна, разбившись о скалы, рассыпалась, умерла, новая едва зарождалась где-то в глубинах океана времени. Он коснулся гребня волны, которая опала, выполнив свою историческую миссию. И у берега, где она разбилась, остались лишь хлопья пены, видимость движения, а не оно само, омут, в котором легко потонуть, но трудно жить.

Дверь кабинета открылась — на пороге, но так далеко, как на краю пропасти, стоял хозяин имения. Одет во все темное (траур по жене), а голова его, руки, усы, даже лицо — белое, неподвижное, как гипсовая маска, снятая с покойника. Траурный контраст его облика и гипсовая неподвижность лица больно кольнули Александра, он низко опустил голову:

— Здравствуйте, отец...

Присецкий шевельнул бескровными губами:

— Здравствуйте, Александр Михайлович...

Так повторяются сны: семь лет назад, заехав всего на одну ночь к Присецким (на рассвете они с Иваном отправлялись на юг, в сторону румынской границы, Ивана разыскивала жандармерия, а ему, Богомольцу, киевские революционные группы поручили организацию типографии в Румынии), он неожиданно столкнулся с тестем в прихожей, когда тот, после спора с сыном, спускался с мансарды, Александр так же почтительно поздоровался, а тесть военным

шагом прошествовал мимо, вежливо, но холодно кивнув: «Здравствуйте, Александр Михайлович». Софийкины родители всегда были уверены, что это он, Богомолец, довел их дочь до каторги, в конце концов — банальная история, в истоке которой непонимание, неуважение к собственным детям.

Но сегодня походка старика уже не та, что семь лет назад. Крепко держась за руку Сашка, будто бы эта детская ручонка могла ему помочь, Присецкий едва добрел до окна и опустился в кресло. Чувствовалось, что он теперь редко покидает его; на подоконнике и маленьком столике лежали очки, бумаги, петербургские и киевские газеты и сигары, хотя сигарного дыма в комнате не ощущалось, наверное, они тоже были здесь декорацией из былого жизненного спектакля. Старик дрожащей рукой толкнул половинку окна — ему не хватало воздуха. Потом повернулся к внуку:

— Сашко, ты иди, иди распорядись, чтобы Старчевоза твоего напоили, без тебя не обойдется...

Сашко посмотрел на отца и выбежал из комнаты. Только тогда Присецкий вялым движением указал на стул, стоявший напротив, приглашая гостя присесть. Богомолец сел. В свете дня, просачивающемся сквозь шелковые занавески, кожа на лице тестя казалась мертвым пергаментом. Вдруг веки поднялись, и на Александра тяжело глянули полные затаенного горя глаза.

— Ну вот, вы и вернулись. А где моя дочь?..

Отправляясь за сыном, он ждал этого вопроса и знал, что ответить на него невозможно, слишком долго пришлось бы отвечать, и из ответа ничего, кроме нового столкновения с тестем, не вышло бы. Софья там, где и должна быть, учитывая ее характер, время и обстановку, в которой ей довелось жить; было бы странным, окажись она в ином месте, например в этом саду — прогуливается с сыночком по аллее или за этим столом отдыхает после сытного обеда, перемывая косточки знакомым. Для того чтобы совершать моцион в саду или плотоядно наслаждаться обедом из двенадцати блюд, ей надо быть вовсе и не Софьей, которую они оба знают, а тупой посредственностью, без присущего ей острого чувства справедливости, всего того, что делает человека совестью эпохи. Одним словом, кем-то другим, без Софьиной гордыни и обостренного чувства долга и уважения к себе. Такой она уродилась или была воспитана под крылом у отца с матерью, такой он встретил ее одиннадцать лет назад в Киеве, когда Софья училась в гимназии, за это и полюбил, и, если разобраться, Александр с таким же правом мог бы спросить у тестя: «Где моя Софья?» Но он не хотел спорить со стариком. Впрочем, не хотел и оправдываться, потому что не считал себя виновным.

— Я готовил жене побег из тюрьмы, но меня самого арестовали. Софья попробовала бежать без моей помощи — неудачно, вы знаете. Все эти годы я добивался разрешения отбывать ссылку на карийской каторге, возле Софьи — мне не разрешили. Думаю, что скоро ее выпустят в так называемую «вольную команду», когда трижды в день являются пред очи тюремной администрации, но могут жить вне стен тюрьмы. Тогда думаю добиться разрешения жить на Каре вместе.

— А сын?

— Жизнь покажет,— уклонился от прямого ответа Богомолец: сам еще толком не знал, как будет с Сашком, да и не хотел зря тревожить старика.— Возможно, оставлю у своих сестер.

— Сашка вы берегите. Голова у него золотая, и вообще сообразительный мальчик, была у меня мечта — устроить его в пажеский корпус, кое-какие петербургские знакомства сохранились, да вижу, не успею, моя жизнь кончилась, его — начинается. У меня к вам единственная просьба, Александр Михайлович: все сделайте, чтобы тень от Софьи на ребенка не падала. Знаю, дворовые его уже просветили — сын каторжанки, мать, мол, за правду страдает, но он мал еще — все эти глупости выветрятся. Пусть лучше думает, что умерла мать, от чего — сами придумайте, вы врач, смерти помощник,— от горячки, тифа, хоть от золотухи, лишь бы не от политики! Забудет он, люди вокруг забудут, забудет и простит государство, которому он, потомственный дворянин, послужит верой и правдой. Вы мне обещаете?

— Сашко сам выберет себе дорогу в жизни, сам поймет, кому и как служить. Но чтобы сын забыл свою мать, не знал, за какую провинность перед государством страдает на каторге та, которая его родила,— за разбой на бсльшой дороге или действительно за счастье и свободу народа,— этого я обещать не могу, наш сын всегда будет помнить, что родился в тюремной камере, это мой долг, Николай Максимович!

— Ваш долг был не допускать, чтоб ваша жена рожала в тюрьме! — Присецкий потянулся к стакану с водой, рука его дрожала, вода каплями живого серебра падала на черный костюм.

— Не надо нам спорить, Николай Максимович,— тихо сказал Богомолец.— Мы с Софьей всегда жили, как нам велела совесть, думаю, что и дальше будем так жить, а в нашей стране мало кто может этим похвалиться.

— Совесть! Совесть! — закричал Присецкий, уже не скрывая раздражения.— Вы лучше спросите, как умерла ваша теща, а моя жена Софья Семеновна, кто мог, кроме старого, больного человека, закрыть ей глаза? Четверых детей вырастила, выпестовала! Софья за Байкалом, Мария и Оль-

га за Уралом, Иван тоже в Сибири! Вам — политика, совесть, а ей что — слезы да горе материнское! О народе вы печетесь, а своих родных счастливыми сделать не можете! Ну, наделали вы шуму на всю Европу, кровью расписались на нескольких годах, мол, и мы здесь были, потомки, благодарите нас или проклинайте, но чтобы всегда помнили. А что с того? Трон как стоял, так и стоит в лучах людской и божьей славы, а вы по казематам и каторгам гниете!

— Простите, Николай Максимович, я пойду собирать Сашка, сегодня хочу выехать. В Нежине я под надзором полиции, отлучаться надолго не разрешается.— Богомолец поднялся.— А что до смысла нашей борьбы, то я много размышлял и буду размышлять об этом. Мы, конечно, жизнь не перевернули и уже не перевернем, это сделают за нас будущие поколения. Но жертвы наши не напрасны, нет: мы поддерживали в обществе огонь, чтобы не гас он. Для горсточки молодых людей и это немало...

Сашко терпеливо ждал отца у двери гостиной, и едва Александр шагнул за порог, сын бросился к нему, схватил за руку:

— Мы едем, папочка, едем?

— Конечно, едем,— Богомолец заметил в уголках встревоженных глаз сына слезы.— Что с тобой, мой мальчик?

— Я боялся, что дед меня не отпустит или ты передумаешь и снова надолго уедешь.

— Даю тебе честное слово, что уже никуда от тебя не уеду.— У Богомольца перехватило дыхание.— Мы всегда будем вместе. А теперь беги — попрощайся с товарищами. Скоро в дорогу.

В груди мальчика звенели и пели сотни солнечных звоночков, будто это и не он выскочил из прихожей, а проехал веселый сказочный поезд. Сашку хотелось, чтобы кто-то услышал и порадовался вместе с ним этому звону, предвещавшему новую жизнь. Он сбежал с крыльца, на ступеньках террасы, под яблоней увидел няню, упал в колени, задохнулся счастливым смехом:

— Няня, нянечка, я с отцом еду!

Няня Уляна подняла на него добрые, ласковые и такие родные глаза — в них не отразился его восторг, а стояла тихая печаль.

— Хорошо, что едете, паныч. А не жаль вам оставлять свою старую няню? И дедуся вашего, который и без того осиротел, а теперь осиротеет вдвойне? Дед ваш, Николай Максимович, хоть и строги, и ворчливы, и с батюшкой вашим никак не помирятся, а к вам, панычику, были добрыми...

Оставить няню, деда? Об этом он как-то не подумал. Он еще никуда не ездил дальше Ковалевки и луга за Пслом, и

ему казалось, что теперь все будет, как прежде, только еще и отец, и дорога в Нежин, о которой рассказывал отец, все будет с ним всегда.

— А мы возьмем и тебя, няня.

— Рассыплюсь в дороге,— вздохнула няня и вытерла уголком темного платка глаза.— А вырастешь большой, захочется тебе повидать места, где из такусенькой почечки вырос и вытянулся — каждого человека в его детство тянет,— заедешь в наши края, так не забудь к Уляне на могилку сходить. Придешь на могилку, важный будешь уже пан, может, самим генералом станешь, вон дед твой уже на тебя генеральскую амуницию в думках примеряет, фуражку с золотой кокардой снимешь и скажешь: «Здравствуй, няня»,— а я услышу и вздохну тихонько...

— Ты не помирай, няня, ты жди,— горячо зашептал Сашко,— и смотри, никому-никому, это великая тайна. Мы едем с отцом вызволять из неволи нашу маму...

— Да хранит тебя господь бог, деточка моя,— Уляна перекрестила мальчика.— Бог сироточек любит, бог сироткам помогает. Вызволишь или не вызволишь мать, а никогда не забывай ее, страдалицу. За всех нас она, Софья Николаевна, тяжкий крест несет. Ох, пойду одежку твою собирать. А ты походи по тропочкам, где твои ноженьки ковылять и ходить учились...

Он прыгнул в малинник и подался сквозь чащу, не выбирая дороги; цепкие побеги держали его ноги, хлестали по лицу, солнце в далеких кронах деревьев прыгало с ветки на ветку, похожее на круглолицую золотую мартышку; солнечные сполохи вспыхивали меж листвы, и ему казалось уже, что это попугаи; они били крыльями, пронзительно кричали, предупреждая об опасности, а под яблоней, на мокрой траве, лениво потягивался, весь в солнечных пятнах, сильный и добрый тигр. Этот тенистый уголок сада — его Африка, куда он поедет охотиться, когда дед подарит ему ружье. «А как же теперь с ружьем?» — вспыхнула и сразу же погасла мысль. Сашко уже бежал по сиреневой аллее, бежал что есть духу,— ему казалось, будто все, что он успеет обежать, обойти за короткие минуты, оставшиеся до отъезда, навсегда останется с ним. Путь ему преградил пруд, расцвеченный по голубой глади белыми цветами, как небо звездами: пруд был так широк, что не умещался в Сашковых глазах, прячась за вербы и камыши, и впервые его охватило щемящее чувство разлуки со всем, что извечно окружало его и стало его существом,— только гораздо позже мы легко рвем пуповину, привязывающую нас к основе, и мир становится лишь декорацией, на фоне которой мы проявляем себя. Сашко повернулся и медленно побрел к дому. В сиреневой аллее Сашко настороженно огляделся и достал

из тайника свой меч, тот, что недавно показывал отцу. С мечом он не расстанется, пока не освободит маму. Теперь, с оружием в руках, он чувствовал себя увереннее, и грусть постепенно уходила, а отъезд снова приобретал особую, ведомую только ему с отцом, да еще нянечке, таинственную значительность.

И только когда они сидели уже с отцом в бричке, вот-вот готовой тронуться, Сашка всколыхнуло детское, безбрежное — взрослые даже в глубочайшем горе чувствуют берега несущей их реки — отчаяние. Кучер поправил упряжь на конях, влез на передок и взял в руки вожжи, и все, чем Сашко жил раньше, что окружало его с самого первого проблеска сознания, вдруг остановилось, замерло, словно хотело навеки отпечататься в памяти и ждало лишь вспышки магния в руке невидимого фотографа: дом, кажущийся пароходом на зеленых волнах сада, заплаканная няня, работники экономии у конюшни, сельские ребятишки, дед на крыльце, весь белый, точно вылепленный из снега. Сашко соскользнул с брички, взбежал на крыльцо и повис на дедовых руках. Слезы не давали ему вздохнуть.

— Ну, что ты, что ты, казаче,— Присецкий засопел, закашлялся, нагнулся и поцеловал головку внука.— Помни деда и люби, как он тебя любит, но живи днем завтрашним, не вчерашним, тебе, хлопче, еще праздновать и праздновать, а я с праздника возвращаюсь...

Возчик дернул вожжи, гикнул на коней, дорога двинулась, как кусок сматываемого полотна. Сашка бросило на кожаные подушки сиденья, следом за бричкой бежали дети, махали руками и кричали, он тоже махал, до тех пор, пока и дед, и дом, и сама гора не скрылись из виду. Встречный ветерок высушил слезы, новый мир, неизведанный, невиданный до сих пор, будто только что рожденный, расправлял перед ним широкие крылья; в этом новом мире у Сашка была единственная опора и защита — он прижался к отцу и почувствовал, как отцовская рука сурово и нежно легла на его плечо.

На следующий день они въезжали в Нежин — ярмарочно-храмовый, а потому многолюдный и хмельноватый. Звонили в церквах, и Сашку, который впервые попал в город, казалось, что небо здесь и не небо вовсе, а огромный купол громадного храма, и это он звучит так многоголосо. По главной улице бесконечной чередой тянулись подводы, поскрипывая колесами и громыхая по мостовой, их обгоняли экипажи с разряженными панночками под зонтиками и щеголеватыми офицерами; казенные здания под красными железными крышами вздымались над приземистыми домиками мещан, как гордые мухоморы; с церковных папертей

разноцветным водопадом скатывался поток празднично одетой толпы; под церковными оградами на все лады пели-голосили нищие. Кучер свернул на мост через тихую, смирную реку и остановил лошадей: из-за невысокого забора на мальчика смотрел продолговатый дом с деревянным крыльцом, к которому вела от ворот светлая дорожка, вспыхивали разноцветными огоньками головки роз.

— Сюда, пан? — обернулся кучер.

Богомолец кивнул, сошел с брички, поднял сына на руки и опустил на траву.

— А кто здесь живет, папа?

— Здесь живет твой дед, Михаил Федорович.

Лязгнул металлом засов на калитке, зазвенел звонок — и новая страница детства открылась перед Сашком. Он увидел множество ярких роз, которыми была усажена середина просторного двора, дорожку, посыпанную светлым песком, фасад дома, а главное — он увидел за домом густой сад, сползавший к лугу, а за садом подпирала небо верхушками лип, кленов, ясеней роща. Сашка охватило предчувствие счастливых открытий. Страх и неловкость отступали, он выдернул из отцовской свою руку и побежал на качели под раскидистыми волошскими орехами.

Александр не останавливал сына — в доме были гости, из распахнутых окон вылетал гул хмельных голосов, звон стекла, там их никто не ждал. Богомолец расплатился с извозчиком, чемоданы оставил на хозяйственном дворе, минуя дом, следом за сыном пошел в сад. Из родных духовно близок он был лишь с сестрами: Мария директорствовала в женском пансионе, а Елизавета, высланная из столицы за участие в революционных сходках, перебивалась частными уроками. С отцом отношения не ладились, да и не могли наладиться. Александр Михайлович понимал, что отец, воспитанный другой эпохой, не мог разделять революционные взгляды своих детей, и потому лишь снисходительно улыбался отцовским укорам, мол, сын и невестка живут не как люди, бунтуют против богом данной власти, жертвуют своим благополучием ради мужиков. Но когда сына арестовали и в Нежине сделали обыск, семью Богомольцев парализовал страх. Софья, не зная еще об аресте Александра, прислала с этапа письмо на нежинский адрес, где говорила о своем намерении бежать,— Михаил Федорович передал письмо жандармам. Этого Александр не мог простить отцу ни за что. Теперь он вынужден был остановиться в отцовском доме, потому что некуда податься, да еще с маленьким сыном. Въезд в большие города был ему запрещен, работать по специальности не разрешали. Александр невесело думал, что в Нежине ему вряд ли будет лучше — он как пес на цепи,— но тот хотя бы лаять может, а он вынужден мол-

чать, чтобы снова не угодить в Сибирь. В Сибирь ему нельзя — на руках сын, их Сашко. Да и медленное угасание в глухих сибирских углах слишком уж безнадежная штука, иссушающая мозг и душу. И все же он рвался в Сибирь — к Софье, может, это и несбыточная мечта, но он взлелеял, выстрадал ее и хотел, чтобы было именно так: занесенный снегами домик, пусть даже на краю света, и их трое — сын, жена и он. Когда Сашку придет время учиться, он сдаст сразу за несколько классов экстерном, после того, конечно, как Софье разрешат выехать в Европу. Софийку сначала зачислят в «вольную команду», а если она даже будет в тюрьме, все равно жить у стен, за которыми его Солнышко, уже счастье. «Господи, можно ли так безумно любить?» — спрашивал он с удивлением и сам себе отвечал: «А может быть, это и есть мое единственное счастье — любить».

Александр с брезгливым чувством обошел дом, до краев полный хмельными, пенящимися, как раскупоренное шампанское, сытыми голосами. Он был так чужд этому утробному гомону мертвецов. Они мертвецы — он это видел, знал, какая мука — чувствовать себя живым среди мертвых, живые жили за Байкалом, за частоколами тюремных стен, за морозной далью якутского безлюдья. Живые — закованы в цепи. Мертвые — на свободе. Страшное, пустое десятилетие: мертвые загнали живых в тюрьмы, на каторги и пируют. Он подумал, что так рвется в Сибирь, к Софье еще и потому, что сам боится стать мертвецом в царстве мертвых. Его мутило на их пиру. Притворяться он не умел и не хотел. Поднимется новая общественная волна, придут люди более мужественные и дальновидные, зашатаются под их дружными усилиями стены тюрем, грядет новая эпоха, а пока что честнее и вольнее жить в тюремной камере, чем на воле,— парадокс эпохи.

Александр повел Сашка в глубину сада по липовой аллее. Здесь, над Остром, прошло его детство. И то, что сын, уже такой взрослый, сейчас идет рядом, по этим дорожкам, по этим аллеям, особенно волновало. Софья не любила бывать в Нежине, чувствуя неискренность и подозрительность в отношениях к себе свекра, но вот один ее приезд по дороге из Петербурга, где она училась на акушерских курсах и работала вместе с Георгием Плехановым в революционных рабочих кружках, запомнился особенно. Он сидел, глубоко задумавшись, на берегу Остра, огибавшего их усадьбу, и вдруг обернулся, будто его позвали: от сада, по зеленому лугу бежала к нему она, его Солнышко — в длинном белом платье, с яркой лентой в вихре золотых волос. Это было красиво до банальности, жило в памяти, и стоило ему теперь зажмурить глаза, как Софья снова бежала по весеннему, в темных искорках гвоздик лугу, не бежала — летела,

вся легкая и стройная. Много более значимых минут их общей жизни выпало из памяти, затерялось в неумолимом потоке времени, это — жило. А нынче по тому же ясно-зеленому лугу, покрытому цветами, бежал их сын, бежал, высоко выбрасывая ножки, как жеребенок. И Александр подумал, что это вот тоже запомнится. «Вот она, жизнь, вопреки всем схоластичным построениям»,— думал он. В последние годы Александру, увлекшемуся философией, казалось, что где-то кто-то уже открыл истину, только он не сумел еще отыскать ее на страницах мудрых книг, и одержимо копался в фолиантах.

Пройдя над рекой до самого болота, они вернулись в сад и сели отдохнуть в беседке под липами. Липы начинали цвести, над ними гудели пчелы, и не верилось, что где-то есть тюрьмы, каторги, что где-то людям не позволяют любоваться золотым солнечным узором в кронах деревьев, слушать, как всплескивает рыба в реке и стрекочет, раскачиваясь на гибких лозинах, камышевка. Александр подумал, что он уже никогда не сможет ощущать всю полноту мира, как это было в молодости, потому что рядом с дивными видениями перед ним всегда возникает зияющая пасть забитой арестантами московской тюрьмы. Бывают эпохи, когда люди живут как на кладбище, на могилах пьют и едят, любят, рождаются, ему довелось жить в такую эпоху. А еще страшнее знать и никогда не забывать, что в могилах не только мертвые, но и живые. И неожиданно для себя Александр начал рассказывать сыну, как он, узнав, что Сашина мать в тюрьме, перешел тайно, с помощью контрабандистов, границу, как пробирался в Киев и как впервые увидел Сашу в зале суда — крохотного, спеленатого, на руках у матери, окруженной жандармами. Сашко сидел на перилах беседки, как любила сидеть когда-то Софья, его глаза, похожие на материнские, тревожные, широко распахнутые, вбирали каждое слово отца. А от дома по аллее шли гости, посоловевшие от сытного обеда; разглядев в беседке молодого Богомольца, они поспешно сворачивали на боковые дорожки, провинциальное общество шарахалось от него, как от зачумленного, он был из чуждого мира, недавний политический ссыльный, полиция не сводит с него глаз,— это многих пугало, но большинство просто ненавидело его, как ненавидели всех, кто был за голытьбу и посягал на их дворянско-чиновничьи привилегии.

Сколько высокопарных слов об освященности дворянского звания наговорено ему с детства! Едва ли не сам господь бог записывал «лучшие из лучших» родов в дворянскую книгу, и эта избранность должна была оправдывать высокомерное безделье за счет других, кто, мол, самим богом создан для каторжной работы на полях и фабриках. В последнее

лето перед университетом отец открыл перед Александром Михайловичем семейное святилище — кованый сундук с архивом Богомольцев. Среди бумажного хлама Александр нашел полуистлевшие грамоты, подтверждающие права его рода на исключительность. Лихой предок их казаковал в Остерской сотне, выбился в старшины, сыны этого казака уже имели офицерские звания, а так как обязательным условием дворянства было владение землей, Богомольцы купили у соседей огород. В течение полутораста лет им пришлось искать подтверждения своих прав по судам — питерский писарь ошибся и в царском указе, даровавшем им право на дворянство, вместо «о» написал «у»: Богумолец. Водевильная историйка! Но мелкое панство имело большой гонор. Ему, Александру Михайловичу Богомольцу, надлежало унаследовать этот гонор и передать его детям своим. А вместо этого он рассказывал сыну о матери-революционерке. Он отказался играть в игру, правил которой послушно и старательно придерживались многие поколения Богомольцев, находя в этой игре смысл жизни, он же выдвинулся из шеренги, построенной временем, вышел из ряда, добровольно стал альбиносом, белой вороной — и стая мстила ему, не признавала за своего.

Он был счастлив — чужой в стае нахлебников!

Сад наполнялся довольным рокотом мужских басов, игриво-похотливым женским смехом, петля затягивалась. Александр взял сына за руку и пошел на голоса, как загнанный зверь на красные флажки западни. Вместо выстрелов его встретили вежливые, удивленные приветствия и недвусмысленная тишина: чужак приблизился к стае. С Сашком они спустились к речке, по тропинке, бегущей вдоль берега, добрались до моста, а там через зеленое кружево парка забелели перед ними стены Нежинской гимназии.

— Осенью, Сашко, ты пойдешь сюда учиться. Если будешь старательным учеником, покажу тебе самую короткую тропку через парк — сам когда-то протоптал...

Сколько же доброго, а больше — горького пролегло меж его сегодняшним днем и гимназическими годами,— не верилось даже, что это он, такой вот крохой, с ранцем за плечами, туманными утрами бегал через позолоченный осенними заморозками парк. Прошлое — как глазки в замерзших окнах, о которых вдруг вспоминаешь среди лета: да были ли они? Страшно подумать, сколько всего стер, смыл поток времени; не дни — целые годы, будто и не было их, а еще страшнее думать, что от нынешнего дня, такого, казалось бы, наполненного, через каких-то два-три десятилетия даже в твоей собственной памяти не останется и следа. Зачем же тогда живет человек, для кого? Все равно что в тяжких муках писать гениальную книгу, зная, что следом невидимая

рука стирает все написанное тобою и никто не прочтет этой книги, даже ты сам. А может быть, в этом великая мудрость, ведь для каждого его собственная жизнь — нечто высокое и значительное: от скольких же посредственных, никому не нужных книжек избавляется память человечества!

Он помнил, как под этими липами над Остром они, гимназисты, сняв ранцы с книгами, обсыпали друг друга ворохами желтых листьев, веселый азарт этой детской возни, в золотом свете осени, и теперь вызывал на лице Александра улыбку. Как сегодня, видел он и те зеленые сумерки в аллее Ботанического сада в Киеве, где признался Софье в любви и просил ее руки: по аллее невозмутимо бродили зеленые, в солнечных пятнах скворцы, летел тополиный пух. Ему помнилось их прощание в нижегородской тюрьме, стрелки часов на стене комнаты для свиданий, как две неумолимые злые руки, отрывающие их друг от друга: на годы или навсегда... В ссылке каждый день казался вечностью, а теперь от этих дней в памяти не осталось почти ничего, разве что последний, когда он уезжал из Семипалатинска...

И вдруг Богомолец подумал, что у памяти своя правота. Он помнит как раз то, что нужно помнить, самые высокие мгновенья своей жизни, и чем содержательнее, глубже живет человек, тем больше страниц остается от книги, написанной его жизнью.

Вечерело, невидимые декораторы увешивали стены гимназии розовыми полотнищами.

— Идем, сын, домой,— бодро сказал Александр, но от самого себя не спрячешь горечи — где он, их дом?

Сашко поднял глаза на отца, и Александр удивился: сын понимал больше, чем положено в его возрасте. Александр обнял худенькие мальчишечьи плечи, и они пошли по аллее вслед за предзакатным солнцем, две тени — длинная-длинная и совсем маленькая.

— Я вырасту,— пообещал сын при выходе из парка.

— Это хорошо. А пока я куплю тебе велосипед. Хочешь велосипед?

— Хочу,— радостно кивнул Сашко, хотя велосипед он до сих пор видел лишь на картинке в журнале, который выписывал из Петербурга климовский дед.

Навстречу им шаркающей походкой шел безобразно толстый, но щегольски одетый господин. Массивная, кованная серебром трость, казалось, вышагивала впереди него с чувством собственного достоинства. Профессиональным взглядом Богомолец отметил обрюзгшее, с нездоровой желтизной лицо, мешки под глазами: «Пьет, закончит циррозом пече-

ни...» А в памяти возникло другое лицо: юное, полное жизни, обрамленное длинными волосами по моде семидесятых годов. «Неужели он? — ужаснулся Александр.— Неужели и я кажусь со стороны таким же старым, отжившим свое?» На лице толстого господина отразилась растерянность, но это длилось лишь секунду, аллея узкая, ни единой тропинки в сторону, встречи не избежать: бывший товарищ по гимназии (сколько мечтали, сколько переговорили с ним когда-то о светлом будущем народа!..) узнал Богомольца:

— Боже мой, Александр, неужели ты, друже! Не верю своим глазам! А молод — будто вчера из-за парты! Завидую, завидую вечной молодости духа!

Он распростер объятья и бросился целоваться. Богомолец чуть коснулся твердыми губами подставленной щеки. Пахнуло крепким запахом одеколона и водочным перегаром.

— И ты, слава богу, такой солидный.

— Вот-вот, солидный. Служу, брат, служу. А мечты, мечты наши еще помнишь? Где они? Мечтали о многом, а все закончилось канцелярским столом, чином столоначальника и орденом за выслугу лет. Юношеские мечты в ящик стола и замочком — щелк, щелк! Слышал о твоих несчастьях, с отцом твоим, Михаилом Федоровичем, как-то разговаривали, рад, что все плохое миновало. Начинаешь, можно сказать, новую жизнь. Завидую, порой самому так хочется начать с нуля, хотя жаловаться не приходится — все у меня, как видишь, сложилось неплохо. Как говорят в народе: есть что и выпить, и закусить. А это что за казак?

— Мой сын.

— Ну-ну. А давно ли и мы были такими? Щелкаем годы, как семечки, и даже шелухи не остается, ветер разносит. Надо бы встретиться как-то, есть ведь о чем вспомнить, поговорить, ты теперь в Нежине будешь?

— Пока что в Нежине. Ищу место земского врача, но начальство не спешит давать разрешение.

— Все перемелется, поверь мне. Кто смолоду не ошибался? И вверху, над нами, люди, а люди отходчивы, если видят искреннее раскаяние.

— Но я не вижу в своей жизни ничего такого, что считал бы ошибкой и в чем надо каяться.

— Прости, Александр, но не надо петушиться, передо мной не стоит, я-то не синешинельник какой, совсем по другому ведомству служу. Вот раскручу чуток свои служебные дела — недавно получил повышение — и непременно заеду, и докажу тебе, да, докажу, что каждый из нас ошибается в жизни, но каждый ошибается по-своему. Ну, до встречи, друже, прости — спешу...

Он заторопился, потому что в парк уже вплывала толпа таких же ухоженных, самодовольных чиновников, а зна-

комство с недавним политическим ссыльным, ныне поднадзорным, не благоприятствовало ничьей карьере.

Они раскланялись и разошлись. Александр знал, что — навсегда. Теперь бывший соученик будет обходить его сотой дорогой. И хорошо. Плохо только, что у него не хватило решимости. После знакомого вступления об ошибках молодости и раскаянье повернуться и молча уйти прочь либо бросить в физиономию этому откормленному на народных хлебах обывателю в мундире все, что он думает о нем. Но теперь рядом сын. И он уже не волен в своих поступках, эмоциях. Свободны только его мысли.

До сих пор он жил для революции — во имя будущего.

Теперь будет жить для сына — тоже во имя будущего.

Горько немного, но надо смотреть правде в глаза.

Он постарается воспитать сына умным и честным.

А если это лишь средство для оправдания своей усталости?

Дети — испытанная ширма для защиты родителей от укоров совести.

— Папа, скажи, ведь правда — мы с тобой теперь никогда-никогда не расстанемся?

— Правда, сынок...

Газеты сообщали об арестах в столице — студенты готовили покушение на царя.

Если бы Александр был верующим, он протянул бы руки к небу и громко застонал: господи, научи, как жить!

Но верить в божью справедливость и мудрость он разучился давно — с тех пор, как научился думать.

Он мог спрашивать только себя: как жить?

И сам себя судить.

«...Большая круглая беседка, в ней часто можно было видеть Сашиного отца — Александра Михайловича — с книжкой. Крыжовник, смородина, яблони, груши... Пруд и озерцо возле усадьбы. Земляные крепости с валами и рвами. Орешник для луков и камыш для стрел. Смола для стрел была у нас дома. И каштаны... каштаны... Рогаток мы тогда еще не знали...

Кроме нашего дома, Сашко Богомолец почти нигде не бывал... Теперь я понимаю почему. Мать — на каторге. В моем представлении Софья Богомолец — «Чудная» Короленко. Так о ней отзывались моя мать и тетки. Отец — Александр Михайлович — бывший ссыльный, живет с сыном в Нежине, конечно же под надзором полиции. Широких знакомств у Александра Михайловича в таких условиях не могло быть, да он, наверное и не искал их».

А. Левчановский. Воспоминания об А. А. Богомольце

Михаил Федорович полулежал на походной кровати, укутанный клетчатым пледом. Стеклянная стена веранды просвечивалась утренним солнцем, к окнам льнули широкие листья каштанов. Каштан отцветал, белые свечки его померкли, и только под солнцем еще храбрились, красуясь уже не своим, а отраженным светом. Отец тоже померк, сник. Александр заметил и понял это сегодня впервые. Давала себя знать и вчерашняя всенощная — глаза отца под крутыми надбровьями были красными и слезились, руки дрожали. Александр с Сашком долго стояли на пороге веранды, старик пристально смотрел то на сына, то на внука, наконец упрекнул в сердцах:

— Что это он у тебя как волчонок: и руки деду не поцелует!

— Не научен он, отец, руки целовать.

— Так надо учить — не научен! Весь в матушку. Ну, хорошо, иди, пострел, радуйся миру, пока и на тебя узду не накинули. Только уговор — травы чур не рвать и шума возле дома не поднимать, хочу в тиши и благодати дни свои дожить.

— Иди, Сашко, я с дедушкой поговорю, а потом пойдем велосипед покупать.

Сашко с радостью выскользнул за дверь — деда Михаила он боялся.

— Разговор наш с тобой длинным будет, сын. Что забрал мальца — хвалю, не место наследнику Богомольцев в том революционном вертепе, у Присецких. Чем меньше ему будут напоминать о каторжанке, тем лучше для него и его будущего. Пусть уж твою жизнь она поломала, в преступные сети свои запутала, не дай и внука моего загубить.

— За каких же недоумков вы принимаете своих детей, отец! — воскликнул Александр.— Два дня назад меня обвинял Николай Максимович Присецкий, что, мол, именно я, никто другой, довел до каторги его дочь... Неужто вы такими глупцами нас народили и вырастили, что мы неспособны сами присмотреться к окружающей нас жизни, критически оценить ее и сделать выводы?!

— А ты меня не учи, не учи! — руки старика забегали по пледу.— Я уже ученый: как засадили тебя за решетку, каждый бездельник на улице пальцем тыкал. Думаешь, только ты бубновое клеймо носил? На моем отцовском теле оно живым стыдом выжжено.

Все о народе, о человечестве, о будущем печетесь вы, которые критически мыслят, а об отце своем ты подумал, какая для него радость и благодать — сына за решеткой видеть! Недолго мне уже на белый свет глядеть, в вечный мрак отойду скоро, но пока жив, хотя бы внука спасу, не дам пропасть, если уж сына упустил.

— Чего же ты хочешь, отец? — устало спросил Богомолец. Споры с тестем, бывшим товарищем по гимназии, теперь вот с отцом,— все вокруг считали, что живет он как-то не так, и все убеждены, что знают, как именно надо жить: извечная людская ограниченность!

— Хочу, сын, чтобы ты больше не вил петлю на свою шею. Знаю, слышал, что в мыслях вынашиваешь. Гляди, поедешь по Сибирям отыскивать эту каторжную, призрак в юбке — и себя, и сына своего доведешь до погибели.

— Она мне жена перед людьми и богом: ты ведь, отец, верующий.

— Закон она давно преступила и человеческий, и божий,— пронзительно закричал Богомолец-старший.— Имеешь право требовать узы ваши расторгнуть! Да ей, что ли, семья нужна? Ей цепи милее!

— Я думаю о жизни так, как думает Софья. И я люблю ее, отец!

— И подыхай вместе с ней! — отец достал из-под подушки и швырнул сыну жесткий конверт.— Только внука я на погибель не отдам, до губернатора, до самого царя доберусь, а не отдам!

Письмо было адресовано ему, Александру Михайловичу Богомольцу. Из департамента полиции. Нетерпеливо вскрыл конверт: неужто разрешение? Обжегшись уже на петербургских канцеляриях, он написал письмо Льву Николаевичу Толстому, великий писатель обещал помочь, и вот, наверное,— разрешение на поездку в Сибирь! Но департамент полиции всего-навсего сообщал, что находящемуся под надзором Богомольцу Александру Михайловичу разрешено приехать в Петербург хлопотать о разрешении на поездку в Сибирь, где отбывает наказание его жена.

— Ну, что там? Неужто разрешили? — на хмуром лице отца проступило детское любопытство.

— В столицу разрешили приехать,— пожал плечами Александр.— Хотят, чтобы поклонился.

— И поклонись, и поклонись,— затараторил старик, глаза его заблестели, на щеках вспыхнул румянец.— Тебя не убудет, а гордыня еще никого до добра не доводила. Поклонись и попроси, но не о том проси, что сдуру-то надумал, а чтобы вину твою супротив власти простили и дозволили добрыми делами ее покрыть! Проси, чтобы сыну твоему дорогу в жизнь не закрыли, чтобы тень от отца и матери на него не пала. Проси место тебе определить, чтобы не гоняли по свету, как бешеного пса. Проси, если хочешь сыном моим зваться!

— Сыном вашим, отец, я хочу зваться,— тихо ответил Александр.— Но хочу и человеком называться...

Лев Толстой. Из дневников:

«...Думал: думать, что внешними условиями можно изменить всю жизнь,— все равно, что думать, как я, бывало, маленький, что севши на палку и взявши ее за концы, я могу поднять себя».

«Неужели люди, теперь живущие на шее других, не поймут сами, что этого не должно, и не слезут добровольно, а дождутся того, что их скинут и раздавят?»

«И мне так весело, радостно стало. Да, благословлять, творить добро врагам, любить их, есть великое наслаждение... Любить врагов — ведь только на врагах-то и можно познать истинную любовь...»

«...Мучительно тяжелое впечатление произвел поезд администрации войск, которые ехали для усмирения...»

«...Надо видеть ту пучину, которая разделяет завшивевших, мильоны заморенных людей с перекормленными, в кружевах, другими людьми, и чтобы заполнить ее, нужны жертвы, а не то лицемерие, которым мы теперь стараемся скрыть от себя глубину этой пропасти...»

Софья Богомолец:

«Народ не хочет быть скованным рабом, который обливается кровью в темных подземельях. Мы боремся против самого страшного чудовища — царского деспотизма. В каждом из нас бьется горячее, трепетное сердце человеческое. Мы страстно хотим видеть наш народ свободным».

Андрей Желябов:

«Моя личная задача, цель моей жизни — было служить общему благу. Долгое время я работал для этой цели путем мирным и только затем был вынужден перейти к насилию».

Софья Перовская:

«Я жила так, как подсказывали мне мои убеждения: поступать против них я была не в состоянии!»

Вера Фигнер:

«Я всегда требовала от личности, как от других, так, конечно, и от себя, последовательности и соответствия слова делу».

Михаил Грачевский:

«...Нет, я не могу признать себя виновным при настоящем отношении государственной власти к народу и обществу, при котором ни семейный очаг, ни личность граждан ничем не гарантированы от произвола государственных тайных и яв-

ных агентов, когда по одному простому подозрению в так называемой политической неблагонадежности сотни лиц бросают в тюрьмы, подвергают всем ужасам одиночного заключения, доводящего до быстрой смерти или сумасшествия, когда другие сотни лиц без постановления суда по таким же точно подозрениям в политической неблагонадежности могут быть схвачены, оторваны от труда и семейства и отправлены так называемым административным порядком за тысячи верст на север и восток Сибири...»

Сашко вышел на крыльцо, как на кавалерийский плац,— энергично и решительно. Его конь, его скакун, быстрый и норовистый как ветер, стоял у крыльца: голубой, трехколесный, с блестящей уздечкой руля. Велосипед сопротивлялся, как мог — то своенравно сворачивал в глубокую колею и педалями пахал землю, то на пригорке вставал на дыбы, и тогда само небо со звоном падало на дорогу. Несколько дней приручал, объезжал упрямца Сашко, пока велосипед не покорился его воле, не стал беспрекословно выполнять любое его желание. Теперь Сашко, хотя ноги его превратились в сплошной синяк, чувствовал себя победителем, американским ковбоем, бледнолицым братом обездоленных, но мужественных индейцев.

— Наверное, не стоит брать велосипед в гости? — сказал отец, выйдя на крыльцо.— Это очень далеко, устанешь.

— Не устану, если не устанет велосипед,— упрямо блеснул синими глазами мальчуган.— А велосипед никогда не устаёт — он железный.

— Что он железный, это уж я точно почувствую, когда потащу его на себе через весь город,— засмеялся отец и добавил: — Что ж, поезжай, посмотрим, надолго ли хватит твоего благородного энтузиазма. Дорога тяжелая, но и в жизни, Сашко, никто не будет стелить перед тобой ковровых дорожек...

Сашко оседлал велосипед. Скакун застоялся — мигом помчался по тропке от крыльца до калитки и нырнул в русло улицы, в ее горячую, обволакивающую купель.

Не проехав и сотни метров, Сашко почувствовал предательскую податливость песка, измельченного в пыль ногами пешеходов и колесами подвод, ощутил изнурительное дыхание летнего знойного неба и слабость своего худенького тела. Ему уже не хватало дыхания, курточка на плечах взмокла, ноги онемели. Сашко оглянулся на отца, и если бы тот сразу же заметил усталость сына, если бы засуетился вокруг него, начал уговаривать бросить велосипед и вернуться домой, Сашко наверняка не выдержал бы: прижался к

отцовским коленям и жалобно расплакался. Но отец невозмутимо шагал по обочине дороги, вдоль заборов, через которые свешивались ветки уже алевших запыленных вишен, и, казалось, не замечал отчаяния сына.

Сашко передохнул и снова налег на педали. Колеса не катились, а тяжело пахали песок, пылища забилась в туфли, скрипела на зубах, липла к потному лицу. Но сил теперь прибавилось — так в вычерпанном до дна колодце невесть откуда снова и снова появляется вода. Сашко выехал на взгорок, что есть силы нажимая на педали, с видом победителя оглянулся на отца и покатил вниз. В ложбинке песка было снова по самые ступицы, но теперь он уже не пугал. Сашко сосредоточенно, метр за метром преодолевал дорогу. Для него не существовало ничего, кроме дороги, которую надо во что бы то ни стало победить, и велосипеда, который должен стать покорным его воле, и еще были подбадривающие отцовские глаза — отец терпеливо шел рядом с сыном. Через восемь лет это упорство, это умение сосредоточиваться на главном заметит известный спортсмен Уточкин (Саша Богомолец тогда будет мчаться уже на взрослом, двухколесном велосипеде по нежинскому велотреку на равных с профессиональными велогонщиками), пожмет ему руку и скажет: «А из тебя, юноша, выйдет человек...»

А пока его единственный зритель и болельщик — отец. Александр с удивлением и умилением глядит на своего упрямого сына: «Характером в Софийку вышел. Упорный малец растет. Если найдет точку опоры, что-то путное сделает в жизни. Может, его судьба будет счастливее материнской». Александр довольно насиделся в тюрьмах, чтобы и сыну желать того же. Он хотел, чтобы сын полюбил медицину, и не просто медицину, а медицину научную. Это была и его мечта — с детства. Жизнь распорядилась иначе — социальная терапия. Возможно, сыну и не придется отказываться от мечты: «І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі». Шевченко он любил всегда...

— Приехали, сынок. Ты победил. Молодчина!

— Кого победил, папа?

— Себя. Подрастешь, поймешь, как это важно — побеждать самого себя, не поддаваться слабостям.

Они стояли возле усадьбы Левчановских. Александр Михайлович достал часы: прошло полтора часа с тех пор, как они вышли из дому. Отец распахнул калитку, и перед Сашком открылся уголок его детства, о котором он с благодарностью будет вспоминать всю свою жизнь. Навстречу бежали два мальчика, его ровесники, в бархатных штанишках и одинаковых розовых рубашках. Они быстро перезнакоми-

лись, и Сашко мигом вошел в новую роль — учил братьев Левчановских ездить на велосипеде. Потом мальчики показали гостю свои домашние джунгли, не менее таинственные, чем африканские: старый овин, с которого можно прыгать на солому ледника, погреб, полный воды,— по этому крохотному озерцу братья плавали обычно в лохани, пещеру за густым малинником, качели в саду, окруженном вербами.

— Сашко, а почему не пришла твоя мама? — вдруг спросил Саша Левчановский, когда они взобрались на старую раскидистую вербу в конце сада. В ту же секунду старший, Николай, ткнул брата кулаком в бок.— Чего дерешься, что я тебе?! — огрызнулся младший.

— Моя мама далеко,— тщательно подбирая слова, ответил Сашко.— Мы с отцом скоро к ней поедем. А у нашего дома есть озеро и лодка. Приходите к нам, и мы устроим крепость на вязах. Из ореха сделаем луки, а для стрел полно камыша за огородом. Будем воевать с врагами покоренных индейцев и вообще защищать бедных и освобождать из тюрем узников...

Было бы куда легче, если бы напротив него, за столом, плоским и мертвым, как пустыня, сидел враг, пусть пропитанный ненавистью к революционерам, но способный мыслить и действовать. Именно на такую встречу, на трудный, но не бесполезный разговор надеялся Александр, отправляясь в Петербург. Перед ним в раззолоченном мундире-саркофаге сидел чиновник. Его лицо и цветом и формой напоминало Богомольцу лист неестественно белой, с просинью, гербовой бумаги. Александр перевел взгляд на окно: шпиль Петропавловской крепости холодным штыком пронзал низкое, серое петербургское небо.

— Я доложу о вашей просьбе,— бледные щеки чиновника департамента полиции на миг зарделись и снова побледнели.— Но я должен пояснить их превосходительству причины такого странного, откровенно скажем, желания: добровольно тащиться за восемь тысяч верст в Сибирь, да еще с ребенком. Знаете, я давно служу по департаменту полиции, и мне, признаться, приходилось отказывать в разрешении на поездку в Сибирь влюбленным гимназисточкам к их заключенным кавалерам. Но, простите, вы взрослый и трезвый человек.

— Софья Николаевна — моя жена и мать моего сына,— терпеливо повторил Богомолец.

— Согласно законам империи вы имеете право требовать, чтобы вас развели, и я уверен, что вам не откажут, во всяком случае, я в соответствующем свете доложу их пре-

восходительству, что же касается сына — то чем скорее ваш сын забудет такую мать, тем лучше для него. Относительно сына закон, несомненно, будет на вашей стороне...

— Что касается закона, то я никогда и не сомневался, что он будет на моей стороне, коль я поступлю так, как вы советуете,— усилием воли Богомолец подавил ироническую улыбку.— А вот обязанности и долг по отношению к моей осужденной жене я понимаю иначе. Естественно, что и мой сын хочет повидать мать, хотя бы через семь лет после своего рождения. Физически он здоров и, надеюсь, легко перенесет трудности дороги.

— Департамент полиции больше интересует нравственное здоровье вашего сына — будущего гражданина Российской империи, к тому же — дворянина. А я не думаю, что поездка на каторгу для политических и общение с политическими будет способствовать его моральному здоровью. Мы обязаны оберегать своих детей от нежелательных влияний.

— Моральное здоровье, как вы его понимаете, будет зависеть от многих причин, предвидеть которые сегодня невозможно,— уклончиво ответил Александр.

— Что мне все-таки написать о причине вашей поездки?

— Напишите — любовь.

— Любовь? — презрительно переспросил чиновник.— Значит, говорите — любовь? Но я здесь не для того, чтобы ребячливо верить трогательным сказкам. Больше я верю вот чему,— чиновник департамента полиции достал из сейфа и положил перед собой папку.— Человек может обмануть и чаще всего обманывает, бумага — никогда. Вот, так сказать, послужной список вашей жены Софьи Николаевны Богомолец. Преступная деятельность, поведение во время следствия и на суде — это я опускаю, сие вам известно, тем более, будем откровенны, вы и сами слишком легко — ссылкой — отделались, лишь благодаря счастливой случайности избежали каторги. А вот, извольте, уже после вашего ареста: побег — побег! — из иркутской тюрьмы в январе тысяча восемьсот восемьдесят второго года, за побег, прибавлено пять лет каторги; посажена в карцер за попытку ударить начальника тюрьмы; на каторге для государственных преступников деятельная участница группы непримиримых арестанток, в знак протеста против мер тюремной администрации голодала, противилась приказам коменданта запирать камеры на замки, дважды пыталась поджечь одиночную камеру, в которую была заточена согласно распоряжению администрации; отказалась идти в контору тюрьмы для дознания, куда ее вынуждены были принести, там отказалась давать показания; за буйное поведение переведена в восемьдесят четвертом году из Кары в иркутскую тюрьму, где принимала участие в шестнадцатидневной голодовке;

ныне содержится в усть-карийской тюрьме, где также принимает участие в протестах, чинимых государственными преступниками... Официальные лица, отвечающие за соответствующий порядок на карийской каторге, требуют особо суровых мер к Софье Богомолец. А вы — любовь. Знаем мы эту любовь, сегодня любовь, а завтра — подкоп под тюремные стены, и — через китайскую границу, там, глядишь, Япония, через месяц — Париж, а борзописцы всякие потом будут зубы скалить, мол, русский департамент полиции услышал о любви и уши развесил, в дурачка сыграл... Тогда кто будет отвечать: вы — гуляя на Парижских бульварах? Я — своим мундиром, своей честью!..

Александр знал и о неудачном побеге Софьи из иркутской тюрьмы, и о голодовках, и о протестах на Каре, и о карцерах. Чего не знал,— догадывался, его жена была бунтаркой. Однако сухой голос чиновника департамента полиции, невозмутимо и скрупулезно перечислявший все крестные муки, через которые прошла за эти годы его Софийка, его Солнышко, его Любовь, первая и единственная, ошеломил его. Холодные, жесткие слова, по форме похожие на параграфы канцелярской бумаги, напоминали Богомольцу стук молотка, которым заколачивают гроб с телом дорогого тебе человека. Он — врач — знал, чем заканчивается долгая жизнь в тюрьме, да еще в условиях Сибири: туберкулезом... От одной мысли, что сейчас вот этот столичный мозгляк, перед которым за него ходатайствовали петербургские знакомые Льва Николаевича Толстого, испуганно влезет в раззолоченную раковину своего мундира, дело будет проиграно и он уже никогда не увидит своей жены,— ему стало не по себе. Представил себе разочарованные глаза Сашка, когда на вопрос сына: «Скоро мы поедем к маме?» — он вынужден ответить: «Никогда»,— и решил быть рассудительным. В этой жизни — как на войне, перехитрить врага — то же, что победить его.

— Мне кажется, вы смогли бы, если согласитесь быть столь любезным, докладывая господину министру, обратить его внимание на один весьма важный аспект моего решения ехать в Сибирь к жене,— Богомолец не узнал собственного голоса.— Ведь моя поездка на каторгу, разрешить которую я прошу департамент полиции, объективно будет отстаивать не только мои личные, но и государственные интересы.

Чиновник поднял глаза и хотя все еще смотрел мимо Богомольца, но в серых, невыразительных стеклышках под веками промелькнула заинтересованность — такой язык он понимал.

— Да, государственные,— подтвердил Александр.— Софья Николаевна, кроме того, что она революционерка, человек неприемлемых для государства взглядов, еще и жен-

щина. Разбудить в заключенной чувства жены, матери, а встреча с мужем и сыном неминуемо сделает это,— разве не означает ненавязчивую попытку спасти ее? Не хочу вас убеждать, что годы ссылки в Сибири кардинально изменили мои взгляды. Я принадлежал и принадлежу к людям, которые считают, что социальный строй, при котором мы живем, можно и нужно улучшать, ибо уровень жизни беднейших слоев нашего народа не отвечает возросшим требованиям развитой человеческой цивилизации. Но я хочу иметь семью: жену, которую люблю, сына, и здесь мои личные и государственные интересы совпадают...

Потом он долго бродил по петербургским улицам, освобождая свою душу от гнетущей тяжести разговора в департаменте полиции. На войне, конечно, и хитрость нужна, но потом долго отхаркиваешь эту хитрость. «Мои личные и государственные интересы» — от этих слов его мутило. «Мои и государственные...» А что, если,— вдруг вспыхнула мысль,— он перехитрил самого себя? Что, если для Софьи их свидание и впрямь станет слишком трудным испытанием, мгновенное, как болевой шок, соприкосновение с другим миром, а после него просвет над головой тут же затягивается мрачными тучами цвета шинельного сукна, и небо после этого наваливается непосильной тяжестью...

Для них с сыном свидание, конечно, радость, но как оно отразится на Софье? Он слишком хорошо знал жену, чтобы всерьез опасаться, что он сослужит службу департаменту полиции, укротив непримиримое бунтарство Софьи Богомолец. Но разбередить рану, увеличить страдание такого человека даже во имя любви мужа и сына — легко ли взять такое на душу? До сих пор он утешал и обнадеживал себя тем, что после их приезда Софью отпустят в «вольную команду» (та же неволя, только по другую сторону тюремных стен) или же отправят на поселение, пусть даже в холодную Якутию,— все равно вместе. Но после разговора с чиновником департамента надежда поколебалась. Вся эта свора сторожевых псов в павлиньих мундирах ненавидит Софью за ее независимость, непримиримость, неприятие любых компромиссов, они будут мстить ей: слабая женщина обладала тем, что им недоступно.

Они — от Петербурга до далекой Кары, от царя до рядового жандармишка,— понимают, чувствуют: пока в государстве есть хотя бы один такой человек, царский трон — всего лишь стул на трех ножках. А если такой человек не один?..

Город не успокаивал, был чужим и, несмотря на лето, холодным. Его выстуживала щемящая память о недавней

казни в мае этого года пяти смельчаков, намеревавшихся отправить Александра III следом за Александром II: Ульянов, Шевырев, Генералов, Осипов, Андреюшкин... Процесс проходил при закрытых дверях, в зал заседаний суда не пускали даже ближайших родственников подсудимых — страх временно победивших... Тень смерти лежала на суетливом Невском проспекте. Палач в тюремном ведомстве один-единственный, рассказывали, что его тогда срочно отозвали в столицу из Варшавы, но ведь палач не только тот, кто накинул петлю на шею осужденных смельчаков...

Душно было в Петербурге, в ущельях казенных строений, и Богомолец, так долго добивавшийся разрешения приехать в столицу, с радостью подумал о завтрашнем дне, когда поезд помчит его домой, к сыну.

«В 1886 году, когда Володе не исполнилось еще шестнадцати лет, умер его отец, Илья Николаевич, а годом позже семью постигло другое тяжелое несчастье: за участие в покушении на царя Александра III был арестован, приговорен к смертной казни и затем казнен — 8 мая 1887 года — его старший, любимый брат Александр. Несчастье это произвело сильное впечатление на Владимира Ильича, закалило его, заставило серьезнее задуматься над путями, которыми должна была идти революция. Собственно, уже и Александр Ильич стоял на перепутье между народовольцами и марксистами. Он был знаком с «Капиталом» Карла Маркса, признавал намеченный им ход развития, что видно из составленной им партийной программы. Он вел кружки среди рабочих. Но почвы в то время для социал-демократической работы еще не было. Рабочих было мало; они были разъединены и неразвиты; к ним тогда было трудно подступиться интеллигентам, да и гнет царского деспотизма был так силен, что за малейшую попытку общения с народом сажали в тюрьму, высылали в Сибирь.

...Александр Ильич погиб как герой, и кровь его заревом революционного пожара озарила путь следующего за ним брата, Владимира».

А. И. Ульянова-Елизарова.
Воспоминания об Ильиче

«Я могу отнести к своей ранней юности то невыразимое чувство недовольства, неудовлетворенности общим устройством, которое, чем дальше, тем все больше и больше проникая в сознание, привело к убеждениям, которые руково-

дили мной в данном случае. Но лишь после изучения общественных и экономических наук это убеждение в ненормальности существующего строя целиком укоренилось во мне, и неопределенные мечты о свободе, равенстве и братстве вылились для меня в строго научные и именно социалистические формы. Я понял, что изменение общественного строя не только возможно, но даже неизбежно».

Александр Ульянов. Из речи на процессе 18 апреля 1887 года

«Весной 1887 года (год окончания Владимиром Ильичем гимназии) мы получили известие о казни старшего брата. Десятки лет прошли с тех пор, но и теперь я ясно вижу выражение лица Владимира Ильича в ту минуту и слышу его голос: «Нет, мы пойдем другим путем. Не таким путем надо идти». И он стал готовить себя для такого пути, который, по его мнению, должен был привести и действительно привел к победе».

М. И. Ульянова. Из речи на траурном заседании Московского Совета 8 февраля 1924 года

Он закрыл глаза и лихорадочно вглотнул воздух, густой, настоянный на аромате роз, георгин, гвоздик, которые, как ковер нарядную гостиную, устилали двор Богомольцев; было тихо, и где-то в саду, за домом, падали яблоки; Сашко переложил портфельчик с книгами в левую руку и повторил:

— Жаль, что мамы нет с нами, правда?

— Жаль,— кивнул Александр, овладев собой.— Мы обо всем напишем маме. А в воскресенье поедем в фотографию, сделаем твой снимок в гимназической форме и карточку пошлем.

— А когда поедем к маме, возьмем и форму, и книги?

— Конечно, где бы ты ни жил, отныне ты гимназист.

— А там, где живет мама, есть гимназия?

Там, подумал Богомолец, есть решетки на крохотных мутных оконцах, есть бессердечные истуканы с винтовками в руках, добровольно втиснувшие себя в мундиры, там есть сырые, красные от раздавленных клопов камеры, есть тюремная баланда — две просины в постной воде, там есть карцер, каменный мешок, стены которого покрыты льдом, там, где живет твоя мама, сынок, есть много такого, чего тебе лучше никогда не знать, а вот есть ли гимназия?..

— Должна быть, сынок.

Это то, что его тревожило больше всего, когда он думал о своих планах — жить втроем, семьей — он, Сашко и Со-

фья,— где будет учиться сын? За первый-второй классы он может подготовить Сашка сам для сдачи экзаменов экстерном, а если жену и потом не отпустят на поселение, да и место проживания определят уж точно не в губернском и не в окружном городе, а там, куда Макар телят не гонял и где о существовании гимназии вряд ли даже слышали. Но прожить год-два вместе, семьей — это уже было такое счастье, бесконечно растянутое во времени, что не хотелось и думать, что будет потом. Жизнь покажет.

Сын и впрямь был очень трогательным в это первое свое школьное утро — тихое, светлое личико с огромными синими Софийкиными глазами, на дне которых таилась недетская печаль, в аккуратненьком, украшенном медными пуговицами гимназическом костюмчике, в начищенных до блеска ботинках. Софье приятно было бы видеть сына таким красивым и так похожим на нее. Богомолец вздохнул:

— Идем, сын, встали рано, а еще опоздаем, чего доброго.

Они вышли со двора, пересекли пыльную улицу: дорога через парк была самая короткая и приятная. Ближе к гимназии в аллеях парка становилось все многолюднее. Первоклассников вели родители, чаще всего — отец и мать; увидя подобную троицу, Богомолец спешно отводил глаза, пытаясь отвлечь внимание сына. Они подошли к гимназическим воротам, дальше родителей не пускали. Из белого прямоугольника, трехкратно перепоясанного рядами окон, донесся предупреждающий звонок. Александр положил руки на худенькие плечи сына:

— Ну, Сашко, счастья тебе во всех будущих твоих науках — и книжных, и житейских...

Голос у него задрожал, сорвался, Александр поцеловал сына в лоб и легонько подтолкнул в спину. С порога Сашко оглянулся, махнул отцу рукой, и дверь гимназии проглотила его.

Александр знал, что гимназия только внешне светлая и приветливая, в годы реакции после казни народовольцами «царя-освободителя» гимназии и университеты России больше походили на казармы, нежели на учебные заведения, казармы, где учили стоять по команде «смирно», молчать и во всем повиноваться. Но даже в этих ужасных условиях многое зависит от самого человека: главное не то, чему учат, а то, что сам хочешь знать. Его сын начинает взрослую сознательную жизнь в тяжелые годы, что ж, если суждена ему долгая жизнь, он увидит и рассвет, и солнечный день. Оптимизм дает человеку веру в полную победу добра над злом. Иначе невозможно жить, да и зачем тогда жизнь. Он медленно возвращался через парк. Деревья еще зеленели, но зелень уже была в подпалинах, иногда очень густых — надвигалась осень. Он тоже уже не молод, а сегодня заме-

тил, что и походка изменилась, приблизилась к осени — ходил он теперь медленнее, солиднее, руки за спиной и чуть наклонена голова. Ну что ж, сын сегодня пошел в гимназию, да и пережить довелось столько, что хватит на десятерых. Осень не пугала, он любил тихую раздумчивость, духовность осени людской.

— Господин Богомолец, простите, вам письмо.

Александр поднял голову: за низким заборчиком, отгораживающим городской сад от улицы, стоял почтальон.

Письмо было с карийской каторги. Он разорвал конверт: снова отписка, которая приходит согласно тюремной инструкции раз в полгода, несколько стандартных, канцелярских слов. Хотя и написанных рукой жены: «Ваша жена Софья Николаевна Богомолец письма ваши получила, здорова». И все. Все — на целые полгода, до следующей официальной такой же, слово в слово, открытки со штампом тюремного ведомства. Только так и позволяется карийским узникам писать домой.

Он пересек двор родительской усадьбы и вышел на дорожку к реке. Не хотелось никого видеть. Зеленое полотнище луга казалось сейчас Богомольцу черным, и синий плес Остра походил на траурную ленту.

Дойдя до отцовских покосов, Александр спустился к берегу, сел на нос полузатонувшей лодки, на которой уже давно никто не плавал, может быть, с тех пор, как на нем плавала Софийка и рвала в протоке белые и желтые лилии на длинных тонких стеблях. Она сплела из лилий две гирлянды, похожие на гигантские бусы, и они возвращались домой, убранные цветами. Софийка забегала вперед, поворачивала к нему сияющее лицо и спрашивала сквозь смех:

— А правда, мне идет, правда?

Мрак понемногу рассеивался, и отчаяние проходило: «А вдруг все, что произошло в последние семь лет, всего лишь страшный сон,— подумалось Богомольцу,— стоит лишь оглянуться, и я увижу на зеленом лугу сияющую Софийку в гирлянде из лилий».

Он резко обернулся, едва ли не впервые в своей жизни по-детски веря в чудо,— но Софийки на лугу не было.

1887.
НЕИСТОВАЯ СОФЬЯ

«...С. Богомолец была ярой бунтаркой не только по убеждению, но и по темпераменту: все время ее пребывания на каторге — около десяти лет — прошло не только в непримиримой, но в отчаянной борьбе со всякого рода начальством. В этом отношении С. Богомолец шла еще значительно даль-

ше своей подруги: между тем как М. Ковалевская восставала лишь против всякого рода насилия, Софья Николаевна в каждом чиновнике видела политического врага, обычный разговор с которым она считала уже непозволительным оппортунизмом. Она видела отступление от революционных принципов в таких, например, актах, как допущение обыскивать себя без сопротивления. Малейший компромисс, на каковой поневоле принужден идти всякий заключенный, С. Богомолец считала малодушием и преступлением. Сама она ничему не подчинялась и ничего не боялась. Нисколько не заботясь не только о своем здоровье, но и о жизни, Софья Николаевна своими решительными приемами поведения прямо держала в страхе разного рода должностных лиц, так как они вполне убедились, что ее нельзя обуздать никакими наказаниями».

Л. Г. Дейч. 16 лет в Сибири

«История учит нас, что власть никогда не делала без борьбы и без необходимости ни малейших уступок обществу, что безусловная покорность и отсутствие какого-либо протеста ведут лишь к усилению деспотизма и приводят общество к полному бесправию...»

И. М. Мышкин

Прости меня, Александрик, но я иногда думаю: как хорошо, что нам с тобой запрещено переписываться, что вот уже пять лет ты получаешь только канцелярские сообщения, мол, твоя жена еще пребывает на этом свете, о чем бы я тебе писала изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год? Мои письма, наверное, напоминали бы картины ада, которыми обрамляют иконы с грозными ликами небесных судий, то были бы невыносимые для посторонних ушей крики боли, а тебе и собственных болей за эти годы хватало. О моих хождениях по мукам невозможно рассказать, перед страшной реальностью, длящейся не дни, не недели,— годы, всякие слова теряют живой блеск, умирают, как бумага в огне. Их надо пережить, пройти — мои муки, чтобы ощутить сполна, но не приведи господь когда-нибудь кому-нибудь идти нашей крестной дорогой. Я только и живу надеждой, верой, что моя тюрьма — последняя тюрьма на земле, рано или поздно, но придет Революция и откроет двери тюрем навеки. Может быть, ты, мой скептический реалист, мой философ, улыбнешься этим словам, но без такой, пусть и ребяческой веры в будущее невозможно пережить то, что мы здесь переживаем. Иногда оглянешься назад и думаешь: неужто все это было со мной, жизнерадостной девчонкой с красными лентами в волосах и синими восторженными гла-

зами,— ведь ты, Александрик, помнишь меня еще гимназисткой,— но все это не только было, оно продолжает и будет существовать, пока я живу. Ты ведь, наверное, еще не знаешь: срок моей каторги, вместо того, чтобы уменьшаться, растет, и вырос уже с десяти лет, как постановил суд царских блюдолизов, до девятнадцати: пять лет добавили за неудачный побег из иркутской тюрьмы, а еще четыре — за протесты и неподчинение тюремному начальству. Человек никогда не знает предела своих сил, и если бы мне лет десять назад показали эту мою камеру, похожую больше на хлев, чем на человеческое жилище, показали и стали бы уверять, что я просуществую в таких условиях (еще не наихудших!) годы, а может и десятилетия, я ни за что бы не поверила, потому что это невозможно. А между тем я существую.

Вот видишь, уже и разнылась. Как хорошо, что я ничего этого не могу написать тебе, представляю, сколько ужасов набралось бы за все годы. Впрочем, что я говорю? Так иногда хочется поплакаться тебе, чтобы ты пожалел меня, погладил по головке, я так любила в той нашей жизни, когда ты гладил меня по голове. В каждом человеке, сколько бы сил у него ни было, живет ребенок, особенно в женщине. Но все, хватит сантиментов, я давно их себе запретила. Тем более что двери камеры открывают, кажется, мне наносит обещанный визит сам комендант политической тюрьмы на Каре жандармский ротмистр, а вернее капитан, Николин.

Но пока он войдет, я признаюсь тебе, Александрик, почему я вдруг стала такой болтливой. Раньше, испытывая себя, я могла месяцами не разговаривать, не шептаться с тобой — элементарная самозащита: чтобы выжить на дне темного колодца, без надежды в ближайшем будущем выбраться к солнцу, нельзя думать только о клочке высокого неба, такого высокого, что и это небо, и жизнь под ним кажется со дна уже нереальной, помнить можно и нужно, а думать постоянно — нет. И вот именно в такой день, когда я приказала себе не думать ни о тебе, ни о нашем сыне, ни о покойной маме (известие о ее смерти я получила — отмучилась, бедняжка, не дождавшись детей своих из Сибири!), в тюремном дворике подошел ко мне сам Кот (так политические на Каре прозвали капитана Николина). Неужели это было только вчера, ну, конечно, вчера, в тюрьме каждый день бесконечно долог, как пытка, но потом все дни становятся абсолютно, до ужаса одинаковыми, сливаются в серое, вязкое месиво, вытягиваются в цепочку вагонов-близнецов. И вдруг два последних вагона оторвались от состава, покатились медленнее, остановились. Не знаю, говорила ли я тебе, Александр, что у меня опухли ноги, цинга, здесь

большинство наших болеет цингой, ходить почти не могу, хотя на прогулку меня все равно не пускают.

Прости, мне хочется столько сказать тебе, я перепрыгиваю с третьего на десятое, а ведь я начала о Коте и о разговоре с ним, всколыхнувшем мне душу.

— Можно было бы и подняться, коль вошел комендант карийских политических тюрем,— сказал Кот, но скорее по привычке, без особого выражения, он уже привык, что политические каторжане не очень-то уважают своих стражей.

— Еще чего, буду я вставать перед казнокрадом! — осадила я его сразу.— Разве меня здесь надо держать? Вас, кровопийцы народные!

В прошлом году на Каре всплыла крупная кража — на складах недосчитались двадцати тысяч пудов казенной муки. Чтобы замести следы, казнокрады из управления карийскими тюрьмами сожгли продуктовые склады.

— Как можно, как можно, Софья Николаевна. Истинно говорю — незаслуженно обижаете. Мои руки чисты,— Кот и впрямь протянул пятерни с толстыми, куцыми пальцами, но столько неуважения, издевки прочел в моем взгляде, что тут же поспешно спрятал их за спину.— За всю мою жизнь и копейки государственной не взял, а мог бы, поверьте, мог бы, тридцать лет служу и все на виду, по столицам, сам батюшка-царь мое усердие отмечал,— а мог бы, мог бы и капитан Николин руки погреть! А не погрел, потому что здесь,— Кот постучал себя по груди, где должно быть сердце, если у подобных людей оно существует,— устав жандармской чести навечно высечен. Что же касается казнокрадов, то они есть, есть, и неподалеку,— Кот поднял палец, заговорщицки глянул на меня.— Я боролся с ними и борюсь постольку, поскольку меня чин обязывает, даже больше, и скажу вам по секрету, с первого дня моей ответственной службы на посту коменданта карийских политических тюрем я добросовестно сообщал куда следует о нарушениях законов местным начальством.

Никакого секрета здесь не было, чиновники из управления карийской каторгой и офицеры жаловались даже заключенным, что Кот по ночам царапает доносы в Петербург на своих коллег.

— Человек, который носит жандармский мундир,— сказала я,— не может иметь чистые руки, если он и не гребет все под себя, он охраняет несправедливый общественный строй.

Я видела, как мутнеют от злости его и без того недобрые глаза. Не знаю, Александрик, поймешь ли ты меня, сладость тех минут, когда чувствуешь: твои слова проняли-таки

врага! Это единственно доступная мне борьба — допекать жандармов. Стая псов в синих шинелях — мои враги, и пока они исходят злостью, задетые моим словом, моей непокорностью, моим протестом,— я жива, пусть в могиле, в плену, но я не покоренная, я борюсь. Человек, который ненавидит несправедливый общественный строй, угнетателей народа, не должен ждать особых условий для борьбы. Это самообман, политическая и духовная смерть. Бороться где бы то ни было, при любых условиях, каждый миг своей жизни — вот девиз революционера, честного человека. Не все мои товарищи по несчастью или счастью (это зависит от того, как на это посмотреть) согласны со мной. Кое-кто считает: мы, мол, свое отвоевали, за нас отомстят наши товарищи на воле, а мы тут можем тихо подремывать, в мире и согласии с тюремным начальством, чтобы и им и нам было хорошо. Я же никогда не соглашалась с поражением, ты знаешь — я не признавала и не признаю их права судить меня, и в тюрьме я объявила им войну, собрала кружок протестанток. Как и прежде, я в числе неисправимых. В прошлом году (а может, позапрошлом,— годы здесь, что верстовые столбы без цифр, до тошноты одинаковые) начальство решило, что я плохо влияю на всех содержащихся в политической тюрьме, и выделило для меня личные апартаменты в глухом крыле здания, светелку без света, еще и запретило гулять по двору (двери камер в женской тюрьме в последнее время днем не закрывались). Но я увлеклась, Александрик.

— Так вот,— Кот выдохнул из себя злость и с обидой произнес: — Я только собирался вычеркнуть вас, Софья Николаевна, из числа неисправимых, а вы...

— Такая огромная империя — и боитесь такой маленькой женщины,— засмеялась я.

Кот промолчал, пропустив мимо ушей мои слова, я заметила, что он часто либо не в состоянии понять всего, что я говорю, либо не слышит, а вернее, игнорирует намеренно.

— Я считал своим долгом, пока нахожусь здесь, как-то облегчить вашу участь.

Я уже знала эту его игру. Каждая реплика Кота, выражение его лица были заранее расписаны (возможно, утверждены департаментом полиции, так я про себя издевалась над ним). Он, как пиявка, впивался в души и нескольких слабовольных мужчин из политических уговорил-таки подписать покаяние в обмен на освобождение с каторги. Об этом нам писали из мужской тюрьмы. Но таких слов он не ожидал даже от меня:

— А что, вам орден дадут, если я изменю своим убеждениям?

Кот снова сделал вид, что не расслышал.

— Я прикажу выдать вам зеркало.

— Зачем?

Александрик, я тысячу дней не смотрела на себя в зеркало, ты знаешь, что зеркало в тюрьме запрещено, вдруг кому-то вздумается покончить жизнь самоубийством (уж от меня они такого подарка не дождутся!).

— Зачем? — повторила я со странной дрожью в голосе. (До сих пор не могу эту дрожь себе простить — еще на что-то надеюсь, на нежданное изменение судьбы, на счастливый случай, бог знает на что; ты скажешь примирительно: так уж устроен человек, но я не могу, не должна позволять себе такого, я давно уже не человек в будничном понимании этого слова).

И тогда Кот спокойно, вроде бы даже неохотно проронил давно заготовленную фразу:

— К вам намерен приехать муж, он просит разрешения в министерстве, а какой женщине не хочется быть красивой в глазах мужа?

Зря ты не написал мне о своих планах, понимаю, что не хотел, пока нет разрешения, волновать, подавать надежду. Но зато в эту минуту я бы не чувствовала себя такой обезоруженной, беспомощной перед Котом. А Кот уже отходит от меня, бросив небрежно, через плечо:

— Кстати, он и сына хочет взять с собой. Подумайте...

И я осталась одна, но нет, теперь уже не одна — с тобой, Александрик, и с нашим сыном...

Одной выстоять можно.

А — не одной?!

Едва за Котом закрылась дверь, я закашлялась. Кашляла долго, и у меня болело в груди. Кашлять я начала давно, еще после шестнадцатидневной голодовки в иркутской тюрьме. Я училась на медицинских курсах и понимаю, что может значить такой кашель. Но до сих пор я не боялась умереть. И вдруг после разговора с Котом меня объял страх: умру, не доживу до встречи с вами, с тобой и Сашком...

Я не боялась смерти, даже когда она смотрела мне в глаза дулами винтовок.

Было это, кажется, в восемьдесят втором, когда меня только привезли на Кару. Начиналась весна, но не для меня. Я было дохнула воли, и снова каторга, еще и продленная на пять лет.

Угнетала неопределенность судьбы Николая Щедрина. Ты его знаешь — один из организаторов киевского «Рабочего союза», судили нас вместе.

Кажется, я уже рассказывала: Щедрин ударил адъютанта губернатора, который грубо вел себя со мной и Ковальской, за это и был осужден на казнь. Казнь заменили еще пятнадцатью годами каторги, и ко всему — приковали к тачке. Но об этом мы уже позже узнали, когда Николая доста-

вили на Кару. Потом, после бунта в мужской тюрьме, группу политических отправили в Петропавловскую крепость, и Николая Щедрина с ними. Тачку везли следом, за десять тысяч верст, ведь она значилась в жандармском реестре! О, цивилизованный девятнадцатый век! Железные дороги, пароходы, телеграф — и эта тачка из конца в конец России!..

Я снова увлеклась. Если вспомню что, пытаюсь сразу же тебе рассказать, потом забуду. С моей памятью творится что-то неладное, думаю, это из-за отсутствия внешних впечатлений. Память, что жернова,— стирается.

Я вот подумала о сестричке своей, Марийке. Хорошо, что срок ее ссылки скоро закончится, наверное, она вернется на Украину, еще будет счастлива. Она писала мне, что чувство ее к Павлу отгорело, столько лет, столько мук, понятно. Но хорошо, что Павел этого не знает. Первые годы в неволе он с ума сходил без Марийки и все надеялся бежать с каторги. Жил мечтами освободить Марию из ссылки, пробраться во Владивосток, сесть на американский корабль. Семнадцать попыток побега! Ты только подумай, Александрик, какая сила любви к жизни. За эти попытки ему добавили к его двадцати еще тридцать пять лет каторги. Пятьдесят пять лет! Жизни человеческой не хватит, чтобы отбыть.

Но я вспоминаю о весне восемьдесят второго года. Вскоре после моего приезда на Кару из мужской тюрьмы убежало восемь политических. Их схватили, двоих уже во Владивостоке. Начальство решило отомстить за свой страх и продемонстрировать перед Петербургом, что оно здесь не даром ест казенный хлеб. Тюрьму окружили войска, командовал «боем» сам читинский губернатор, шестьсот казаков и жандармов против нескольких десятков безоружных, обессиленных заключенных, которые, спасаясь от озверевшей стражи, забаррикадировались в камерах. Схваченных революционеров вязали, заковывали в цепи и развозили по окрестным рудникам, где уголовные добывали золото для царя. Карийские рудники — личная собственность их императорского величества... Женская тюрьма, солидаризируясь с мужчинами, объявила голодовку. Мы протестовали против издевательств над политическими заключенными. Казаки во главе с комендантом ворвались во двор женской тюрьмы, чтобы обыскать нас и запереть в камерах. Я, Елизавета Ковальская, Елена Россикова и Мария Ковалевская решили воспротивиться личному обыску. Мы стали в углу тюремного двора, под частоколом, взялись за руки и сказали, что скорее умрем, чем согласимся на унизительное насилие.

— Я прикажу расстрелять вас за неподчинение и буду прав перед законом! — лютовал комендант.

— В том, что вы будете правы перед царским законом, мы не сомневаемся,— я нашла в себе силы на иронию.— Еще

и благодарность заслужите. Несколькими честными людьми в империи станет меньше — и спокойнее будет спаться вашим хозяевам. Стреляйте!

— Этот закон еще от Екатерины, а она тоже, между прочим, женщиной была,— высоким фальцетом выкрикнул комендант.

И тут мы рассмеялись. То был смех у вырытой могилы. Смех обреченных. Наверное, над человеческой глупостью смеяться грешно. Но комендант не был для нас человеком, он был врагом, который взял нас в плен и теперь хочет поставить на колени. Мы смеялись в лицо врагу. Комендант так нас и понял. Он тоже не видел в нас женщин, а лишь непокорных, революционерок, поднявших руку на то, что он защищал всю свою жизнь. Я знаю, что не доживу до баррикадных боев. Но я побывала на баррикадах — в тюремном дворе, на крошечном плацу, огороженном двухметровым частоколом. Жандармы, знавшие нас раньше, говорили коменданту:

— Они умрут, но не подчинятся.

— Их можно только убить...

Но комендант не слышал ничего и никого, в его ушах звучал только наш смех.

— Ру-у-ж-жо! — скомандовал он.

Дюжина берданок уставилась на нас мертвыми глазами. О чем я думала в эту минуту? Не помню, а выдумывать не хочу. Наверное, ни о чем не думала. Я была полна ненависти и презрения. Я не жила — я ненавидела.

— Требую в последний раз! — голос коменданта дрожал. Боялся комендант — не мы.

— Стреляйте! — крикнула я чужим (на краю могилы), но легким, свободным от страха голосом.

Следующую минуту я помню. Говорят, что перед смертью человеку вспоминается вся его жизнь, с детства. Но в мою память врезался только один день, неимоверно далекий и щемяще яркий: на нашей горе над Пслом белым пламенем горят свечи груш, белый туман вишняка, и уже раскрываются в низинках розовые почки яблоневого цвета (ни одни цветы не пахнут так нежно, как цвет яблони). И прилетают наши ласточки (ласточки жили над окнами детской и будили меня спозаранку, какое это счастье — просыпаться под щебет ласточек!), ошалело носятся они вокруг дома, а я спрашиваю маму, где зимовали ласточки, в Африке — отвечает она, а я не верю, потому что уже знаю — Африка очень далеко, на нижней половинке глобуса, стоящего в отцовском кабинете, а ласточки такие крохотные, по-детски нежные, я больше верю няне, которая потихоньку убеждает меня, что ласточки — это души умерших людей, людей, которые при жизни не делали зла другим, только добро, и каждую весну

они возвращаются с того света, чтобы порадоваться возрождению зеленого мира. И я подумала, что после смерти здесь, под пулями, превращусь в ласточку и полечу на Украину, в Климово, где мой сынок, защебечу под его окном, и Сашко протянет ко мне свои маленькие ручонки...

— Что ж, я умываю руки! — неожиданно сказал комендант, с вызовом неизвестно кому, то ли высшему начальству, то ли самому богу, повернулся и пошел с тюремного двора, за ним потянулись, закинув винтовки за спины, казаки.

Мы победили!

Но как дорого нам пришлось заплатить потом за нашу победу!

Прости, Александрик, днем наш безмолвный разговор, через тысячи километров, прервали. У меня были гости. После их ухода я вышла во двор и сидела на солнышке чуть не до ночи — мне позволили. По солнышку я истосковалась — так редко и мало бываю с ним. Я заметила, когда погреюсь на солнце, меньше кашляю и не болит в груди, а теперь я не хочу умирать, хочу дожить до вашего с Сашей приезда. Если бы ты знал, как я теперь смеюсь над ними, жандармскими псами и всей их псарней, от главного пса в царской короне в Петербурге и до последней шелудивой овчарки в погонах здесь, на Каре. Они оторвали нас друг от друга, отгородили тысячами километров и тюремными стенами. Единственное, чего они не смогли загородить, заслонить — солнышка, ведь солнышко у меня с вами одно! Я выхожу на прогулку и после обеда, когда у вас утро, смотрю на солнышко и знаю, что вы тоже на него смотрите, чувствуете его, а когда теплые лучи касаются меня теплом, мне кажется, что это ты гладишь меня по голове, как когда-то, или сын наш своими крохотными пальчиками-лучиками перебирает мои волосы...

Сейчас вечер, камеру снова заперли, я свернулась клубочком на нарах, согрелась под халатом и разговариваю с тобой. Буду говорить долго, потому что засыпаю теперь поздно, сон обходит мою камеру. Рассказывали тебе в детстве сказочки о сне, который повадился пить сливки у бабуси и та замкнула его в погребе, несколько недель не спало все село, потому что сон не приходил? Вот и мне кажется теперь, что жандармы и сон закрыли в камере, а то еще и в цепи заковали или к тачке приковали и отправили по этапу в Петербург, они это умеют, и я зря в бессонные ночи призываю его. Самое страшное, когда тюрьма карает бессонницей. Мечтаешь о сне, как о побеге, пусть временном, пусть обманчивом: от тюремных стен, от решетки на прорези ок-

на, от голода и холода. Только во сне еще и бываешь свободной.

Но не буду о грустном, расскажу, Александрик, о событиях сегодняшнего дня. Я уже говорила, что ждала Кота, и когда загремели засовы, подумала: он. Боюсь признаться даже себе, но я хотела его видеть: что-то, да скажет о тебе и Сашеньке, о вашем приезде. Кот знал, чем меня, почти мертвую, задеть за живое. Лязг замка, скрип дверей на ржавых петлях, конечно, взбудоражили меня — после долгих лет тюрьмы волнует каждый звук, а тем более этот — до безумия знакомый (кажется, я услышу его и после смерти) — лязг железа на дверях. Но неимоверным усилием воли я обуздала себя (видишь, Александрик, я уже исправляюсь!.. с таких мелочей и начинается отступление, где-то себя сдержишь, где-то подправишь, а потом уж и промолчишь сознательно, скрутив две фиги в кармане,— и радикально, и безопасно!). В камеру действительно вошел Николин, но не один. Впереди него чинно выступал чиновник из самого Петербурга; об этом заранее становится известно заключенным, жандармы дрожат и доверительно делятся с нами своими страхами, тогда я цитирую им из «Кобзаря»: «А менший меншого штовхає, та ще й б'є, затим, що сила є». За семь лет тюрьмы я насмотрелась на разных чиновников, и высокомерных, надутых, как пышка, пустая внутри, и на лакействующих, маниакально подозрительных, прирожденных канцеляристов, да что тебе рассказывать, но этот среди всех выделялся.

Рассказывают, какой-то зарубежный журналист, побывав в одной из наших губерний, удивился, что местные чиновники даже на бал являются в масках. Журналист не поверил, что человеческие лица могут быть такими. Так вот, этот чиновник тоже носил маску — у него было мертвое лицо. Алебастровое, гипсовое, а может, из картона, только не из дерева — дерево, даже мертвое, живее его лица. Мне захотелось подойти и коснуться пальцем его щек: «Из чего вылеплены?» И я вдруг подумала: «А что, если это кукла, сработанная каким-то остроумным мастером, теперь ее водят по тюрьмам: догадаются заключенные или нет?» Затянутая в мундир кукла подняла глаза, неожиданно яркие, светло-коричневые, похожие на медные с позолотой пуговицы на мундире.

И неожиданно даже для себя я поднялась с нар! Я, которая еще несколько лет назад на предложение губернатора подняться, как это надлежало по тюремным правилам, ответила: «Я сослана на каторгу за то, что не признаю вашего правительства. И перед представителями его не встану».

Я, которая не покорилась врагам под дулами винтовок, когда смерть смотрела в лицо.

Я поднялась, Александрик.

Это произошло помимо моей воли. В ту минуту я не сознавала, что делаю. Малодушие подстерегает человека на каждом шагу, и именно тогда, когда преодолел много искушений и чувствуешь себя победителем. Я помню в Климове наполненный водой овраг и мостик через него — отполированный шагами скользкий ствол сосны. Мы воображали себя канатоходцами, но мало кто проходил по нему с берега на берег, не схватившись за спасительные перила. Я проходила. Отчаянная была, не боялась искупаться в холодной воде и знала тайну: нельзя оглядываться и смотреть вниз, только вперед.

Вчера я оглянулась, Александрик, и — покачнулась.

Конечно, я в ту же секунду потянулась за книгой на столике, чтобы замаскировать свою минутную слабость, но Кот заметил, и его плоское лицо довольно залоснилось. Заезжая марионетка в мундире не придала особого значения моему движению: главное — я поднялась, как и положено по инструкции. Чиновник заученно двинул полосочками губ.

— Жалобы есть?

Он лишь выполнял свою работу, нудную и постылую, он не чувствовал ко мне ничего — ни ненависти, ни любви, выйдет за дверь и тотчас забудет обо мне. Через несколько дней он вернется домой, снимет мундир и будет играть с детьми, обнимать жену; даже тень женщины, которая уже семь лет томится в тюрьме, семь лет не видела своего мужа, сына, не всплывет в памяти чиновника-куклы, потому что он меня просто не видел, я для него не существовала, я для него не человек, а всего лишь порядковый номер в списке заключенных карийской каторги.

— А кому жаловаться? — засмеялась я, хотя смех этот не был искренним, скорее — вымученным. Я уже не чувствовала себя вправе смеяться.

Голова болванчика дернулась, чиновник повернулся и вышел из камеры. Он отбывал служебную повинность. Но Кот не просто зарабатывал деньги — Кот жил службой и, выходя из камеры, заговорщицки, со значением взглянул на меня, почти как сообщник. А может быть, я слишком остро все воспринимаю, впрочем, это уже не могло почудиться — его голос из коридора тюрьмы:

— Двери камеры не закрывать!

Это милость, послабление, поощрение. За что?

За поданный мною знак, что я способна на компромисс.

За мою исстрадавшуюся любовь, тоску по нашему сынуле и по тебе, Александрик.

Я прятала ее глубоко в сердце, таила свою любовь, как таят, прячут боль, когда знают, что лекарства от боли нет нигде в этом мире и быть не может.

И вдруг моя любовь, моя боль всколыхнулись, едва промелькнула надежда на встречу с вами.

Моя слабость — моя любовь к вам.

Прости, Александрик,— молчу.

Я толкнула дверь — она не была закрыта и открылась с протяжным, ржавым скрипом. Держась за сырые стены, я побрела по длинному, узкому и темному коридору. Тебе ли рассказывать о тюремных коридорах? Сам нагляделся на десять жизней вперед. Ни на этом, ни на каком другом свете не забыть этот погребной, могильный дух, настоянный на смраде параш и перекисшей капусты. Этот дух, кажется, въелся в каждую пору моего тела, в голос, даже в мысли и память. Когда я впервые переступила порог сибирской тюрьмы, я подумала с ужасом и облегчением (близость смерти тогда не пугала меня, наоборот, радовала): разве здесь могут существовать люди? А вот существую, и сколько лет!

Была середина дня, и двор заливало солнце, только вдоль стен (двухметровые колья!) лежала густая тень, как нарисованная. Ближе к вечеру она снова разрастется на весь двор. Подумать только, сколько дней я уже не видела, как всходит солнце! Я больше всего любила солнечные восходы — ты знаешь. А помнишь, как мы с тобой, вскоре после женитьбы, отправились на днепровские кручи встречать восход солнца? Мы были такими молодыми — и душой и телом. Я взбегала на Лысую гору по крутой белой (как она светилась!) тропке, чтобы не опоздать, и была уже на вершине, когда из заднепровских лугов проросло, похожее на бутон пиона, темно-красное солнце. Я теперь думаю, что люди, особенно в городах, теряют самое святое, что существует в земной жизни,— восход солнца, рождение нового дня; мне кажется, что если бы я теперь была на свободе, я бы каждый день просыпалась до рассвета и молилась появлению солнца, как язычница. Не мог бы ты, Александрик, встретить солнце на днепровских склонах — я люблю тебя так сильно, что увижу рождение дня твоими глазами. Да что я говорю! Ведь и ты в неволе, только твоя тюрьма больше моей,— городок Нежин с околицами... Несколько лет назад на Каре достроили новую тюрьму на два крыла, под прямым углом, а с обеих сторон ограду вокруг двора продолжали брусчатые стены. Тюрьма та стояла на возвышении, и окна многих камер выходили в долину, рассказывают, что сквозь решетки окон было видно, как всходит солнце — вот счастливчики! Но счастье, даже забранное решетками, на каторге долгим не бывает. Приехал губернатор и распорядился соорудить вокруг всей тюрьмы ограду: «Тюрьма не дворец, чтобы из нее любоваться пейзажами...»

Солдат, стоявший у ворот, настороженно посмотрел на меня, но, наверное, очень уж не похожа я на человека, который в состоянии убежать из тюрьмы, и он успокоился. Идти дальше я не могла, опустилась на скамью под окнами камеры. Скамья была теплая и пахла свежим деревом, а не гнилью, боже, как я соскучилась по теплой ласке дерева! Я не легла, а расстелилась по скамье, каждым нервом ощущая теплоту пахнущего смолой дерева, я его ласкала, нежила, целовала, а солнце ласкало и целовало меня, давно уже не было так хорошо, и я знаю, что долго еще буду вспоминать сегодняшний день, потому что он вряд ли повторится. Завтра двери моей камеры снова окажутся на замке, и будет такое же яркое и ласковое солнце, только не для меня.

Странно: столько солнца в мире, а на твою Софийку его не хватает!

Но не будем о грустном, Александрик!

Во всяком случае, из трех тысяч тюремных дней мне выпал один, до краев наполненный солнцем. Помнишь, как мы ходили на пасеку в Климове, в то наше первое лето, и дед-пасечник налил в стакан меду, золотистого, с искринками вощины, мед тек через край, пчелы садились мне на пальцы, а ты смеялся, говорил, что ревнуешь свою Софийку к пчелам, которые так ее любят, и целовал сладкие кончики моих пальцев? Так вот и день, о котором я хочу тебе рассказать, тоже был наполнен до краев июньским солнцем, как стакан липовым медом. Это было, кажется, в восемьдесят втором, после побега восьми политических из мужской тюрьмы, когда ее осадили и буквально взяли штурмом по приказу читинского губернатора, после голодовок в женской тюрьме для политических в поддержку наших товарищей и после попыток коменданта запугать нас расстрелом. Больше недели нас не выпускали из камер даже на прогулку. Отобрали всю одежду, заставили надеть тюремные рубахи из грубого холста. Не оставили ни обуви, ни арестантских халатов.

Мужчины любят похвалиться мужеством в бою: сколько об этом написано высоких слов! Но умирать в бою легче, чем месяцами, годами готовиться к смерти и знать, что выбор между жизнью и смертью зависит только от тебя самой.

Нас было тогда в тюрьме десять — женщин, которые предпочитали смерть жизни на коленях.

Однажды надзиратель тюрьмы объявил, что мы должны немедленно собираться в дорогу. Собирать-то было нечего — все наше было на нас. За воротами тюрьмы уже стояли волы, запряженные в двухколесные повозки. Нас разместили по двое на повозке, казаки окружили обоз, и мы тронулись.

Теперь я знаю, как это будет, когда мертвые, по евангельской притче, встанут из могил,— будет много солнца.

Мы встали из своих могил, чтобы через несколько часов лечь в новые: нас переводили из Нижней Кары в Усть-Кару, в карцерную тюрьму для политических.

Вот почему мы прожили тот июльский день восемьдесят второго года, как, наверное, не удавалось до нас никому из карийских узников.

Если бы действительно существовал бог, творец мира, он должен был в тот день сотворить чудо — подарить нам волю или еще что-то необыкновенное, радостное: вряд ли кто-то еще со дня сотворения мира с таким же восторгом и волнением любовался его красотами, как эти худые, голодные, едва прикрытые тюремным тряпьем женщины на двуколках, лениво влекомых волами. Медлительные животные едва переставляли ноги, а нам казалось, что они идут так быстро!

Я помню: небо было как синий цветок колокольчика, а на макушке — солнце.

Прости за сентиментальность, я хотя и Софья, «богиня Мудрости», но все-таки — женщина.

Я помню: трава щекочет мои босые ноги, спущенные с телеги. Я помню лужайки, покрытые яркими и пышными забайкальскими цветами, мне так неудержимо захотелось пройтись по цветущему лугу, и я соскользнула с телеги. Начальник конвоя выхватил саблю, казаки взяли наперевес винтовки, обоз остановился.

— При попытке к бегству буду стрелять без предупреждения!

Потом уже, в карцере, я с сожалением думала: какое это счастье — умереть от пули на цветущем лугу.

Я помню: теплая трава текла сквозь мои пальцы, когда я нагибалась и протягивала руку навстречу земле. Это было похоже на прикосновение воды, когда мы плыли на лодке по Пслу и ты греб, а я окунала ладони в реку.

Несмотря на окрики казаков, я все же сорвала несколько цветов — мои первые, единственные цветы за много лет. Я сказала себе, что подарил их ты. Я так любила, когда ты дарил мне цветы.

С букетом в руках я так и вошла в темный, сырой сарай, поделенный на крохотные клетки. Жандармский офицер объявил приказ коменданта карийских политических тюрем: за протесты, голодовки, за поддержку бунта политических в мужской тюрьме нас карали трехмесячным карцером. Мы попробовали было и здесь протестовать, но нас насильно растолкали по одиночкам. Две-три доски (это кровать...), параша — вот и вся обстановка этого застенка. Вверху едва серело оконце в одну шибку. Из жаркого лета я перенеслась в позднюю сибирскую осень: стены карцера никогда не просыхали, зимой покрывались льдом, и даже в июле здесь бы-

ло холодно и мозгло. В углах — скопища клопов. Из дыр в дощатом полу даже средь бела дня выглядывали голодные крысы. Цветы мои моментально завяли, и я пожалела, что сорвала их, лишила голубого неба, унесла в могилу. Тяжелые двери камер надолго захлопнулись за нами, лязгнули засовы и замки — наступила страшная, мертвящая тишина. На три долгих месяца. Раз в сутки нам приносили из тюрьмы для политических баланду — кипяток с ошметками капусты и по кусочку хлеба. Короткое забайкальское лето катилось под гору, ночи становились все холоднее, а потом и дни, моя камера превратилась в мешок из льда и снега,— карцеры не отапливались. Я замерзала. Жизнь вытекала из меня с теплом, как кровь, по капле. Но не буду больше, Александрик, молчу. Я знаю, если любишь, легче самому страдать, чем видеть страдания любимого человека. Ты писал, что просил разрешения отбывать наказание на карийской каторге вместе со мной. Хорошо, что не разрешили — тебе слишком тяжело было бы знать обо всем. А мне еще тяжелее сознавать, что ты знаешь о моих страданиях.

Я выдержала, не сдалась — и это главное.

Протестуя, я подожгла камеру. Жандармы заметили дым, ворвались и погасили огонь, через несколько дней меня вызвали на допрос, в тюремную контору. Я отказалась идти, жандармы связали меня и отнесли в контору, я не ответила ни на один их вопрос.

Потом нас, Елизавету Ковальскую, Елену Россикову и меня, с карийской каторги перевезли в иркутскую тюрьму. Там мы увидели рабочего-революционера, смертельно больного, закованного в цепи, и потребовали его расковать, нам отказали. Мы объявили голодовку. Голодали шестнадцать дней.

Но это я уже рассказываю не тебе, Александрик, себе. Завтра я должна быть сильнее самой себя.

Завтра я должна найти силы отказаться от встречи с тобой и Сашком.

За нашу встречу они требуют слишком дорогой платы.

Комендант карийских политических тюрем капитан Николин пришел ко мне только сегодня. Три дня он томил меня в неизвестности, ждал, чтобы в моем сердце проросла подсказанная им мысль о возможности вашего с Сашком приезда на каторгу. Ты знаешь, Александрик, какие однообразные, серые, глухие дни, месяцы и годы в тюрьме. Наперед знаешь, как пройдет завтрашний и все остальные дни и даже годы. Сначала душа протестует, рвется, жаждет каких-то событий, как поздней осенью, в предзимье, глаз ищет ярких красок, надеешься на чудо, на счастливые из-

вестия, которые придут с ближайшей почтой (раз в неделю) и перевернут твою жизнь, твою судьбу.

Но проходят годы, и душа устает ждать, привыкает к духовному полусну — в вечных сумерках, без будущего. Как можно серьезно думать о будущем, если у тебя впереди, кроме семи отбытых, еще двенадцать лет каторги? И вдруг в пруд, затянутый ряской, врезается метеорит. Вода пенится, кипит, выплескивается из берегов. Таким вот огненным метеоритом стали для меня слова Кота: «К вам имеет намерение приехать муж, просит разрешения в министерстве, а какой женщине не хочется выглядеть красивой в глазах мужа?» Я не все тебе, Александрик, рассказала, потому что даже в мыслях не хочу перекладывать на тебя свою боль.

Последние дни я чувствовала себя как в горячечном бреду — о, эти ежесекундные колебания между яркой, режущей глаза, всепобеждающей надеждой и черным отчаянием, разбуженные после долгого оцепенения чувства жены и матери...

Но не буду об этом.

Капитан не вошел в камеру, о нет, он — прокрался. Видел, как кот крадется к птичке? Тело его еще не распласталось по земле, еще не выпущены когти, он делает вид, что и не думает вовсе о птичке, знать и ведать ее не желает, но глаза уж налиты кровожадным огнем, каждая мышца собрана, а по напряженной спине пробегает злая дрожь. Капитан размеренно ходил по камере, говорил тихо, с придыханием, высовывая кончик языка, будто облизывался от удовольствия после каждой своей фразы. Его кругленький животик, совсем лысая (как макогон,— говорят у нас на Украине) голова, две щетки седых усов могли бы вызвать ироническую улыбку, настолько и впрямь делали его похожим на сытого кота,— если бы не змееподобные губы и не серые холодные глаза, которые не теплели даже в минуты доброты напоказ. Когда я ловила на себе цепкий, хищный взгляд жандармского капитана, меня охватывало тревожное чувство, что Кот точит когти и вот-вот выпустит их.

Очередной жертвой должна стать я.

Я была готова дать ему отповедь, но Кот все еще медлил с прыжком. Он тоже знал что с налета моего мужества не сломать. Он подготовился к длительной осаде. Сегодня Кот ни о чем не спрашивал, не требовал никаких уступок, он все говорил, не давая мне и слова вставить. Капитан Николин был известен среди карийцев как великий любитель поговорить, порисоваться перед заключенными, но сегодня его монолог имел точно обозначенную цель.

Я перескажу тебе, Александрик, главное из сказанного Котом.

— Лично я считаю, что сибирские этапы и тюрьмы не

отвечают своему назначению. Они должны служить исправлению осужденных, а не умертвлять их телесно и духовно,— начал капитан, поглаживая указательным пальцем правой руки ус.— Да, да. Лично я неоднократно обращался в высшие инстанции с предложениями, направленными на некоторое смягчение условий содержания арестантов на этапах и в тюрьмах, но вы ведь знаете, что наверху даже к нам не всегда прислушиваются,— тут Кот совсем уж либерально посмотрел на меня, ожидая, должно быть, сочувствия и понимания.

Но сочувствия и понимания я не могу изображать на лице, как бы ни хотела притвориться. Он переигрывал: к Николину прислушивались, по крайней мере в губернии. Первым предложением, «направленным в высшие инстанции» вскоре по его приезде на Кару, была просьба о запрещении отпускать в «вольную команду» больше пятнадцати политических одновременно. Губернатор охотно утвердил этот запрет, и десятки наших товарищей, чья участь могла быть хоть как-то облегчена, остались томиться в тюрьмах.

— Да, да. Вы только представьте, я обращаюсь к их превосходительству забайкальскому губернатору за разъяснением, как быть, например, в том случае, если в какой-то камере политической тюрьмы моют пол, она открыта, а тут как раз наступает время выпускать на прогулку узников соседней камеры? Мне на это отвечают: «Руководствуйтесь тринадцатым параграфом инструкции». Но в инструкции только двенадцать параграфов! Что они хотели этим сказать? Чувствуется бюрократический подход к важным, государственным вопросам, я так и сообщил в Петербург.— Но тут он спохватился, боясь, что я могу усомниться в его силе и возможностях, и прибег к излюбленной своей манере, к хлестаковщине: — Конечно, из столицы указали губернатору. Ко мне там прислушиваются и соответственно ценят. Вы только подумайте, сколько в России капитанов жандармерии, но из всех выделили именно меня, поставили над карийскими политическими тюрьмами, да-да. Конечно — выслуга лет, конечно — ордена, но главное — большая школа работы в Польше. С молодых лет я, не щадя живота своего и здоровья, боролся с польскими бунтовщиками под рукой знаменитого Муравьева, а такая школа — на всю жизнь. Я единственный в Сибири комендант тюрем, который имеет право обращаться непосредственно к министру внутренних дел и использует это право. Как я решу и скажу здесь, на Каре, так и будет сделано в Петербурге. Мое слово решающее, поймите, когда речь зайдет о вас, именно так и будет. В министерстве, Софья Николаевна, не совета моего ждут, разрешить ли вам свидание с родными или не разрешить, учитывая ваше, мягко говоря некорректное отношение к жан-

дармским чинам и начальникам каторги, поставленных над вами, там моего решения ждут. Как я решу, так и будет. Эти три дня я много думал о вас. Хочется, очень хочется облегчить вашу участь, да-да, все мы люди, хотя вы нас, имеющих жандармские чины, и за людей не считаете. Можно разрешить поездку, почему бы и не разрешить. Вы только подумайте: приедет к вам муж, которого вы любите и который вас любит, знаю это, знаю, потому что вменена мне неприятная, трудная, но необходимая обязанность читать письма, вам адресованные, так вот, приедет сынок, которого вы, можно сказать, оставили крохой, на чужих руках, а нынче осенью он в гимназию пойдет. Разве мы не понимаем — хочется матери в его глазенки взглянуть, теплую ручку его взять, нежными словами обменяться. Можно подумать, не отпустить ли вас вообще в «вольную команду», двое ваших этой осенью уйдут на поселение, мы, конечно, на их место выпустим тех, кто заслужит эту привилегию образцовым поведением, оправдает наши надежды на исправление, можно подумать и о вас, можно, да-да. Разумеется, рядом с тюрьмой, конечно же, под нашим пристальным оком, а все же не в камере. Только представьте себе, Софья Николаевна, снимете вы домик в поселочке, заживете втроем, вы, муж и сыночек ваш, как люди заживете, разве о таком вы еще вчера могли мечтать, зная, что впереди у вас двенадцать лет каторги? Конечно, если бы вы, допустим, написали просьбу о помиловании, формальную даже, да-да, формальную, ни к чему вас не обязывающую, вас уже теперь отпустили бы на поселение, мы бы подумали и местечко вам подыскали соответственное, вблизи города, где ваш сынок учился бы в гимназии,— здесь Кот взглянул на мое лицо и поспешно отступил.— Конечно, я знаю, что ваши убеждения этого не позволят и ваши товарищи вас осудят, я умею уважать чужие убеждения, да-да, умею, правда, при этом я хочу, чтобы и мои убеждения уважали.— (Слышишь, Александрик,— его убеждения!..) — Но можно и без такого кардинального, громкого шага сделать так, что будет хорошо и вам, и вашему сыну, и вашему мужу, да-да, можно. Вы подумайте, Софья Николаевна, подумайте, время у вас есть, я могу написать в Петербург завтра, а могу и через год, дело терпит.— Кот вытащил из кармана и положил на стол конверт, подписанный твоей рукой.— Муж пишет, что гимназическую форму пошили сынку вашему. Какая мать не мечтает увидеть сына в форме гимназиста! А сын — похвалиться перед матерью! Да-да, подумайте Софья Николаевна, а я наведаюсь через какое-то время.

И Кот исчез за дверью камеры.

Я осталась наедине с твоим письмом и со своими мыслями.

...Не помню, Александрик, рассказывала ли я тебе (хотя все наши разговоры — лишь плод моего воображения, но иногда меня охватывает почти мистическое чувство, что ты действительно все слышишь, и я не хочу повторяться, боюсь утомить тебя),— года четыре назад, вскоре после коронации «богопомазанного» Александра III, приезжал на Кару высокопоставленный чиновник из той своры, что всегда вьется у трона. Вызвали к нему моих подруг, вызвали и меня. Чиновник — холеный, полнолицый господин — смотрел на меня с интересом и удивлением:

— К чему все это вам, Софья Николаевна?

— Что? — не поняла я.

— Ну, эта игра в революцию, справедливость, равенство. Среди людей равенства никогда не было и не будет. Меняются только хозяева, пастухи, а стадо остается стадом. Так стоит ли ради этого столько страдать? Вы только подумайте, Софья Николаевна, впереди у вас двенадцать лет каторги! — (Тогда было двенадцать, и теперь двенадцать, вот так, Александрик.) — Что станет с вашими прекрасными глазами через двенадцать лет тюрьмы? Вчера мне показали каторжную тюрьму, я только прошелся по коридорам, заглянул в глазки камер, и мигом на свежий воздух, под голубое небо, я приехал, говорю вашему начальству, не инспектировать, а с другой целью. Не понимаю, как люди могут жить в таких условиях месяцы и годы, да еще не чернь, не быдло, привыкшее в своих норах ко всему на свете, а выходцы из высокого дворянского сословия...

— Как видите, живут и на колени не падают, чтобы их из милости снова пустили в роскошные гостиные,— холодно ответила я, потому что не хотела с этим царским выродком спорить, мы говорили на разных языках и думали всяк по-своему, мы были людьми из разных миров.— А что касается справедливости и равенства, то я верю в прогресс человечества. И борюсь с властью не только ради будущего, где все обретут одинаковые права и обязанности, но и ради себя — без этой борьбы я не могла бы чувствовать себя человеком, не могла бы жить. Я не хочу покорно молчать, когда мне зажимают рот железной рукавицей!

— Боже мой, Софья Николаевна, кто вам зажимает рот! У вашего отца тысячи десятин, и не где-нибудь, а в Полтавской губернии, сам мечтаю там имение купить, не земля — золото! — воскликнул чиновник, искренне возмущенный.

— А если бы мой отец имел тысячу десятин не в Полтавской губернии? — засмеялась я.

Питерский господин почувствовал, что над ним подтрунивают, помрачнел.

— Хорошо, я приехал сюда не для того, чтобы дискутировать. Я уполномочен заверить вас в возможности немед-

ленного высочайшего помилования, если вы согласитесь заявить о том, что раскаиваетесь в преступном участии своем в революционном движении и признаете существующий государственный строй.

— Вы разговариваете не с девчонкой, увлеченной минутным порывом, а с человеком, выносившим и выстрадавшим свои убеждения,— сказала я.— Разве можно убежденному человеку серьезно предлагать такое? Написать можно что угодно, но ведь вы первый не поверите в мою искренность.

— Об этом вы не беспокойтесь. Вы только напишите,— заторопился он.— Напишите, что раскаиваетесь в содеянном, и ни о чем не беспокойтесь, как вы не понимаете, что все это лишь формальность.

— А вы бы написали такое, если бы не отказались от своих взглядов? — во мне пробудилось любопытство.

— Конечно! Выбирая между тюрьмой и свободой — конечно!

— А я не умею врать — даже врагам, когда речь идет об убеждениях.— Лицо мое просветлело, я это почувствовала.— И не желаю учиться ничему подобному.

— А что бы вы стали делать, если бы вас помиловали, вернули вам свободу? — Чиновник все еще не мог поверить, что ему придется ни с чем вернуться в Петербург.

— То, что и прежде,— бороться с вашей властью.

Чиновник мне стал неинтересен, я повернулась и направилась к дверям.

— И вы, женщина, мать, добровольно возвращаетесь в этот ад?! — с искренним ужасом в голосе воскликнул чиновник.

Я пожала плечами и вышла.

Я рассказываю это тебе, Александрик, не для того, чтобы похвалиться собственной непреклонностью.

Я рассказываю тебе и себе, чтобы набраться сил и мужества читать твое письмо.

Я лишь одна из тех женщин своего поколения, которые не смирились с рабским существованием и пожертвовали своей жизнью во имя свободы. Не знаю, вспомнит ли кто добрым словом меня после победы народа над венценосными палачами. Но наше поколение вспомнят, я верю в это. Возможно, мы в чем-то ошибались, недалеко видели, после нас придут более опытные и зрелые бойцы, но мы жили честно, как велела нам совесть, а это главное. Никто из заключенных в карийской женской тюрьме не сдался тогда на милость врага, не согласился на компромисс. Вскоре было объявлено о царском манифесте — некоторым политическим уменьшался срок заключения. Разумеется, твою Софью манифест обошел: разговор запомнился питерскому господину.

Одну из наших подруг после объявления манифеста осво-

бодили из тюрьмы и отправили на поселение. Она отказалась принять эту милость и требовала вернуть ее в тюремную камеру! Растерявшийся комендант приказал отвезти непокорную в Иркутск. В Иркутске она написала генерал-губернатору следующее: «По словам заведующего карийскими государственными ссыльно-каторжными, меня освободили от каторжных работ благодаря наимилостивейшему манифесту 18-го мая 1883 года. Не признавая ни за кем права ни карать, ни миловать меня и рассматривая то и другое как насилие, я заявляю, что отказываюсь от дарованной милости и согласна лучше отбыть весь свой срок каторжных работ, чем принять милость от врагов той идеи и того дела, за которое была осуждена в каторжные работы. Шехтер. 10 августа 1884 г.». Ее насильно отправили на поселение в Якутию...

«Господину Управляющему Забайкальской областью

1 марта 1884 года

...Вашему Превосходительству известно, что я входил в сношения с г. министром внутренних дел о переводе в тюрьмы Европейской России содержащихся на Каре каторжных государственных преступниц Софьи Богомолец, Елизаветы Ковальской, Елены Россиковой, Шейвы Шехтер, отличающихся буйным поведением, постоянным нарушением тюремных правил и крайне дерзким обращением с начальством.

Ныне товарищ министра внутренних дел, заведующий полицией, генерал-лейтенант Оржевский от 16 января за номером 328 уведомил меня, что г. министр внутренних дел признал необходимым перевести Богомолец, Ковальскую и Россикову в Иркутский тюремный замок, присовокупил, что, ввиду переполнения этого замка, со стороны министерства внутренних дел не встречается препятствий к помещению двух из поименованных лиц в одной одиночной камере... Прошу Ваше Превосходительство немедленно сделать распоряжение об отправлении Богомолец, Ковальской и Россиковой в Иркутск на почтовых лошадях при вполне надежном конвое, со всеми имеющимися на них письменными сведениями и фотографическими карточками, уведомив о времени выезда их генерал-майора Носовича и Главное Управление...

Комендант карийских политических
тюрем...»

Ольга Присецкая — брату Ивану Присецкому

8 мая 1884 года.

«...Тебе, вероятно, известно, что Софья в Иркутске, причина перевода ее туда пока еще неизвестна. Александр пишет, что он подал прошение о переводе его туда, где будет Софья, если, конечно, Софью не привезут к нему... Сашуня еще болен, но кашель немного утих...»

Иван Присецкий — сестре Софье Богомолец.

«Дорогая Соня, из Киевской тюрьмы в Иркутскую — привет! Виноват я перед тобой, что редко пишу, но неуверенность в том, что самые невинные письма доходят к тебе, убивает всякую охоту писать. Вот и теперь пишу и почти уверен, что письмо не дойдет. Известие о переводе тебя в Иркутск породило такие иллюзии, крах которых тяжело отозвался на всех нас. Мы все вообразили, что тебя совсем освободили вследствие пересмотра дела. Оказалось же совершенно другое. Что же тебе написать такое, чтобы письмо не застряло? Ты, вероятно, знаешь, что я уже больше десяти месяцев сижу здесь. Арестован 2 сентября 83 года... В России теперь времена странные, таких еще не бывало. С одной стороны, как бы полегчало, то есть с нашим братом не так шибко и жестоко расправляются, с другой — над так называемой интеллигенцией гнет значительно усилился. Газеты и журналы закрывают. Книги уже давно изданные воспрещают, литераторов забирают и пр. и пр. Но чувствую, что следует умолкнуть...

Как тебе живется, моя дорогая? Твой Сашка уже здоровенный мальчуган, утешает деда и бабушку. Я с Александром изредка переписываюсь...

Твой Ив. Присецкий»

На письме жандармская пометка: «Оставить в «Деле...»

Мы — карийские бунтарки — в это время голодали в иркутской тюрьме, куда нас перевели по просьбе коменданта карийской каторги. Шестнадцать дней. Боже мой, как это легко сказать — голодали шестнадцать дней: три слова, один глоток воздуха. Смерть, длящаяся шестнадцать дней,— вот что такое голодовка. Жандармы приносили в камеры и ставили возле нас миски с едой. Мы отворачивались, но еда врывалась в наше сознание запахами. Чтобы сломить нас, жандармы приносили не тюремную баланду, а обеды из ресторации. Я помню умопомрачительный запах жареной картошки. С детства люблю жареную картошку и умею ее готовить. Порежешь ее кубиками, бросишь в кипящее масло, кубики покрываются такой вкусной, хрустящей корочкой, а в середине картошка мягкая и нежная, так и тает во рту. Рассказываю тебе так аппетитно, что самой захотелось есть. В тюрьме всегда хочешь есть, я давно к этому привыкла, а тут вдруг о картошке жареной размечталась. К сожалению, потом уже жандармы никогда не приносили мне подобной еды. Правда, после окончания голодовки иркутский «высший свет», женская половина которого нам якобы сочувствовала, прислал в тюрьму виноград, печенье, конфеты, но я принципиально отказалась, ненавижу пилатов в юбках, ко-

торые, роскошествуя в гостиных, усыпляют свою совесть, бросая крохи с барского стола!

Так вот, о жареном картофеле. Принесли его на десятый или двенадцатый день голодовки, я уже не считала дней, я ослабела, сознание застилал холодный, пронзительный туман, какой бывает в ненастном предзимье. Запахи еды пронзили мое тело, уже смирившееся со смертью. Тело, но не сознание; рука помимо воли потянулась к пище, обжаренный со всех сторон умелым поваром кубик картофеля лежал на моей дрожащей ладони, а тело все бунтовало, вспоминая, вызывая, навязывая далекий и, казалось, навсегда забытый запах.

Мне оставалось только согнуть руку в локте и положить румяный кубик за щеку, не надо даже кусать, картофель сам растает во рту, потечет живой влагой по изголодавшемуся, истощенному телу, которое уже не просило, требовало еды. Жандармы даже и не заметят, что ты взяла немного, поддержала свои силы, наоборот, ты выдержишь борьбу и больше насолишь им,— неимоверным усилием воли я отряхнула с ладони поджаренный кубик, а потом, собрав последние силы, толкнула миску со стула — миска звякнула, картошка падала на пол, как частый дождь на иссушенную жаждой землю. В ту же минуту в камеру вбежали жандармы во главе с офицером — они-таки следили за мной!

— Кормить ее насильно! — бросился ко мне офицер.— Она у меня будет есть!

Кажется, защищаясь, я ударила офицера, хотя как уж там я могла ударить, если во мне едва теплился дух. Позже за это мне прибавили еще год каторги. На следующий день в тюрьму приехал иркутский губернатор. Он демонстративно пробежался по коридору и чтобы мы слышали, крикнул:

— Заготовьте пять гробов!

Мы — пятеро женщин — и правда умирали. Мы хотели умереть. Но после шестнадцати дней голодовки начальство отступило. С больного рабочего-революционера — протестом против издевательств над ним и началась голодовка — сняли цепи. Начальство согласилось и на другие наши требования: о голодовке стало известно в столицах и даже за рубежом, а русская чиновничья братия, ты знаешь, лишнего шума не любит, они хотели задушить нас тихо — подушками. Какой-то чин спешно приехал на Кару (иркутским чиновникам удалось снова сплавить неспокойных постояльцев): «Я прислан из Петербурга узнать, что тут с вами творят,— у нас в столице нет из-за вас ни минуты покоя...»

Но прочь их! Наконец-то я раскрываю твое письмо, Александрик: на нем невидимые следы чужих пальцев и глаз, я чувствую их почти физически: страницы обработаны химикатами.

Кот подозрителен, Кот искал между строк невидимый текст, ему везде чудятся побеги и сговоры. Но ведь это твои слова, твоей рукой посеяны строчки, твои пальцы касались этого бумажного поля, я целую края его и чувствую на своих губах их ласку. Каждое слово твое я повторяю трижды, и десять раз, и сто, я вбираю его, как иссохшая земля капельки воды, я рисую все рассказанное тобой в своем воображении, стираю и снова рисую, и так до тех пор, пока рисунки становятся столь реальными и живыми, что в них пульсирует кровь.

Я вижу, как наш Сашко упрямо и сосредоточенно подымает велосипедными колесами сухую пыль на нежинских улицах (рубашка прилипла к телу, и пот заливает глазенки, я догоняю его, платком вытираю лоб и уговариваю отдохнуть — Сашко отрицательно крутит своей лобастой головкой). Я вижу твое задумчивое лицо над томиком Канта (уже седина в висках, Александрик!) в липовой беседке (липы подросли — лет восемь я не была в Нежине). На тебе белая с вышивкой на вороте и рукавах сорочка, я вхожу в беседку неслышно, прикрываю ладонями твои глаза, ты берешь мои руки в свои широкие ладони и нежно их целуешь. Я вижу даже то, чего еще не было, но о чем ты мечтаешь, что могло бы быть (Кот, подбивая меня на отступничество, рисовал наше будущее по твоему письму!): домик в сибирском волостном городке, за окнами веранды лес, вы с Сашком возвращаетесь домой с полными корзинками грибов, я накрываю на веранде стол белой скатертью, кипит самовар, первые капли дождя звенят по железной кровле веранды, вы пьете чай и пугаете меня россказнями о медведе, которого будто бы встретили в лесу; проходят годы моего принудительного, после каторги, поселения в Сибири, мне разрешен въезд в Европу. Сашко окончил гимназию и принят в Киевский университет, конечно, на медицинский факультет, ты привил ему любовь к медицине. Мы семьей едем в Киев, нанимаем или покупаем дом на тихой киевской улице вблизи университета, у тебя врачебная практика, я помогаю тебе (не забывай, у меня за плечами почти законченные медицинские курсы).

Сашко учится в университете, а на каникулы мы все едем на Полтавщину, купаемся в Псле, ночуем в сене, как в те времена, когда мы только поженились и были молодыми, а может быть, мы никогда и не состаримся, всегда будем молодыми...

Я вижу то, чего никогда не будет.

Ты пишешь обо всем этом и веришь в реальность написанного, ты живешь еще в сладком сне надежд, а я уже знаю, что это только короткий сон, завтра или послезавтра (а для тебя через месяц, когда ты получишь ответ на свое проше-

ние из Петербурга) он развеется. Будь же счастлив хотя бы этот месяц.

Себе я такого счастья позволить не могу.

Когда мне особенно тяжело, как сегодня (отказывать в счастье себе легче, чем человеку, которого так любишь), я вспоминаю декабристов. Многие из них несли свой крест вблизи мест, где ныне и я «караюсь, мучусь, але не каюсь». Знаешь ли ты слова, рожденные мужественной музой Одоевского: «Был край, слезам и скорби посвященный,— восточный край, где розовой зарей луч радостный, на небе том рожденный, не услаждал страдальческих очей...»? Это про край, где ныне томлюсь и я.

Сравнительно недалеко, по сибирским масштабам, на Акатуе, умер непримиримый декабрист Лунин. Говорят, что незадолго перед смертью у него оставался один-единственный зуб (цинга!), Лунин показывал на этот зуб и говорил: «Хоть один, да и тот против царя Николая...» Это из наших мест Лунин писал: «Настоящее наше жизненное поприще началось вступлением в Сибирь, где мы призваны словом и примером служить делу, которому себя посвятили». Он боролся с царизмом до последнего вздоха.

У меня хорошие учителя, Александрик.

Крохотная горсточка декабристов, всего лишь несколько капель в море беспринципного чиновничества и бесправного, забитого народа, но если бы не было их — не было бы и нас. Так огонь бежит по пороховому следу, бежит сквозь эпохи, поколения, пока где-то не взорвет бочку с порохом: Революция! И декабристы, и мы — всего лишь песчинки на дороге истории, существует нечто гораздо значительнее нас — огонь, и о нем, а не о себе надо думать, муженек. Ты только представь себе, если бы не было декабристов, чем казалась бы нам, потомкам, вся николаевская эпоха — черным, мертвым лишаем на живом теле истории. А они, всего несколько десятков мужественных людей, спасли в глазах будущих поколений честь своей эпохи. Я знаю, я верю, что и о нас когда-то так скажут.

Конечно, нас мало, единицы, по сравнению со сворами царских псов, даже с теми, кто все знают, понимают, но способны лишь изобразить фигу в кармане. Но и один человек в такую, как наша, переходную эпоху может быть сильнее тысяч, миллионов, если он чувствует себя свободным от привычных догм, не боится сказать об этом громко, не боится быть искренним перед самим собой, в конце концов, не боится пострадать за свои убеждения (видишь, сколько «не боится»! Я поняла — умных в мире много, но мало мужественных, и если я, слабая женщина, нахожу в себе силы не бояться — это важно не только для меня).

Один человек может спасти миллионам веру в человечество — на этом я стояла и буду стоять всегда, и осознание своей высокой миссии придает мне силы и сегодня, Александрик.

Не печалься, если узнаешь, что твоим мечтам не суждено сбыться. Значит, так нужно, не нам — а людям, нашим современникам, нашим детям, нашим внукам и правнукам, всем, кто будет жить после нас.

Так, как сейчас, я тебя еще, кажется, никогда не любила...

Хотя мне и раньше часто казалось, что это уже самый яркий огонь нашей любви, что любить больше, чем любили мы, невозможно.

А он, огонь, с годами все разгорается.

Только завтра же я запрещу себе думать о тебе, Александрик.

Завтра мне понадобится много сил, я это знаю.

Но настанет день, когда я снова почувствую себя вправе думать о тебе, разговаривать с тобой.

И я еще больше буду любить тебя, муж мой дорогой.

Только можно ли любить еще острее и горячее, чем люблю тебя сейчас?

Не знаю.

...А тут у меня новосельишко, Александрик. Уже давно, правда, не помню, который день. Я даже понятия не имею, какое сегодня число, знаю, что месяц осенний. На прогулки меня теперь не выводят, Кот запретил, но когда заходят надзирательница или жандарм, на их валенках вижу снег, зима здесь ранняя. И стены моей норы, моего колодца, покрываются с каждым днем все более толстым слоем льда, на полу тоже лед, хоть катайся, только вот никак не разбежишься: когда я хочу разогнуть ноги, надо лечь по диагонали. Я говорила сегодня надзирательнице: «Могилу и ту по инструкции делают в рост человека, а здесь живого человека не могут похоронить, как положено, неужто так обеднела царская империя?» Надзирательница отмалчивается, Кот ее напугал, мол, особо опасная революционерка. Еще бы, по специальному распоряжению перевели из тюрьмы для политических в карцер уголовной тюрьмы. Вот так, Александрик; теперь я в карцере и уж, наверное, до смерти. Кот и все прочие надеются, что я здесь быстренько сложу руки на груди, переселюсь на кладбище и наконец дам им покой. По их понятиям, в этих условиях человек не может существовать. Но я не подарю им такой радости, я живучая и еще потреплю им нервы. Помнишь (будто ты и впрямь слышишь мой шепот, я действительно становлюсь ребенком!), я жаловалась тебе на свою предыдущую камеру. Теперь вспоминаю ее с

нежностью. Где мой крохотный столик, мои нары, мой сенник (подушка пахла настоящим сеном!), моя тюремная лампа-коптилочка? Охапка соломы на обледеневшем полу — вот и вся моя постель. Лампу забрали, чтобы не подожгла камеру и себя,— я должна умирать тихо, не нарушая инструкции... Во всем казенном — куцей, из арестантской дерюги юбке и такой же рубахе, громадных «котах» и венчающем все это убранство арестантском халате я такая смешная. Хорошо, что ты не видишь меня в этом тряпье. Я не жалуюсь, нет, мне хорошо. Потому что я победила — свою минутную, человеческую слабость (капитан Николин — опытный палач, знает, куда и как бить: чувства жены, матери, женщины). Я всех их, опричников, блюдолизов царских, победила. Они беснуются, а сделать со мной ничего не могут, я сильнее их — изолгавшихся, продажных живых мертвецов, манекенов в шинелях, я сильнее, потому что и на полшага не отступила от своего крестного пути, как бы они все этого ни добивались. Я долго не разговаривала с тобой — боялась и тебя опечалить (я уверена, хотя ты и не слышишь моих слов, но чувствуешь мое настроение за тысячи километров), и себя расслабить.

Кот пришел в тюрьму вскоре после нашего с тобой последнего разговора. Он был сытый, веселый, приятно возбужден предчувствием успеха своих психологических опытов надо мной:

— Так-так, добрый день, добрый день, Софья Николаевна, здесь, немного темновато, надо бы вас перевести в камеру посветлее. Кравченко! — обратился он к унтер-офицеру, который, сопровождая жандармского капитана, всегда столбом торчал в дверях (Кот знал, как его «любят» политические, и страшно боялся за свою жизнь).— Позови надзирательницу тюрьмы! Берег для вас, никого не вселял, лучшая камера в тюрьме! Но и здесь видно, как вы посвежели лицом, день-деньской на дворе, под солнышком — хоть кому пойдет на пользу, курорт, а не тюрьма, да-да, мы вас еще подкормим — собственный муж не узнает. Они там, в Европе, думают, что мы вас голодом морим. Да-да, вы можете сами написать мужу, я позволяю, из правила тоже бывают исключения, полагаю, мы поймем друг друга, не так ли, мы ведь умные люди. Почему вы все молчите и не пошевельнетесь даже, будто перед вами столб, а не комендант политических тюрем?! Вы плохо воспитаны! — заорал он раздраженно, мгновенно сбросив личину, его актерства не хватило надолго, волк уже оскалил зубы.

— Ну что вы,— ответила я с блаженной улыбкой, (ты знаешь, я могу быть очень ядовитой),— сравнивать жандармского офицера со столбом — это слишком обидно... для столба.

— Кравченко! — вопил капитан Николин.

— Столб не причиняет зла людям. А вообще-то мы с вами не в салоне, и на вещи я смотрю прямо: вы мой тюремщик, я — ваша пленница. Так о какой вежливости может идти речь?

— Вы отбываете наказание, определенное законом!

— Плевать мне на ваш закон, я его никогда не признавала и не признаю! А вас я ненавижу и хочу, чтобы вы об этом знали!

— Кравченко! — кричал Кот.

— Слушаюсь! — снова вырос на пороге камеры унтер-офицер.

— Где ты ходишь, спрашиваю тебя, где ты ходишь?!

— Виноват, ваше высокоблагородие!

— О законе — слышал?! Слышал?!

— Так точно, ваше высокоблагородие!

— Протокол! Немедленно!

И Кот выбежал из камеры, хлопнув дверью.

Но через полчаса он явился снова — умиротворенный.

— Попробуем забыть, что мы тут наговорили друг другу, хотя вы понимаете, что я сознательно иду на дисциплинарное нарушение: согласно инструкции, я должен немедленно сообщить об инциденте и ваших злостных поклепах лично господину министру,— Кот поднял толстый палец и многозначительно посмотрел на меня.— Я пойду на это, потому что понимаю женское сердце: известие о возможном приезде мужа и сына взбудоражило вас, и нервы разгулялись, все мы люди — и революционеры, и офицеры жандармского корпуса.

Я так красноречиво посмотрела на него после этих слов, что Кот на минуту запнулся.

— Я не требую от вас письменных обязательств, если вам это неприятно, поверим друг другу на слово, по-джентльменски.

— Джентльмен не станет служить в жандармском корпусе тюрьмы для политических...

— Что?!

— Жандармской формой могут гордиться либо болваны, либо циничные мерзавцы, которым безразлично все, кроме карьеры и лакомого содержания.

— Вы ненормальная! Я отправлю вас в сумасшедший дом!

— Для вас нормален только раб! Я не желаю милости от власти, против которой борюсь и буду бороться до последнего своего вздоха!

— Кравченко! Смирительную рубаху на нее! — Кот медленно отступал к дверям, не сводя с меня испуганных глаз,

словно в моих руках действительно был револьвер. О, чего бы я не отдала в эту минуту за оружие!

— Это на вас надо надеть смирительную рубаху! На всех вас вместе с вашим царем! Опричники, кровопийцы народные! Рано или поздно, народ именно это и сделает!

Я застыла, как распятие на дубовой кованной железом двери. За ней глухо щелкали замки — это закрывали крышку моего гроба.

На следующий день Кот явился напыщенный, торжественный. Под мышкой папка с бумагами. Достал из папки и положил на стол исписанный листок:

— Прочтите протокол о вчерашнем и подпишите.

Я молча покачала головой.

— Так-так, обойдемся и без подписи. Я написал рапорт о вашем поведении и хочу, чтобы вы знали об этом. Рапорт адресован в столицу, его прочтет сам господин министр. Сами понимаете, что после такого рапорта ни о какой поездке вашего мужа и сына на Кару не может быть и речи. Хотя вы и считаете всех нас, жандармских офицеров, палачами, я не палач, и докажу это! Одно ваше слово, вы знаете, что это за слово, и я не дам хода рапорту, на ваших глазах порву и его, и протокол.

И Кот начал читать рапорт тихо, вкрадчиво. Но с каждым словом голос его гнусаво повышался,— о, с каким наслаждением писал он эту писульку, а с еще большим — читал ее. Смешно — были бы силы смеяться. Вконец измученная этой комедией, я хотела одного: быстрого конца. Я не очень-то прислушивалась к рапорту. Начинался он тем, что политическая преступница Богомолец, мол, стала исправляться, но теперь снова высказывает свои дерзкие взгляды, она плохо влияет на других преступниц, и поэтому Богомолец надо изолировать. Дальше шла теоретическая часть — вынашенные, «выстраданные» мысли и идеи жандармского капитана Николина: «Вообще, государственные преступники, в том случае, если им за различного рода грубые слова увеличивать срок пребывания в тюрьме, к подобному наказанию относятся абсолютно равнодушно. Подобные меры исправить их не могут, лишь всякий раз дают повод глумиться над охраной, а посему особ, которые позволяют себе грубые выходки, для пользы дела и примера было бы полезнее подвергать телесному наказанию...» А потом снова о твоей женушке: «...В настоящее время, если Софья Богомолец будет изолирована из тюрьмы и заключена куда-нибудь в настоящее одиночное заключение, она, возможно, и исправится, но если снова позволит себе что-нибудь недостойное, тогда необходимо как можно чаще держать ее на хлебе и воде... Если же ее выходка останется без сурового наказания, то Богомолец снова что-нибудь станет выдумывать,

чтобы показать свое превосходство и всячески унизить тюремный надзор и вообще начальство. Ротмистр Николин».

Кот дочитал рапорт, с особым аппетитом произнеся последние два слова — «ротмистр Николин», победно глянул на меня, качнулся с носков на пятки:

— Я жду вашего решающего слова, Софья Николаевна.

Я молчала: все, что я хотела сказать, я сказала вчера. Мне было мерзко разговаривать с Котом. Я закрыла глаза, чтобы не видеть его самодовольной рожи.

— Так и будем молчать?

Я не шевельнулась.

И тогда Кот понял, что проиграл. Я не открывала глаз, наверное, его лицо в эти минуты было страшным. Я услышала его зловещий шепот, сорвавшийся на крик:

— Ты у меня в карцерах сгниешь!..

Все остальное ты уже знаешь, мой любимый.

ПРОТОКОЛ

«1887 года января 12-го дня
Усть-Кара Забайкальской области

Я, заведующий ссыльно-каторжными государственными преступниками Отдельного корпуса жандармов ротмистр Николин, сего числа в одиннадцать часов утра, прибыл в усть-карийскую женскую государственную тюрьму, для опроса по делу ссыльно-каторжных государственных преступниц Софьи Богомолец и Елизаветы Ковальской вследствие данного поручения Начальником Иркутского губернского жандармского управления от 24 декабря 1886 года за № 740, основанном на требовании помощника начальника Бессарабского губернского жандармского управления в Измаильском и Аккерманском уездах от 22 сентября истекшего года за № 156 и в присутствии тюремного надзора, а именно жандармского унтер-офицера Иосифа Кравченко и надзирательницы Елизаветы Кравченко, государственные преступницы Софья Богомолец и Елизавета Ковальская отказались давать какие-либо ответы на вопрос по делу или подписывать какие бы то ни было протоколы, кроме того, преступница Софья Богомолец начала возвышенным голосом произносить неуместные слова, оканчивая словами: «Какое право имеют эти негодяи, сыщики приказывать мне и допрашивать меня по какому бы то ни было делу».

Почему и составлен настоящий протокол в присутствии поименованного тюремного надзора, который и представить Начальнику Иркутского губернского жандармского управления и копию с оного Военному губернатору Забайкальской области, прося ходатайства о переводе государственной преступницы Софьи Богомолец из усть-карийской женской тюрьмы в другое какое-либо помещение, так как при подобных ее неуместных поступках невозможно ручаться за со-

хранение спокойствия в тюрьме, а равно в случае посещения кем-либо из начальствующих лиц, чтобы не было причинено ею оскорбления как действием или на словах...»

Будешь смеяться, но я подружилась с крысами. Сначала я воевала с ними. Крысы появлялись в моей норе даже днем (впрочем, и в полдень в камере сумерки), выглядывали из дыр в полу, шмыгали из угла в угол и снова исчезали в подполье. В полночь, когда я наконец засыпала (я так мало теперь сплю, трудно засыпаю и просыпаюсь от кашля), они роскошествовали, гуляя по камере, как у себя дома. Днем я закрывала соломой и тряпьем дырки в полу, ночью притворялась, что сплю, а потом нападала на них и изгоняла, после такого тарарама крысы на несколько часов исчезали, чтобы позже появиться снова и начать все сначала. Теперь я не гоню их, а отдаю добрую треть хлеба из тех трех фунтов, что мне положено, и даже разговариваю с ними, особенно ночью, когда не спится. Только гладить себя они не дают, убегают, но надеюсь, привыкнут, если мне суждено немного просуществовать здесь, потому что моим страданиям в этой яме положит конец только моя смерть, я это знаю.

Вспомнился вдруг наш сад в Климове на Полтавщине. Когда зацветала сирень на горе (розово-голубые сугробы!), густой сиреневый аромат (дышишь глубоко-глубоко и никак не надышишься) скатывался к пруду, опутанному серебряными струнами соловьиного пения. А как-то утром, в начале мая, меня разбудили аккорды заливистых, голубых (в детстве и звуки имеют цвет) мелодий, и я проснулась со счастливой догадкой: из теплых стран вернулась иволга. Я побежала в сад и правда нашла звонкоголосый комочек в зеленых верхушках верб и радостно поздоровалась с ним...

Забудь меня, Александрик, сердечко мое, солнышко мое, ты еще молодой и будешь счастлив с другой, а Сашку нашему нужна мать. Боже, что это я говорю, не слушай свою безумную Софью, для которой без тебя и сыночка нашего нет света белого.

Любите меня, любите!..

1891—1892.
ДОРОГА К МАТЕРИ

«14 октября 1890 года... 3-го дня был врач Богомолец, я с ним переводил статью Диана...»

Из дневника Л. Н. Толстого

Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову

(18.X.1890)

«...Богомолец, врач, жена которого на каторге по делу Киевскому политическому в 1881 году, просит, чтоб ему раз-

решено было приехать в Петербург хлопотать о том, чтобы поехать к жене (она кончает каторгу и должна высылаться на поселение). Ему же, мужу, хотя и не судившемуся, запрещен, вследствие его знакомств, въезд в столицы.

Не можете ли исходатайствовать через кого-нибудь это разрешение.

Он основательно говорит, что необходимо быть самому. Он прошлого года просил и был у Дурново. Ему обещали и потом отказали. Нужно надоедать, а то забудут. Александра Михайловича я просил, но он отказался помочь мне. Поэтому вы ему не говорите. А если у вас нет других путей, то можно бы через Александру Андреевну Толстую.— Ну, простите.

Ваш Л. Толстой».

Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову

(3.XII.1890)

«Спасибо вам, дорогой Николай Николаевич, за хлопоты по моим делам, я не понял только, что значат слова Семенова: «все будет сделано». Можно ли написать Богомольцу, чтоб он ехал в Петербург? Напишите, пожалуйста, тотчас же только ответ на этот вопрос...»

Н. Н. Страхов — Л. Н. Толстому

(2.I.1891)

«По делу о Богомольце получил более подробные сведения: во-первых, его жена еще не отправляется на поселение,— еще срок не вышел, поэтому просьба мужа преждевременна; во-вторых, надзиратели недовольны ею, так что самая высылка на поселение еще не решена, еще составляет вопрос. Не могу придумать, что можно бы еще сделать, а вообще думаю, что хлопотать теперь очень трудно. Еще недавно были слухи о каких-то приготовлениях к покушению и о казнях, произведенных тайно, подробностей не знаю никаких, но что дело было, знаю несомненно. Да, Лев Николаевич, Ваше учение еще не довольно действует; как не видят безумцы, что злом зло вызывается?»

«Совершенно секретно,
Нерчинскозаводскому окружному начальнику

По полученным сведениям, 31 мая сего года выехал из г. Нежина Черниговской губернии на Карийские промыслы состоящий под негласным надзором врач Александр Михайлович Богомолец с малолетним сыном, для свидания с женой ссыльнокаторжной государственной преступницей Софьей Богомолец...»

...Многолюдие Бессарабского рынка, стройные тополя на Бибиковском бульваре, красная громада университета, где учился когда-то (неимоверно давно, еще до его, Сашиного, рождения) отец, золотые, вздымающиеся над белыми одеждами стен шлемы Михайловского и Софийского соборов — все было впервые, будоражило воображение, от всего приятно кружилась голова. Такое бывало с Сашком, когда он долго смотрел на небо, на белые барашки облаков и строил из их зыбких громад призрачные замки: невиданные города, сказочные земли, населенные великанами и крылатыми зверями. Теперь все было будничнее, реальнее, зато — всамделишное: Сашко на минуту зажмуривался, а когда снова открывал глаза,— Киев не исчезал, как призраки, возникшие из облаков, не уплывал за горизонт, Киев кружил вокруг в пестром ярком и шумном танце. Вчера, по приезде, они с отцом ходили в театр, и жизнь улицы этого большого города виделась Сашку продолжением веселого представления: танцевал на тротуаре дворник с метлой, танцевали на мостовой кони, запряженные в фаэтоны; через площади, окруженные непривычно высокими (после приземистого, тихого Нежина), словно бы и ненастоящими, нарисованными на полотнищах декораций домами, сновали люди, похожие на театральных статистов. И только нищие — кучками на улицах, толпами у соборов и церквей — нарушали веселую карнавальность Киева. Оборванные, босые или в лаптях, с темными изможденными лицами, они просили подаяния у прохожих голодным блеском глаз, умоляюще протягивали высохшие руки, женщины прижимали к себе таких же изможденных детей, закутанных в грязные лохмотья.

— Что это, отец?

— Голод, сынок. В России голод. Вот и спасаются люди, как могут. Идут на юг с Поволжья, из центральных губерний.

— А в гимназии говорили, что наша страна самая богатая в мире.

— Земли у нас действительно богатые, мало у кого еще столько плодородной земли.

— Почему же земля не может прокормить людей?

— Потому что она не принадлежит людям, на ней работающим. Земля принадлежит богатым.

— Почему же люди не могут отобрать землю у богатых?

Александр знал, что рано или поздно придется на эти вопросы отвечать. Но не думал, что так скоро. Его сын слишком любознательный и сообразительный для своих десяти лет, гимназические премудрости не могут насытить его ум, он будет искать ответ вне официальных догм. Но са-

мое страшное — душевная травма: мать на каторге. Уже сама поездка в Сибирь вызовет тысячи вопросов, оставит след на всю жизнь. Настало время разговаривать с сыном как со взрослым. Но ведь на уроках в гимназии Сашку придется говорить противоположное тому, что думает его отец, к чему он пришел своим умом. Страшная эпоха: человек с детства привыкает лгать.

Он, Александр Богомолец, и теперь еще верил в победу революции, но молодой его задор приугас, и трезвый ум подсказывал, что этих времен придется ждать не год, не два и не десять лет, что, возможно, еще и Сашку доведется жить под тенью черных крыльев венценосного орла. Александр всегда мечтал о том, чтобы сын унаследовал их с Софьей взгляды, но не находил в себе сил желать сыну того же крестного пути, по которому прошел сам, и еще более страшного, которым продолжает идти Софья. Воспитывать свое дитя для тюрем, для сибирских этапов, для карцеров! Теперь он глубже осознавал трагедию старых Присецких, родителей Софьи, четверо детей которых за свою такую еще короткую жизнь познали всю горечь тюремных страданий. Но ведь еще страшнее, если дети становятся равнодушными обывателями, откровенными блюдолизами, циничными карьеристами и издеваются над идеалами молодости родителей, над их самопожертвованием. Был третий путь: выбрать сыну такую сферу деятельности, где человек даже в условиях несправедливого строя может стать полезным обществу, например медицину. Конечно, это иллюзия: полагать, что ты стоишь в стороне. В итоге же — льешь воду на мельницу врага. Уже хотя бы потому, что ты не пытаешься эту мельницу остановить. И все же врач, если он честный врач, может сделать немало доброго в условиях деспотизма. А еще лучше, если сын осуществит его, Александра Богомольца, давнишнюю мечту и посвятит свою жизнь научной медицине. Конечно, если он будет честным ученым (как и честным врачом) и откажется служить золотому тельцу. Так или иначе — он, отец, должен воспитать честного, справедливого, реалистически мыслящего человека, а уж путь в жизни Сашко выберет сам.

— Папа, так почему бедные не могут отобрать землю у богатых? — повторил свой вопрос Сашко.

Богомолец искоса взглянул на возницу — по конспиративной привычке молодости. Они подъезжали к перекрестку, дрожки тарахтели по мостовой — ничего не разберет, если даже и прислушивается к разговору.

— Твоя мать пробовала отобрать — судьбу ее ты знаешь. На стороне богатых огромная государственная машина, армия, жандармерия.

— А разве моя мать была из бедных?

— Из богатых. Но у твоей матери доброе и мужественное сердце, она не может объедаться, когда другие люди умирают с голоду.

Это было то, что говорила когда-то, только другими словами, няня Уляна. Учителя в гимназии показывали мир с одной стороны, слова отца, бабки Уляны мир поворачивали другим боком. Собственные глаза, ум и сердце потверждали правоту отца и климовских крестьян. Правоту такой далекой, будто кем-то придуманной матери. Мир несправедлив, потому что злые люди держат его мать в тюрьме. Мир несправедлив, потому что на той стороне улицы, на церковной паперти, колышется, как осока на ветру, толпа голодных людей. И среди них мальчик — его лет. Полотняные штаны закатаны до колен, грязные ноги, будто смазанные дегтем, сума за плечами, глаза смотрят исподлобья, как два уголька,— голодный. Сашко никогда не голодал, наоборот, его заставляют есть, даже когда не хочется, но он догадывается: голод — это страшно. Если бы отец остановил дрожки у церкви, он сказал бы голодному мальчику: я три дня не буду есть, ешь ты, это справедливо. Только три дня — очень много, можно и с голоду умереть, ведь люди мрут от голода, он знает, а умереть он не хочет, он хочет увидеть маму. Лучше сказать голодному мальчику: ешь день ты, день — я, это тоже честно. Мир несправедлив, богатые обижают бедных, злые обижают добрых, но мир и хорош. Большой город — это хорошо, хотя и страшновато, вдруг потеряешься — и отец больше никогда не найдет тебя. Золотые маковки церквей — тоже хорошо. Сашко оглянулся — соборов уже не видать, пышная майская зелень спрятала их. Дрожки катились с горы, улицы становились у́же, дома утрачивали городскую праздничность, одноэтажные, приземистые, они терялись в садах, совсем как в Нежине. Цвели акации, на левадах белел цвет калины, густой сладкий дух жасмина выплывал из-за заборов, разливался по улицам.

— Куда мы едем, папа?

Отец не ответил. Сашко привык, что он всегда серьезный и задумчивый. Сегодня — особенно.

Александр слышал вопрос сына. Но что он мог ответить? Они въезжали в их с Софьей молодость. Ни улицы, по которым они ехали, ни дома, возле которых он просил кучера остановиться или замедлить ход, ничего не могли сказать Сашку, зато сколько напоминали они Александру!

В этой гимназии Софья училась, а в этом доме они познакомились, в этом сквере встречались, а в этой аллее Ботанического сада признались друг другу в любви и решили пожениться. На углу Владимирской и Большой Житомир-

ской сердце его больно сжалось — здесь, в подвалах полицейского участка, прошли первые Софьины дни в неволе. Здесь он бродил в одиночестве и отчаянии, когда вернулся из-за границы, узнав об аресте жены,— она была так близко и так недосягаемо далеко! По Большой Житомирской Софью возили в черной карете из Лукьяновской тюрьмы на суд с крохотным сыном на руках. Сашко, конечно, помнить этого не может, а обо всем не расскажешь — да и где набраться сил, чтобы все это пережить еще раз? И чем ближе к печальной памяти Лукьяновке подъезжали дрожки, тем тяжелее становилось на сердце. Он и сам провел здесь горький тюремный год — от ареста до ссылки. Его судьбу вместе с судьбой шестидесяти тогда же арестованных товарищей решили без суда, в административном порядке: четыре года Сибири...

Купаясь в пыли, дети перебегали улицу прямо перед мордой лошади, отчаянно галдели воробьи в палисадниках, пронзительно насвистывали скворцы, ветви яблонь с кругляшками зеленой завязи тянулись через заборы. И вдруг все расступилось (так неожиданно торжественно поднимается театральный занавес перед последним актом спектакля), и глазам Сашка открылась мертвенно-серая, с бельмами массивных, перечеркнутых решетками окон, трехэтажная каменная тюрьма, окруженная такими же серыми, мертвыми стенами и железным провалом ворот. Сердце мальчика бешено заколотилось, без единого отцовского намека он понял, куда они приехали: тюрьма. И еще он почувствовал, как все, прожитое до сих пор, теряет цену, а его настоящая жизнь начинается именно сейчас. Это не был страх, хотя тюрьма строилась, чтобы вселять страх в детские и взрослые сердца. Ему было жутко от обыденности этой тюрьмы.

И вдруг судьба матери, до сих пор лишь захватывающая легенда, почти сказка, стала реальностью. Последние месяцы, с тех пор как было получено разрешение на поездку в Сибирь, Сашко жил, как герой приключенческой книги. Ему сшили тулупчик (сибирские морозы!), купили валенки. Отец приобрел двенадцатизарядный винчестер и никелированный револьвер, даже разрешил Сашку подержать их в руках. Вместе с Сашей Левчановским Сашко изобрел код для тайной переписки. Отец усмехнулся, погладил сына по голове: «Какой ты еще ребенок, Сашко!» А он все играл, до самой последней минуты, когда поднялся зеленый занавес и его изумленному взору открылась тюрьма,— дом, где он появился на свет.

— Видишь третье окно на втором этаже? Вот там ты и родился, Сашко,— сказал отец.— А где потом десять лет провела твоя мать, скоро увидишь...

«Господину военному губернатору

6 марта 1889 года

При посещении мною 18 числа минувшего февраля Карийских политтюрем, содержащаяся в отдельном помещении при Карийском лазарете вследствие неспокойного характера ссыльнокаторжная государственная преступница Софья Богомолец, обратясь ко мне, сказала: «Вы стращали нас (ее и содержащуюся вместе с нею преступницу Елену Россикову) в прошлом году, что нас повезут далеко, а вместо этого посадили сюда. Нашлось несколько людей, желавших блага народу, и их преследуют теперь, так могут поступать только презренные опричники... Но, погодите, постигнет вас возмездие». На слова мои, что она отбывает в тюрьме наказание, назначенное судом и законом, Богомолец ответила: «Плевать мы хотим на ваш суд и закон». Так как мне не представлено права делать какие-либо распоряжения касательно политических тюрем и содержащихся в них преступников, то взыскания с Богомолец за вышеупомянутую дерзкую выходку не было мною наложено.

Полковник фон П л о т т о»

Уложив Сашка (рано утром они отправляются в путь, и кто знает, когда еще доведется спать в постели), Богомолец вышел на улицу. В последних лучах солнца пламенели купола Михайловского собора. Прислуга выводила на вечерний променад господских собак. Семенили под ручку с господами офицерами барышни. По бульварам прогуливались отставные полковники и генералы — чуть ли не со всей России стекались они сюда, под теплое киевское небо. Держась уверенными группками, проходили молодые рабочие, жители окраин, совсем не те, что лет десять — пятнадцать назад.

Давно он не ходил так — спокойно и размеренно, да еще по киевским улицам. Разрешение на поездку в Сибирь пришло в конце зимы после трех лет просьб и ходатайств: «...Со стороны министерства внутренних дел нет препятствий для разрешения жителю Нежина, врачу А. М. Богомольцу, отбыть с малолетним сыном в Восточную Сибирь для свидания с женой — ссыльнокаторжной государственной преступницей С. Богомолец, которая содержится в карийской тюрьме». Александр уже потерял всякую надежду, тем более что Лев Николаевич Толстой ничего утешительного не сообщал. Еще раз беспокоить великого писателя у Александра не хватало духу. И вдруг — нежданная радость!

Дни замелькали, как спицы в колесе. Надо было выезжать сразу, как только начнутся летние каникулы в гимназии, до срока оставалось два месяца, а дел невпроворот. Ехали-то не в соседнюю губернию — почти за десять тысяч верст. Александр сам пугался, глядя на карту: железная

дорога обрывалась на Урале, а за ней еще тысячи и тысячи верст тайги, снегов, бесчисленных сибирских рек. С ним ребенок, надо обо всем позаботиться заранее: одежда, еда, лекарства, оружие, деньги, бумаги... А еще сопротивление родни — и его, и Софьиной: везешь ребенка на смерть и тому подобное. Он преодолел все, но жил последние месяцы как в угаре. И вот первый вечер, когда все собрано, увязано, решено, распланировано, билеты в кармане, и через какие-то десять часов поезд помчит их с Сашком на восток. Завтра будут новые хлопоты. Но сегодня и новых еще нет, и старые закончились. Можно пройтись спокойно по киевским улицам, заложив руки за спину. Пока они с Сашком ездили и бродили по Киеву, в гостиницу приходил давний знакомый Александра — Николай Ковалевский, оставил записку с просьбой к вечеру наведаться в университетский сквер, хотел повидаться перед отъездом.

Александр догадывался, по какому делу хочет видеть его Ковалевский. Два года назад на Каре отравилась жена Николая Мария Ковалевская. Вместе с ней добровольно расстались с жизнью еще пять карийцев. Революционеры протестовали против издевательств жандармов над Елизаветой Ковальской и Надеждой Сигидой. Имена Сигиды и ее товарищей, которые и в заключении мужественно боролись с насилием, выбрав единственно возможную для них форму протеста — смерть, стали известны всей империи. Докатилась весть о карийской трагедии и до Нежина. Александр пережил тогда страшные дни — он был уверен, что и его Софьи уже нет в живых. Потом один из карийцев, вышедший на поселение, написал Богомольцу: Софью еще в конце восемьдесят седьмого года перевели из женской политической тюрьмы, мол, плохо влияла на своих товарищей, подбивала их на протесты, теперь ее содержат в одиночке уголовной тюрьмы в Усть-Каре, и о событиях на каторге она до сих пор, наверное, не знает. Так жандармы, желая покарать Софью, невольно спасли ее от смерти. Кто-кто, а его Софья, зная о коллективном протесте, не отступилась бы, не раздумывала бы, как поступить. Александр содрогнулся от одной мысли об этом. Пока Софья жива — есть надежда. Пусть годы каторги впереди, пусть болезни, холод, пусть поселение в сибирской глуши — когда-нибудь они будут вместе. Безнадежность — это когда смерть. Александр заранее испытывал неловкость всякого счастливого человека рядом с горем другого. Как бы там ни было, а он едет к жене.

Из письма Марии Ковалевской:

«Галя моя в этом году кончает гимназию,— ей уже шестнадцать лет минуло, а я, к стыду моему, не приобрела еще соответствующей солидности,— видно, мне и помереть при-

дется «не солидной». Впрочем, я не печалюсь: за «солидностью» очень часто ничего не скрывается. Я так люблю безыскусные детские письма. Они не знают, что своей симпатией ко мне много помогают переносить эту каторгу: хочется оказаться достойной их симпатии, хочется сохраниться настолько, чтобы, если желанный час пробьет, быть на уровне событий, быть годной дать что-нибудь этим молодым душам...»

Первым он вряд ли бы узнал Николая Ковалевского. Видел его в последний раз году в семьдесят восьмом (тогда Ковалевский учительствовал в киевской гимназии) и помнил стройным молодым человеком, хотя годами тот был старше Богомольца. За политическую неблагонадежность Ковалевского уволили со службы, и он переехал в Одессу. На следующий год военный суд приговорил Марию Ковалевскую к пятнадцати годам каторги, а Николай Васильевич административно был выслан на пять лет в Восточную Сибирь.

Навстречу Александру со скамьи поднялся пожилой, весь седой, сгорбленный человек с исстрадавшимися и будто тоже поседевшими глазами. Левой рукой Ковалевский поддерживал на плечах выцветший плед, хотя вечер был теплый, правую руку протянул Богомольцу:

— Простите, родной, что заставил вас идти, но не хотелось лишний раз мозолить глаза гостиничной прислуге, чтобы вам не навредить, в далекую и тяжкую дорогу отправляетесь.

«Неужели и я такой же старый? По себе ведь лет не замечаешь»,— подумал Богомолец, но сказал другое:

— Я с радостью прошелся, вспомнил молодость. Сколько это мы с вами не виделись, Николай Васильевич? Лет тринадцать? А вы все такой же, бодряк!

— Не надо, дорогой,— Ковалевский нежно взял его под локоть.— Мы с вами не барышни. Отбодрился, в могилу смотрю. О Марии моей знаете?

— Знаю,— кивнул Богомолец.— В чьем сердце эта высокая трагедия не откликнулась!

— Не надо, не надо слов, родной мой,— поспешно закутался в плед Ковалевский.— Я устал от слов. И мне очень больно до сих пор. Сам не думал, что так будет больно. Вы знаете, мы с Марией давно расстались. Я никогда полностью не разделял ее взглядов. И дочку жаль — дочь ее очень любила и ждала. Я долго не говорил ей, но перестали приходить письма... Завидую вашей настойчивости и мужеству — с ребенком в такую даль. Я не смог, а жаль — дочь только по фотографии и знает мать. Понимаете, родненький, будто бы и свобода, а какая свобода — помирать с голоду.

Кинулся туда-сюда, а заработка никакого, работать не дают, экономическое положение у меня здесь хуже, чем в Минусинске было, в Сибири. Вы, кажется, в Семипалатинске отбывали? Существую только частными уроками, о какой поездке можно было думать, разве что на государственные средства — по этапу, знакомой дорогой... Но я не о том хотел с вами. Будете там, сходите на могилку Марии Павловны. Прошепчите слова от меня. Мы материалисты, но когда речь идет о памяти близкого человека, становимся детьми. И расспросите, кто знал Марию Павловну, кого сможете увидеть, расспросите о последних днях ее. Это вас не затруднит?

— Что вы, Николай Васильевич! Кроме всего, это и мой долг перед памятью Марии Павловны.

— Софье Николаевне передайте мой низкий поклон. Помню ее, скажите, и люблю. Поколение, гляжу, теперь новое выросло. И мыслят не так, будущее видят иначе, и другие речи у них на устах. Наши идеи кажутся им старомодными. Но мужество таких людей, как Софья Николаевна,— непреходяще, оно будет светить еще не одному поколению.

— В Киеве сейчас спокойно?

— Будто бы спокойно и — не спокойно. Я немного в стороне стою, старый, больной. Слушаю лишь отголосок прибоя. Но чувствую: нечто значительное начинается. Говорю вам: нечто значительное. Украинофилы, поляки с их лозунгом — «Польша от моря до моря», чиновники, студенты, готовящиеся к роли народных поводырей. И хотя рядом процветает приспособленчество, забота о теплых местечках — этого в Киеве, впрочем, всегда хватало, так было, так будет, но настоящее движение зарождается не в интеллигентских салонах. Море рабочее в глубинах своих бунтует. Знаете о делах питерских — маевки, шелгуновская демонстрация? У нас здесь такого еще нет, не слыхивал, но марксистские кружки существуют, есть и знающие, чуткие к новому слову рабочие. Не подумайте, что я на старости лет в марксисты записался, марксизм, о котором сейчас столько спорят, мне непонятен, да и какой из меня революционер, я всего лишь безработный учитель, и в Минусинск попал скорее по наговору, чем за настоящие грехи. Но в морской раковине, если даже она уже пустая, мертвая, все равно слышен шум прибоя — так и я. Вы, Александр Михайлович, моложе и крепче, дольше проживете и когда-нибудь вспомните старого Ковалевского: нечто большое, великое зарождается...

Из речи рабочего Петра Алексеева, произнесенной на суде 9 марта 1877 года:

«Петр Алексеев. ...Подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда.

Председатель суда *(волнуется и, вскочив, кричит).* Молчать! Молчать!

Петр Алексеев *(возвышая голос).* ...и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!»

Из речей петербургских рабочих на первомайских собраниях 1891 года:

«Мы твердо должны надеяться на нашу победу. Нам стоит только вооружить себя сильным оружием,— а это оружие есть знание исторических законов развития человечества,— нам стоит только этим вооружить себя, тогда мы всюду победим врага. Никакие его притеснения и высылки в Сибирь не отнимут у нас этого оружия. Мы всюду найдем поле победы... Нести такое сознание в народ есть прямое, неотъемлемое право всех развитых рабочих. Это показала нам борьба нашей интеллигенции 70—80-х годов. Взгляните, товарищи, на эту борьбу с исторической точки зрения, как эти друзья и борцы народа несли в народ все свои знания и, нередко жертвуя даже жизнью,оправдали себя перед историей и не остались в долгу у народа...»

«...Правительство, как нам известно, всегда за малейшие проявления неудовольствий к существующим безобразиям высылает и сажает по тюрьмам рабочих и интеллигенцию... Но я надеюсь, товарищи, что такие меры правительства не запугают никого из нас, а лишь только возбудят большую ненависть к нему и к существующему строю, который оно оберегает, и большее желание поскорее добиться такого строя, при котором не было бы ни бедных, ни богатых, а все бы пользовались счастьем и довольствием в равной степени».

«...Трудная ведется борьба. Уже десятки тысяч молодежи погибли за нас в снегах Сибири, в казематах Петропавловки, Шлиссельбурга! Начнем же и мы сами за себя бороться! Нелегко вначале нам придется: каждый шаг наш, каждый проступок грозит нам тюрьмой или высылкой, но что же делать, товарищи! Не без этого, когда дело идет о жизни или смерти!

...Товарищи, братья! Неужели мы не люди?..»

Вернувшись в гостиницу, Александр не зажигал лампы, чтобы не разбудить сына, долго стоял у окна, смотрел на город в светящихся точках газовых фонарей и думал над словами Ковалевского. Большинство вернувшихся из Сибири действительно всего лишь пустые раковины, в которых убита сердцевина, тюрьмы и ссылки даром не проходят, а может, и годы дают себя знать. Но как важно, чтобы море

народного протеста, капелькой которого ты был, вечно шумело, чтобы неуемный плеск волн о твердыню самодержавия отозвался и в тебе радостным гулом. Если море волнуется, значит, ты недаром страдал, не зря положил молодость на алтарь борьбы, ты шел по верной дороге, и если не дошел до цели — дойдут другие, дети твои и внуки. Покуда шторм на море радует и бодрит — ты жив.

Теперь и на Киев он смотрел другими глазами. Спокойствие города, где они с Софьей вместе с лучшими людьми своего времени сеяли, как могли и умели, зерна будущей бури, только внешнее. Там, в глубинах, работают новые сеятели. Жизнь продолжается.

Софья будет рада услышать это.

Но пора спать. Поезд отходит рано.

...Мир, который до сих пор простирался для него не дальше нежинских околиц (и еще, как полузабытое детское воспоминание,— дедово имение на Полтавщине), вдруг безгранично расширился и продолжал расти на глазах. Сашко смотрел в окно вагона и будто бы листал яркую книжку с картинками про далекие путешествия, но настоящая жизнь была куда интереснее. Города, о которых он раньше только читал или слышал от учителей в гимназии, оказывается, существовали в действительности: Киев, Курск, Орел, Тула... Существовали известные лишь машинисту паровоза станции с мелькающими красными коробками вокзалов и водокачками, были поля и леса, по которым Сашко никогда не ходил и вряд ли будет ходить — так их много, были люди, которые и слыхом не слыхали о Сашке Богомольце, и он о них ничегошеньки не знал: люди теснились в проходах вагонов, спали на полках и даже на полу, под полками, людей было так много, что они казались все на одно лицо, как шинели или фуражки гимназистов в гардеробной; но время от времени какое-то из лиц открывалось, становилось непохожим на другие лица, потом тоже исчезало на одной из станций, в вокзальной толчее, и Сашко со счастливым предчувствием будущих встреч думал: «Как много интересных людей на свете...»

Он жадно припадал к вагонному окну, вслушивался в разговоры, засыпал отца вопросами, тем более что отец никогда не утомлялся отвечать, не раздражался, не подтрунивал, когда вопросы были наивными (Сашко еще так мало знал, а знать хотелось так много!), говорил с сыном всегда обстоятельно и серьезно.

В Москве у них выдался свободный день, отец и сын обошли, объездили, забравшись на верхнюю площадку конки, чуть не всю Москву и так натрудили ноги на каменных мостовых, что в вагоне поезда, который вез их до Нижнего Новгорода. Сашко спал беспробудно до полудня; а снилась

ему мать, как всегда во сне больше похожая на иконописную деву Марию (такая икона висела в его детской в Климове), чем на фотографию, мать звала Сашка к себе. Но между матерью и им возвышался забор, не из досок, а из плоских силуэтов в шинелях, и Сашко даже не слышал материнского голоса, а видел лишь поверх голов протянутые к нему руки, шевелящиеся губы и зовущие глаза. Глаза были синие, отец часто рассказывал, что у матери большие синие глаза.

Нижний Новгород показался Сашку городом, построенным про запас: людей было мало, а домов много. Отец пояснил, что Нижний живет знаменитой ежегодной ярмаркой, как степная река весенним половодьем, тогда в город на Волге едут со всех концов России. Зато причал и теперь кипел жизнью. Сашко никогда не видел столько пароходов и барж, сначала он считал их, но вскоре бросил, причал тянулся, казалось, нескончаемо. Волга поразила его — так много воды! Она была мощнее и могущественнее Днепра, а Днепр до сих пор казался ему самой большой рекой в мире.

— Вот здесь я в последний раз видел нашу маму,— тихо сказал отец.

— Она, как и мы, поплыла на пароходе?

— Не на пароходе — на барже. Мы договорились встретиться в Сибири. Я должен был догнать ее и помочь выйти на свободу. А прошло уже десять лет, страшно подумать — десять лет...

— Почему же ты не поехал за мамой?

— Поехал, и снова через Нижний Новгород, и от этого причала отчаливал, только уже не один — под конвоем.

— О, так ты, папа, хорошо знаешь дорогу, мы не заблудимся...

— Эту дорогу, сынок, хорошо знают тысячи честных людей России,— печально усмехнулся отец.— Навеки она орошена слезами и кровью.

— А все же я дорисую свою карту, можно?

— Конечно, так будет надежнее...

Картой они запаслись еще в Нежине. По ней выходило, что в Нижнем Новгороде им надо пересесть на пароход, плыть по Волге до Казани, чуть ниже Казани свернуть на реку Каму (здесь главное следить, когда свернуть, думал Сашко, потому что по Волге можно заплыть аж в Каспийское море, впрочем, капитан парохода, наверное, будет знать), а в Перми снова положиться на железную дорогу. На Урале, в Екатеринбурге, нитка железной дороги обрывалась, дальше неизвестность, а если доверять масштабам географической карты, то от Урала им останется еще почти две трети пути.

Они уже были на пароходе, когда буксир отчалил от бе-

рега и поволок на середину реки баржу, огражденную металлической сеткой. Сетка начиналась у самой воды и поднималась, вырастала над бортами. Сашку казалось, что зажат решеткой даже кусок неба над палубой.

— Кур на ярмарку в ней возят? — засмеялся Сашко, небесная синь отражалась в воде, и Волга виделась ему перевернутым небесным блюдом, на краю его, близ низкого левого берега, белел парусник.

— Людей на каторгу...

Сашко резко повернул голову: отец не шутил, его лицо было серьезным и грустным.

Голубизна неба, отраженная в водном зеркале, померкла.

Они догнали баржу в конце дня: в загоне за сеткой ходили люди в арестантских халатах, в круглых, без козырьков, похожих на блин, шапках из серого солдатского сукна. К крохотным, как бойницы, и тоже в решетках, оконцам над самой водой прижимались серые лица. Сашку захотелось зажмурить глаза или отвернуться, чтобы любоваться высоким лесистым берегом Волги, живописно украшенным разноцветными куполами монастырей. Но не осознанное толком, хотя уже не детское упрямство повелевало не зажмуриваться, и он неотрывно смотрел и смотрел на баржу-тюрьму, такую же, как та, что десять лет назад захватила и повезла в Сибирь, в ночь, в неволю его маму.

Пришел отец, молча вытер платком лицо сына, мокрое от слез, и повел его в каюту. В каюте Сашко крепко уцепился за широкую теплую отцовскую ладонь и заснул.

В Екатеринбурге отец купил возок с верхом. Сложили вещи, запаслись харчами и двинулись на перекладных, от станции к станции. Колеса то стучали на деревянных мостках, вытрясая из путешественников душу, то вязли по самые ободья в грязи, и тогда звоночки под дугой едва тенькали, а отец, нервничая, просил ямщиков погонять лошадей: надо было спешить — мать больна, они везут ей лекарства. Верх на коляске пока что был не нужен, в Уральских горах они снова попали в весну: ярко сияло солнце, по склонам гор, поросших лесом, бежали ручьи, зелень была свежей, как будто ее только что нарисовали.

Продолговатые этапные тюрьмы, огороженные высокими стенами из кольев, походили на гигантские гробы, которые несли на кладбище, да так и бросили, утомившись, у Сибирского тракта. Все чаще отец и сын обгоняли арестантские партии. Несколько сотен людей, позванивая цепями, медленно, сосредоточенно месили грязь. Босые ноги большинства арестантов были укутаны в тряпье. В середине обозов скрипели телеги с больными и багажом. Иногда на телегах сидели дети, а то и просто брели в толпе, держась за руки матерей. Обозы окружали конвойные с винтовками.

Одну партию застали на отдыхе возле кирпичного столба, с одной стороны которого было написано: «Европа», а с другой — «Азия». Женщины плакали, молились и целовали землю, которую оставляли, возможно, навсегда; кое-кто из арестантов заворачивал в платки пригоршни европейской земли, лица были хмурыми.

— Граница. Дальше Сибирь,— сказал отец.— Надо сойти, так полагается. Страшно подумать, сколько несчастных на протяжении веков останавливалось здесь. Много людей идет в Сибирь, да мало возвращается обратно.

Отец и сын молча постояли у граничного знака. В другое время десятки вопросов посыпались бы на отца, но теперь Сашко спрашивал сам себя и отвечал, как умел. За последнюю неделю он стал молчаливее, но множество мыслей роилось в его голове, и были они не обычными, не детскими.

— А сколько нам еще до мамы ехать?

— Пять тысяч верст, сынок, Сибирь велика.

— А сколько мы за сутки проезжаем?

— Если ехать днем и ночью, то верст сто пятьдесят.

— Не скоро мы еще увидим нашу маму, отец.

— Ты устал, Сашко?

— Нет, это я так — думаю.

Александр долго, годами (времени хватало — добивался поездки с восемьдесят седьмого, а нынче девяносто первый) думал, брать ли сына в далекое и тяжелое путешествие. Здоровьем Сашко похвалиться не мог: месяцы, проведенные Софьей в тюрьме до родов, и первые недели жизни в тюремной камере теперь давали себя знать. Родственники имели основания, когда упрекали, что он рискует вернуться домой с больным сыном, если вообще довезет. Но было еще и другое здоровье — здоровье души. Путешествие по печально известному Сибирскому тракту, собственно, в Дантов ад, свидание с матерью, политической каторжанкой, человеком огромной духовной силы,— это на всю жизнь, как бы потом она ни сложилась у сына. Такой поездки не заменят никакие гимназии в мире, никакие университеты. И теперь он видел, что не ошибся. Сашко думал, учился думать. Почти десять лет в гимназии его будут пичкать добропорядочной фальшивой официальщиной. Но сын уже не даст себя отравить: он с детства увидел то, что упрятано за ширмами, столь щедро расписанными шайкой катковых-леонтьевых, увидел реальную картину жизни империи. Может быть, это слишком жестоко — ввергнуть еще не окрепший разум в адское пламя. Но истинно крепкий металл закаляется на сильном огне.

Ясно, легкой жизни у их сына не будет никогда, это он знал наверняка. Грядут нелегкие, неспокойные времена, которые потребуют большого гражданского мужества. Тихой

жизни ждать новому поколению нечего. Сибирь, конечно, край просторный, но и он когда-то переполнится. Чаша народного горя и терпения не бездонна.

Дни проплывали, как версты: медленно и однообразно. Уже месяц как они в дороге. Сашко отметил на своей карте Томск, Красноярск, Иркутск. Через Байкал они переправлялись на пароходе. Всходило солнце. Вода, и горы, и небо — все было пурпурным. В трюме звенели цепи — с ними плыла партия арестантов. Сибирь поразила даже Александра, который уже прошел по этому страшному пути, пять лет отбыл в Тобольске и Семипалатинске. Безлюдье на тысячи верст, бездорожье, нищета рассыпанных вдоль Сибирского тракта деревушек — и такая щемящая красота, величие, такое богатство природы. «Это еще одно преступление самодержавной машины,— думал Богомолец.— Такой край сделать тюрьмой народов! Он ждет не каторжника, не невольника, а энергичного, инициативного хозяина. Неужто когда-то будет такое?» Эти бесконечные обозы несчастных в арестантских халатах подействовали и на него. Какую силу убеждений надо иметь, чтобы не потерять веру в будущее своего народа на этих этапах, в тюремных казематах и жертвовать своей жизнью во имя будущего!

Перебрались через Яблоновый хребет. Отсюда дорога до самой Читы, губернского города Забайкалья, покатилась ровнее. После Читы еще верст двести — до Сретенска, городка или поселка на берегу реки Шилки. Там дорога обрывается. Бывалые путешественники рассказывали, что от Сретенска до Кары летом единственный путь — по реке, на плотах. Если Шилка среди лета обмелеет, придется ждать полноводья. Что ж, каким только транспортом они с Сашком не пользовались во время путешествия, попробуют еще и на плотах. Только бы быстрее, быстрее. Только бы не опоздать.

Ведь можно и опоздать.

Утомленный дорогой, оглушенный впечатлениями, Сашко теперь много спал, свернувшись клубочком в углу кибитки. Александр целыми днями напевал вполголоса украинские песни, он знал их без счета, а вспоминались только грустные, и, косясь на сонного Сашка, думал о том, что глубоко таил от сына.

О Софьиной болезни он узнал еще год назад и с тех пор не находил себе места. Александр отдавал себе отчет, что такое туберкулез в условиях каторги. Не одного его соратника по революционному делу съела в Сибири эта страшная болезнь. Даже в Крыму люди умирали от чахотки — медицина пока еще бессильна бороться с ней, что же говорить о «крыме» в тюремной камере, при сибирских морозах. Когда болен родной тебе человек, веришь в чудо, даже если

ты сам врач. И Богомолец верил. Но когда оставался наедине со своими мыслями, сердце больно сжималось: только бы успеть, только бы успеть! Если они успеют, еще останется хоть капля надежды: он вырвет ее из тюрьмы, каких бы унижений это ему ни стоило, хотя бы в «вольную команду», а там организм Софьи, взбудораженный встречей с мужем и сыном, возможно, найдет в себе силы сопротивляться болезни, и тогда лекарства, которые он везет, помогут.

История медицины знает такие счастливые случаи.

Только как медленно ползет их кибитка по почтовой дороге, вьющейся вдоль Шилки,— вода в реке плещется о каменные берега, обгоняет их!

«Обходя описание всех трудностей, которые выпали в дороге, Александр Михайлович останавливался на самых интересных, на его взгляд, моментах. Так, переправившись через Байкал и проехав очередную тысячу километров, путешественники оказались в тупике — дальше пути не было, и кибитка была лишней. В те далекие времена в таких условиях существовал лишь один способ передвижения — водой на плотах. Надо было ждать подъема воды в реке и следующего плота. Потянулись дни томительного ожидания.

Богомольцы остановились на постоялом дворе, содержал его поляк, сосланный в Сибирь за участие в восстании. Узнав о цели поездки Богомольцев, он окружил наших путешественников таким вниманием и заботой, что даже через тридцать лет Александр Михайлович с волнением вспоминал о нем... Не помню, долго ли продолжалось путешествие на плоту, не помню и названия речки, которая, кажется, впадает в Ледовитый океан, но наконец Богомольцы прибыли к цели своего путешествия.

О том, как произошла встреча с Софьей Николаевной, Александр Михайлович не рассказывал».

Н. М. Левчановский. Воспоминания об А. Богомольце

«С. Богомолец какое-то время содержалась в отдельном небольшом строении, находившемся неподалеку от моей хибарки, и мне иногда удавалось видеть ее, а однажды я имел с ней довольно продолжительную беседу. Она, как и раньше, оставалась непримиримой: не допускала никаких компромиссов с начальством. Невыразимо тяжко было смотреть на ее вконец изможденное страданиями лицо: у нее тогда началась уже чахотка. Весной 1891 г. из России приехали проведать ее муж с сыном».

Л. Г. Дейч. 16 лет в Сибири

«Повторить печальный путь мне не под силу даже сейчас...»

А. А. Богомолец. Из письма, написанного в 1925 году

Ночью у Софьи пошла горлом кровь. Она проснулась от кошмарного сна: скользкая и холодная, как гадюка, рука, просунувшись сквозь глазок двери, сдавливает ей горло. Софья боролась, вырывалась из цепких пальцев, но дыхание спирало, она умирала, и лишь последним усилием воли ей удалось сорвать душную пелену сна, она зажгла ночник. Подушка вся была мокрой от крови, в горле хрипело. Она села на край нар, и тут грудь ее взорвалась кашлем. Во рту стало солоно, а в следующее мгновение кровь выплеснулась горячим сгустком; охваченная болью, родившейся в груди и остро пробежавшей по всему телу, Софья сползла на пол. До сих пор она была убеждена, что не боится умереть: сколько раз за эти страшные годы ходила рядом со смертью — и не отступала, стояла под пулями винтовок, отказывалась от пищи шестнадцать, двадцать дней, обливала керосином и поджигала камеры, карцеры, куда ее заточали. Но сейчас, среди ночи, на сырых и холодных досках изгрызанного крысами пола Софью, обессиленную от потери крови, охватило отчаяние.

Безлюдная, немая, кошмарная, как на кладбище, ночь: кричи, зови на помощь, проси о спасении — разве что дремлющий на крыльце часовой недовольно затопает в коридоре, заглянет в дверной глазок и снова пойдет досыпать, ночи теперь даже здесь не холодные, а утром доложит на радость тюремному начальству, что арестованная Богомолец наконец-то умерла. Вот-вот догорит керосин, погаснет ночник, оборвется последний лучик, соединяющий ее с живым миром, и она, захлебываясь в темноте собственной кровью, будет медленно погружаться в кромешную тьму. Никогда никто из близких не узнает, как она умерла, что думала перед смертью все эти десять страшных лет, тело ее закопают на казенном кладбище, и если Александр с Сашком действительно доберутся этим летом на Кару, им покажут лишь ее могилу.

Воспоминание о сыне и муже придало Софье сил. Она знала лишь, что поездку наконец разрешили и что муж с сыном намереваются выехать из Нежина в начале лета, по окончании занятий в гимназии. Так написал Александр. Больше она ничего не знала. Письма шли месяцами, да и не все попадали к Софье: ротмистр Николин отбыл с Кары, но и новый жандармский надзиратель над политическими не жаловал непокорных. Особенно он невзлюбил Софью после того, как она высказала всю правду о тюремных порядках в

глаза начальнику иркутского жандармского управления. Губернатор Восточной Сибири «наградил» ее за это еще двумя годами каторги. Да, впрочем, не все ли равно — семнадцать или девятнадцать. Действительно, как они все — от военного губернатора до надзирателя тюрьмы — обрадуются: наконец-то избавились от этой одержимой Софьи.

Она схватилась за нары и с трудом оторвала от пола тяжелое, как у намокшей в воде ватной куклы, тело. Потом поднялась на колени. Ноги подгибались, колючие мурашки бежали по жилам, собираясь в груди щемящим клубком. Передохнув, она стала взбираться на свое дощатое ложе, как на стены осажденной крепости. Когда уже улеглась на тощем матрасе, в груди снова заклокотал кашель,— казалось, вот-вот разорвет на кусочки ее немощное тело. Софья сцепила зубы, сдержала дыхание и на этот раз подавила кашель. Теперь она старалась дышать чаще, но не глубоко, чтобы не раздражать легкие. Ночник помигал и погас, но она уже не боялась темноты. Смерть снова отступила. Живучая она. А все потому, что должна увидеть своего сыночка и мужа, а там уж как будет. Даже железо имеет предел прочности. А она всего лишь человек.

На другой день в камеру вошел тюремный врач. Молодой, только что с университетской скамьи, на Кару приехал недавно. Черты лица удивительно правильные, будто вычерчены большим знатоком пропорций с помощью циркуля: длина лица должна быть равна длине трех носов, длина тела равна высоте восьми голов и т. д. Софья не любила мужчин с такими правильными чертами лица. Особенно если на мужчине безукоризненно, как на манекене, сидит темный, с начищенными до блеска желтыми пуговицами мундир. Особенно если глаза мужчины не теплее металлических пуговиц. А может быть, ей просто худо после бессонной ночи. Нельзя, наверное, ненавидеть чаловека за то, что ему идет мундир тюремного ведомства. Какие мысли появились!.. Скоро, Софья Николаевна, ты скажешь себе, что нельзя ненавидеть жандарма только за то, что он жандарм: может, под жандармским мундиром бьется доброе человеческое сердце... Рождественские сказочки о добром волке. Волк не может быть добрым по своей сути, по естественному своему предназначению. Порядочный человек никогда не напялит на себя этот мундир, да еще и врач по образованию. Но ведь надо кому-то и арестованных лечить? Недовольная собой, она закрыла глаза.

— Вчера мне было плохо. Кровь горлом... Я знаю, что радикально медицина помочь мне не может.— Минуту помолчала и крикнула с вызовом: — Я прекрасно знаю, что

меня ждет, и готова к этому! — Передохнула, и уже спокойнее: — Но хотела бы еще немного прожить.

— Ну, конечно, узнали, что к вам выехали муж и сын, захотелось жить. Это пока приедут, а потом и вообще не захотите покидать этот мир. Все логично...— Врач усмехнулся, достал коробку с папиросами, открыл, но взглянул на Софью и не закурил, только держал папиросу в тонких белых пальцах.— Вы правы — медицина уже не поможет вам. Но сами себе вы помочь можете. Бросьте играть в детскую игру, которую вы называете революционной борьбой, подавайте прошение о помиловании. Как врач я подтвержу туберкулез, и вас по крайней мере выпустят из этой ямы. Свежий воздух, тепло, хорошее питание — это может еще вас спасти. Так что, готовить бумаги для министерства?

— Не волнуйтесь, господин доктор, я уверена, что бумаги не потребуются... Никаких просьб к правительству, которое я не признаю, писать не стану. Если я за десять лет каторги ни разу не обрадовала начальство, то уж и не обрадую, стоя на краю могилы.

— Не понимаю и никогда не пойму вашего примитивного фанатизма! — Доктор нервничал, Софья это видела и становилась еще спокойнее.— Ну пусть бы там какой-то мастеровой, но ведь вы образованный человек. Ведь умрете, сойдете в землю, что и кому вы этим докажете? Вы что, верите в поповские сказочки — в бессмертие души?

— Я верю в бессмертие совести...

— Какая там совесть! Слова! Слова! Оставьте это для доверчивых юных гимназисточек. Я реалист и знаю: только и нашего, пока мы топчем эту землю.

— Почему вас это так трогает, доктор? Живите себе. Дослужитесь до генерала, в тюремном ведомстве это возможно, не то что в какой-то там земской больничке. Будете пенсию хорошую получать. А вы завидуете мне, больной, обреченной женщине...

— Я — вам?! — врач все же закурил, глотнул дым и изобразил на лице ироническую улыбку.— Я — вам! Да мне странно и смешно, что человек, который мог бы действительно жить,— говорят, у вашего батюшки имение на Полтавщине,— жертвует единственной своей жизнью во имя недосягаемой мечты. Да кому нужны ваша свобода и равенство?!

— Народу!

— ...Народу... Вы слышите, народу!.. Дайте свободу тому вон каторжнику, что параши выносит, он вас первую же прирежет ради золотого колечка на вашем пальчике. Дайте ваше равенство мне, сыну дьячка, я не захочу вашего равенства, потому что десять лет впроголодь по гимназиче-

ским и университетским ступеням лез, с уроков только живя. Теперь вот долез, так мне равенство с моим кучером нужно? Покорно благодарю! Я этот форменный сюртук надел и в эту забытую богом дыру приехал из-за того, что здесь двойная плата. А вернусь в Европу, хутор куплю, на той же самой Полтавщине, клубнику со сливками есть буду, соловья слушать, а вы, простите, червей будете кормить. Так вот и каждому — равенство нужно, пока он наверх не пробьется, кому-то на шею не сядет, а потом плевал он на ваше равенство. Ну, разве не так, Софья Николаевна, разве я преувеличиваю? Посмотрите вокруг трезвыми глазами. Вы все выдумали: и мир, и народ, и будущее. Человека выдумали, Софья Николаевна, ангельские крылышки ему подрисовали, а он не летит, потому что человек из земли грешной произрастает и в землю уйдет! Даже ваш Дарвин считает, что человек обезьяной был и обезьяной остался!

— «Мой» Дарвин действительно считал, что человек был обезьяной, но никогда не считал, что он обезьяной и остался. Я верю в человека, верю в его будущее. Я верю в будущее социалистическое общество, которое обеспечит условия для развития человечного в человеке, сделает невозможными для него животные инстинкты. Этой верой и живу, этой верой и счастлива... А что до вас лично, то вы правы: в какой мундир обезьяну ни одевай, она останется обезьяной. Вы купите-таки хутор, будете лакомиться клубникой со сливками и без всякого угрызения совести будете стрелять в восставших крестьян. Но счастливым не станете. Потому что выдумать можно действительно все. Только себя нельзя выдумать, господин доктор, если вас нет...

— Я впервые не согласен с нашим правительством,— лицо доктора дышало ненавистью.— Таких, как вы, надо не в тюрьмы сажать, а в сумасшедший дом, куда мы наконец спровадили вашу подружку Россикову. Вы элементарно ненормальны!

— Благодарю, господин доктор, за приятное известие, что муж и сын уже едут ко мне,— голос Софьи потеплел, она чувствовала себя настолько выше своего гостя, что даже не сердилась на его слова.— Если вы выдали государственную тайну, то не такую уж и важную, чтобы это грозило вашей карьере... А теперь идите, я устала.

— Я иду. Но очень скоро вернусь — чтобы засвидетельствовать вашу смерть.

Она прикрыла глаза: все, приехала ты, Соня, с ярмарки, слезай. Сельские мужики в годах, кто уж приближался к старости, сокрушенно качали головами: да, теперь не на ярмарку, а с ярмарки едем... А побывала ли она на челове-

ческой ярмарке или и не была вовсе: прожила тридцать пять лет, из них десять в тюрьмах. В камере каждый день за год, а оглянешься назад: не годы — дни. Рановато она с ярмарки... Если бы жила иначе, только бы жизни радоваться, во вкус входить: наряды, гулянья, пересуды, вкусная еда, дети поднялись, самое время женщине молодиться, следить за собой — шляпка, вуаль, перчатки, коляска ждет у подъезда: «Куда прикажете?» — «Ах, да мне все равно, лишь бы время убить...».

А она — приехала.

Краешки губ дрогнули. Смешно.

Тюремный врач не сказал ничего нового. Все это она знала сама. Не знала, что к ней едут уже Александр с Сашуней. Лучшего лекарства врач не мог предложить. Теперь она будет жить — пока не возьмет в свои руки нежные пальчики сына, пока не заглянет в глаза Александра. Раньше все это было в мечтах — далеких, зыбких, в ее шепоте-разговоре с мужем. Теперь все реально: не сегодня-завтра порог камеры переступят муж и сын. Бумаги на Кару идут долго, и если в тюремной канцелярии получили сообщение, что Богомолец с сыном выехали из Нежина, то скоро они будут здесь.

Как она их встретит? Встречи с мужем не боялась — она так часто разговаривала с ним, через тысячи километров, что и теперь он стоял перед глазами живой, чуть-чуть только приукрашенный в воображении, с более правильными, чем в действительности, чертами лица.

А вот сына не представляла совсем, да и от детей отвыкла. Все материнское в ней за это десятилетие умерло. Сначала, после разлуки с ребенком, сама в себе убивала это чувство, чтобы не была такой нестерпимой боль, потом все отмерло, как рудимент, как нечто лишнее, мешающее жить. По крайней мере, так ей казалось, так убеждала себя. Надо быть мужественной, а не раскисать от своих и чужих несчастий, надо быть нетерпимой к человеческим слабостям и сантиментам, надо быть всегда острой, как лезвие ножа, уметь ненавидеть, любить было некого и некогда. Так много «надо» преодолеть за эти десять тяжких лет, что теперь она боялась, найдутся ли в душе нежные, ласковые слова, те, что все матери говорят детям...

Ладно уж, как будет. Только бы они благополучно доехали. Только бы взглянуть на своего маленького птенчика. Только бы доехали. Такой далекий, такой трудный путь — и по железной дороге, и на барже, и на перекладных, а от Сретенска придется плыть либо на лодке, либо на плотах, а погода в Сибири неровная, даже в летнюю пору; в один день и лето, и зима погостит, а долго ли ребенку простудиться, как они там одели его — ее Сашуню, не голодают ли в дороге — тревога все больше проникала в душу Софьи, и она уж

ни о чем ином не могла думать. Растревожившись, разволновавшись, она снова закашлялась, закрыла рот ладонью, а когда отняла — на ней алели капли, точно горсть спелой малины. И тогда Софья с еще большей тревогой, почти с отчаянием подумала, что самая большая опасность для ее дитяти — она сама. Сашко, даст бог, благополучно проедет десять тысяч верст, а от нее заразится, она станет причиной болезни сына. Только не это, только не это. Со своей смертью она уже примирилась, но тем больше хотелось верить, что ее сын проживет долго-долго, а может быть, никогда не умрет (будущее отсюда, из черной тюремной дыры, виделось таким ослепительным, что в этом новом мире все казалось возможным, даже бессмертие). Она через силу поднялась и, держась за стены, побрела к дверям камеры; сама еще не поняла, что в ней сейчас снова проснулась мать, это ощущение было острым, свежим, полузабытым, оно накатывалось на Софью горячей волной, и Софья, наверное, расплакалась бы, но в ответ на ее нетерпеливый стук открылось окошечко в дверях, обрамив усатое лицо казака:

— Чего вам?

— Врач еще в тюрьме?

— Может, и в тюрьме.

— Скажите, пусть зайдет ко мне, я хочу его видеть.

— А он-то захочет ли видеть вас? — казак слышал их недавний спор.

— Скажете — так захочет.

Врач действительно не замедлил явиться. На его лице застыло ожидание триумфа.

— Что, передумали, Софья Николаевна?

— Скажите мне правду, это опасно для моего ребенка?

— Разумеется, опасно, у вас скоротечная чахотка. Но так же опасно и тащить ребенка за восемь тысяч километров только для того, чтобы увидеть мать в гробу. И вы, и ваш муж — безумцы, идеалисты, впрочем, это одно и то же. Вам я не удивляюсь, но как такое может позволить врач?!

— Ваше мнение о моем муже меня не интересует.

— А ваш сын увезет отсюда единственную память — чахотку.

— Если разрешат свидание с сыном, распорядитесь, чтобы меня перевели в чистую и более просторную камеру.

— Простите, я не понял: вы просите или требуете?

— Я требую, потому что это мое право и право моего сына. Это единственное, что вы как врач можете сделать.

— Я так и передам коменданту политических каторг: не просите, а требуете...

И снова она одна в душной, сырой камере: волноваться, ждать и — жить, во что бы то ни стало жить, даже если жить нет сил.

Бежала, спешила к океану вода, обдирая об острые прибрежные камни свое гибкое тело, бежали навстречу воде зеленые сопки, покрытые лесом; высокое небо, яркое и чистое, величественно плыло над головой, будто снилось; и даже когда Сашко закрывал глаза, все было полно движения, и приятно кружилась голова. О таком путешествии — на плотах, по быстрой, с безлюдными гористыми берегами реке — он мог только прочитать в интересной книжке, но отцовская тревога передавалась Сашку, и мальчик мысленно подгонял плот, подгонял реку, берег, а когда бревна чиркали о каменистое дно Шилки — так называлась эта река,— сердце его замирало не от страха, что плот развалится и швырнет путешественников в кипящую быстрину, а от боязни, что они застрянут на мели, и встреча с матерью оттянется еще на дни, а то и на недели. Когда Сашко думал о матери, а он теперь думал о ней почти постоянно, ему казалось, что он стоит на горячем упругом ветру, лицо пылало, сердце билось учащеннее, в груди не хватало воздуха, а уходить в заветрие не хотелось. Наконец он решил, не признаваясь в том отцу, что пока они собирались и ехали, мать уже отпустили из тюрьмы, и она теперь ходит по берегу и выглядывает их, одетая в белое длинное платье, с развевающимися на ветру длинными волосами,— он был еще в том возрасте, когда, придумывая чудо, верят в него. Он ужасно волновался перед каждым новым поворотом реки, но его жадному взору открывались все те же сопки, с березовыми рощицами в распадках и коврами незнакомых ярких цветов. Сашко беспомощно озирался. Александр, догадываясь, что творится в душе сына, касался ладонью вихрастой его головы, и эта ладонь успокаивала, утешала, снимала боль.

Солнце катилось-катилось по небу, да и загнало занозу — на глазах воспалялось, набрякало. Откуда-то потянуло дымом, навстречу плоту по Шилке сползала серая, едкая мгла. «Марево,— пояснили плотогоны,— где-то в верховьях Камы горит тайга». Река еще раз бросилась в сторону, и глазам открылась долина Кары — с тюрьмами, казармами, домами чиновников и местного люда, со складами вдоль берега.

Матери на берегу не было.

Встретил их офицер с солдатами, взял у отца и просмотрел бумаги, с интересом взглянул на Сашка:

— Далеко же тебе, парень, пришлось ехать к матери. Вообще-то музей наш не для детей, тут такие картинки увидишь, что за всю жизнь не забудешь. Но гляди и знай, что бывает с теми, кто не уважает законов Российской империи. Ты, надеюсь, уважаешь законы?

Офицер засмеялся. И вопросы эти, и смех были неприятны Сашку, он уперся взглядом в блестящие носки офицерских сапог и молчал.

— Сын утомился,— вмешался отец.— Вы посоветуйте, как нам дальше быть.

— Канцелярия недалеко, в Нижней Каре,— сухо сказал офицер и отвернулся.

Богомольцы уже отошли от причала, когда он крикнул вслед:

— А за парнишкой смотрите...

— Что он вам?.. Малое дитя.

— Малое, да, видать, раннее...

Солнце едва проглядывало багровым глазом через пелену дыма, висящего над долиной; было знойно и душно. По косогору от реки пять женщин в арестантской одежде тащили воз, на котором стояла бочка, из бочки выплескивалась вода. Две женщины упирались худыми плечами в перемычку меж оглоблями, другие хватались за оглобли, за грядку телеги, их босые, в крови, ноги скользили по камню.

— Что это, папа?! — Сашко ухватился за спасительную отцовскую руку.

— Каторга, сынку...

Они наняли подводу, сложили вещи и вскоре догнали толпу мужчин, тоже во всем арестантском, которые тащили воз дров. Сашко уже ни о чем не спрашивал, только смотрел во все глаза. Арестанты повезли дрова во двор тюрьмы, глядевшей на дорогу рядом низких, окованных железом окон. Под окнами лениво расхаживали часовые, за их спинами грозно поблескивали штыки винтовок.

— Папа, а мы скоро увидим маму?

Мать защитит его, спасет от взгляда этих ослепленных решетками окон, от блестящих штыков, от офицера, который за что-то придрался к нему, от людей, запрягающих других людей в оглобли, как лошадей, от страшного мира, открывшегося перед ним; мать — спасительная гавань для маленького кораблика, заброшенного судьбой в бурное море; мать, которую он видел лишь на фотографии и еще — в снах; мать, которую он знал и любил, хотя никогда не видел...

— Скоро, сынок, скоро...

Но отцовское «скоро» неожиданно растянулось надолго. Сняв домик на две половины по адресу, который еще в Сретенске дал им ссыльный поляк (Богомолец во всем доверился ему), они поспешили в тюремную канцелярию. В продолговатой, давно не беленной, с ободранными стенами комнате за столом, покрытым серым в чернильных пятнах сукном, горбились над бумагами писаря, тоже из заключенных — в серых куртках с желтыми тузами на спинах. Коменданта политических тюрем в канцелярии не было, но жил он неподалеку, на площади.

Площадь, окруженная казармами и казенными строениями, походила на старого, хмурого чиновника, облаченного в

мундир. Сашко остался на крыльце, отец вошел в дом. Едкое марево над долиной стало еще гуще, непригляднее, и Сашку показалось, что его накрыли с головой и душат пропитанным пылью одеялом. Тюрьма, сложенная из старых бревен, нависла над поселком черной, хищной птицей. А может, за решеткой одного из этих окошек и его мать? Сашку стало трудно дышать, он испугался, что вот-вот умрет, задохнется, так и не дождавшись встречи с матерью. Но отец уже выходил из дома. Следом плыла фигура офицера в синей жандармской форме. Его полное круглое лицо не было злым, но и добрым не было, походило на маленькую пухлую подушечку, домовитые хозяйки кладут такие поверх горы подушек. Сашко уловил лишь конец разговора.

— Поймите наши чувства, господин ротмистр...

— У вас, господин Богомолец, чувства, а у меня инструкции.

— Я не говорю о себе, я — врач и должен как можно скорее осмотреть больную. Но мой сын — он проехал пол-Европы и Азии, чтобы увидеть мать, ребенок рвется к матери.

Офицер скользнул безразличным взглядом по Сашку.

— Что до вас, господин Богомолец, я распоряжусь немедленно телеграфировать в губернское жандармское управление, думаю, что вскоре будет получено официальное разрешение. Пока что устраивайтесь, обживайтесь. А сыну я разрешу свидание сегодня, конечно, короткое, пока нет соответствующих инструкций.

— Хочешь, сынок, к маме?

Куда-то пропали все голоса и все слова, он только кивнул головой.

— Солдат вас проводит и передаст мое распоряжение начальнику караула. Я приказал поместить Софью Николаевну в специальном помещении при тюремном лазарете. Мы делаем для нее больше, чем она, к сожалению, заслуживает своим поведением и направлением мыслей...

Отец остался на солнечном берегу невидимой реки, освещенной предзакатным солнцем, а Сашко, вошел в сумрачную тень, начинавшуюся за невысокой тюремной оградой. У калитки он оглянулся: отец ободряюще улыбался ему. Впереди Сашка выступал караульный начальник в военной форме, с револьвером в кобуре. Часовой за калиткой взял «на караул». Они обогнули длинное, приземистое помещение тюремного лазарета; с тыльной стороны его тоже охраняли солдаты с винтовками. Чуть поодаль, в углу огороженного частоколом двора, темнел то ли хлев, то ли сарайчик, сложенный из старых позеленевших бревен. Низенькое, в две ступеньки крылечко и квадратное, разлинеенное железными

решетками оконце под самой крышей. На крыльце стоял часовой. Караульный начальник достал ключи, и пронзительно — у Сашка даже ледяные мурашки пробежали по спине — завизжал висячий замок. Грохнул о порог массивный железный засов, стягивающий дверь. Следом за начальником Сашко ступил в сенцы, пахнуло сыростью, гнилью и холодом, склизкие доски пола гнулись, ноги застревали в щелях. В конце узких темных сеней были еще одни двери с металлическими засовами наперекрест и тоже на замке.

Замок долго не открывался.

С той минуты, когда он оставил за воротами лазарета отца, и до последнего мгновения Сашко жил как в полусне.

Все оцепенело, онемело, одеревенело в нем — и чувства, и мысли. Не он шел, его вели, он не видел ни часовых с винтовками за плечами, разомлевших от безделья и дневного зноя, ни полуголых арестантов в дверях лазаретной кухни, из которых тянуло кислым духом гнилой капусты, ни белых, как гипсовые маски, лиц больных в решетчатых бойницах окон, ни женщину в арестантской одежде с грудным ребенком на завалинке лазарета, проводившую мальчика заинтересованным сочувственным взглядом,— это кто-то невидимый, незнакомый деловито фиксировал и откладывал на дно памяти Сашка детали чужой и страшной жизни. И только в сенцах, перед последней дверью, отделявшей от матери, душа его, ошеломленная всем увиденным и услышанным в первый день на каторге, вдруг проснулась. Когда караульный начальник медленно открывал дверь в камеру, его вдруг пронзила не по-детски трезвая, прозорливая мысль, озарившая будущее. Он понял, что эти минуты, эти короткие мгновенья, которые он переживает сейчас, останутся с ним на долгие годы, на десятилетия, потому что он взошел на одну из вершин своей жизни. Но потом мысль эта исчезла, как исчезает мгновенно озарившая небо молния, и он больше уже ни о чем не думал, он — жил.

...Деревянная кровать под глухой стеной, напротив узкого оконного проема, через который в камеру едва просачивался жидкий, сумеречный свет, самодельная лампа у изголовья с огарком сальной свечи, низенький стол с книжкой, и дух подземелья, ледника, крышку которого давно не открывали,— все вдруг исчезло, рассеялось, как марево. И осталась незнакомая женщина, сидевшая на кровати с подобранными ногами, укрытыми серым арестантским одеялом; женщина была одета в серую юбку и серую кофту, вокруг головы повязан такой же серый лоскут — вся словно портрет в серой запыленной раме. Сашко прижался к косяку, сердце неистово билось, перехватило дыхание, он едва стоял на ногах. Вдруг серая рама тоже исчезла, слилась с сумерками, и он увидел прозрачно-белое лицо, освещенное изнутри

таинственным лучом, увидел огромные, на пол-лица, и синие, как чистое небо, родные, любимые глаза. Точно такие, как виделись ему в детских снах и таились где-то на самом донышке памяти. Глаза искрились счастливо и печально, лаская его, здороваясь и прощаясь одновременно.

— Мама, мамуся, мамулечка! — вырвалось из глубины его души (так переполненная река прорывает плотину), и не помня себя, Сашко рванулся навстречу синим лучистым глазам.

Время остановилось. Остановились все часы в мире, остановилась земля, и звезды в небе, и солнце — бились, жили рядом два сердца. Пока от громкого ледяного голоса не качнулся маятник солнечных часов.

— Время идти.

Пальцы Сашковых рук судорожно вцепились в худенькое плечо:

— Я не дам вам маму, не дам!

— Не глупи, мальчик, тут тебе не гимназия, а тюрьма, а я на службе и подчиняюсь приказам старших. А приказ — четверть часа, и ни минутой больше.

Из детских глаз брызнули слезы:

— Дядя, дядечка, ну, пожалуйста, еще минутку!..

Его мольбы прервал строгий, властный голос матери:

— Не смей унижаться, сын! Ты уже человек! И никогда — слышишь? — никогда ни перед кем не унижайся!

Уже мягче, ласковее мать добавила:

— Иди, сынок, иди. Завтра снова придешь — с отцом.

За ним хлопали двери, гремели замки, а он бежал, что есть духу, наконец вырвался из петли тюремной ограды, перешел вброд невидимую черную реку и ухватился за спасительные отцовские руки на солнечном берегу. Дым над долиной рассеялся, меж двух зеленых гор висел, сияя, малиново-золотой диск предзакатного солнца. Оно было такое красивое, что Сашко снова заплакал, спрятав лицо в отцовской ладони,— от огорчения, что мать не видит сегодняшнего заката.

Теперь он знал, что такое неволя: это когда у твоей матери отбирают солнце.

Двери камеры закрылись, проскрежетал ключ в замке, громыхнули железом двери в сени — и снова одна.

Как сон, только очень короткий: увидела сына и проснулась.

Софья долго смотрела на свои руки: кончики пальцев еще хранили тепло родного прикосновения.

Она столько раз наказывала себе: поглядишь на сына

издали, через камеру, он не должен ступить дальше порога — чтобы не подхватить страшной ее болезни.

Но вся ее осторожность и все клятвы рушились, когда сын со счастливым криком бросился к ней. Это было выше сил человеческих: видеть свою птаху, свою ласточку и не прижать к сердцу.

И выше человеческих сил: увидеть, приласкать, прижать к себе самое родное существо и снова остаться одной в мрачных тюремных стенах.

Она закусила кожу на руке, чтобы не разрыдаться, не биться головой о немые стены, не завыть волчицей, у которой охотник отнял ее дитя. Потемнело в глазах, так среди дня вдруг меркнет солнце, и ночь, страшнее настоящей ночи, окутывает землю. Потом рассвело, лишь на руке глубокие следы зубов и капли крови. Она превозмогла боль, осилит и эту человеческую слабость — они не будут злорадствовать, видя материнское горе. Десять лет назад они отобрали у нее Сашка, но не видели ее слез, не увидят и сегодня, и завтра — никогда.

Но ничто так не подтачивает человеческих сил, как загнанные внутрь слезы.

Ночью она поплачет потихоньку, под одеялом. Только не сейчас, скоро принесут ужин. А может, еще сегодня сюда пожалует сам комендант политических заключенных на Каре, и его сухой голос прошелестит: «Если вы засвидетельствуете письменно, что направление ваших мыслей в результате десятилетнего тюремного заключения изменилось в сторону политической благонадежности, я похлопочу перед военным губернатором о переводе вас согласно с соответствующими инструкциями министерства внутренних дел в разряд исправляющихся, и вы сможете оставить тюрьму и поселиться в Нижней Каре вместе с мужем и сыном...»

Она знала: приезд Александра и Сашка сулит ей новые душевные муки. Но не думала, что они будут такими страшными.

Несколько необязательных, формальных слов — и она почти на воле, прижмется к мужу, приласкает сына.

Кто испытывает силу ее духа и зачем?

Будто бы от нее, и только от нее, зависела судьба дела, за которое боролись и борются тысячи: не покорится Софья Богомолец, до последнего вздоха будет верна своим идеалам,— значит, народ ее стоит светлого будущего, а идеалы ее борьбы будут жить в людских сердцах. Будто от нее, и только от нее, зависело, какие исторические пути пролягут перед человечеством завтра: не изменит Софья Богомолец своей совести, победит врагов силой духа — и будет справедливость на земле, будет счастье. Будто это на ее худенькие плечи положили земной шар, похожий на гигантский школь-

ный глобус, и сказали: неси! Донесешь — быть жизни на планете, упадешь под его тяжестью — и все погибнет вместе с тобой.

И она несла и была счастлива всепоглощающим чувством ответственности перед будущим, жила им, черпала в нем силы.

Засыпая, Софья улыбалась завтрашнему утру: она увидит мужа и сына. От мысли, что сегодня они уже не за тысячи верст, а где-то рядом, по ту сторону тюремной стены, сердце радостно сжималось.

После той ночи, когда у нее горлом шла кровь, Софья чувствовала слабость, она отказалась от прогулок, но теперь сказала часовому, что завтра выйдет во двор. Правда, выйти во двор не хватило сил, держась за стены, она едва заставила свое вялое тело выбраться из сенцев и опустилась на ступеньках крыльца. Ночи уже были прохладными, с изморозью, но солнце еще не остыло, днем припекало. Истосковавшись в погребной сырости по теплу, Софья каждой клеточкой радостно впитывала густой солнечный напиток; захмелев от солнца, как от крепкого вина, она прислонилась к срубу и задремала.

Когда Софья открыла глаза, она увидела, как к ней через двор в сопровождении тюремного врача идет Александр. Она схватилась обеими руками за перила крыльца, собрала все свои силы и поднялась; но сделать хотя бы шаг навстречу мужу уже не смогла. Длинную, как жизнь, минуту они смотрели друг на друга — за все десять лет. Не стало ни тюремных стен, ни часовых с заряженными винтовками, ни франтоватого тюремного врача — были только двое. И оба боялись нарушить молчание. Люди не придумали таких слов, которые могли бы выразить все, что они хотели сказать в эту минуту. Наконец Софья несмело коснулась рукой его волос — их густо осыпала седина. Плечи Александра задрожали.

— Не надо, Александрик, не надо. Пусть не увидят они наших слез. Все хорошо — мы встретились.— Она почувствовала в своих словах материнскую нежность, будто разговаривала не с мужем, а со взрослым ребенком.— Несмотря ни на что, мы остались такими же, как десять лет назад, нас ломали, но не сломили. Правда же, Александрик?! И это главное. А где наш Сашко?

Александр поднял голову. Его лицо с высоким выпуклым лбом было бледно, скованное невероятным усилием воли оно казалось изваянным из камня, только по щекам катились две непослушные слезы.

— Сашко сейчас примчится. Ему разрешено проведывать тебя ежедневно, мне — дважды в неделю. Сегодня я

тщательно прослушаю тебя. Хочу просить губернатора об освобождении из-за тяжелой болезни. Хотя бы перевода в вольную команду.

— Скоро я сама освобожусь, Александрик... Раньше они не отпустят, побоятся.

— Наследник престола путешествует по Азии и скоро будет проезжать через Сибирь. Все ждут царского манифеста, сроки сократят и уголовным и политическим. Тебя, думаю, это тоже коснется, наверное, отпустят на поселение. Мы с Сашком поедем с тобой, куда бы тебя ни отправили.

Глаза Софьи вспыхнули, она вырвала руку из мужниных ладоней и поднялась на ступеньку выше.

— А ты спросил меня, хочу ли я царской милости? Если бы я хотела их прощения, я бы давно была свободной!

— Ты боролась, сколько могла, больше, чем могла. Для тебя сейчас уйти с поля боя — не поражение, не компромисс, нет. Я не хочу, не имею права настаивать, но твой моральный максимализм, Соня...

— Но ведь только так можно что-то сделать в этом мире, Александрик, только так, и не смей за меня просить, слышишь. Не смей! Иначе я не буду любить тебя!.. Я не хочу, чтобы они меня жалели, я — не больна, я — здорова, здорова!..

Софья закашлялась, силы оставили ее, и она упала на руки Александра.

Александр мог утешить, усыпить, обмануть себя надеждами на чудо. Но врач Богомолец знал: чудес не бывает. Это конец.

«Господину военному губернатору
Забайкальской области

октября 9 дня 1890 г.

На предписание Вашего Превосходительства от 24 сентября с. г. за № 424 осмеливаюсь доложить, что ссыльнокаторжные женщины Богомолец и Россикова как ныне содеянным поступком, так и целым рядом предшествующих оскорблений, нанесенных ими чинам жандармского надзора... не подают никакой надежды на исправление...»

«...Негласный надзор, установленный за врачом Александром Михайловичем Богомольцем согласно 4 пункта циркуляра министерства внутренних дел от 9 апреля 1882 года за номером 1365 как за возвращенным из административной ссылки и на основании предложения Департамента полиции от 12 сентября 1890 года за номером 3812, кото-

рый устанавливает за названным Богомольцем самое тщательное, но сугубо незаметное для него наблюдение...

Начальник Черниговского губернского жандармского управления
11 мая 1891 года»

Когда Александр шел через двор лазарета, его качало.

— Типичный случай, коллега,— догнал его тюремный врач.— Годами впроголодь, без воздуха, холод, сырость. И, как результат,— скоротечная чахотка. Так погибают в Сибири тысячи. Жаль только, что грустная статистика мало кого учит. Молодые люди, больные революционным пафосом, напоминают мне мотыльков, летящих на пламя свечи, они опаляют крылышки и гибнут. Я, разумеется, напишу объективное заключение о состоянии здоровья вашей жены, коллега. Но вы должны использовать всю силу своего влияния на Софью Николаевну, чтобы добиться хотя бы нейтрального заявления от нее самой. Иначе — проанализируйте, коллега, сами, что получается? Десять лет гигантская государственная машина работала на то, чтобы заставить эту неистовую женщину стать на колени, и теперь, оказывается, надо признать свое поражение? Чувствуете, какие выводы напрашиваются? А именно так, я уверен, посмотрят на эту историю и вверху.

В детстве товарищ кинул за пазуху Александру ужа. С тех пор он не мог без омерзения вспомнить скользкое прикосновение к телу. Сейчас Александра точно так же передернуло от омерзения. Но от вывода тюремного врача так много зависело в судьбе Софьи. И он сдержал себя, заставил оглянуться, избегая слова «коллега»:

— Софья Николаевна не тот человек, на которого можно повлиять. Полагаю, вы в этом уже убедились.

— Но у вас, дорогой коллега, почти беспроигрышное средство влияния: сын. Убедите жену, что вы заберете сына и вернетесь в Малороссию, если она не уступит.

— И вы действительно считаете меня способным на такое? — очень тихо спросил Александр.

— Только для блага Софьи Николаевны...

Едва ли не впервые в жизни Александру захотелось ударить человека. Наотмашь. Он стиснул ручку саквояжа до боли в пальцах, кивнул тюремному врачу и ускорил шаг. Прежде чем отодвинуть засов на воротах, часовой подозрительно оглядел его, но в саквояж не заглядывал. Медицинские инструменты и лекарства тюремщики просматривали, когда он входил на территорию лазарета. Искали оружия, писем и еще неизвестно чего. Комендант предупреждал его:

никаких встреч с другими политическими, если не хотите оказаться там, где ваша жена. Он должен вести себя осторожно. Не имеет права на неосторожность: сын. Человек всегда найдет, как оправдаться. Но настает минута, когда собственная рассудительность становится в тягость. Какой мерзкий тип — этот тюремный врач. А считает себя интеллигентом: «коллега»...

Софья стояла на крыльце, как богиня совести. Была ли у древних греков богиня совести? Может быть, они не нуждались в ней. А когда она нужна, в какую эпоху?

Длинная юбка, кофта, платок — все из серого тюремного сукна, будто высеченное из серого гранита; только ярко-васильковые глаза горели на исстрадавшемся лице. Какое прекрасное лицо. Она всегда была красивой. Теперь ее красота — сама одухотворенность. Он пережил удивительные минуты, когда увидел Софью на ступеньках крыльца. Это была она, его Софийка, его жена, его судьба,— и не она. Вознесение — какие глупости! Но что-то похожее на это, другие слова не шли на ум. Прожив за десять страдальческих лет тысячи жизней, она словно возносилась над всем будничным, над всеми земными страстями. И — обречена на смерть!

Он остановился, жадно глотнул горьковатый, дымный воздух: сердце. А ему надо жить — вырастить сына.

Он не унизит ни Софью, ни себя, он не будет просить милости, но он будет бороться за ее жизнь.

Комендант политических тюрем был в канцелярии. Увидев Александра, изобразил на лице вежливую улыбку: как-никак связи в Петербурге, иначе бы не получил разрешения на поездку.

— У вас взволнованный, радостный вид, господин Богомолец. Понимаю, свидание с женой, после десяти лет...

— Она смертельно больна, и вы это знаете.

— Знаю,— спокойно кивнул комендант.

— Я обращаюсь к вам как к человеку...

— Простите, но договоримся сразу: человеком я стану, когда вернусь домой, сниму мундир и переоденусь в домашний халат. Но тогда я буду бессилен вам чем-то помочь, кроме разве что обычного сочувствия. Ныне же я только жандармский офицер, уполномоченный и обязанный охранять Российскую империю от внутренних врагов.

— Я обращаюсь к вам как к человеку, во власти которого перевести мою жену во внетюремный разряд. Может быть, создав для нее более-менее человеческие условия, пусть здесь, на Каре, я смогу ее спасти, во всяком случае, продлить ее дни.

— Вы преувеличиваете мою власть, господин Богомолец. Хотя, возможно, если бы речь шла об обыкновенной заклю-

ченной, даже политической, я проявил бы гуманность... Но Софья Николаевна слишком известна и в Петербурге, и в губернии, чтобы я мог рисковать. Вы, конечно, знаете, еще год назад она едва не довела до сердечного приступа губернатора Восточной Сибири, за что ей, уже в который раз, набавлен срок каторги. И я, жандармский ротмистр, своей волей — представляете? — выпущу ее за тюремные стены! У вас, господин Богомолец, один сын, а у меня их трое! И у вас есть наследство, немалые средства, иначе вы бы не приехали в такую даль, как видите, вы можете позволить себе свободомыслие. Я же не могу позволить себе простой гуманности, потому что без офицерской зарплаты мои дети умрут с голоду. Другое дело, если бы я получил основание для радостного сообщения в департамент полиции, что политическая преступница Софья Богомолец пересмотрела свои взгляды...

— Это невозможно,— сухо сказал Александр.

— Вот видите, а от меня невозможного вы требуете. Пишите, хлопочите, добивайтесь. Болезнь жены мы подтвердим.

— Письма из Кары в столицу идут долго?

— Долго. Но еще дольше они пролежат в столах департамента полиции. Желаю успеха, господин Богомолец...

Речка Кара за лето почти высохла, и Сашко перешел ее, прыгая с камня на камень. Противоположный берег был крутой, лесистый. Выше по взгорью на крошечных полянках густо пестрели цветы. Яркие, пышные, как неживые, они еще были безымянными для Сашка и откликались по своему сходству на обычные названия украинских цветов: росинки, ромашки, пионии, волошки[1]. Попадались дикие орхидеи, об орхидеях он читал. На солнечных полянах росли цветы, до смешного похожие на царицын башмачок, за которым летал в Петербург гоголевский Вакула. Он радовался каждому красивому цветку, предчувствуя радость матери, для которой рвал их.

Лесную тишь разорвал оглушительный свист, и на поляну вышли двое мальчишек его возраста. Один присел на ствол поваленного ветром дерева, второй вразвалку подошел к Сашку:

— Ты кто?

— Сашко.

— А чей ты, Сашко?

— Богомолец.

— А ты что — любишь богу молиться?

---

[1] Волошки — васильки.

Сашко промолчал. На другом берегу реки на склоне сопки, как на макете, лежала Нижняя Кара, центральная площадь с казенными строениями, продолговатые коробки тюрем и бараков, мазанки бедноты на окраинах, выше, возле кладбища, прямоугольник тюремного лазарета и крохотная каморка в глухом углу лазаретного двора — там его мама.

— А я знаю, кто ты. Ты каторжный.

Кровь бросилась Сашку в лицо, но он снова промолчал. Ведь он умел дольше всех своих нежинских друзей держать равновесие на неподвижном двухколесном велосипеде.

— Его мать в тюремном лазарете под замком сидит! — крикнул мальчишка, пристроившийся на поваленном дереве.— Наверное, воровка.

— Моя мать — политическая. Она — за правду!

— А мой отец — урядник. И тех, что за правду, кнутом учит. И я тебя сейчас поучу. Ты кому этот веник несешь? Своей каторжной?..

Сашко держал цветы в обеих руках перед грудью. Мальчишка ударил ребром ладони по его сомкнутым рукам: от неожиданности руки разомкнулись. Сашко посмотрел на рассыпанные по траве цветы, потом поднял глаза на сына урядника: тот был приземист, но широк в плечах, прыщеватое лицо, глаза узкие и нахальные. Сашко любил играть в войну, но драться не любил. Он вздохнул по-взрослому, совсем как отец, когда на его глазах делали нечто нелепое, недостойное серьезного человека, присел на корточки и стал собирать цветы. Но в следующую минуту над ними нависла кованная медными гвоздями подошва башмака:

— Она что у тебя — клейменая, твоя мать?

И тогда пружина, крепко сжатая Сашиной волей, раскрутилась. Волна горячей ненависти подхватила его, удесятеряя силы. У него было почти физическое ощущение, что мать с того берега реки следит за ним и подбадривает, потому что он в этой стычке прав, а они обидчики. «Когда человек знает, что на его стороне правда, он ничего на свете не должен бояться!» — так она сказала вчера, во время их первой встречи. Он распрямился и ударил урядникова сына головой в живот, под «дыхало». Тот шлепнулся в траву. Но от опушки уже бежал его товарищ. От удара у Сашка зазвенело в голове, а во рту появился соленый привкус крови.

Сашко нагнул голову и безоглядно кинулся на обидчиков, размахивая кулаками, будто месил тесто в деже. Он опомнился, когда остался на поляне один. Мальчишки тяжело дышали за поваленным деревом. Сын урядника вытирал пучком травы расквашенный нос:

— Ну тебя, бешеный! Мы в шутку...

Сашко ничего не ответил, повернулся и стал собирать

свой букет. Мимо него просвистел, шмякнувшись в густую траву, камень. Сашко вскочил, но за мальчишками уже прошелестели кусты. «Погоди, мы еще встретимся!..» — долетел из леса голос урядникова сына.

Собрав цветы, Сашко спустился к реке. Здесь умылся, из рассеченной губы сочилась кровь, на виске набухал синяк. Но торжество победы в неравном бою было сильнее боли. Сашко знал, что эта одна из первых побед в его жизни очень важна. Мать права: когда на стороне человека правда, ему ничего не страшно.

— Ты, парень, куда? — остановил его у ворот тюремного лазарета солдат с винтовкой.

— К своей матери! — гордо, с вызовом, прижимая к груди цветы, сказал Сашко, и на серьезном, напряженном, уже не детском его лице расцвели два красных мака.

ПРОЩАНИЕ С МАТЕРЬЮ

...Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли; у нас немає
Зерна неправди за собою.

Тарас Шевченко

«...Я ведь был с ней только полгода, когда мы ездили к ней с папой на каторгу, на Кару, где она погибла, замученная, но не побежденная царским режимом,— от туберкулеза.

Мне тогда было девять лет, но впечатление от мамы и обстановки, в которой она жила,— старый бревенчатый сарай на краю села, одиночная камера с дырявыми стенами (это — в условиях 50-градусных морозов и чахотки!), постоянный часовой, грохот задвижек, когда меня к ней пропускали,— никогда не изгладятся. Летом я просиживал у нее целые дни. Говорили мы с ней о многих серьезных вещах. В девять лет человек уже может многое понять. Позже, боясь меня заразить, она сама под разными предлогами сокращала наши свидания. А зимой умерла, верная себе, такой, как ее образ запечатлен в истории революционного движения и в воспоминаниях друзей.

Десять лет подлинно каторжного режима не могли сломить воли этой очень хрупкой женщины, не убили в ней веру (помните ее лучистые, светящиеся каким-то внутренним светом глаза?) в конечную победу социализма, не вызвали ни минуты сожаления о жизни, отданной идее».

А. А. Богомолец

«...С молоком матери в Лукьяновской тюрьме он впитал любовь к порабощенным и ненависть к эксплуататорам... Свидание с умирающей, но не сломленной матерью зажгло в душе Богомольца неисчерпаемую ненависть к царизму и любовь к угнетенному народу».

Д. З. Мануильский

...Господи боженька, матерь божья и вы, крылатые ангелы небесные, если вы есть, если вы видите и слышите, сделайте так, чтобы мама моя выздоровела! Пусть совершится чудо, сейчас, немедленно, пусть загремит гром среди зимы и заблестит молния и откроются седьмые, как говорила баба Уляна, небеса, на которых живет бог, и пусть бог протянет длинную, как солнечный луч, руку, коснется белого лба моей мамы и скажет: «Встань и живи!» И мама перестанет кашлять, ее худые щеки вспыхнут румянцем, она поднимется, наденет тулупчик, закутается в белый пуховый платок, который ей привез в подарок отец, выйдет на улицу, засыпанную искристо-синим, как сахар, снегом, и посмотрит, как бесстрашно ее Сашко катит на лыжах с крутого берега Кары. А если тебе, боженька, жаль грома и молний среди зимы, пошли своего ангела, их же у тебя легионы, тьма-тьмущая — говорили в гимназии на уроке закона божьего,— ангел постучит во входные двери их домика, ему откроет отец и очень удивится,— отец всегда иронически кривил губы, когда Сашко спрашивал его о боге,— а ангел улыбнется по-доброму и скажет: «Я принес жизнь вашей жене, она боролась за правду, за счастье для бедных, и очень несправедливо, если такой человек умрет молодым...» Комната наполнится тогда неземным светом, мать легко поднимется с кровати...

Сашко спрятал пылающее лицо в подушку, скрестил на груди руки и зашептал со страстной детской надеждой: «Боженька, я никогда ни о чем у тебя не просил и не попрошу, сделай только раз, одно-единственное чудо — спаси мою маму!.. Ты, боженька, знаешь: она хорошая, а хорошей зачем умирать?..»

Он поднял голову, прислушался: за стеной, в большой комнате (Сашко теперь с отцом жили в крохотной, в одно оконце, боковушке), тяжело кашляла мать. Под дырявым полом шуршала мышь. Утро дышало розовым светом в разрисованное морозом окно. Вдруг в дверь постучали. Нервная дрожь била Сашка. Веря и боясь верить в накликанное им чудо, с лихорадочной поспешностью сунул ноги в остывшие за ночь валенки и в одной рубашонке бросился в сени. Но отец уже открывал дверь. Зима дохнула в сени белым клубом мороза. На крыльце стоял жандарм в длинной темной

шинели, накрест опоясанный ремнями, с толстой канцелярской тетрадью в руке:

— Политическая Софья Богомолец здесь?

— Здесь,— коротко ответил отец.— Она очень больна, и я как врач просил бы сейчас ее не тревожить.

— Она должна собственноручно расписываться в журнале отпущенных в вольную команду. Дважды в день — утром и вечером, такой порядок.

— Вы что, не видели, какой я забрал ее вечером из тюремного лазарета? — понизил голос отец.— На руках вынес. Куда такой человек денется?

— Служба есть служба, а законы для всех пишутся, извольте выполнять,— жандарм решительно переступил порог, наполнив холодом сени, пригнул голову и юркнул в низкие двери комнаты. Только теперь отец заметил в сумерках сеней, возле притолоки, полуодетого Сашка.

— Ты что, сынок, простудишься! Нам только этого горя не хватало! Немедленно в комнату! Что с тобой?!

А у Сашка не было сил одолеть порог. Он медленно сползал по двери — и упал бы в следующую секунду, если бы отцовские руки не подхватили его и не внесли в боковушку. Сашку казалось, что он тонет, погружается в вечный холодный мрак, и только сильная отцовская рука спасает его. Слезы градом катились по его лицу:

— Я просил его: если ты есть и слышишь меня... Я думал, он услышал. Выбежал, а за порогом — жандарм. А я же говорил: если ты есть... Я не плачу, я сейчас не буду плакать, я уже... Я просил его — спаси мою маму. Теперь я знаю: его нет или он злой и несправедливый!

— Кто, сын?

— Бог!

— Умному человеку надо полагаться на свой разум, сынок, а не на бога.

— Почему же умные люди не придумали лекарства, которое бы вылечило нашу маму?

— Люди придумали много лекарств, но другие люди придумали еще больше тюрем, и никакие лекарства не помогут, пока миром правит неправда. С ней бороться тяжело, твоя мать боролась, видишь, что с ней стало. Но рано или поздно правда победит, упадут стены тюрем, я в это верю, сынок. И тогда люди все свои силы положат, чтобы найти чудесные лекарства, побеждающие смерть и даже продляющие человеческую жизнь на много десятилетий. Еще будет время, когда бог, если он есть, позавидует творческому разуму человека. Подумаешь, расщедрился на каких-то шестьдесят лет человеческой жизни, а научная медицина будущего прибавит к этим шестидесяти еще добрых сто.

— Только нашей маме это уже не поможет,— Сашко едва сдерживался, чтобы снова не разрыдаться.

— Нашей маме мы с тобой поможем. Я врач сейчас, ты — в будущем. Только давай полагаться не на бога, а на себя, это, пожалуй, надежнее. И не ныть, это сейчас самое главное.

— Прости, папа.

— Мне тоже, сынок, нелегко. А пожаловаться некому. Мать не должна видеть, что нам тяжело, ты понимаешь? Ну, одевайся, растопи печку, ты это любишь, да пройдись-ка с веничком по комнате. А я над завтраком поколдую, и матери, и нам есть пора. Договорились? Дай руку — как мужчина мужчине. Ты, сынок, хоть и мал еще годами, но уже почти взрослый человек. В твоем возрасте столько увидеть и пережить — хочешь не хочешь, а вырастешь...

В сенях, закрыв за жандармом дверь, Александр прижался лбом к покрытой мохнатым инеем стене и закрыл глаза. Никто в мире не знал, как тяжело давался ему оптимизм в разговорах с женой и сыном. Ему, врачу, знающему страшную правду. Да при чем здесь врачу? Как врач он мог сейчас одно: облегчить физические страдания больной, сделать менее ужасной, обрядить, подкрасить смерть. Помощник смерти — вот кто он сейчас. Медицина бессильна, боже, как бессильна медицина, да еще в этих условиях! Хотя уже никакие условия не помогут, поздно, легкие съедены болезнью, легких нет. Он опоздал, а приехать раньше не мог, не пустили. Если бы он приехал три, четыре года назад, когда только начал хлопотать, он спас бы жену. Александр вспомнил белое, обрюзгшее лицо чиновника из департамента полиции и стиснул кулаки: будьте вы прокляты, убийцы, на веки веков, на все века — прошедшие и будущие! Да не будет вам пощады, когда народ восстанет и набросит петлю на вашу шею, пусть вопьются свинцом в ваши раскормленные тела капли Софьиной крови. Столько увидеть и пережить — нельзя не повзрослеть, сказал он только что сыну. Надо столько увидеть и пережить, как он, Александр Михайлович Богомолец, земский врач, чтобы понять сполна Софийкину правоту, ее гнев, ее ненависть, ее непримиримость.

Подробности карийской трагедии, которой все еще жила каторга, потрясли его. Издевательство жандармов над Елизаветой Ковальской было лишь поводом для ряда отчаянных актов протеста, той искрой, которая вызвала давно уже созревший взрыв. Требуя отставки коменданта политической каторги Масюкова, который сменил Николина, Мария Ковалевская, Надежда Смирницкая и Мария Калюжная объяви-

ли голодовку. Надежду Сигиду за попытку дать пощечину Масюкову по приказу генерал-губернатора подвергли телесному наказанию. Телесные наказания были введены и для политических заключенных, наряду с уголовными. В знак протеста четверо политических каторжанок и четырнадцать заключенных мужской политической тюрьмы решили покончить с собой — приняли яд. Умерли женщины и двое мужчин. У карийцев, проживавших в вольной команде, хранились копии последних писем погибших. Александр читал их. Его поразил моральный максимализм Марии Ковалевской. «Если на моих глазах совершается тот или иной факт, я не позволю себе осторожно промолчать, а непременно отнесусь к нему так, как подсказывает моя совесть и мои взгляды: «моя хата с краю» кажется мне моральной тупостью, и дай боже, чтобы я до конца жизни не утратила этой способности высказывать и словом и делом свое отношение к поступкам, которые, по моему мнению, имеют общественный характер...» — писала эта мужественная женщина, ее миропонимание было близким к Софийкиному. А эта беспримерная вера в победу над тиранией, эта полная самоотречения ответственность перед поколениями, которые придут на смену. В одном из писем Марии Ковалевской к товарищам были такие строчки: «...Я не могу думать о Гале, дочке, без чувства стыда, ведь я больше полугода терплю Масюкова комендантом...»

Прощальное письмо Надежды Сигиды к родным звучало как завещание этого поколения борцов будущему:

«...Знаю, мои дорогие, что хоть и жаль вам будет меня, хоть и поплачете, но зато же приободритесь и возрадуетесь за меня, за мою глубокую веру и преданность святой правде и добру. Вы и сами должны были ожидать, что не сойду я с этого пути, на какой стала, что распрощусь, если надо будет, даже навеки и с волей, и с вами, родными, дорогими, знаю, что своей твердостью, бодростью, выносливостью поддержу в вас и силы, и бодрость, и великую, глубокую веру в святую правду и добро... Я жива, здорова, бодра, живу любовью к святому делу, верою, надеждой на счастливое хоть и не скорое будущее; не смущаюсь, если даже мне его и не придется дождаться, довольно для меня глубокой веры в будущее; довольно, родные мои, чтобы выдержать все невзгоды, чтобы жить этим будущим, переноситься в счастье и земной рай тех счастливцев, которые будут жить, полные добра, мира и любви, а это будет, наверное будет; при мыслях об этом я все, все забываю: горечь, боль и мрак настоящего; за мраком и горечью я все же вижу свет и отраду и не падаю духом. Не падайте же и вы, родные, никогда духом, верьте в силу человеческой души и боритесь смело, неустанно со всеми невзгодами и мрачными дикими силами...»

Такими же словами говорила с ним и сыном Софья.

Но враг слов не понимал. С царизмом надо разговаривать не словами, не голодовками, не самоубийствами — с царизмом надо говорить шрапнелью. Когда-то народ так и сделает.

Не раз поднимался Александр на склон горы, к нижнекарийскому кладбищу. Погибшие были похоронены в общей могиле, на которой темнел крест с вырезанными на нем евангельскими (единственное, что разрешило начальство) словами: «Никто же любови больше имать, да кто душу свою положить за други своя...» Под крестом лежал прах и Марии Ковалевской. Помня о разговоре с Ковалевским, Богомолец шептал над могилой самые теплые слова, какие только знал. А горькие мысли и воображение не хотели подчиняться запрету, рисовали ему меж холодных сопок еще одну могилу, и он поклялся сделать все, чтобы не оставить в этом краю свою Софийку, даже мертвую.

Александр не боялся теперь ничего, и смерти тоже, но он хотел дожить до победы народа, чтобы увидеть ее своими и Софийкиными глазами. В нем жило предчувствие этого дня, страстное и сладкое: пусть руки его уже будут стары, слабы для винтовки, но видеть, как рушится, ломается, падает трехсотлетний шатер Романовых, как плавятся серебряные царские вензеля и сгорают на уличных кострах хищные длинноголовые орлы,— о, это самое большое счастье — надо дожить!

Кажется, он никогда не испытывал такой ненависти, даже когда помогал народовольцам добывать динамит для смертоносных «подарков» царю.

Впервые это острое, до спазма в сердце, испепеляющее чувство ненависти вспыхнуло в спокойном, всегда выдержанном Александре вчера, когда он получил наконец разрешение на перевод Софьи во внетюремный разряд (после шести страшных месяцев непрерывных ходатайств!) и приехал за ней в тюремный лазарет. В сумеречном свете камеры он увидел, как его Софийка, хватаясь белыми истонченными руками за стену, пытается подняться на кровати, виновато улыбаясь за свою беспомощность. Александр взял ее на руки и вынес из ледяной клетки (в щели половиц набивался снег). Красное одутловатое солнце скатывалось по остроконечной тюремной ограде навстречу близкой ночи.

— Я так любила, Александрик, когда ты носил меня на руках, после нашей свадьбы, помнишь,— прошептала Софья (одни иссиня-черные глаза на белом как снег лице).— Но это было так давно. Все десять лет я даже не смела мечтать о таком. Теперь я снова легкая-легкая, правда?

Она была такая легкая, что ему хотелось плакать, она была такая легкая, что ему хотелось нести и нести ее тыся-

чи верст, через всю Азию и Европу, до самого Зимнего дворца в Петербурге, а вместе с ним чтобы шли все угнетенные и голодные, те, кто еще жив и кто уже раздавлен блестящими — такими их рисуют на официальных портретах — царскими сапогами, положить ее легонькое, как перышко, иссушенное тюрьмами тело у подножья трона и спросить, чтобы содрогнулись стены царских палат: «Что вы с ней сделали, изверги?»

Александр застонал, стон прорвался сквозь броню, в которую он прочно заковал свои чувства, свою душу, испуганно обернувшись, увидел в отворе дверей сына. Сын глядел понимающе и сочувственно, но сказал бодрым голоском:

— Я хочу поздороваться с мамой. Можно к ней зайти?

Оба играли: единственное, что они еще могли сделать для матери,— это играть, пока хватит сил.

— Конечно, мама тебя ждет,— он приоткрыл дверь в комнату и вошел первым.— Жандарм уже приветствовал тебя с первым свободным утром, теперь мы. Мы без журналов, без всяких расписок, нам достаточно взглянуть на тебя, Софийка, порадоваться, что ты наконец с нами и прекрасно выглядишь...

Софья полулежала на кровати, положив под спину подушки, так ей легче дышалось. Лицо ее и оголенные худенькие плечи и руки — все неестественной, болезненной, почти прозрачной белизны — терялось на фоне меловой стены и белых простыней, и только глаза, с каждым днем все более яркие и выразительные, жили синим огнем, лучились, как бы утверждая свое отчуждение, словно и душа ее в этом земном существовании отмежевывалась от больного, обреченного тела. Александру показалось, что он переживал нечто похожее, только совсем в иной тональности чувств. Вот так же он переступал порог, но какой-то другой комнаты, освещенной утренним солнцем, и его Софийка полулежала в постели с распущенными, ниспадающими на оголенные плечи волосами. Теперь вспомнил — это было в Климове на второй или третий день после их свадьбы, он проснулся рано, Софийка еще спала, и вышел в сад, наполненный запахом антоновки и чернобривцев [1]; август, точнее начало сентября; долго ходил по аллеям и вернулся с корзинкой яблок, они были светло-желтые, в росе, это он помнит точно. Софийка полулежала в кровати, вот так, как теперь, только солнца было больше, солнце лилось из распахнутого в сад окна. И вдруг Александр увидел ее такой, какой Софийка была в то утро, на заре их совместной жизни,— сильной, молодой, чувственной,— и радостно улыбнулся жене. Сквозь слезы.

---

[1] Чернобривцы — бархотцы, желтые гвоздики.

«Как дети эти мои мужчины, и взрослый, и маленький!— Софья прикрыла глаза, чтобы Александр не понял, что она заметила его слезы, как дождь средь ясного, улыбающегося дня, и чтобы не стыдился их.— Они скрывают правду и от меня, и друг от друга, уверенные, что так надо. Что ж, может быть, так оно и есть. Ведь все люди знают, что когда-то умрут, но до последней минуты делают вид, что будут жить вечно. Это не страх, скорее неприятие естественности смерти. Человек должен жить долго-долго, может быть, когда-то, в будущем, наука придет к этому; такие вот, как Сашко...»

— Тебе плохо, Софийка? — Александр взял ее руку, нащупал пульс.

Прикосновение пальцев мужа было приятно ей.

— Нет, мне хорошо.

Она открыла глаза. Ей действительно хорошо, ни Александр, ни Сашко этого не понимают, они остаются здесь, на этом берегу, а она уплывает от них. В океан времени. Берег со всеми его земными соблазнами с каждой минутой будет все уменьшаться в ее глазах, пока не станет похож на страничку альбома гравюр, которую медленно и уже навсегда закроет тьма. Конечно, человек должен жить долго-долго, и так будет, но не это главное, главное — как живет человек. Иначе бы Кот, капитан Николин, который переживет ее, был бы счастливее, чем она, Софья, а это противоречит всему человечному в человеке. Ей хорошо, хотя она и умирает, потому что она прожила свою короткую жизнь как считала нужным. Но так может сказать о себе и Кот, а разве он мечтал о чем-то другом, кроме жандармского мундира. Нет, ей легко, потому что она не променяла свою совесть на земные блага, она поверила в социалистическое будущее народа и боролась за него, пока жила, не оставив ни капельки своей жизни для мужа, для сына, для себя. Есть высота, на которой человека уже не пугает смерть: тело увянет и ляжет в землю, но у души вырастают крылья, и она витает над будущим, ради которого стоит жить. Софья взяла теплую руку Александра, поцеловала, прижала к щеке.

— Не надо со мной играть, Александрик, я счастлива, неужели ты не видишь? За что мне такое счастье — последние дни мои прожить с вами, кто любит меня и кого я люблю! Сколько моих товарищей умерли в одиночестве, на тюремных нарах, кроме ненавистных жандармов, им некому было и глаза закрыть. Я никого и ничего не боялась, только умереть в одиночестве, среди врагов боялась, не хотела. И сейчас я вам обоим так благодарна...

Она закашлялась, а когда отдышалась, Сашко стоял у постели и подавал ей кружку с чаем. Рука его дрожала, а в

широко раскрытых глазах было столько сочувствия, ласки и недетской, взрослой боли, что Софья едва сдержалась, чтобы не обнять не прижать к груди его лобастую, с ровненькими, густыми волосами, стриженную под горшок головенку. Она никогда не боялась за себя, но за сына боялась и последние два месяца не позволяла навещать ее в камере, попросила Александра подтвердить, что это, мол, комендант запретил. Здоровьем он, ее сынуля, похвалиться не мог, да и что удивляться, почти пять месяцев беременности в тюрьме, на тюремных харчах, без воздуха, без движения, а еще переживания, нервы, стиснутые в кулак, теперь еще такое путешествие, перемена климата, плохое питание, — так легко заразить ребенка, укоротить ему век. А ее сыну много надо сделать в жизни, он будет жить в новом обществе, строить его, она, революционерка и мать, верила в Сашино будущее безоглядно, как верила в будущее своего народа, будущее народа и сына сливалось для нее в высокий торжественный хорал, звучавший в ней все эти тюремные годы.

— Сядь, сынок, у окна, я тебе почитаю.

Она взяла из-под подушки небольшую книжечку в полотняной обложке, но так и не раскрыла ее, читала наизусть тихим, проникновенным голосом:

Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій...

— Знаешь, сын, чьи это слова?

— Знаю. Тараса Шевченко. Мне папа читал.

Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отоді я
І лани, і гори —
Все покину і полину
До самого бога
Молитися... а до того
Я не знаю бога...

Какие слова: а до того я не знаю бога! Сколько боли, ненависти и веры в конечную победу! Не стихи — молитва революционеров, каждого мужественного и честного человека. Цари и царята боялись Тарасовых слов больше, чем динамита, они заковали поэта в солдатский мундир и сослали в пустыню, но и десять лет военной каторги не убили его вольной души. В самые черные мои тюремные годы Тара-

совы стихи, Тарасова доля поддерживали меня: «Оживуть степи, озера, і не верстовії, а вольнії, широкії скрізь шляхи святії простеляться і не найдуть шляхів тих владики, а раби тими шляхами без гвалту і крику позіходяться докупи, раді та веселі. І пустиню опанують веселії села». Я хочу, чтобы и ты в это верил, Сашко, как верю я, как верит твой отец, как верят наши единомышленники. Рано или поздно, а правда и разум победят, и ты будешь жить в новом, социалистическом обществе. Кем ты хочешь быть, сын, когда вырастешь?

— Еще не знаю, мама. Может, врачом, как папа.— Сашко смутился, оглянулся на дверь, но в комнате, кроме них, никого не было, отец в кухне готовил завтрак.— Как ты думаешь, мама, человек найдет такие лекарства, которые бы лечили все-все болезни? Какая бы болезнь ни была, выпьешь такое лекарство — и все как рукой снимет! Вот такое бы лекарство придумать — жизни не жалко! Тогда и ты ни секундочки не болела бы, выпила и пошла смотреть, как я с сопки на лыжах лечу. А люди жили бы тогда долго-долго, сколько захочется, и ничем не болели.

— Не знаю, можно ли такое лекарство найти, но искать надо,— ласково улыбнулась Софья и с едва приметной грустью в голосе продолжала: — Очень бы хотелось дожить до времени, когда ты его найдешь. Жить долго-долго — это, наверное, так интересно. Но если я не доживу вдруг, помни всегда: твоя мать хотела видеть тебя правдивым, мужественным и умным. Кем ты будешь, не так уж и важно,— главное, каким человеком станешь, и только ли для себя будешь жить, или для народа, для людей. Другие матери дарят детям земли, имения, я подарю тебе, сынок, книгу человека, который умел забывать о себе, когда речь шла о доле народной. Это мое единственное богатство, сын. Но оно куда ценнее всех имений и земельных участков, сейчас ты веришь мне на слово, а вырастешь — поймешь сам. Этот «Кобзарь» Тараса Шевченко я берегла все тюремные годы, он помогал мне жить, бороться, ненавидеть и любить...

Вошел отец с чайником. Запахло кофе. Сашко взял книгу из рук матери. Обычная картонная обложка обернута в серое тюремное полотно, а по уголкам вышиты васильки.

— Я вот Сашку «Кобзарь» подарила,— громко, слишком громко сказала Софья.— Берегла его в тюрьмах. Пусть у Сашка останется память о матери, и — не только память...

Она отвернулась к стене.

— Соня! — Александр поставил на стол чайник, тревожно звякнули чашки.

— Я сейчас, Александрик, сейчас. Ты же знаешь свою Софийку,— все будет хорошо... Господи, одиннадцать лет не пила кофе, жаль, что уже и не хочется...

...А смерть — это когда ночь, непроглядно черная, без надежды на рассвет, и сумерки — предвестники смерти, с такими косматыми лапищами, вползают в окна, заполняют комнату, засасывая остатки света, и Сашку становится не по себе, ему хочется позвать отца, но отец хлопочет возле матери, ей к концу дня стало хуже, он прижимается щекой к материнскому подарку — книге и зажмуривает глаза. Только бы мать дожила до весны, а весной, когда зазеленеют сопки и зацветут на лужайках цветы, он непременно найдет тот единственный, волшебный цветок, который вылечит маму. Вот он идет по лесной тропинке, а навстречу лесовичок [1], о котором ему рассказывала няня Уляна, похожий на белый грибок, борода до колен и шляпа из травы и сухих дубовых листьев. Сашко уступает лесовичку дорогу и вежливо кланяется, лесовик пронзительно, понимающе так смотрит на Сашка и видит его горе. «Ты куда идешь, хлопче?» — спросит лесовик Сашка и достанет из полотняной торбочки пучок пахучей травы, Сашко поблагодарит и побежит домой, не чуя под собой ног, отец сварит из той травы чай, нальет в кружку и скажет: «Неси матери»,— мама возьмет у него кружку, выпьет и мигом поднимется с постели, полная сил и здоровья, она возьмет Сашка за руку, и они пойдут к тропинке, где ему встретился лесовик.

Дверь маминой комнаты отворилась, Сашко услышал, как тяжело, с болезненным хрипом она дышит, торопливые, встревоженные шаги отца на кухню, и открыл глаза. Сумерки сгустились, и оконные рамы едва виднелись в темноте. Что-то упало в комнате матери, кажется, кружка, из которой она пила. Отец пробежал по сенцам — из кухни в комнату. Звякнул стакан. Скрипел снег под окнами — будто кто-то ходил. И топот на чердаке. У смерти нет ни тела, ни лица, ни голоса, она как ночь, пропахшая лекарствами, и каждый шорох в ее жуткой тишине — как надежда и предсказание беды одновременно. Утром он станет на лыжи и отправится в сопки, далеко-далеко, будет идти день, два, а может, и месяц, пока не увидит меж белых сугробов зеленый оазис, островок жизни — живительное тепло ему дает похожий на маленькое солнце цветок, а стережет этот цветок тысяча злых кощеев, но Сашко достанет меч, тот, что подарил ему климовский конюх, меч, правда, остался где-то в саду, в Нежине, но в эту минуту он очутится у него в руке, и Сашко изрубит, разгонит всех кощеев, сорвет цветок-солнце и понесет

[1] Лесовичок — в украинском фольклоре — добрый леший.

людям, и каждый, кто хоть раз взглянет на тот цветок, никогда не заболеет и будет жить долго-долго, если это, конечно, добрый человек, а злые люди этого цветка не увидят, он для злых людей, для всяких там жандармов,— невидимка. Сашко принесет цветок маме, и мама, освещенная светом его лепестков, поднимется.

Он не заметил, как забылся во сне, проснулся среди ночи, а может, под утро: было неестественно тихо, так тихо, что Сашку стало страшно. От болезненной, похожей на нервный спазм мысли, что гнетущие предчувствия последних дней оправдались и тишина в доме — тишина смерти, он привскочил на постели и закричал (ему показалось — громко, а в действительности — приглушенно и жалобно):

— Мама!..

— Мама только что уснула,— спокойно промолвил отец.— Тебе что-то плохое приснилось, сынок?

Отец стоял у окна, как распятый на крестовине рамы.

— Нет, я так... Посиди со мной, папа.

Он схватился за теплую отцовскую руку — страх проходил.

— Папа, а няня когда-то рассказывала мне про живую воду. Кто той воды выпьет — никогда не умрет. Как ты думаешь, такая вода и взаправду есть или только в сказках?

— Может, и есть.

— Идем завтра — поищем.

— Вырастешь, сынок, выучишься — будешь искать. Живая вода, если где-то и есть, легко не дается. Нужно очень много знать о жизни, чтобы ее найти.

— Я для мамы хотел.

— Живую воду, уж если искать,— то для всех людей. Иначе не найдешь. Разве только и горя, сын, что наше? Горя в мире много. Спи... Завтра маме непременно станет лучше.

Утром Софье действительно стало лучше. Она даже позавтракала, а когда пришел жандарм с журналом для «внетюремных», пошутила:

— Боюсь, не рано ли ваши начальники выпустили меня умирать. Возьму да назло им и дотяну до весны. А услышу «генерала кукушку» и, как истинный бродяга, убегу в леса, только меня и видели...

Потом она долго разговаривала с Сашком. Сначала расспрашивала про гимназию, вспомнила, как училась в Петербурге на медицинских курсах, сдала на «отлично» экзамен, и дирекция курсов присудила ей премию, а она отказалась, потому что училась не ради премии. Действительно, за что премия, если она делала необходимое, решив стать врачом? Как она могла учиться плохо, ведь люди доверяют врачу

самое ценное — жизнь. Правда, она очень скоро поняла, что больно общество, в котором она живет, и все силы отдала лечению социальных болезней, лечить людей так и не пришлось. Общества ее поколение тоже не вылечило — не хватило знаний и сил, болезнь прогрессирует, лечить его будут другие и уже лечат.

Новости из центров утешительные. Софья благодарно посмотрела на Александра, он привез ей весть о начале нового революционного подъема. В Петербурге рабочие превратили похороны публициста Шелгунова в политическую демонстрацию, а потом организованно собрались на маевку и отпечатали первомайские листовки, которые разошлись по всей Российской империи. А ведь она, Софья Богомолец, в семидесятых годах помогала Георгию Плеханову организовывать первые забастовки питерских рабочих. Объединяются и киевские рабочие, в этой готовности пролетариев к протесту, к борьбе за право на человеческую жизнь — отголосок и ее революционной работы в Киеве. Но дело даже не в том, сколько тот или иной человек сделал для будущей революции, она, Софья, могла бы сделать намного больше,— не успела. За волю и счастье трудового народа уже столько отважных революционеров сложили голову, что на памятник им не хватит всего гранита мира. Их памятник — будущее социалистическое, счастливое общество. Среди людей ее поколения, вставших на борьбу с царизмом, почти не нашлось слабых духом (единицы из тысяч!), таких, кто отрекся бы от самих себя, из женщин-революционерок — ни одной. И Софья рассказывала сыну о встречах с Андреем Желябовым, о его героической борьбе и героической смерти на эшафоте, об Ипполите Мышкине, бесследно исчезнувшем в царских застенках, о его знаменитой речи на похоронах Долгушина, о своих побратимах по борьбе в Киеве, о женщинах-революционерках, которые боролись с палачами в жандармских шинелях даже в тюрьмах, и не день, не год — десятилетия...

— Понимаешь, сынок, я и мои товарищи нашли свое счастье, жертвуя всем ради будущего. Это большое, но трудное счастье. Я верю, что, пока ты вырастешь, исчезнет необходимость идти на плаху, а может, ты выберешь иной путь, чтобы быть полезным людям. Нет матери, которая бы пожелала своему ребенку того, что пережила я,— сибирских этапов, карцеров, голодовок. Как каждая мать, я хочу, чтобы мой сын был счастлив в жизни. Я знаю, ты будешь жить в мире гуманном и справедливом, иным социализм и не может быть, великую цену заплатили и еще заплатят за него люди. Но живи, сын, не для себя, такой человек при любом обществе — что птица без крыльев, она лишь толстеет, заплывает жиром и никогда не взлетит в небо; раз-

вивай в себе, сын, способность наслаждаться общим благом...

Софья опять задыхалась, делала длинные паузы и жадно хватала воздух. Александр знал, что ей нельзя долго говорить, но не осмеливался прервать разговор матери с сыном: разговор может быть последним, Сашку это на всю жизнь. Он не мог обмануться улучшением состояния здоровья Софьи, как бы ни хотел подсластить горькую пилюлю надеждой на чудо. Изнуренный тюрьмами организм Софьи не выдержит наступления болезни, чудеса бывают в сказках, которым и верит и уже не верит Сашко,— только не в медицине. Софьино лицо побледнело, на нем проступили тени, будто оно постепенно опускалось в тихую воду, все глубже и глубже, и вот толща воды уже размывает родные черты, Александру захотелось громко крикнуть в порыве любви, тоски и страха за жену, но он не имел права даже на крик: сын.

После обеда Сашко побежал на улицу — рядом с домом дети спускались с гор на санях и лыжах. Проследив, как сын оделся, Александр вернулся в комнату. Еще с порога увидел, что Софье худо, она держится из последних сил, делая вид, что все хорошо. Александр нащупал пульс — сердце билось утомленно, вяло.

— Поспишь немножко?

— Нет, Александр, еще высплюсь,— она открыла глаза, глянула остро, пронзительно.— Возьми лист бумаги, я продиктую и подпишу. Как это пишется? Юриспруденцией не интересовалась, завещаний тоже не составляла, это делается раз в жизни, нет опыта. Может, так: «Ожидая отхода...»

— Соня!

— Думаешь, рано? — она усмехнулась, в этой усмешке сквозила и доброта, и снисходительность — будто разговаривала с сыном. Никогда она не была так далека от Александра, как теперь, и отдалялась все дальше.— Чтобы не опоздать. Прости, но и своему родному эскулапу я не верю — себе верю. Пиши, Александр, и надо, наверное, еще кого-то, чтобы свидетельствовал. «Ожидая отхода в вечность и будучи в здравом уме и твердой памяти, прошу родных не мешать моему мужу Александру Михайловичу Богомольцу и сыну Александру Александровичу Богомольцу безвозмездно передать крестьянам всю лично мне принадлежащую по наследству часть отцовской земли...»

Александр подал ручку, пальцы его дрожали, и чернила скапнули на бумагу черной слезой; она четко и твердо вывела: «Софья Богомолец». И только тогда Софьины руки, будто исчерпав все силы в этой последней сосредоточенной работе, сникли, едва не прочертив безвольный росчерк по

листу, если бы не Александр. Глаза Софьи закрылись. Александру показалось — уснула. Он отложил бумагу, поднялся и на цыпочках, чтобы не разбудить жену, пошел к дверям. С порога обернулся: Софья смотрела на него широко открытыми глазами:

— Последняя моя просьба, Александрик...

— Ну что ты сегодня, Софийка!..— сказал Александр с укором.— Ты еще меня...

Софья молча покачала головой, и он умолк на полуслове — стало стыдно за фальшь.

— Похорони меня на Украине. Страшно здесь оставаться — одной, и после смерти — в неволе.

Александр опустился на край кровати и припал губами к ее горячей руке, впервые не пряча и не стыдясь слез.

— А Сашка береги. У него есть и ум, и характер, чтобы многое сделать в жизни!..

Уже совсем рядом с домом Сашка, вдоволь накатавшегося на лыжах, встретил знакомый отца, бывший каторжанин. С его сыном Сашко часто играл.

— Идем-ка к нам, казак. Поужинаем и переночуешь. Отец знает.

В грустном его голосе было что-то такое, что Сашко понял: перечить нельзя. Так нужно. Он беспомощно оглянулся (в ранних сумерках окно комнаты, где лежала мама, тепло светилось огоньком свечи) и понуро поплелся следом. Лыжи оледенели, пахали наст, идти было трудно. Знакомый отца рассказывал о золотых рудниках в верховьях Кары, о том, как горит весной сухотравье на сопках. И только о Сашиной матери ни слова, сам же спросить он не осмеливался, чувствовал, что спрашивать нельзя. Ужинать отказался — не мог. В доме рано ложились спать. Сашко долго лежал без сна, вглядываясь во тьму, которая от напряжения кружилась перед ним огненными точками. Наконец он заснул.

Множество снов, беспокойно-тревожных, лихорадочных мучило его в ту ночь, не давая полного забытья, а запомнился только один. Уже где-то под утро ему долго снилось, будто отец, мать и он, Сашко, превратились в синих бабочек с золотыми пятнами на крыльях и порхают над разноцветноярким лугом. Над ними синее-синее, как донышко китайского блюдца, небо, а солнца нет, свет струился снизу, из зелени, а лучи его густые, как травы; мать перелетала с цветка на цветок и смеялась, из ее смеха возникали на лугу колокольчики, обыкновенные колокольчики, точно такие же синели между смолкой и золотистой пахучей кашкой в конце их нежинского сада, над Остром.

Перелетать с цветка на цветок, купаясь в материнском смехе, было легко и радостно.

Он проснулся от острой боли. Болела голова. Лоб, словно скованный обручем, сжимало все туже и туже, а в виски невидимый кузнец вбивал гвоздочки. За окном едва серело. Еще никогда, кажется, у него так не болела голова. Сашко прижался лбом к холодной стене, закрыл глаза, но боль не утихала, билась где-то глубоко внутри, а может, это вовсе и не боль, а отчаянная тревога, она уже давно, особенно же ясно со вчерашнего вечера, жгла его. Сашко зажмурился и принялся считать, чтобы вернуть сон, досчитал до тысячи, но не заснул. Зато боль исчезла почти так же мгновенно, как и появилась, осталась лишь память о боли, страх боли и еще страх перед тем, о чем боялся, не позволял себе думать. Он с головой накрылся одеялом, прячась от дневного света, уже наполнившего комнату, но не выдержал долго, потихоньку оделся и выскользнул из дома.

На заснеженном склоне сопки, как на гигантской ладони, алело каплей крови утреннее солнце. Потоки солнечной крови струились в долину Кары, падали малиновым дождем на крыши домов, казарм и тюрем. Мороз сразу — еще на крыльце — обжег его, потом вроде бы отступил. Сашко мчался, шапка торчала на макушке, едва прикрывая уши. Воздух, острый как лезвие, резал щеки, но потом иступился, и Сашко совсем не чувствовал его. Двери их дома — и в сенцы, и в комнаты — брошены настежь. Сашко нырнул в них, как в прорубь с ледяной водой. Мать, неестественно вытянувшись, прикрытая чем-то белым, лежала посреди комнаты на столе. Серые клубы холода, перекатываясь через порог, туманом обволакивали ее тело. Отец в пальто нараспашку, без шапки, стоял у стола, вцепившись в края, будто хотел что-то сделать, но замешкался и вот теперь не знает, что именно. На звук Сашиных шагов он обернулся, опустил руки и торопливо шагнул навстречу.

— Сашко, ты щеки отморозил! — Отец насильно схватил его в охапку, вынес во двор, зачерпнул пригоршню снега.— Будет больно, но не плачь! Будет больно, но не плачь! — повторял, как заклинание, растирая лицо сына колючим снегом.— Не люблю мужчин, которые плачут, да еще и будущих врачей! Нет нашей мамы, сынок, но нам надо жить, надо жить...

Сашку было ужасно больно, но он не плакал, а может, и плакал, но слезы перемешивались с талым снегом и падали со щек солеными ледышками.

Весь в инее, дыша паром, как паровоз, к ним подошел жандарм.

— Здравия желаю, господин Богомолец. Софья Николаевна уже проснулись? Им надо расписаться... Все понимаю, но иначе не могу — служба.

— Софья Николаевна уже свободна...

— Как? — весь встрепенулся, напрягся жандарм.

— Сегодня утром Софья Николаевна померла и отныне жандармскому управлению не подвластна.

— Позвольте заметить, господин Богомолец, что вы ошибаетесь. Нам подвластны и живые, и мертвые,— помедлив, ответил жандарм.— Но я должен убедиться собственными глазами, чтобы сделать пометку в журнале. Вы врача вызывали?

— Я сам врач,— мрачно заметил Александр.— И если уже я не помог...

— Я не о помощи, чахотка обходится без помощи, господин Богомолец... Но присутствие тюремного лекаря обязательно, такой порядок. И это не зря, поверьте мне. Я знаю случаи, когда политических выносили за тюремные стены в гробу, а вскорости они объявлялись за тысячи километров. Так что примите мое сочувствие, но...

Жандарм решительно пошел к дому, Александр — за ним. Сашко остался один — на весь мир. Солнце, взбираясь на макушки сопок, меняло цвет: из малинового становилось розоватым. Ровные, как солдаты в строю, столбы дыма поднимались из труб, от этого казалось, что свободы нет и в небе, что и там солдаты, казармы, тюрьмы. Он просил бога спасти мать, бог не захотел его услышать,— какой же он после этого милостивый, и всесильный? Он просил — кого он только не просил! Ничто не помогло, мать умерла. Отец прав — человек может надеяться только на свой собственный разум и силы. Сопки с залысинами на макушках, ближе к распадку, покрывали сплошные заросли багульника, причесанного ветрами. Вспомнив о багульнике, Сашко метнулся в боковушку, где они ночевали с отцом с тех пор, как мать отпустили из тюрьмы. Дней десять назад он сломил на том берегу Кары несколько веточек кустарника и поставил в банке с водой за печку. Местные ребятишки сказали, что багульник обязательно расцветет даже среди зимы, мальчик хотел порадовать мать. И правда, почки на черных, веточках набухли, но вчера утром еще не распустились. Сегодня их сплошь усыпали сиренево-розовые цветы, как новогоднюю елку игрушки из подкрашенной ваты. Сашко спрятал лицо в букет и закрыл глаза (их жгло, как огнем): багульник опоздал на несколько часов, а может, и не опоздал, расцвел на рассвете...

Сашко взял банку с веточками и понес в комнату: это его последние цветы матери. Холод все еще клубился в комнате, вытесняя остатки тепла. Мамино лицо было как нарисованное,— четкое, глубокое, только глаза закрытые.

— Вот маме... Подарок готовил, а он только сегодня расцвел.

Сашко поставил багульник у изголовья и отступил на шаг, страшась смерти и стремясь к живому теплу. Отец все еще стоял у стола бледный, измученный, но, увидев сына, встрепенулся.

— Пойдем, Сашко, на почту. Будем добиваться, чтобы разрешили взять с собой тело матери. Мама просила похоронить ее дома. А за цветы она бы поблагодарила тебя.

В лучах солнца, льющихся из окна, пламенел розовым облачком багульник.

Отец и сын вышли на крыльцо, но к дому уже подъезжал тюремный врач в сопровождении трех конных жандармов с револьверами и саблями.

Они боялись ее и мертвую.

Телеграмма: «ПРЕСТУПНИЦА БОГОМОЛЕЦ УМЕРЛА 10, ТЕЛО НЕ ПОХОРОНЕНО, МУЖ ПРОСИТ ПЕРЕВЕЗТИ ТЕЛО В ГОРОД НЕЖИН ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИИ».

Телеграмма: «ПОКОРНО ПРОШУ РАЗРЕШИТЬ ПЕРЕВЕЗТИ ТЕЛО МОЕЙ УМЕРШЕЙ ЖЕНЫ СОФЬИ БОГОМОЛЕЦ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ НА РОДИНУ. ВРАЧ БОГОМОЛЕЦ».

«...Почти месяц ждали разрешения перевезти тело покойной для захоронения на родную Украину. Мертвая, она лежала все это время у нас, в нетопленной комнате, а мы с отцом жили в прихожей...»

А. А. Богомолец

Телеграмма: «МИНИСТЕРСТВО НЕ СЧИТАЕТ ВОЗМОЖНЫМ УДОВЛЕТВОРИТЬ ПРОСЬБУ ВРАЧА БОГОМОЛЬЦА».

«Несчастная женщина обрела свободу за три дня до смерти. Только через месяц, в лютую стужу ее товарищи, в том числе и мой отец, отнесли гроб на кладбище Усть-Кары за пятнадцать километров от нашего села...»

В. В. Сухомлин

«...Д-р Богомолец стал хлопотать, чтобы тяжело больную жену выпустили умирать в вольную команду. Но ему удалось добиться ее освобождения лишь накануне ее смерти Исполняя выраженное при жизни желание жены быть похороненной на родине, он вновь предпринял большие об этом хлопоты, но, в конце концов, не добился разрешения этой, казалось бы, невинной просьбы. Мы, вольнокомандовцы, в жестокий январский мороз отдали последний долг умершей, проводив гроб ее до усть-карийского кладбища...»

Л. Г. Дейч

«...Возвращались мы домой осиротевшие, убитые горем: не стало замечательной женщины, великой в неугасимой любви к своему народу и неукротимой в ненависти к его угнетателям».

А. А. Богомолец

Все было в последний раз, и они, отец с сыном, об этом догадывались: боковушка, узнавшая глубину их горя и надежд, комната, где умерла жена, мать, ее постель, стол, на котором почти три недели стоял гроб с телом... На всем лежала ее тень, память о ней живой, и теперь они сиротили ее, уезжая так далеко.

«Нам, как актерам, сыгравшим высокую трагедию и отдавшим уйму душевных сил, теперь трудно покидать сцену с ее декорациями и возвращаться в будничную жизнь,— подумал Александр.— Но есть существенная разница: актеры — играют, мы с Сашком — жили...»

Он вспомнил утро, когда умерла Софья, вспомнил рождение нового — уже без нее — дня за окнами, и то, как холод неумолимо заполнял комнату — теперь уже навсегда, он знал — на всю жизнь...

«А если баба Уляна рассказывала правду и мамина душа прилетит в эту комнату, а нас нет, и ей будет сиротливо...» — подумал Сашко и незаметно положил на подоконник коржик — для маминой души. Они вышли на крыльцо, прикрыли дверь. Гривы коней были в изморози, как в парче. Пуржило, взвихренные снежные гребни катились по дороге и разбивались о полозья саней. Тулупы, брошенные поверх сена, холодно искрились. Отец и сын сели в сани, прижались друг к другу. Тюрьмы, казармы, тюремный лазарет, казенные дома чиновников и хибарки местного люда — все уплывало, таяло, и ветер рассеивал остатки кошмарного, черного видения.

На околице Нижней Кары они остановились — возле кладбища. Могилы были в снегу, и только верхушки крестов темнели, словно вышитые черным по белому полотну. Александр взял сына за руку, словно боясь, что порыв ветра оторвет и унесет в тоскливую, серую бездну единственное, что у него осталось от Софьи. Сняв шапки, они долго стояли у могилы, не находя сил оторваться. Кучер сдерживал лошадей, нетерпеливо прядающих ушами. Говорить не хотелось — боялись слов. Ветер трепал над могилой рушник, и от этого крест и занесенный снегом бугорок казались раненой птицей, которая из последних сил машет крыльями, а взлететь не может. Кони тронулись, а птица еще долго билась оземь, рвалась вслед.

Сани спустились с крутого берега к Шилке, и здесь, близ примерзшего к реке причала, навстречу им высыпали жан-

дармы. Кони испуганно всхрапнули, бросились в придорожный сугроб, сани накренились. Жандармы стояли вокруг саней, словно частокол на тюремной ограде.

— Документы! Куда едете?

Александр молча достал из сумки бумаги, но унтер-офицер даже не взглянул на них, он хорошо знал, кто и куда едет.

— Обыскать!

Сашко стоял рядом с отцом по колено в снегу. Молча и сосредоточенно он следил, как жандармы роются в их чемоданах, в отцовской папке с бумагами, в сене на санях, в одежде, и в глубине его души поднималась, бурлила уже осознанная ненависть. Он ненавидел их голубые шинели, их красные сытые рожи, их наглые цепкие глаза, их руки, листающие книги и перебирающие фотографии его матери. Он ненавидел все, что стояло за ними: незащищенность, бесправие, добрых людей и безнаказанность злых, их каторги, их тюрьмы и самую большую тюрьму, которую стерег двуглавый орел и которую в гимназии его учили любить пуще отца, матери и самого себя.

«Если бы в глазах моих была такая сила, что только подумаю, а они все тут же проваливаются сквозь землю — навсегда!..»

— Гляди-ка, у этого волчонка глаза, как и у матери,— огнем полыхают! — со злобой сказал унтер-офицер.

— Пусть полыхают: к нам попадет — мы и для него трех аршинов земли не пожалеем,— засмеялся жандарм, выворачивая карманы Сашиного тулупчика.

— Нет ничего, ваше благородие. А может, сумели спрятать...

— Ничего, еще попадутся — Сибирь велика...

Садясь рядом с отцом в сани, Сашко победоносно посмотрел на жандармов и плотнее натянул рукавичку: в рукавички они с отцом зашили письма политических. Тюрьму для политических на Каре упразднили, часть заключенных переводили на еще более страшную и безнадежную каторгу в Акатуйские рудники, и революционеры договаривались с товарищами на воле о побеге...

Когда Сашко оглянулся, устье Кары, причал и поселок на склоне горы — все покрыла непроглядная снежная мгла, будто их никогда и не было, а все только приснилось. Но нет, не приснилось, где-то там, за серой пеленой, оставалась могила матери. На глаза Сашка снова навернулись слезы, как там, на кладбище. «Но душа матери не осталась в краю тюрем и казарм,— подумал он с тихой радостью и усмехнулся, вспомнив о коржике, спрятанном на подоконнике.— Белая птица взлетела с кладбища и будет парить над нами все ты-

сячи верст и тысячи лет, оберегая и благословляя нашу жизнь. Это память о матери...»

И Сашко смело посмотрел в глаза далекой, трудной дороге: сквозь долгие десятилетия.

1945.
ОСЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА

«...Благополучно закончил сессию Академии, составил неплохой пятилетний план — удалось бы выполнить! Устал, хорошо бы в Староселье».

«...Науку надо любить, как невесту, и это чистое пламя любви сохранить на всю жизнь».

«В пейзажах мне больше всего нравится осень... Хорошо бы поехать на охоту осенью, в пору тихого листопада — люблю побродить по шуршащим листвой тропинкам, дышать лесной прохладой».

А. А. Богомолец

Через много-много лет наступит золотая осень, то будет его последняя осень на земле, и мать будет являться ему в снах, и ночные его виденья, светлые, нежные и легкие, будут похожи на круговерть отцветающих в саду вишен. Но сны не удерживаются в памяти, как ни силься наутро вспомнить их, они лишь призрачно маячат за горизонтом сознания, расплываются, тают. Но еще долго живет в душе ясное, до прозрачности, забытое, а вернее, никогда не испытанное в детстве счастье: мать, которую он так долго, все детство, всю жизнь ждал,— наконец с ним. Очи матери (единственное, что проявлялось днем на фотопленке сновидений) излучали ласковое тепло, и шестидесятичетырехлетний ученый молодел, креп в их лучах, словно омытый живой водой.

Золотая осень, первая послевоенная осень, не последняя ли в его жизни?.. Из окна президентского кабинета он увидит, как падают на тротуар каштаны в своих кожурках-тулупчиках с рыжими шипами иголок, приметит, как полы тулупчиков распахиваются и на свет вылупливаются блестящие коричневые плоды все в капельках росы, чистой, как слеза. Окна кабинета похожи на иллюминаторы фантастических жюль-верновских кораблей, которыми он бредил в детстве, синие, с холодным блеском, а за стеклянным барьером — пригретый солнцем клен, и каждый листок его, ярко-желтый, с розовыми прожилками, светится изнутри, и звучит, как ноктюрн Шопена, печально, но не безысходно. Всю жизнь он любил осенний пейзаж, из всех времен года больше всего мила ему была осень, а с годами полюбил и осен-

нюю пору человеческой жизни, ту пору, когда приходит покой и равновесие, когда дозревает в человеке мудрость, не та, книжная, которой мы кичимся смолоду, а мудрость естественная, вырастающая из всей человеческой жизни, как растет из земли дерево, и потому — удивительно личная.

Однажды ему показалось, что это возможно: забыть, что ты член правительства, академик, удостоенный самых высоких правительственных наград, президент одной из самых больших в Европе Академий наук, директор двух научно-исследовательских институтов, редактор научного журнала, забыть, что ты человек, к словам которого прислушиваются виднейшие ученые. Забыть о немощах старого, утомленного, больного тела, забыть обо всем — и затеряться в золотом мире осеннего листопада, буйствующего за окном...

— На будущей неделе, душенька, я позволю себе отдохнуть,— мягко, но подчеркнуто категорично сказал он секретарше и, заметив на ее лице недоверчивую усмешку, поспешил заверить: — Позволю, позволю. Отдых всегда должен предшествовать переутомлению.

— Я читала об этом в книге академика Богомольца «Продление жизни»,— лукаво улыбнулась секретарша президента.— Жаль только, что академик Богомолец не прислушивается к собственным советам...

— Тяжелые годы переживаем, что поделаешь. Первая мирная осень после мировой бури. Я поеду в Староселье в субботу после обеда, а вернусь только в среду, на президиум. Три свободных дня — и ни одной бумажки; а три дня в мои годы — это почти вечность...

В субботу он выходил из здания академии, как сходит на берег моряк, долгие годы плававший по морям-океанам, минуя причалы. Был яркий, золотой день, оттененный синевой по-летнему теплого неба. У подъезда его ждала машина. Шофер поспешно открыл дверцы. Мимо проползали грузовые автомобили, дверцы дрожали, размывая отражение в стекле: высокая и все еще стройная, наперекор врожденной сутулости, фигура немолодого уже человека, в строгом темном кителе, в правой руке — палка, на левой — плащ.

— Я пешком.

— Врачи, Александр Александрович,— растерялся шофер,— меня предупреждали...

— Не будем дискутировать по этому поводу,— в мягком обычно тоне голоса академика звучали твердые нотки.— Пообедаете — и на Виноградную, подвезете нас к катеру.

На углу, переходя улицу, Богомолец оглянулся: шофер

вышел из машины и смотрел ему вслед. Тротуар, весь в паутине теней, словно устлан тополиным кружевом. Вопреки прогнозам врачей, Богомольцу дышалось легко. Он много ходил пешком в революционном Саратове, когда стояли занесенные снегом трамваи, а потом и в Москве. До сих пор помнились ему легкость походки тех лет и счастливое ощущение, что подошвы его ботинок пружинят на ходу. Сейчас подметки уже не пружинили, но в теле не было и привычного утомления. Ближе к Крещатику уличная толпа становилась многолюднее и пестрее: люди, сняв серые шинели, снова вспомнили, что существуют и другие цвета.

В развалинах дома дымилась. походная кухня, вокруг нее сидели пленные немцы. В подворотне играл на гармошке и пел низким хрипловатым голосом слепой. С Крещатика на улицу Ленина сворачивали полуторки с битым кирпичом. На противоположной стороне улицы хлопцы в форме фезеушников ровняли заступами площадку под будущий дом и заигрывали с девчатами-малярами. Радостное предчувствие завтрашнего дня, мирного и счастливого, бодрило Богомольца. В витрине гастронома, под синим, отраженным в стекле шатром осеннего неба краснели раки, они напомнили Псёл, ватагу босоногих мальчишек, шлепающий звук ботала, которым выгоняют раков из-под берега. Богомолец вошел в магазин и стал в очередь. Приметливая продавщица узнала президента:

— Александр Александрович, что вы хотели купить, я отпущу без очереди.

— Спасибо, я подожду.

Люди оглядывались и узнавали Богомольца, здоровались. Воздух в гастрономе — густой, соленый, как в бочке из-под селедки, и вскоре он почувствовал знакомое покалывание в груди. Продавщица отбирала для него раков — хоть на выставку, это было неловко, и он облегченно вздохнул, выйдя из магазина. Медленно перейдя Крещатик, стал подниматься по Институтской и вдруг снова почувствовал, что у него есть сердце. Небо поблекло, а на золото уцелевших от огня каштанов и шелковиц, на лица прохожих легла тень, как от невидимой тучи. Ему не хватало воздуха. Богомолец зажмурился, передохнул, а когда открыл глаза, небо снова было ярким, синим, и лица людей — светлые, и листья на деревьях — чистых осенних тонов.

Он знал, что это лишь минутное облегчение, но приказал себе идти; теперь каждый метр крутизны требовал усилий, Богомольцу казалось, что он не идет, а едет на детском велосипеде по песчаной улице (воспоминание старое как мир, с детских лет): тогда они с отцом шли в гости к Левчановским, и он настоял — непременно с велосипедом, а потом

с недетским упорством тащился на нем через весь город, накаленный летним зноем, а отец терпеливо вышагивал рядом... Снова не хватало воздуха, Богомолец остановился, оперся на трость, и в эту минуту рядом с тротуаром скрипнули тормоза, под колесами машины зашуршали листья. Открылись дверцы, и Богомолец скорее угадал, чем увидел сочувствие в глазах шофера.

— Следом за мной ехал?

— Олег Александрович только что позвонил из Москвы,— уклончиво ответил шофер.— Все, что поручали, он сделал и завтра будет в Киеве.

Богомолец знал, что звонок сына — лишь повод, чтобы не упускать его из виду, но молча согласился на эту игру.

— Возможно, Олег еще позвонит домой. Поедем быстрее.

Пока машина брала крутизну улицы, академик мысленно убеждал себя, что он правильно сделал, решив отдохнуть, ведь сил-то сталось мало, на самом донышке. И надо их расходовать экономно. Главное сейчас — полностью выключиться из круговерти дел, в которой он живет последние годы,— с тех пор, как возглавил Академию наук — пятнадцать лет, а если точно, то всю сознательную жизнь. Думать об осени, о ясном небе, о прошлом, он ведь давно обещал разразиться воспоминаниями. Вот только жаль, что не поговорил с Олегом, теперь до завтра его будет мучить любопытство, с чем сын вернулся домой... Научные институты Украинской академии ослабели за годы войны — эвакуация, реэвакуация, сейчас они развернули работу, но не хватает высококвалифицированных кадров, современного оборудования. А топтаться на месте никак нельзя, от сегдняшней науки зависит судьба нового мира... но это уже похоже на тезисы к проекту пятилетнего плана академии, над которым он много думал в последние годы. Только не сегдня, и не завтра, и не в ближайшие три дня — строго запрещено... Отдыхать!

По лестнице Богомолец поднимался медленно и тяжело, долго отдыхал на площадке, чтобы невестка не заметила его утомления. На стол уже накрыли, но он молча пересек столовую и закрылся в кабинете. Не любил себя в такие минуты, не любил своего больного тела и не хотел, чтобы другие замечали его физическую слабость. Большой пятнистый пес лениво поднялся с ковра и лизнул руку хозяину.

— Что, Туз, постарели мы с тобой?

Пес жил у Богомольцев еще с довоенных лет и понимал много слов; в понятном ему словаре не было слов — старость, боль, смерть, но он умел улавливать настроение хозяина, и теперь глаза его смотрели преданно и сочувственно. Богомолец опустился в кресло на балконе, пес передними лапами оперся на перила, ноздри его дрожали, тело напряглось — его тревожили запахи осеннего сада.

— Предвкушаешь охоту, Туз? Завтра в Староселье приедет Олег, отправимся на Богомольцевские озера либо на Осовицу, поохотимся на уточек. Любишь на уток ходить?

Пес радостно вертел обрубком хвоста.

— Любишь. И я люблю. А на Осовице теперь перелеты. Утром и пойдем. Нет, утром не получится, Олег еще не успеет, а без Олега какие мы с тобой охотники? Двинем уж после обеда и останемся на вечернюю зорьку. А можем, пойти еще и послезавтра, и еще на день остаться в Гористом, и еще. Кто нам что скажет? Оба мы имеем право отдыхать, сколько душа пожелает, ведь мы с тобой — уже старикашки. Жаль только, что я не дождался звонка от Олега, интересно, что он выходил в Москве. Вот как устроен человек, Туз. Уже и смерть за плечами, а он хлопочет, спешит, будто там, за смертной чертой,— еще одна жизнь. А ты вот лежишь деньденьской на коврике и никуда не спешишь, и ничего тебе не нужно, кроме еды и прогулки по саду. Ей-богу, позавидовать можно. Я человек, но вопреки законам физиологии — не завидую. Вот что удивительно — не завидую...

Он поднялся и прошел в комнату напротив. На патефонном диске лежала пластинка, подарок друзей: прелюдии Баха. Завел пружину и опустил мембрану, зазвучало фортепьяно. Прикрыв ладонью глаза, он жадно вслушивался в рокот струн, пытаясь до конца проникнуть в высокое таинство музыки, и отступал перед ним в восторге и изумлении.

Когда-то в Саратове он спорил с отцом, который не любил музыку двадцатого века за ее формальные поиски. Но с годами отцовское понимание гармонии становилось ему все ближе, и, наверное, так и должно быть: чтобы полностью прочувствовать гениальную простоту мастеров прошлого, надо много пережить. Прелюдии Баха из «Хорошо темперированного клавира» напоминали ему огонь, но не молодой, полыхающий яркими языками пламени, а уже слегка запыленный пеплом жар, под которым скрыто живет могучая жажда, страсть и сила. Смолоду он любил музыку Шопена, позже полюбил Чайковского за его мудрую уравновешенность и высокую печаль; но большинство композиторов, творчество которых он любил до сих пор, говорили либо сами с собой, либо со своей эпохой. Бах говорил со Вселенной. («Здравствуй, Бах»,— скажет бог, выходя утром из своей обители. «Здравствуй, бог»,— ответит Бах. Человек и Бог — на равных.) Баху было под шестьдесят, когда он создавал вторую часть «Хорошо темперированного клавира». Это всего лишь приятная иллюзия — спокойная старость. С угасанием физиологических функций организма не угасает огонь человеческого духа, если это живой огонь, а не лицедейство.

На человека всеми девятью валами накатывает прошлое, а будущее в его душе становится таким же прозрачным, реальным, как и прошлое, они встречаются — и возникает буря, вихрь чувств, страстей, мыслей, сегодняшний день становится лишь звеном между днем вчерашним и завтрашним...

— Простите, Александр Александрович, обед стынет.

Невестка стояла в проеме дверей, как в портретной раме — синяя юбка, светлая, английского покроя блузка, коротко подстриженные темные, до синеватого блеска, волосы и большие блестящие глаза, худенькая, элегантная, молодая — полное отрицание старости. И он подумал, что, несмотря ни на что, жизнь устроена удивительно мудро. Музыка Баха и эта вдруг пришедшая уверенность в мудрой завершенности всего сущего постепенно возвращали Богомольцу душевное равновесие. В последние годы ему все больше нравилось бывать с молодежью, наверное, старости это необходимо — ощущать рядом юную поросль. Когда у Олега собирались друзья, Богомолец, если выдавалась свободная минута, заводил патефон и ставил пластинки с танцевальной музыкой, ему приятен был калейдоскоп разгоряченных молодых лиц, вихрь танца, смех. В неизменной своей строгой темной паре он сидел задумавшись, чуть отстраненный от их радостного возбуждения, такого естественного после стольких бед, стольких смертей на войне.

— Вы, Зоенька, что — белладонну в глаза капаете, вон как блестят?

Невестка засмеялась, прислонясь к косяку двери, она уже привыкла к этой шутке, глаза ее действительно удивительно блестели, большие, ясные, как окна в сад. Теперь он видел сквозь дверной проем гостиную, обычно темноватую — солнце почти не заглядывало в нее, но сегодня полную ярко-зеленых теней — отблесков от позолоченных осенью деревьев за окном, и стол посреди гостиной, покрытый ослепительно белой скатертью. За обеденным столом, почти невидимая за горкой раков, сидела уже одетая по-дорожному, нетерпеливо раскачиваясь на стуле, его внучка Катерина...

Богомолец ласково улыбнулся ей и поспешил в гостиную.

М. И. Калинин:

«Одного лишь стремления юбиляра отвоевать для человечества у смерти украденные ею миллионы солнечных лет достаточно было бы для бессмертия. А среди его работ нет ни одной, которая бы не имела научного интереса и значения. На много вопросов ни в одном из университетов до него не могли ответить. Вот в чем заслуга моего современника перед лицом наиинтернациональнейшей из всех наук — перед медициной».

Академик А. И. Билецкий:

«Я прожил большую жизнь, встречался с большим количеством самых разных людей, и только один раз я встретил человека, владевшего необыкновенным, удивительным умением обращаться с людьми. Этим человеком был Александр Александрович Богомолец».

Академик А. И. Лейпунский:

«А. А. Богомолец буквально был крестным отцом атомной физики, зарождавшейся на Украине».

Академик В. П. Филатов:

«С величайшей благодарностью вспоминаю я о том внимании, которое проявил к моим работам Александр Александрович».

Профессор Я. П. Фрумкин:

«Александр Александрович Богомолец владел психическими особенностями, которые вызывали уважение к человеческой психике вообще. Я не просто уважал, я любил его. Это был человек...»

Он вышел из машины и, не оглянувшись, пошел по гранитным ступеням причала, все, чем жил он в последние дни, еще держало его в плену забот: заседания президиума, ученых советов, консультации, приемы избирателей, депутатская почта, опыты в лаборатории... Но он делал вид, что ничего не слышит, кроме плеска волн о берег, и ничего не видит, кроме синего раскрылья Днепра; на нем был не обычный его китель, строгий, как распорядок дня президента, а темно-зеленая брезентовая куртка, такие же брезентовые штаны, сапоги и картуз защитного цвета с матерчатым козырьком,— он любил эту одежду, символ свободы, отреченности от забот, символ уединения — только природа и он.

У берега стоял катер Академии наук, именовавшийся громко: «Наука», то был старенький довоенный тихоход, которому против течения тащиться до Староселья больше трех часов; в академическом хозяйстве имелся и скоростной глиссер, но сегодня Александр Александрович не хотел торопиться, он ежедневно спешил, многие годы, десятилетия,— сегодня хотелось тихо говорить с природой, с Днепром, с осенним предвечерьем, а какой разговор на глиссере, когда все видимое и слышимое сливается в желто-зелено-синюю ленту. Летом на катере шумно, но сейчас осень, ко-

раблик был пуст, и Богомолец про себя порадовался безлюдью.

Катер тронулся, и полоса воды меж ним и берегом становилась все шире, а набережная уменьшилась, пока склоны, утыканные пестрыми домиками и соборами, не стали похожи на декорацию у синего днепровского плеса. И тогда он сказал внучке, словно только что поверил в происходящее:

— А ведь действительно плывем...

От полного единения с природой все, что наполняло его в последние часы: привычка жить в особом силовом поле, ни на минуту не позволяющем расслабиться; счастливое ощущение всепричастности, когда ты — и центр планеты и одновременно — ее самая далекая периферия, ибо все меридианы и параллели мира проходят через твое сердце и разум; установленный тобой жесткий отсчет времени, дающий почти физическое ощущение его необратимости, когда стремишься каждую минуту заполнить тем, ради чего живешь на земле,— все неожиданно исчезает. И позволяешь себе, больше того — приказываешь! — ничего не решать, не заглядывать в завтра, просто жить вот этим, покойно баюкающим мгновением. Город над днепровскими кручами, в трудовом ритме которого живешь вот уже пятнадцать лет, все удаляется, и мозг усыпляет иллюзия, что и себя, прежнего, можно подменить, переодеть, оставить, как одежду в шкафу кабинета на Виноградской или в президентском кабинете на Владимирской — и вот — сколько влезет — наслаждайся беззаботностью!..

И Богомолец по-детски, увлеченно тешился этой счастливой иллюзией.

— Деда, солнышко купается! — кричала Катерина, и он вместе с внучкой свисал через борт и пытался зачерпнуть ладонями ярко-зеленую солнечную шугу, до рези в глазах мельтешившую вокруг катера. Разбитое на тысячи осколков солнечное отражение стекало с их пальцев, у Катерины они были тоненькие, как лучики, а у него, Богомольца, узловатые, как корни старого дерева, иссеченного годами. Солнечная шуга сбивалась к корме, где винт перелопачивал ее и бросал на гребень волны, волна катилась к берегу и глухо ухала в лозняке, а внучка кричала:

— Деда, деда, правда, там сомы?

— Сомы,— важно кивал головой Богомолец, и сам в эту минуту верил, что это сомы гуляют в омутах, под крутым днепровским берегом, а луга щемяще и радостно пахли чаем, настоянным на травах, таким его лечила в детстве баба Улянa, на руках которой он вырос; воспоминание было далеким, как сон о матери...

— Деда, а тебя мама тоже так держала, чтобы ты не

упал в воду?! — внучка отбивалась от Зои, не разрешавшей дочке свешиваться через борт. Он рассказывал Катерине о своей матери, ее прабабусе, но для семилетней девочки все это происходило так давно, что казалось грустной сказкой, в которую верится, пока слушаешь ее. Легко примирившись с этой мыслью, Александр Александрович подумал: какой же он старый в ее представлении, даже не старый, а давно прошедший,— как вчерашний вечер и сегодняшний рассвет, когда солнце только-только проглядывает из-за горизонта и никак не верится, что, обойдя небо, оно снова растает во мглистых тенях заката. Знал определенно: мать никогда не держала его на руках, только, разумеется, в первые три недели жизни — в камере Лукьяновской тюрьмы; потом, на Каре, она уже была больна и запрещала сыну даже стоять рядом, чтобы не заболел туберкулезом. Но где-то в глубинах памяти жило по-весеннему праздничное чувство: материнские ладони на его юном, легком теле; оно, это ощущение, выплыло из небытия и стало такой же реальностью, как вода, щекочущая кончики пальцев. Пока он не догадался, что это — из снов о матери, не из тех, что теперь снились ему и исчезали из памяти к утру, а из давних, детских.

— Деда, деда, вон твой кораблик плывет!

Это был старый буксирный катер, еще до войны названный его именем; наверное, в войну он побывал в крепких переделках — заплатки наваренного металла и вмятины по бокам, следы шрапнели — будто рубцы от ран, и только название — «Академик А. А. Богомолец» — подновлено свежей краской. Оно выразительно белело над пенистыми гребнями волн. Катер шел по течению, но мотор сопел тяжело, с одышкой, шлейф пепельного дыма стлался до самого лозняка. Давний тревожный сон о матери и этот тихоход его имени, натруженный, потрепанный жизнью, слились в печальную, протяжную ноту, и Богомолец сказал внучке устало:

— Вот и твой дед такой же старый и изношенный.

Может быть, в глубине души он ждал возражений, но Катерина подняла глаза, какое-то мгновение пристально смотрела на деда, потом отвернулась и поспешила к матери. И Богомолец подумал, что внучка у него взрослее, чем ему казалось. Они разминулись с катером «Академик А. А. Богомолец» и поплыли мимо устья Десны, мимо роскошных, в поволоке раннего осеннего предвечерья зеленых лугов, а ему все еще виделись вдруг посерьезневшие, укоризненно-печальные глаза внучки. И он уже жалел, что поддался настроению и заговорил о своей старости. Ребенок, которому жизнь кажется бесконечной, как его собственная, не видевший смерти, потому что никто из близких еще не умирал (да если б и видела, все равно не поверила бы в ее реаль-

ность), не может понять его грусти. Да и не только ребенок. Победа над фашизмом открыла новую эпоху в жизни человечества, и каждому, кто остался жить, кажется, что отныне нет старости, нет смерти, а есть нескончаемая весна, вечное цветение молодых сил. Люди хотят верить, что отныне на планете будет господствовать настоящая гуманность, а медицина даст каждому долголетие. Он говорил в своих работах по долголетию о ста пятидесяти годах человеческой жизни и не считал этот срок предельным. А сам вот повесил нос в шестьдесят пять. Сколько он хотел бы еще прожить? Десять, двадцать, тридцать лет — голова идет кругом: сколько можно еще сделать! Он продолжал бы изучать проблемы реактивности организма, потому что решение их поможет использовать целительную силу природы, во все времена лучшего союзника здоровья. Он считал, что в современной лечебной медицине — как в области учения о функциях вегетативной нервной системы, так и в учении о внутренней секреции — существует немало противоречивых, хотя и устоявшихся, представлений. Ему хотелось привлечь к работе над этой темой многих исследователей. Современная эндокринология добилась значительных высот, но механизм действия многих гормонов еще очень мало изучен, он хотел бы продолжить работу, начатую еще сорок лет назад, по изучению коры надпочечников. Последние исследования подтвердили, что переливание крови стимулирует функции действия организма, его реактивность. Но в этой области непочатый край работы!..

— Деда, а деда, а ты разве умеешь спать с открытыми глазами? В нашем классе один мальчик умеет — голову подопрет рукой, на учительницу смотрит, а ничего не слышит... Мы подплываем!

Внучка тормошила его, катер выписывал полукруг, готовясь пристать к крохотному причалу, за которым золотился высокий песчаный берег в зеленой короне высоких сосен. Это действительно было Староселье, он и не заметил, как они прошли последние десять километров.

Еще не доплыв до Староселья, он уже нарушил свое обещание, свою клятву — два-три дня не думать о делах, забыть о них, только любоваться осенью. Но не корил себя и не рвался больше к мечте о покое, о полусонной отрешенности от своей обычной полной, бурной и деятельной жизни. Поздно себя переделывать, он никогда не умел отдыхать и уже не научится. Личность нельзя делить на части, сегодня в тебе живет одна половина, завтра — вторая, пришлось бы резать по живому. Не время думать о смерти, он еще многое сделает.

И эта мгновенная уверенность прибавила ему если не сил, то упорства. В Староселье он не любил одного-единст-

венного места — песчаной косы от причала к лесу, на взгорье, тут тропинка рвалась круто вверх, а ноги по щиколотку вязли в сыпучем песке, который летом нещадно нагревался и дышал сухим пеклом. Сегодня на берегу было прохладно, осень, и уже спустился вечер, но взгорье не стало ниже, и песок предательски убегал из-под ног, и трость беспомощно вязла в его шелестящем течении. «Вам помочь, Александр Александрович?» — сочувственно спросил водитель катера, но Богомолец молча покачал головой, если уж он намерен прожить и сделать так много, что для него этот песчаный бугорок. Он преодолевал его упрямо и настойчиво, как альпинист вершину, не штурмовал ее в лоб, потому что чувствовал: на это уже не хватит сил, он брал ее осадой, мысленно расчертив песчаный сыпучий косогор зигзагообразной цепочкой, и медленно шел по ней, часто отдыхая, и каждый пройденный отрезок от остановки до остановки поднимал его еще на метр, а может быть, и на два. И река отдалялась, лежала под ним узкой лентой — с причалом, катером, светлой полосой мелководья, и, наконец, удовлетворенный своим упорством, он ступил на твердый грунт и опустился на скамью, врытую на вершине горы. И тут впервые увидел голубое полотнище Днепра внизу и древние Вышгородские горы по ту сторону реки, розовую пену облачков в небе, а от берега по песчаному косогору, который так тяжко ему сегодня дался, стремглав бежала к нему внучка, в отблесках вечернего солнца похожая на снопик огня. И он подумал спокойно и трезво: «У каждого возраста свое счастье...»

Вечером, после долгого утомительного дня, он вышел на балкон и медленно, с облегчением опустился в кресло. Смолоду тела не чувствуешь, с годами (душа все еще молода, полна желаний и стремлений!) тело в тягость. А может, тело для души — что кокон для бабочки? Вырастают крылья — и тесно... А если планета Земля — всего лишь уютный уголок для жизни личинок, инкубатор мощной космической цивилизации, и вся земная жизнь — осколок чего-то большого, начало, раннее детство, испытание? Когда-то он любил читать научно-фантастические повести, потом уже не было времени, да и желания. Ноосфера его великого земляка с Полтавщины Вернадского шла дальше самой смелой фантазии беллетриста: «Структура мозга будет изменена по существу, и этот организм выйдет за пределы планеты». А что, если действительно твой разум — лишь крохотная частица межпланетного созидающего поля, и он, обогащенный земным опытом, возвращается в это поле? Богомолец усмехнулся. Когда люди будут жить даже сто пятьдесят лет, как это

предсказывает он, им и этого срока окажется мало, чтобы завершить все земные дела, вот что достойно удивления. И никто не станет спешить покинуть Землю, чтобы его мозг витал в космическом морозильнике. Люди всегда будут стремиться к бессмертию на Земле, бессмертию деятельному, созидательному. Медицина способна продлить земную жизнь человека. И он подумал: как ему повезло, что он выбрал именно эту сферу деятельности, научную медицину.

Он поднял глаза: дозревшее осеннее небо висело над ним совсем низко; казалось, встань — и достанешь рукой до звезд. И он подумал, что рвался в Староселье не для того, чтобы писать статью о проблемах современной медицины, хотя ее нужно непременно написать, и даже не для того, чтобы отдохнуть, хотя отдых крайне необходим.

Он рвался под это миллионноглазое небо, чтобы прислушаться к осени в природе и в себе.

Осень — это плод, итог, цель жизни.

Лист с дерева или стебля опадает, оголяется плод, во имя которого цвела весна и буйствовало лето. Так и у человека. Облетают покровы молодости, проходит украшенное цветеньем сил лето зрелого возраста — а каков урожай?

Звезды и впрямь что глаза — то глядят тебе глубоко в душу, серьезно, вопрошающе, как дитя, то понимающе упрекают, когда мысль твоя описывает дугу, обходя то, чего не хочется вспоминать, то лукаво подмигнут, улыбнутся... Крохотная, похожая на чертенка звездочка, раскачивается на невидимом канате, натянутом меж двух важных, ортодоксальных звезд.

Ошибался ли он в своей жизни? А кто не ошибается? Самые страшные и памятные ошибки, когда ошибаешься в людях. Их так немного, но — были. Никогда не забудется, как в ненастный зимний вечер (ездил на охоту в Подмосковье и заночевал у знакомого) он узнал, что самый близкий ученик готов трактором проехаться по нему, чтобы на костях своего профессора построить карьеру. Время было сложное, «женоподобные мужчины», так он писал своему старому учителю, В. В. Воронову, подняли головы, сплели вокруг Богомольца петлю из сплетен и пасквилей. Но партия не дала группке карьеристов затянуть эту петлю. Богомолец обратился в Центральный Комитет ВКП(б), и Центральный Комитет сказал свое слово, резкое и бескомпромиссное. Выборы его президентом Украинской Академии в 1931 году подтвердили глубокое доверие партии, правительства, коллективов ученых. Сложные годы научили осмотрительности, но в людях он никогда не разуверивался. Новый мир рождался и утверждался трудно, внуки не скажут, что их деды

прожили беззаботно и безоблачно, но этот мир родился, утвердился, защитил себя от фашистского нашествия — и это главное. Он, Богомолец, не ошибся в одном: весь свой талант и силы отдал утверждению новой, социалистической жизни. Разве не соблазняли его в семнадцатом изменить родной земле, еще и путь тот эмигрантский щедро осыпали золотом! Будто бы он способен на измену или духовное попрошайничество под европейскими или американскими окнами?! Где они, те, кто предпочел измену созиданию нового мира? Дело не в титулах, должностях и наградах — песок времени все засыплет, все, и он, Богомолец,— мыслит реально, никогда не кичился ничем подобным. Имеет смысл лишь то, что прорастет сквозь песок времени. А немало из того, что посеяно им, прорастет, он знал и давал себе в этом отчет. За свою творческую жизнь он поставил перед медицинской наукой много вопросов, не на все дал ответ, но в науке часто поставить вопрос не менее важно, чем ответить на него. Он не искал торных путей, прокладывал новые, хотя не все его современники и не сразу это поняли, но его ученики и ученики его учеников, доискиваясь истины, пойдут по путям, намеченным им. Не бесплодны, не напрасны и пятнадцать лет его честной работы за президентским столом, хотя он и жаловался когда-то отцу, что не рожден быть администратором: ныне Академия УССР — одна из самых больших и значительных в Европе. Упрекнуть он себя не может — жил в полную силу, а порой и в долг, потому что отпущенных природой сил не хватало, теперь долг и надо оплачивать — тело напоминает. Когда-то мать читала ему из «Кобзаря»: «Ми просто йшли; у нас немає зерна неправди за собою...»

Мягко прошелестели под звездами крылья, тень ночной птицы — как мысль, как давнее воспоминание — промелькнула и исчезла. Да неужто это было в действительности: мрачная тюремная камера, заиндевелые стены, мать в серой арестантской одежде на голых нарах, выпитое десятью годами каторги и болезнью лицо, и только глаза, как две синие звезды, неугасимы:

«Из наших страданий разовьется ваше счастье, сын. Потому что цель жизни — жизнь, а не мука и смерть».

Бабка Уляна, его няня, верила, что души человеческие после смерти вселяются в птиц. Будь в нем чуть больше исконно славянского язычества, он поверил бы, что это душа материнская при воспоминании о ней прочертила крыльями звездное небо.

Но он знал: души людей не превращаются в птиц — те, кто родствен нам по крови и духу, становятся частью нашей памяти и живут, пока мы помним их. И еще — настоящий человек — не плоский контур, не муляж-однодневка,

такому грош цена в базарный день, не в радость такой ни себе, ни обществу; настоящий человек подобен лучу звезды, он пробивается сквозь космические бездны, чтобы вспыхнуть в наших глазах живым светом и лететь дальше, неся весть о рождении новых миров; так же и в зерне на равных существует прошлое, нынешнее и будущее — пока живет зерно.

Память о матери всегда жила в его сознании.

Но были времена, когда все, связанное с матерью, казалось графически четким, памятным и — далеким. Даже с отцом редко вспоминал поездку на Кару, боялся сделать больно ему, да и себе, боялся слов, таких безликих в сравнении с тем, что им обоим довелось пережить. А главное, время столь стремительно рвалось вперед, спешило творить, что не было возможности и внутренней потребности часто оглядываться.

В тридцать пятом он реорганизовал академию, ликвидировал многочисленные мелкие кафедры и комиссии, создав вместо них научные институты. Строил Институт экспериментальной биологии и патологии, не жил, летел... Вдруг из Москвы пришло известие о смерти отца. Было Александру Михайловичу восемьдесят пять, и все же отец и смерть — как это не вязалось! Отец собирался перебраться в Киев, когда построят академический дом с квартирой для президента; Киев — город своей молодости — он любил. Дом уже отделывали — и вдруг телеграмма. Александр Александрович с Олегом кинулись на вокзал, едва втиснулись в вагон поезда, уходящего в Москву.

В ту страшную ночь он понял впервые, что чувствует себя деревом, которому подрубают корни. Боль много дней была почти невыносимой, похоронив отца, он сам заболел и слег. Со временем острота притупилась — жизнь продолжалась, а осталось и вызрело понимание великого преимущества человека над бездуховным биологическим организмом: корни человека (они бесконечно глубоки, прорастают через многие поколения) — в его сознании, и смерть потому не властна над ним. С тех пор ощущение это порой стиралось будничными заботами, но никогда не исчезало насовсем. Мать приходила к нему в самые тяжкие минуты жизни, наверное, это естественно — так Антей, теряя силу, касался земли, и сил прибывало.

Зимой сорок второго память о мужестве матери помогла ему преодолеть болезнь.

В эту осень его жизни и давняя поездка в Сибирь, и встреча с матерью в тюремной камере, прощание с ней и ее смерть не отдалялись, но все более четко проступали через дымку десятилетий. У сердца свои законы. И все чаще Богомолец думал о том, какую длинную жизнь он прожил — к

его шестидесяти четырем прибавлялись десятилетия жизни революционера и врача Александра Михайловича Богомольца, и короткая вспышка самоотреченного жития матери, а если еще глубже — корни его вырастали из трудной и героической многовековой истории народа.

Чем дольше смотрел он в звездное небо, тем глубже и необозримее открывалось оно. Низко, казалось над самой головой, висели звезды, крупные, как спелые яблоки в их старом нежинском саду. Выше звездочки становились мельче. Чумацкий Шлях[1] казался уже россыпью белого мака. На темно-синих полянах небосклона одинокие звезды едва проглядывают; они таинственно, призывно подмигивают, мерцают. Сколько тысячелетий звездная метель манит к себе человека, распятого между землей и небом, и какая это радость — дожить до времени, когда человек сделает хотя бы первый шаг в безграничные космические просторы, навстречу далеким галактикам, этот день не так уж недосягаем, он чувствует, он знает это. А точнее, это будет не первый шаг, а решающий. Первый был сделан в те далекие времена, когда человечество оторвало взгляд от земли, мечтательно взглянув в небеса. А разве он, Богомолец, своей жизнью, трудами своими не торил будущую космическую дорогу?

Внизу, под балконом, громко переговаривались охотники, вернувшиеся с вечерней зорьки.

Из ночного леса пахнуло свежестью, сквозь стеклянные двери проглядывал камин, огонь тепло щурился, звал к себе. Он любил живое пламя. У камина с Катрусей на коленях сидела невестка. Лицо ее, выхваченное из тьмы отблесками огня, казалось нарисованным на старой иконной доске, печальное и строгое,— недавно умерла ее сестра. На материнском плече доверчиво лежала Катрусина головка. Он сел напротив, задумчиво смотрел то на огонь, то на невестку с внучкой.

— Я знаю, что живым тяжко, да и невозможно постоянно думать о мертвых. Живым надо жить. Но забывать тех, кого нет и никогда не будет с нами,— нельзя. Наша память — это их новая жизнь,— тихо произнес Александр Александрович, возвращаясь к недавнему разговору за ужином.— Одно время я боялся памяти — тяжелый путь на каторгу, смерть матери, возвращение из Сибири. Это можно пережить раз, но... дважды, трижды, в десятый раз... Ребенком я просыпался от ночных кошмаров, а мне снилось только то, что действительно происходило со мной. Позже надо было многое забыть и учиться. Я выбрал в жизни науку, а наука захватывает целиком.

---

[1] Чумацкий Шлях — Млечный Путь.

— Я полагала — со временем станет легче, начну забывать сестру. Сколько, думала, теперь, после войны, горя в мире, разве с моим сравнить. А вот все наоборот — с каждым днем сестра вроде бы ближе, живее во мне...

— Это неправда, что время лечит душевные раны. Время их затягивает, прячет от посторонних глаз, но боль остается и с годами бьется в нас все острее.

— Деда, а правда же, время — это как песок в песочных часах? Высыпется весь, а потом часы перевернешь, и все начнется сначала, только — наоборот, и люди будут рождаться старыми, а потом все молодеть...

Внучка соскользнула с коленей матери и пошла вброд через розовые отблески огня. Дед был причалом, к которому она доверчиво шла. Он расставил руки и улыбнулся.

— Наверное, время уже началось сначала, потому что ты, Катруся, старенькая и мудрая, как бабуся. А твой дед молодеет, разве ты не замечаешь? — Он повернулся к невестке: — И то, что боль в нас с годами все острее, это естественно, это справедливо. Мудреем и глубже понимаем, как много потеряли. Образ того, кого мы потеряли, освобождается от шелухи обыденности, и зримо, четко, как в скульптуре, с которой спало покрывало, проступает его внутренняя сущность, истинно ценная перед лицом времени. Не могу сказать, что я не понимал, что теряю, когда, собственно на моих глазах, на каторге умирала мать. Но настоящее понимание ее как человека несомненно выдающегося пришло через пятьдесят лет, и я, возвращаясь с ярмарки, как говорят в народе, имея за плечами жизненный путь, вдвое больший того, что успела пройти до смерти мать, снова и снова мысленно возвращаюсь к ней. Самая безоглядная самоотреченность в борьбе за народное благо и вера в счастливое завтра человечества, ежедневая, ежеминутная — на протяжении одиннадцати каторжных лет — война с жандармами во имя защиты достоинства человека и революционера...

— А жандармы — это как фашисты, дедусь?

— Почти.

— А революционер — все равно что красный боец, и моя прабабуся Софья была фронтовичка, да?

— Тогда был другой фронт, Катруся,— усмехнулся Богомолец.— Фронт через души и умы людей. К сожалению, я не принимал участия в тех боях, годы не позволили. Подниматься в атаку всем вместе легче, чем в одиночку. Революционеру же, особенно когда он попадал в лапы жандармов, приходилось идти в атаку одному. И мало утешала надежда, что когда-то человечество узнает об их борьбе и восславит их имена. Помнишь сказочку Андерсена о голом короле? Представь, гремят оркестры, триумфально вышагивает по улицам король, и все, или почти все, видят, что

король — голый, но никто не осмеливается сказать об этом, наоборот, кто со страху, кто по расчету, а иные — просто по инерции — аплодируют: «Слава, слава королю!» И вдруг находится отважный одиночка и кричит: «Люди, а король-то голый!» В сказке Андерсена это делает ребенок, в сказках все проще и легче, а в реальной жизни, во времена, когда жила твоя прабабуся, за правду карали виселицей или десятилетиями тюрьмы. Революционер — не тот, кто знает, что король гол, и молчит, знают многие, а тот, кто осмеливается громко сказать, о чем другие лишь шепчутся, а то и шептаться даже не смеют.

— Расскажите о Софье Николаевне,— попросила Зоя.

— Как несовершенна все же человеческая память! Пережил много, а помнится мало, и не всегда существенное. Так труден был путь из Кары: снега, холод, бездорожье, казалось тогда, что каждая верста как жизнь, но с годами все слилось в одну-единственную ноту, в один болезненный стон, и только. И еще — всякие пустяки помню. Например, что борщ мы с отцом замораживали в куски льда, а на станциях разогревали. И встреча с матерью в памяти пунктирна, как вспышки, как заснеженные шпили гор над облаками. И лишь теперь, на склоне жизни,— облака понемногу рассеиваются, и вся гора, до самого ее подножья, открывается глазам.

Я хотел бы еще раз переступить порог тюремной камеры и увидеть ее прекрасные синие глаза, чтобы они по-матерински тепло улыбнулись мне. Возможно, это противоречит законам биологии, но мать нужна человеку даже тогда, когда у него самого есть внуки. А мое чувство к матери ныне не просто сыновнее, а гражданское. Когда-то, действительно давно же это было, в девятьсот пятом, студенты писали в прокламации, я запомнил, переписал в свою студенческую тетрадь: «Носите камень для будущего здания, где не будет ни слез, ни вражды, ни неизвестных могил, ни рабов, ни нищеты — беспросветной убийственной нужды...» Мы возводим это здание, возможно, не так быстро и безболезненно, как мечталось, но возводим, я всю жизнь носил для этого здания камни и не выбирал, который полегче, вы, Зоя, знаете.

Но она, моя мать, одной из первых начала работать на строительной площадке, где закладывалась новая эпоха, и не один камень вложила, а жизнь свою. Я теперь мысленно обращаюсь к ее жизни, как к храму,— не затем, чтобы молиться, что молитва? — а чтобы по ее высокой жизни свою сверять.

«Лучшее, что есть у человека: минута утренней тишины — в мире и в самом себе»,— подумал Богомолец. Он сидел на крыльце и бросал корм курам сторожа. Куры ожесто-

ченно греблись в песке, выискивая зерна, а потом выжидающе косились на его руки: «Ко-ко-ко...» Богомолец набирал пригоршню зерна, сыпал на середину двора, словно сеял из короба, петух бросался первым и созывал кур, изображая кормильца, потом гордо клевал хохлаток, важный и уверенный в себе. Воробьи раскачивались на веточках плакучей вербы, отважно бросались в куриную ватагу, хватали просинки и снова зависали на вербе.

Просо ласково текло меж пальцев. Двор, весь в солнечных пятнах, был словно устлан клетчатым пледом. Когда воробьи вспархивали, вслед им с вербы осыпался лист с тихим шелестом: шептался с землей. «Вот возьму и не вернусь больше в Киев,— озорно подумал Богомолец.— По утрам буду кормить кур, собирать на огороде тыквы и сидеть с удочкой у Днепра. Дольше проживу...» Он поднялся, медленно пошел по тропинке, ведущей к лесу. Георгины в палисаднике были еще пышные, яркие, но и на них лежала уже печать изжитого. Осень любит скромность и сосредоточенность. Шмель, заночевавший в георгине, теперь отходил на солнышке от ночного холода, шевелил лапками, пробовал силу крыльев. Чернобривцы — как огоньки, запах чернобривцев он любил, они напоминали детство. Осень — пора воспоминаний. Когда есть что вспоминать. А если есть чем жить, а вспоминать некогда? Все равно хорошо, что приехал сюда, хотя знал наперед, чем это кончится. Отдыхать он не умел. Но каждому человеку, даже такому занятому, как президент академии, директор многих научных институтов, необходимо хотя бы изредка вот такое утро. Чтобы оглянуться вокруг и увидеть, как прекрасен этот мир и какое счастье — просто жить. После войны, которая отобрала столько миллионов молодых жизней. Он подумал, что действительно смог бы заставить себя хоть недельку полюбоваться осенью, если бы не ощущение, что принадлежишь ты уже не себе, а тем, кто погиб на войне, и не будешь знать душевного покоя, пока не одолеешь, не выложишься весь без остатка у той скалы, которую долбили и они. Так поступила бы его мать.

Стая воронья зачернила печалью холодную синь неба над лесом. Верховей сносил стаю к Днепру.

Осень — это и прощание.

Чтобы достойно встретить старость, нужно иметь в сердце немалый запас мужества. Но мужество человека не в том, чтобы не думать о смерти, делая вид, будто ее не существует, оно в умении обратить свою смерть на пользу жизни. Так сделала мать.

Лесная тропинка, вся в позолоченной солнцем опавшей хвое, была опутана узловатыми корневищами сосен. Муравьи суетились в ней, он осторожно переступил муравьи-

ную дорогу. Паутину — причудливую пряжу лесных трудяг, растянутую меж сосновых стволов, он тоже обошел, уважая чужой труд. На паутине еще блестели капли ночной росы.

Он поднял голову к зеленым вершинам в синем небе и подумал, что никогда в жизни не был так счастлив, как сегодня, именно в это мгновенье.

Посмотрел на часы: было все еще рано, сын только вернулся из Киева, очевидно, заедет домой и уж потом — в Староселье. Даже секундная стрелка часов и та двигалась медленно.

И засмеялся: в этом весь человек — подгонять свои самые счастливые мгновенья ради мгновенья следующего, ради будущего.

А если будущего уже нет?

Тем более.

Надо спешить делать добро людям.

Богомолец нисколько не удивился, когда тропинка вывела его к Днепру, хотя, казалось, направлялся в глубь леса. Он присел на скамью на вершине песчаного холма и снова достал карманные часы: а вдруг сын не станет заезжать домой, знает ведь, как не терпится отцу узнать о результатах его поездки в Москву,— без них нельзя работать над пятилетним планом академии.

Шофер встретит Олега на вокзале и довезет по Димерскому шоссе к рыбацкому причалу напротив Староселья, а там через Днепр — на лодке. Ну полтора, ну два часа на все. Богомолец встряхнул часы, ему показалось, что стрелки не движутся вовсе.

Сына он увидел, когда тот выплывал из-за острова, но не пошел навстречу — не хотел показать свою слабость, когда придется снова подниматься по песчаному взгорью. И без того разговор обещал быть нелегким: конечно, шофер уже рассказал, чем закончилось вчерашнее своеволие старого президента — чуть ли не сердечным приступом, а ведь сын вместе с профессором Страженко настаивал на отдыхе в Гагре. Да неужто он против отдыха, сам неоднократно писал, пусть почитают книги Богомольца. Но разве мало он наотдыхался в постели этой зимой? Сейчас, в первые послевоенные месяцы, сколько дел набралось, вот перевести бы научные институты на мирные рельсы, пустить на полный ход академическую машину, реализовать хотя бы часть личных планов научной работы, а потом, будущим летом, можно (и нужно! Неужто он не понимает!) отдохнуть.

Заметив, что мысленно оправдывается перед сыном, он рассердился. Кто-кто, а Олег понимает, должен понимать, что иначе отец не может жить. Разве не сам Олег тайно от врачей Кремлевской больницы, которые категорически за-

претили больному Богомольцу работать и даже отобрали бумагу и карандаши, составлял с ним план реэвакуации академии? Другое дело, что значительная часть административной работы ложится на сына, отрывает его от лаборатории, здесь он виноват, но что поделаешь, если за годы президентства привык к помощи сына, сотрудничать с кем-то другим было бы тяжело, сын знает академическое хозяйство, а главное — понимает отца с полуслова.

Сын преодолевал песчаную крутизну легко, широким спортивным шагом, и Богомолец вспомнил, как он, тогда сорокалетний профессор Саратовского университета, причалив на лодке к волжскому берегу в Пристанном, почти взбегал на крутой берег, где его ждали Олежка и Ольга. Казалось, что сила, энергия и ловкость всегда будут при нем. Если бы все это вернулось, сколько бы он сделал! Кажется, не упустил ни одного дня из отведенных ему, постоянно помнил изречение Сенеки: «Считай, что каждый день — новая жизнь», но теперь с высоты возраста виделось, что сделать можно куда больше. Сколько дел не завершено, сколько идей очерчено пунктирно. Он не завидовал молодым, хотел лишь, чтобы каждому, кого вот так же легко носят по земле ноги, передалось его восприятие времени как самой великой ценности. Перед войной его ученики в Московском институте гематологии и переливания крови научились консервировать кровь, и это спасло жизнь тысячам тяжелораненых. Возможно, в будущем человечество научится консервировать и время? И переливать. Но кто будет донором? Может быть, те, кто стремится во что бы то ни стало «убить время». Как только это время ни «убивают»: картами, домино, футболом, гулянками, круглосуточным сном... Он завидовал не молодым, он завидовал людям, которым суждено долголетие. Ему время нужно не для того, чтобы урвать на пиру жизни побольше земных радостей,— только для работы, для неустанного научного труда.

— А где чемодан с московскими новостями? — он пытался прочитать на лице сына, какие известия тот привез.

— Все новости со мной, чемодан завез домой, а жаль: там американский журнал со статьей о твоей сыворотке. Заглавие — на публику: «Завтра вы сможете стать молодыми». Но информацию дает исчерпывающую. Журналисту предложили написать об атомной бомбе, но он считает, что сыворотка Богомольца более важна для человечества.

— К сожалению, наша сыворотка — не живая вода, чтобы ею оживить сотни тысяч людей, уничтоженных американскими атомными бомбами в Хиросиме и Нагасаки.

— С чисто американской деловитостью они предлагают немедленно поставить изготовление АЦС на коммерческую основу.

— Я опубликовал результаты исследований и способ изготовления антиретикулярной цитотоксичной сыворотки. Напечатаны также материалы Московской конференции по АЦС. Наше открытие должно служить человечеству, а не американским или английским дельцам. А кроме того, мне не нравится, когда результаты нашей многолетней работы преподносят как сенсацию. Сыворотка — не эликсир жизни. Это лишь один из методов борьбы с преждевременным старением. Сыворотка активизирует защитные функции организма, и если бы когда-нибудь нам или нашим ученикам посчастливилось подарить каждому человеку два-три десятилетия продуктивной жизни...

Я должен продумать план работы института на десятилетие, все люди смертны, я — тоже. Основное внимание хочется уделить проблемам возрастной патологии. Может быть, настанет время и для организации отдельного научного института — геронтологии. Победив в такой войне такого врага, мы имеем право подумать о долголетии людей. Но как президент академии я должен, вынужден думать не только о сыворотке и долголетии, а и о нашей ядерной индустрии, чтобы мы могли противопоставить силам войны силы мира. Поэтому не будем восторгаться резонансом во всяческих заграницах на вчерашние открытия, докладывайка о делах более насущных...

Сын рассказал, что партия и правительство ставят перед учеными задачу в ближайшее время не только догнать, но и превзойти достижения зарубежной науки, об этом в скором времени пойдет речь с самой высокой трибуны. Научным учреждениям будет оказана соответствующая помощь. Уже договорено, что академии Советской Украины выделяется на неотложные нужды сто миллионов рублей. Академический бюджет в будущем году возрастет почти вдвое. В ближайшие годы будет не только восстановлена, но и значительно расширена довоенная научно-техническая база исследовательских учреждений Академии наук. В этом Украине помогут все братские республики. Создается Комиссия по координации научных планов союзной академии, республиканских Академий наук и специальных академий союзного значения. В эту комиссию введен и академик Богомолец как руководитель одного из самых больших в Союзе отрядов научных работников. Положительно решены многие другие практические вопросы, по поводу которых он обращался в союзные руководящие органы: разрешено набирать больше аспирантов, выделена помощь для подъема на современный научный уровень оборудований институтов физики, физико-технического, общей химии, некоторые талантливые московские ученые дали согласие влиться в коллективы украинских научных работников.

И все, о чем рассказывал сын, Богомолец проецировал в тезисы будущего доклада о задачах Академии наук УССР на послевоенную пятилетку. Работа институтов возобновлена, расширена площадь лабораторий, как это ни сложно в полуразрушенном фашистами городе. С будущего года разворачивается большое строительство новых учреждений, институтов и лабораторий. Подыскивается современное научное оборудование. Главное, чтобы силы Академии наук не распылялись на второстепенные, случайные вопросы. Особо отметить это в докладе. Сконцентрировать научные силы республики на генеральных проблемах крупного научного значения, решение которых окажет существенную помощь и социалистическому строительству, поможет народу, победоносно закончившему битву с фашизмом, в самый короткий срок залечить раны войны, чтобы наша великая Страна Советов стала еще могущественнее, чем была перед нападением фашистских варваров. Не оглядываться назад, не равняться на день вчерашний, только на завтрашний день, это самое главное в плане. И максимальная конкретность. Институт физики сосредоточит внимание на явлениях, касающихся физики атомного ядра и физики твердого тела. Активизировать темпы строительства циклофазотрона. Атомная энергия — это не только оборона, это завтрашний день энергетики. В Институте физической химии впервые в Советском Союзе получена тяжелая вода. Определить как ведущую проблему для этого коллектива получение дейтерия, это имеет большое значение для развития ядерной физики. Строить Главную астрономическую обсерваторию, которая займется новым каталогом звезд. Заложить Ботанический сад на берегах Днепра, который должен стать одним из крупнейших и лучших в стране...

Подчеркнуть огромный объем практических работ Института электросварки. Создать специальную лабораторию сельскохозяйственного машиностроения — на колхозные поля должна прийти качественно новая техника...

— Видишь, сын, придется и мне завтра отчаливать в Киев,— сказал он сокрушенно, напрасно пытаясь обмануть если не сына, то хотя бы самого себя.— Так дела складываются...

А сын не уточнял, какие такие неотложные дела гонят отца в Киев, он только вздохнул:

— Ведь ты, отец, не поехал в Гагры, обещал в Староселье отдохнуть. Ты так любишь осень...

— Да что осень — никуда она не денется,— заторопился Богомолец, радуясь, что разговор, которого он побаивался, заканчивается удачно.— Вот проведем президиум, подтянем лаборатории, подготовимся к сессии, депутатских дел у меня поднакопилось, а потом снова двинем в Староселье. И на

добрую неделю, на золотую осень, на осеннюю охоту! — А поскольку сын знал, что этого никогда не будет, и Богомолец догадывался, что сын знает об этом, спешил еще больше: — Да разве мы не можем и сегодня после обеда сходить на охоту? Конечно, можем. Кто нам помешает? И Туз вон совсем заскучал, по болотному духу тоскует. А теперь не топчись, сын, на месте, ступай поскорее, Зоя и Катруся ждут тебя не дождутся. Мне и так неловко, что в воскресенье отрываю тебя от семьи.

Он даже помолодел от мысли, что завтра снова впряжется в свой тяжкий воз и будет тянуть его, пока хватит сил.

«Пятый день выхожу отсюда только тогда, когда голод сжимает сердце и ноги подкашиваются от усталости. Ухожу, чтобы утром вернуться снова. Рубенс, Ван-Дейк, Рафаэль — чем не общество! Конечно, не успел даже приблизительно рассмотреть все богатство...»

«Джоконда» — воистину шедевр: всматриваюсь во влажный блеск глаз, розовые ноздри, и порой кажется, будто вижу биение пульса в запястье. Пока в оригинале не увидишь, представить ее невозможно,— репродукции не передают всего ее очарования...»

«Ходил в Лувр смотреть Венеру Милосскую. Настроился почему-то предубежденно, но должен сознаться, что она действительно само совершенство. Тело как живое, почти дышит...»

А. А. Богомолец — жене О. Г. Богомолец

«Это было в Минске, куда ездили на сессию Белорусской Академии наук. К утру А. А. Богомолец вышел из спальни желтый, осунувшийся. Спрашиваю: что такое? Оказывается, не спал всю ночь. Неудобно, душно, холодно? Нет, читал всю ночь — очень интересная вещь — монография о художниках! Как жаль, что нельзя угнаться за всем, что написано об искусстве! Будь у меня время, я бы основательно засел за изучение этой стороны человеческого гения».

Академик В. П. Филатов

И сегодняшняя прогулка с сыном казалась путешествием по залам сказочно богатой картинной галереи. Все просилось на полотно: и золотые роскошные дубы с темными, кружевными, будто действительно выписанными кистью стволами, и кусты краснолистой, пылавшей жаром калины в низинах, и мягкая, милая глазу дорога в луга, и сами луга, где царила гармония самых разнообразных цветов и оттенков, от ярко-зеленого (молодая отава) до желтого и бурого. Когда-то он и сам мечтал рисовать, учился играть на скрип-

ке, но выбрал науку. После науки больше всего любил музыку. И музыка, и живопись, и литература шли через всю его жизнь рядом. Изящные искусства давно превратились в могучую силу, соперничающую с наукой своим влиянием на человечество. К такому выводу он пришел, кажется, еще в Саратове. Они с детства соперничали и в его жизни. Победила наука. Всего, что есть прекрасного в мире, не обнимешь, а жаль. Жаль, потому что так хочется изобразить на полотне, заставив хотя бы на одну минуту остановиться, застыть навсегда этот желтый, рыжеватый, зеленовато-коричневый (сколько нежных красок!) камыш на берегу озера или передать очарованием неповторимой мелодии, как постукивают друг о друга и шепчутся от тихого ветерка головки камыша над озером. Зайти в заросли и слушать, слушать... Если бы и впрямь существовал творец всего земного, он создал бы человека хотя бы для того, чтобы было кому любоваться его творением. Еще никогда, кажется, Богомолец не чувствовал себя таким благодарным, таким растроганным читателем книги природы...

Внезапно он подумал: не потому ли так остро воспринимается все окружающее, что это, возможно, его последняя осень на земле. И путешествие в осень — последнее, и вспорхнувшие из-под ног на опушке куропатки, и сеть морщинок на темно-зеленой озерной глади, и синий мотылек на сухом стебле, все-все — последнее. Он прислушался к себе, но страха в душе не было. Была грусть — как осенний дождь: его не видно, такой он мелкий, реденький, но явственно слышен его нежный, шелестящий звук. Может быть, каждая личность — всего только лист на могучем дереве, имя которого — человечество, и вот уже ты летишь к земле, оторванный ветром или морозом, но грусти нет, ведь дереву расти, зеленеть от весны к весне. И осень, когда опадает листва,— только ступенька к будущей весне, предвестник нового всплеска жизни...

Они переходили болотце. Ноги в высоких охотничьих сапогах вязли почти по колено. Впервые за много лет ружье показалось Богомольцу тяжелым. Сын почувствовал это, потянулся к отцу, но тот ружья не отдал; все еще боялся показать слабость.

Наконец тропинка зазмеилась вверх. По обочинам дороги синели куцые, густо покрытые цветами кусты петровой лозы. Из сухотравья выглядывали темно-красные светлячки полевых гвоздик. Кое-где доцветали васильки. На голом холме, как тень от тучи, темнело кострище. Пастухи или грибники не затоптали костер, вот он и погулял по сухотравью; кострище мертво похрустывало под ногами. Но сквозь черную тень его буйно прорастали зеленые побеги молодой травы. И Богомолец с облегчением подумал, что и

осень — еще не ночь для жизни. Жизнь продолжается и осенью, разве что не такая яркая и броская. Да разве внешняя неприметность не компенсируется внутренним богатством?

Идти, однако, становилось все тяжелее. Снова закололо в груди, как вчера, когда поднимался по сыпучему песчаному взгорью. Начался лес: за чащей — озерца, к которым они направлялись, а тут деревьям было просторно, и они, развесистые, важные, задумчивые, поддерживали перистое небо, жиденькое, как рядно у бабы Уляны когда-то в детстве. Такое небо бывает только осенью. Под ноги мягко стелется сухой бронзовый лист. «Что может быть прекраснее, чем вот так во время тихого листопада бродить по шуршащим листвой тропинкам, дышать лесной прохладой»,— подумал Богомолец, уходя от иных, тревожных мыслей. Тяжело дыша, он остановился посреди поляны и опустился на пенек.

— Наверное, сын, я свое уже отохотился. Посижу немного, а вы с Тузом идите.

Олег заботливо склонился к отцу:

— К чему я один пойду? Отдохнем, да и обратно. Думаешь, я не устал — в такую даль забрели...

Богомолец благодарно улыбнулся:

— Не надо, сын. По стольку ли мы с тобой отмахивали до войны? Каждый возраст должен знать свои границы, а я вознамерился эти границы преступить. Иди, хочу миром полюбоваться. Может, и в мою сторону какого кочетка спугнешь.

— Я только к озеру и вернусь.

Богомолец остался один. Было тихо, так тихо в лесу бывает только золотой осенью. Разве что вздохнет, упав на землю, листок и сухо прошелестят над головой крылья стрекозы. Стрекозы доверчиво садились ему на руки, их лапки нежно щекотали кожу, а огромные слюдяные глазищи удивленно заглядывали в лицо.

— Что, впервые видите такого зверя? — тихонько спрашивал Богомолец.— Порхаете себе под солнышком и о зиме не помышляете, человек так не может, он и ранней весной о зиме помнит, осенью — тем паче. А может, именно потому человек так много и успевает за свою жизнь?

На опушке стояла дикая груша — безлистая, но вся усыпанная желтыми плодами, как медалями. Вот так и человек в пору своей осени, только его медали — это его добрые дела. Три утки летели от лесного озера, к которому направился сын, они летели низко, ровно, будто нанизанные на шомпол. Богомолец проводил их глазами, но не стрелял: «Пусть живут...»

Прошелестел орешник, осыпавшись листвой, и на поляну

вышел старик с корзиной в руках. Он был, наверное, одних лет с Богомольцем и ходил, так же шаркая запыленными кирзовыми сапогами по листве, только заметнее горбился в плечах. Руки с темными шершавыми ладонями корнями торчали из рукавов вылинявшей гимнастерки.

— Что, дед, на старости лет жалостлив стал? А моложе был, должно, здорово пулял?

— Стрелял,— признался Богомолец.— Смолоду — оно все как-то проще: сил много, а удержу — куда меньше.

— Да ведь с годами ее, косую, за плечами чуешь, вот и сочувствуешь всему, что жить хочет. Я с той войны вернулся — курицы не мог зарезать.— Старик сел рядом с Богомольцем, утер пот со лба подкладкой картуза, на дне его корзинки лежало с десяток белых, запахло грибами.— Сушит все, сушит, ноги набил, а пусто! Бесовское зелье употребляешь?

— Балуюсь,— Богомолец достал коробку «Казбека».

— А, метр курим, два кидаем! — старик сгреб негнущимися пальцами папиросу, положил за ухо. Потом достал кисет с крупным самосадом, свернул самокрутку, протянул Богомольцу.— Вот нашего старосельского табачку испробуйте. Да, курево у нас разное, а смерть — она одна для всех. Моих годков будешь?

— С восемьдесят первого,— Богомолец дал прикурить старику, закурил сам, самосад был крепкий, аж слезу вышиб, но он терпел.

— Считай — одногодки, я — с восьмидесятого. Прожили, не оглянулись. Но вот что я тебе скажу. Годы наши вроде бы и не так велики — бабка моя до ста лет дожила,— только много в них уместилось всего — и хорошего, и плохого... больше хорошего. Взял я это у внучки книгу по истории, по которой в школе учат, от самого Адама, так про наши с тобой годы — почти половина книжки написана. Вот каково густо жили. Потому история — она что, вся про таких, как мы с тобой, писана.

— Жили густо,— согласился Богомолец, чувствуя, как боль рассасывается в груди и теплеет на сердце.

— Старшой мой как пошел в сорок первом — как в воду... А младший, пишет, скоро вернется, только вот стихнет на Востоке. Вся грудь, пишет, в орденах, как в монисте. А я, знаешь, надумал на старости лет сад заложить или какое другое доброе дело начать, у каждого свой сад должен быть.

Они помолчали, докуривая самокрутки. Богомолец впитывал слова старика, как земля капли дождя.

— Это ты хорошо сказал — жизнь будет, и сад будет. Только хотелось бы больше тех садов посадить, а силы уже...

— У меня тоже не ключом бьют, едва капают. А должóн

молодиться, потому и в колхозе нынче рук не стает, и дома то да се сделать надо, и соседям помочь, много кормильцев наших на фронтах головы сложили. Время такое, что от человека требует — под самую завязку. Такую историю написать, можно сказать,— на все времена, кому легко давалось? А ты, Александр Александрович — прости, узнал тебя, когда вблизи рассмотрел,— не сумлевайся, сад ты посадил огромадный, всему люду на радость, на добро, и еще доглянешь и вырастишь. И к простому человеку ты всегда душой. Разные встречаются и в верхах, нешто не видим, не понимаем? Глядишь, иного чуть поднимут, а он уж и раздуется, что та лягушка, и мурло свое от народа воротит, и поверх голов поглядывает. А ты в каждом человека видишь, уж кому как не нам знать своего депутата, за столько-то годочков. Ученые люди вроде бы открыли, что того света, мол, нету и быть не должно, а есть, значит, только наш, земной. Точно тебе не скажу, не довелось побывать, но одно знаю: пусть того света и нет, зато есть память народная. И все мы перед ней одинаковые — в чем мать родила, отчитываемся не гербовыми бумагами, не красивыми словами, а делами своими, которые за всю жизнь для людей сделали. И поверь мне, старому, Александр Александрович,— в памяти народной ты обижен не будешь...

Академик Д. З. Мануильский:

«Он любил Украину. Тут он родился, жил и работал. Но Украину он любил такой любовью, которая не сужает и не закрывает широких горизонтов. Он был человеком широкого гражданского кругозора, он видел за пределами Украины наш великий могучий Советский Союз и любил его, как сын свою мать. Украину он любил не только за ее чудесный фольклор, за ее роскошную природу, за красу ее Днепра,— он любил ее прежде всего за то, что она вместе с великим русским народом пошла путями социалистической революции...»

Академик Павло Тычина:

«Чтобы человек не скоро старел, чтобы человек жил как можно дольше,— вот о чем всю свою жизнь думал Александр Александрович Богомолец. И потому жизнь его, отмеченная думой о бессмертии, сама уже стала частицей бессмертия.

...Александр Александрович, кроме науки, еще знал и ценил литературу, музыку, живопись. А как он любил рассветы, когда с ружьем выходишь в природу! Но куда больше рассветов ушло у него на научные исследования —

без сна, без отдыха, с самого вечера. В этом была настоящая полнота жизни, он буквально забывал обо всем на свете ради того, чтобы людям светом науки светить... И не замечал он за работой, как уже и солнце взошло, и птицы защебетали... Как депутат Верховного Совета СССР, всегда он душу людскую видел. Многие обращались к нему, и Александр Александрович, чувствуя боли людские, старался забыть о своих болях, физических, которые давно уже пытались свалить его с ног. Значит, здоровый дух особенно креп в нем тогда, когда он людям помогал!..»

Академик Н. О. Лаврентьев:

«В лице Александра Александровича блестяще сочетался выдающийся ученый, организатор и политический деятель самой широкой перспективы. Он пользовался величайшим авторитетом не только среди ученых, но, благодаря своей исключительной чуткости и сердечной доброте, любовью самых широких народных масс трудящихся — он был настоящим избранником народа. Не жалея себя, своих сил, он до последних дней неутомимо работал на благо человечества и своей Родины».

З. В. Богомолец:

«За два дня до смерти больной Александр Александрович продиктовал длинный список неотложных дел по Академии наук. После советов и указаний относительно строительства циклофазотрона, обсерватории, сельскохозяйственного городка, оборудования для технических институтов президент напоминал о насущной необходимости выделить жилплощадь для семьи погибшего на фронте ученого, похлопотать о пенсии для больной лаборантки и выдать, как обещано, новые сапоги институтскому шоферу...»

Уходили в тумане. За островом, у Вышгорода, протяжно гудел пароход. Катер пробирался сквозь туман медленно, на ощупь. Холодная мгла клубилась у воды серыми облаками, скользила по стеклу иллюминаторов и скатывалась с металлической обшивки крупными, неожиданно прозрачными каплями. Облака несли с собой воспоминания, неясные образы прошлого, они зыбкими тенями выплывали из глубин памяти, тревожили душу и исчезали, чтобы снова вернуться и снова исчезнуть. С годами прошлое становится все более частым гостем, а однажды, придя, так и остается с тобой навсегда. Круг времени — прошлое, будущее — замыкается, ты же, вечный, как ветер в поле, неотделим уже от

отцов своих и внуков и в минуты прозрения поражаешься далями, тебе открывшимися.

В нем всегда жило ощущение огромности личной ответственности не только за настоящее, но и за прошлое, и за будущее. Оно таилось где-то в глубине души, не осознанное до конца, так капитан корабля не думает все время о звездах, по которым сверяет курс. Теперь, когда парабола жизни прошла свою вершину и подошла старость, он все чаще думал, какая же ответственность лежала на нем — духовном мостике между прошлым и будущим.

Ему повезло: он — побег могучего древа, потомок людей величайшей силы духа, незаурядного ума и главное — честности. Кто-то из великих писал: ты ответствен не за безошибочность, а за честность своих решений. Может быть, его родители в чем-то и ошибались (как легко их судить теперь нам, проштудировавшим по учебникам все крутые повороты истории!), но они умели любить и ненавидеть, пронесли и любовь, и ненависть через всю свою жизнь. Мать пожертвовала собой во имя революционных идеалов. Отец всегда оставался верен своим убеждениям, своей любви к Софье — он и умер с ее именем на устах. Тетка Мария Присецкая отправилась вслед за арестованным сыном-революционером в Сибирь. Накануне первой мировой войны она умерла; там, в Минусинске, и похоронена. Сын второй тетки — Ольги Присецкой,— нажив в царских застенках чахотку, умер у нее на руках в вагоне поезда. Богомолец и теперь содрогался от мысли, что же должна была пережить в ту ночь Ольга Николаевна. Она умерла уже в советское время, персональной пенсионеркой. Даже дядька — Иван Присецкий,— взгляды которого существенно изменились после возвращения из ссылки, оставался человеком общественно эмоциональным: он умер, не пережив радостного известия, что ненавистный ему царский министр Столыпин убит в Киеве...

— Деда, а деда, уже рассвело, идем на палубу! — тормошила его внучка.

И правда, туман становился прозрачнее, отрывался от воды, река, отраженная в окнах, синела, приобретая удивительную яркость. Они вышли на палубу. Богомолец закутал внучку в полы брезентового плаща, прижал к себе. Белые клочья тумана касались их лиц, а потом бесследно таяли в небе, постепенно открывалась ширь Днепра, все его могучее, жилистое тело. За все последние дни Богомольцу, казалось, еще не было так хорошо. Он вспомнил слова старого колхозника там, в лесу: «В затишке, конечно, проживешь куда дольше, но моим ровесникам некогда было его искать». Не искал его и Богомолец. Всю жизнь старался делать добро, как мог, насколько хватало сил. Он оставит наследникам,

таким, как его Катруся, свои научные идеи. И оставит огонь, жажду горения, унаследованную от матери. Огонь не должен погаснуть. Как в доисторические времена: пока горит огонь, есть род, есть племя, народ, есть жизнь. Можно по-разному этот огонь называть, дело не в словах. Главное — поддерживать его в себе добрыми делами на благо людей, пронести через годы своего земного существования и передать последующим поколениям.

— Деда, деда, гляди — вчерашний катер плывет! — зазвенел ликующий голосок внучки.— Ты говорил, что он старенький, а видишь — сколько тащит!

Катер его имени, тяжко кряхтя и отдуваясь, действительно волок три длиннющих баржи. На последней пылал костер и стояли люди с баграми. Богомолец улыбнулся и ласково тронул губами головку внучки. На горизонте вырастал из-за гористого днепровского берега Киев. Небо очистилось от тумана, и река, артерия его народа, могучая, работящая, несла свои воды, необозримо раскинувшись на века, на тысячелетия, ярко-синяя и глубокая, как глаза матери...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Продолжение жизни. *Вступительная статья Н. Г. Жулинского* 5

РИТМЫ ЖИЗНИ (*Книга первая*). *Перевод И. Карабутенко* 9

ДОРОГА К МАТЕРИ (*Книга вторая*). *Перевод Н. Высоцкой* 245

Владимир Григорьевич Дрозд

РИТМЫ ЖИЗНИ

М., «Советский писатель», 1980, 424 стр.
План выпуска 1980 г., № 260

Редактор В. А. Тетерин
Худож. редактор Д. С. Мухин
Техн. редактор И. М. Минская
Корректоры Т. Н. Гуляева
и И. Ф. Сологуб

ИБ № 2297

Сдано в набор 21.01.80. Подписано к печати 06.08.80. А 03467. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага тип. № 1. Журнальная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 26,50. Уч.-изд. л. 27,21. Тираж 30 000 экз. Заказ № 260. Цена 1 р. 90 к. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109.





1 р. 90 к.

Владимир Дрозд

РИТМЫ ЖИЗНИ



РИТМЫ ЖИЗНИ

В. Дрозд